

Н О В Ы Й
М И Р

3

Рубеж веку
Колхоз
Н О В Ы Й
М И Р

1971

3



1971

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 3

Март, 1971 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПАРТИЙНОСТЬ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО . . .	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Далеко до океана, поэма. Авторизованный перевод с белорусского Н. Кислика	9
ОЛЕГ СМИРНОВ — Эшелон, роман. Окончание	57

НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО — Наше общее с вами Отечество, стихи	140
АРКАДИЙ САХНИН — С чего это началось...	147
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — Иван Шпарийчук, председатель	161
МИХАИЛ РОЩИН — Почти дневник	172
ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВА — Глазами экономиста	186
ВЛАДИМИР ПОПОВ — Глазами инженера	191
ВАСИЛИЙ СУХАРЕВИЧ — О духовном и телесном (Разговоры)	195
ЮРИЙ КАШУК — Четыре стихотворения	207
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — Поисковик, стихотворение	210

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. МОЛЧАНОВ — В дни Коммуны. 1871—1971	211
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Наука о литературе сегодня

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО — К новому уровню	234
АЛЕКСАНДР ЯНОВ — Рабочая тема. Социологические заметки о литературной критике	239

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Борис Полевой. Ленин и народы земли.— Г. Трефилова. Стихия и смысл.	266
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	276
И. Геевский. Существует ли «загадка»? — А. Иойрыш. Атом для человека.— В. Елисева. Без хрестоматийного глянца.	
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Евгеньева. — Счастье созидания. Сбор- ник очерков. ♦ И. Варламова. — Я. Х. Пантиелев. Агроном	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ПАРТИЙНОСТЬ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

Памятны слова, произнесенные Михаилом Шолоховым пять лет назад с высокой трибуны партийного съезда:

«Как по отдельным притокам, исполненным и своеобразной прелести и русского очарования, нельзя судить о все покоряющем величии Волги, так и по отдельным, разрозненным сообщениям печати о наших трудовых буднях и достижениях трудно представить грандиозность размаха строительства и свершений Родины.

Но вот, когда мы собираемся на наш съезд партии, когда слушаешь доклад и вдумываешься в цифры, суммированные количества того, что сделали за истекшие годы народ и партия,— тут-то и встает перед тобой результат титанической работы, тут-то и ощущаешь всю мощь того, что творит народ во имя своего будущего».

Съезд ленинской Коммунистической партии — огромное событие в жизни нашей страны, к нему приковано внимание всего советского народа. Именно оттуда, со съездовских высот, всего видней завтрашний день, перспективы коммунистического строительства. Совершенно естественно, что для миллионов людей достойно встретить предстоящий партийный съезд — значило добиться новых трудовых успехов, похозяйски проанализировать накопленный опыт, широко обсудить насущные проблемы, подвести итоги экономического и социального развития.

А итоги эти поистине замечательны. Они свидетельствуют о том, что партия и весь наш народ хорошо поработали. К XXIV съезду КПСС они подходят с сознанием исполненного долга. Пятилетний план по основным социально-экономическим показателям выполнен успешно, задания по выпуску промышленной продукции превышены. Достигнуты успехи в области сельского хозяйства. Одно сказать: в минувшем году выращен самый высокий урожай зерновых и хлопка за всю историю земледелия нашей страны! Плодотворно развиваются советская наука, техника, культура. Повысился жизненный уровень народа. Выросло оборонное могущество нашей Родины. Незыблемы, как никогда прочны наши международные позиции; крупные победы одержаны советской внешней политикой, направленной на упрочение и развитие мировой системы социализма, сплочение всех антиимпериалистических сил, на защиту дела свободы, независимости и безопасности народов, дела мира и прогресса во всем мире.

Вот уже более двух месяцев идет девятая пятилетка. Велики ее задачи, осуществление которых далеко продвинет наше социалистическое общество по пути строительства коммунизма. Производство промышленной продукции, как это намечено проектом Директив XXIV съезда КПСС, должно возрасти за пятилетие на 42—46 процентов, среднегодовой объем производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с предшествующим пятилетним планом должен быть увеличен на 20—22 процента. Благодаря возросшим возможностям нашего общества, не-

престанной заботе партии о благе народа в наступившей пятилетке в легкую промышленность государство вкладывает 8,8 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда в предыдущей пятилетке; в пищевую и мясо-молочную — 9,8 миллиарда рублей вместо прежних 6 миллиардов. Впервые в истории нашей советской экономики производство предметов потребления по среднегодовым темпам обгонит производство средств производства.

Выполнение намеченных планов потребует нового напряженного труда, роста профессиональной грамотности трудящихся, совершенствования организации производства. Ведь 87—90 процентов общего прироста промышленной продукции должны быть обеспечены за счет повышения производительности труда! Ответственные задачи выдвигает проект Директив перед всем нашим народом. Они — в центре всеобщего внимания. Всенародное обсуждение проекта Директив показывает, что намеченная партией программа развития народного хозяйства отвечает коренным интересам советских людей.

Коммунисты, все советские люди встречают XXIV партийный съезд с твердым убеждением в правильности линии нашей партии, еще теснее сплавиваются вокруг КПСС.

Советские писатели — активные участники коммунистического строительства, они с честью выполняют свой гражданский и патриотический долг, высоко несут звание художника нового типа. Того художника, который неизменно живет делами и заботами своего народа, активно участвует в формировании идейного и нравственного облика строителей коммунизма.

Да и может ли быть иначе! Неразрывная связь и единство интересов творческой интеллигенции с жизнью всего народа — это непреложный закон советской действительности. Благоприятствующая развитию художественного творчества обстановка укоренилась у нас благодаря постоянной заботе партии и народа о литературе и искусстве. Атмосфера спокойной уверенности в правоте нашего дела, зримые успехи в развитии социалистической государственности и социалистической демократии, мудрое руководство партии культурным строительством — вот истоки плодотворного труда нашей творческой интеллигенции.

Памятными событиями ознаменовались минувшие годы. Мы отметили полувековой юбилей Октября. Славное столетие со дня рождения В. И. Ленина. Четверть века Победы... Народ в эти годы жил по-особому богатой, интенсивной жизнью, и чуткая к людям советская литература живо откликалась на все знаменательное, все важное в народном бытии. Характерная черта нашего литературного опыта последних лет — обостренное чувство современности, сопряженное с исключительным вниманием писателей к художественной Лениниане, к историко-революционной тематике вообще. Советские литераторы вправе гордиться тем, что своим служением обществу немало сделали для выполнения ленинского завета о создании литературы, неразрывно связанной «с движением действительно передового и до конца революционного класса».

Эта связь с живым опытом рабочего класса, всего народа, глубокое овладение передовым мировоззрением нашего времени — марксизмом-ленинизмом — дают художнику возможность глубже вторгаться в жизнь, отображать действительность в революционном развитии, видеть подлинную правду жизни, ее ведущие тенденции. В этом заключается одно из основных требований завещанной нам Лениным партийности, глубокой народности искусства. Именно благодаря связи с народной жизнью, благодаря верности идеалам коммунизма советская литература создала духовные ценности, обогатившие мировое искусство.

Отмечая бесспорные и значительные достижения нашей литературы, советские люди вместе с тем предъявляют серьезный счет своим художникам слова. Ведь еще и сегодня встречаются писатели, равнодушно, пассивно созерцающие события, писатели, которые руководствуются при создании своих произведений единственно принципом «так в жизни бывает». Истинная правдивость в подобных случаях подменяется внешним правдоподобием, художник оказывается в плену случайно подсмотренного факта, утрачивает способность понять тенденцию развития, всю сложность борьбы старого и нового. Творческие просчеты в таких случаях справедливо расцениваются как просчеты идейно-художественного порядка, вновь и вновь встает вопрос об исключительной важности мировоззренческого фактора в художественном мышлении. Мировоззрение не есть нечто внешнее, обособленное, оно — сам воздух художественного творчества. Именно в силу этой органической связи мировоззрения и творчества любой идейный просчет оборачивается просчетом художественным, грозит отступлением от жизненной правды, а то и искажением ее.

Все значительнее встает перед художником сегодня проблема героя наших дней. Сложность здесь predetermined нелегкой задачей, требующей от писателя глубоко вникать в суть явлений, «разгадывать» наблюдаемые характеры, поступки людей, понимать их связь с жизнью общества. Читатель хочет видеть в положительном герое образец для подражания, личность, обладающую ярко выраженными чертами героического характера, видеть его человеком живым и полнокровным, не только решительно действующим, но глубоко размышляющим о содержании и смысле своих поступков. Читатель хочет больше знать о переживаниях героя, его чувствах, привязанностях. Стоит ли говорить, как важно в этой связи для художника, создающего образ современника и эпохи, добиться органического синтеза жизненных наблюдений и больших социальных обобщений.

Проблема героя наших дней — философская проблема, тесно связанная с характером отношений личности и общества. Творчество художника — это живые картины и образы, и тем не менее они имеют значение широкого социального обобщения. Обобщение же немислимо без глубокого познания действительности в ее социальной динамике, без конкретно-исторического подхода к любым ее проявлениям и процессам, без четкости идейно-художественных критериев, ясности классово-позиции художника и — подчеркиваем это особо — высокой эстетической взыскательности.

Искусство социалистического реализма проникнуто пафосом борьбы за построение новой, коммунистической действительности. Речь идет об умении художника отразить пафос и драматизм схватки нового со старым, об умении ясно видеть это новое, развивающееся, пробуждать в людях внимание к нему. В резолюции XXIII съезда КПСС сказано: «Партия ожидает от творческих работников новых значительных произведений, которые покоряли бы глубиной и правдивостью отображения жизни, силой идейного пафоса, высоким художественным мастерством, активно помогали бы формированию духовного облика строителя коммунизма, воспитывали в советских людях высокие моральные качества, преданность коммунистическим идеалам, чувство гражданственности, советского патриотизма и социалистического интернационализма».

Всякому ясно, сколь ответственна подобная задача. Она связана с проникновением в самую сущность современного общественного развития, в характер его противоречий. Действительность все усложняется по мере нашего движения вперед, жизнь на каждом шагу порождает новые отношения между людьми. Их духовный мир становится все бога-

че. Встают новые проблемы, возникают новые противоречия. Они требуют глубокого исследования — и научного и художественного. В нашей жизни встречается еще и чуждое социализму, уродливое, подчас враждебное человеку, — в процессе преодоления всего этого возникает немало острейших конфликтов. А сколько трудного, драматического связано с поисками новых решений, с противоречиями роста! Правдивое отображение жизни искусством не может не учитывать всей этой сложности нашего развития. Оно должно помочь людям понять природу противоречий, способствуя тем самым духовному росту народа.

Революционный пафос искусства — не в создании идиллических картинок, не в искусственном бодрячестве, а в правдивом отражении жизни. Этот пафос — в активном содействии росту и победе всего передового, в активном утверждении коммунистической нравственности, в критике всякого рода отрицательных явлений в нашей жизни. И здесь мы опять-таки обращаемся к вопросу о том, сколь важна мировоззренческая основа художественного творчества для глубокого понимания исторического смысла происходящего, для умения тонко чувствовать новое в жизни и судьбах людей. Стоит напомнить классическое высказывание А. М. Горького, имеющее прямое отношение к вопросу о роли мировоззрения в творчестве художника. «Чем шире социальный опыт литератора, — писал он, — тем выше его точка зрения, тем более широк его интеллектуальный кругозор, тем виднее ему, что с чем соприкасается на земле и каковы взаимодействия этих сближений, соприкосновений. Научный социализм создал для нас высочайшее интеллектуальное плоскогорье, с которого отчетливо видно прошлое и указан прямой и единственный путь в будущее, путь из «царства необходимости в царство свободы».

Принцип партийности художественного творчества необходимо предполагает совокупность, неразрывность и тесную взаимообусловленность политического, идеологического и эстетического факторов. Иными словами, он предопределяет не только направленность творчества художника, но требует и художественного совершенства, то есть диалектического единства формы и содержания как непреложного условия яркого художественного воплощения высокой идеи. Во вступительном слове на последнем писательском съезде Константин Федин убедительно заметил, в какой тупик может завести писателя идея об автономности двух начал — содержания и формы. «В молоке тумана, — говорил он, — ищут путей порознь — форма, надеясь только на просветы технологии, содержание, уповая единственно на свет философии».

О принципе партийности в судьбе искусства можно и больше сказать — он, этот принцип, в немалой степени предопределяет сам выбор художником объекта творческого отображения. Здесь нет и не может быть никакой рецептуры, вопрос бесконечно сложен и требует всесторонней разработки нашими эстетиками и искусствоведами. И тем не менее одно ясно: от идеологической позиции художника зависит его эмоциональная реакция на определенные тенденции и формы общественной жизни, художнический интерес к тем или иным ее проявлениям. Социалистический реализм, предполагающий отображение жизни во всем ее многообразии и развитии, не связан никакой формальной регламентацией. Однако весь его опыт позволяет сделать вывод о сфере преимущественного интереса художника, который руководствуется в своей деятельности передовым творческим методом. Отсюда и отчетливое наше представление о главных тематических направлениях советской литературы, и наше отрицательное отношение к стремлению некоторых художников выпячивать несущественные события и явления, заниматься преимущественно «окраинами» духовной жизни. Напомним, с какой тревогой говорили об этих и подобных явлениях в современном искус-

стве делегаты XXIII партийного съезда, какой искренней заботой об умножении героической, жизнеутверждающей традиции советской литературы были проникнуты их речи...

Являясь новым этапом в развитии реалистического искусства, реализм социалистический вбирает в себя все его богатство, его достижения. Он художественно открывает человека и в общественных связях, и в самых интимных проявлениях, он исследует большие социальные процессы, затрагивающие судьбы миллионов, и локальные по своему характеру бытовые конфликты. Предмет его художественного познания, без преувеличения, — весь мир. И при всем этом преимущественный интерес художника социалистического реализма предопределен задачей увидеть в таком жизненном многообразии наиболее важное в общественном отношении, наиболее решающее для преобразования нашего общества на коммунистических началах, для живого творчества масс. Понимание художником того, как конкретно выражаются ведущие тенденции развития, осознание логики истории в эстетическом плане — один из существеннейших аспектов принципа партийности.

Коммунистическое строительство выдвигает перед советскими писателями важнейшую задачу художественного исследования темы труда, творческого созидания во всей его сложности. Вдумчивому художнику здесь открываются богатые возможности для изучения жизни рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции, для понимания социальных, нравственных и психологических аспектов современной научно-технической революции.

По-особому ответственна в этом смысле тема рабочего класса. Рабочий класс при социализме — не только главный производитель материальных благ, но и могучая движущая сила социального, научно-технического прогресса. В современном облике этого класса наиболее отчетливо видны основные общественно-политические черты советского общества, его перспективы. Это еще больше повышает его руководящую роль во всех сферах нашей жизни.

Глубокого художественного осмысления ждут животрепещущие проблемы деревни, духовный мир ее людей, удивительно самобытный, глубоко озаренный социалистическими преобразованиями. Ждет серьезного внимания художников и многосложная, небывало яркая жизнь современной интеллигенции. Как о насущном, читатель мечтает о новых произведениях, отражающих ведущую роль коммунистов в обществе, высокое чувство патриотизма советских людей, их беззаветную преданность Родине, их интернационализм. Ведь наши люди, члены великой семьи социалистического содружества народов, являются активными участниками ведущейся в мире непримиримой борьбы двух систем, двух мировоззрений.

Одной из важнейших задач искусства, литературной науки, публицистики является дальнейшая разработка проблем социалистического гуманизма как понятия классового, отражающего коренную заинтересованность передового класса в том, чтобы уничтожить бесчеловечные жизненные условия на земле, чтобы обеспечить развитие всего нравственно ценного в человеке. Социалистический гуманизм — это борьба за лучшую жизнь для трудового человека. Именно борьба, а не просто жалость, ни к чему не обязывающее сочувствие. Это гуманизм общественного героизма и революционного переустройства мира. Именно в этом смысле Маркс рассматривал коммунизм как «становление практического гуманизма».

Обращение писателя к проблеме гуманизма, художественное исследование таких нравственных категорий, как долг, патриотизм, готовность к подвигу, гражданственность и принципиальность, неразрывно связаны с твердым и последовательным проведением классовой линии

в творческих вопросах. Как никогда, обострилась ныне идеологическая борьба в мире, политические диверсии империализма в наши дни приобрели небывало изощренный и многообразный характер. «Ловцы душ» из-за рубежа идут на все, чтобы заронить в сознание художника семена аполитичности и беспринципности, растлить его идейно, обработать в антисоветском, антисоциалистическом духе. Тем острее должна быть наша идеологическая бдительность! Здесь непростительна и малейшая уступка классовому врагу, даже тень либерализма; время требует от советских писателей личной практической активности в борьбе против чуждых социализму нравов и взглядов, в борьбе за идейную чистоту нашего искусства.

На творческих дискуссиях, в ходе споров и обсуждений мы часто слышим суждения о гражданственности, гражданской позиции художника. Стоит глубоко задуматься над этим понятием, над тем, какие стороны партийности оно отражает и подчеркивает. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, напоминает нам В. И. Ленин. Речь идет, конечно, не о механическом диктате общества, тем более в такой тончайше-эмоциональной сфере духовного творчества, как искусство, литература. Подобный диктат принципиально чужд нашему строю. Суть дела в том, что наше общество едино в устремлении своих граждан — активных участников строительства коммунизма. При всей индивидуальности художник не ограничивает своего «я» от мира других, не замыкается в самом себе, он убежденно связывает свою судьбу с судьбой миллионов сограждан. Определяющим в его гражданской позиции являются внутренне осознанные потребности члена общества. Только в служении коллективу собственная творческая деятельность художника возводит его на высоту полноправного гражданина, сознательно и равно с другими ответственного за общественные дела! Такого рода ответственность перед обществом способствует развитию творческой активности художника, помогает ему отстаивать и обогащать лучшие демократические, революционные традиции искусства.

Коммунистическая партия создает все условия для расцвета советской литературы. Руководство со стороны партии творческая интеллигенция воспринимает как огромную помощь. Это руководство — образец ленинской партийности, вдумчивого использования ради блага общества объективных закономерностей культурного строительства в нашей стране. «Партия направляла и будет направлять деятельность творческих организаций и учреждений, оказывая им всемерную поддержку и помощь», — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIII съезду. Воспринимая помощь со стороны партии как предпосылку дальнейших успехов советской литературы, наши писатели в обращении IV съезда писателей СССР к Центральному Комитету КПСС заявили, что они открыто, с гордостью называют советскую литературу партийной, ибо у нее нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, выражаемых нашей партией. «Мы называем нашу литературу партийной потому, что видим в политике партии наиболее полное воплощение заветных чаяний прогрессивного человечества. И мы говорим сегодня от имени всей нашей многонациональной литературы: «Выбрав своим идеалом коммунизм, мы будем верны ему до конца!»



АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

ДАЛЕКО ДО ОКЕАНА*

Поэма

С белорусского

СЛОВО ПЕРВОЕ

Закрывать не стану
Я тетрадь до срока.
Нет, до океана
Нам еще далеко.
Стелется под ноги
Молодости свиток
Ниткою дороги,
Сменой дней избытых.
Губы жжет с восхода
Жаркой жажды пламя,
Гонит сон работа,
Беспокоит память.
Нетерпенья ярость
Хлещет в хвост и в гриву,
Беспощадна старость
К юному порыву.
Все его пятнадцать
Тысяч суток круглых
Катятся, дымятся
На горячих углях.
Долгая дорога...
Точку ставить рано.
Нет!.. Еще далеко
Нам до океана.

ГОРОДОК

Тронут лунным инеем,
Над рекой притих
Городок, что именем
Не дается в стих;
Мстиславом, Амстиславом —
Как ни нареки,

* Начало см. «Новый мир», 1970, № 7.

Втискивай, не втискивай,
 Лезет из строки.
 Ну, как есть кавказская
 Горная пчела,
 Та, что лаз в парнасские
 Ульи не нашла.
 А ведь жаль!.. С пчелиного
 Мог бы хоботка
 Бард добыть былинного
 Меду для стиха.
 А когда бы к нам еще
 Из кромешной мглы
 Вышел он на Замчище,
 Глянул на валы
 Да на башни строгие,
 Где гремел набат, —
 Захлебнулся б строками,
 Словно ветром, бард.
 Дни воспел бы ратные,
 Где иной удел —
 Место незаштатное
 Город тот имел,
 Рвы, мосты подъемные —
 От лихой беды,
 Терема и темные
 Под землей ходы,
 По которым веснами
 Пробирался сам
 Князь на встречу с соснами,
 Напоказ борам.

Нас же вел не мрачными
 Норами подземными
 Город этот с башнями
 И валами древними.
 Вел он нас колонною,
 В одиночку, парами
 Улицей Червонною...
 Волновал не старыми
 Летописи буквами,
 Хроники узорами —
 Радиопобудками
 И электроторями.
 Зимними потемками
 Сквозь снега несметные
 Вел он нас с путевками
 В хаты беспросветные.
 Он не декларацию,
 А задачу времени
 Ставил —
 ликвидацию
 Вековечной темени,
 Той, где были б крестики
 Письменами нашими,
 Если б не воскресли мы,
 Если б злыдни княжили.

Город переменами
Полон невоспетыми:
Техникума стенами,
Техникум — поэтами.
Может, не по вкусу вам
Слово? Громко сказано?
Пусть!.. Оно не с музой,
А с эпохой связано.
Местные издания,
Залежи газетные
Шевельни — и давние
Строки их заветные
Хлынут в изобилии,
Оживая заново;
Запестрят фамилии
Василя Багряного,
Янки Бурепенного,
Михася Бессменного —
Жаждалось из тленного
Сердца искры высечь им...
Тысячи их, тысячи!
Выходцы из племени
Юного, весеннего
Ринулись из темени
К свету вдохновения.
Пусть хранят наивные
Строки молодняцкие¹
Тайники архивные —
Их могилы братские;
Пусть во тьме теряется
Тех стихов процессия...
Смысл, что в них скрывается,
Выше, чем поэзия.

Что за чудо чудное
Стать творцом печатного
Слова — пусть прибудного,
Пусть не очень внятного;
Пусть оно вчера еще
Примелькалось лысиной —
Ходит начинающий
С ним, как с торбой писаной.
И его на травушке
Под кустом черемухи
Он читает Клавушке...
И, прощая промахи,
Та с восторгом слушает
Строчки неумелого
Пастуха из Грушина,
Кастуся Ременного.
Дружит, зная, недаром он
С лучшими поэтами —
Городишка старого
Новыми приметами.

¹ «Молодняк» — массовая литературная организация в Белоруссии двадцатых — начала тридцатых годов.

Юлий Гомон!..

Этого

Эпика и лирика
 Знала как отпегого
 Нелюдима-схимника
 Городская улица...
 Узнаешь мечтателя!
 Как монах сутулится,
 К миру невнимателен.
 Что ему обочины
 С разными искусствами?
 Ходит, озабоченный
 Разговором с музами.
 Голова опущена,
 Воротник расхристанный,
 Губы, как у Пушкина,—
 Продолжатель истинный.

Яркие, заметные
 Галстуки и запонки —
 Вот штрихи портретные
 Дмитрока Притапенки.
 Этот лирик, стежками
 Потайными рыская,
 Скачет за девчонками
 Рысью. Кровь ордынская!
 Лик — раскосой башнею,
 Глаз бойницы колются.
 Он имеет с важною
 Надписью от Коласа
 Книжку. Без сомнения,
 Было б грех — народному —
 Дать благословение
 Рифмачу негодному.

Третий из читателей
 Кастуся Ременного
 Парень был мечтательный,
 Дара несомненного,
 Как считала Клавушка.

Эх ты, слава, славушка!
 Я, тобой услышанный,
 В ряд поставлен с лучшими
 Трубачами с Минщины,
 Полотчины, Слутчины.
 Может быть, с журнальною
 Годовою подпискою
 В глушь домчится дальнюю
 Стих, Дудой подписанный.
 Хоть он скуп деталями,
 Хоть не блещет искрами,
 Гранями хрустальными,
 Знай, стреха неблизкая,—
 Он тобою выращен,
 Выхлестан лещиною,
 Зачарован игрищем,
 Закопчен лучиною!..

ПАРИЖ И ВЕРСАЛЬ

Над Вихрой прозрачной
Городок далекий,
Сам собой невзрачный,
Да размах широкий.
Он назвал, не скрою,
Выдумкой богатый,
Может и нескромно,
Наши интернаты:
Стал один — Парижем,
А другой — Версалем.
Не в ущерб престижу,
Что они снискали,
Он их полноправной
Волею законной
Разместил на главной
Улице Червонной.
Улица, как слава,
Флагами алела:
Сам Версаль — направо,
Сам Париж — налево.
Ну, а что до Сены —
Поищи по свету!
Лучше ей замены,
Чем Вихра, и нету.
Чистая, что око,
Плещет работяга,
Моет грунт глубоко,
Чище Сены всякой.
Щуки в ней несчетно
И плотвицы — сила!
Сколько б безработных
Парижан кормила.
Им бы манной с неба
Показалась рыбка —
Кризис там свирепый
И стихия рынка.
Этак рассуждали
Мудро я и Клава,
Что жила в Версале —
Том, что был направо.
Выбор тем бессчетный
В беспредельных далях,—
Мы ж как бы зачеты
В очередь сдавали.

Над заснувшим городком
Сонмы звезд теснятся...
Тротуар дощатый... Дом
С номером шестнадцать.
Так и вижу наперед —
На пороге дома
Рта открыть мне не дает
Строгий Юлька Гомон.
Что, мол, по боку стило,
Рифмы и размеры,

Сам, как будто помело,
 Подметаешь скверы?
 Не останься без порток —
 Глупая забава.
 А Притапенко Дмитрок
 Поглядит лукаво.
 Ты б, мол, зря не огорчал
 Юльку, в самом деле,
 А свиданья назначал
 На святой неделе.
 Ты и вправду чумовой —
 Позабыл некстати,
 Что из Минска мы домой
 Нынче в ночь прикатим.
 Позабыл про наш вояж —
 Странная повадка!
 А ведь с нами и твоя ж
 Ездил тетрадка!
 Дом!.. Сердечной дружбы дар,
 Гомон и Притапенко.

Дом... Легла на тротуар
 Яркая проталинка.
 Это светится окно...
 Тучей папиросною
 В нем друзей заволокло
 С их беседой позднею.

— Как дела?
 — На все на сто...
 — Есть добытки ценные...
 — Что ни двери, что ни стол —
 Скупщики отменные.
 — Погоди-ка, а итог?
 — Сам Хадыка¹ нас, браток,
 Принимал накоротке.
 — А каков Хадыка?
 — Белобрысый, трость в руке,
 Чутьочку заика.
 Не цеплялся к пустякам,
 А единым росчерком
 Он дорогу дал стихам,
 Отослал наборщикам.
 В том числе твои, Дуда...
 Есть, сказал, живинка.
 Только вот — одна беда,
 С подписью заминка.
 Издавал бы под своим,
 Рвал бы, мол, с забавами.
 Пусть строка —
 не псевдоним —
 Пахнет теми травами.
 Так не только, брат, на твой
 Счет сурово сказано.
 — Упрекал нас, что с землей

¹ В. Хадыка — известный белорусский советский поэт тридцатых годов.

Связи не завязано;
Говорил, порой у нас
Стих — как пепла тленье,
Меньше б в нем — горелых фраз,
Больше бы — горенья.
Грей, сказал, былинку —
Строчки стебель тоненький,
Добывай живинку,
Режь —
 сорняк риторики.

Городок далекий,
Юности пенаты.
Он размах широкий
Дал мечте крылатой.

Сердце закаляли,
Высоко испаривши,
Кто — в своем Версале,
Кто — в своем Париже.

С интернатской койки,
Из любимой книжки
Мы Париж далекий
Видели, как с вышки.

По его кварталам
Наших дум отряды
Пронесли алый
Стяг на баррикады.

Там взошло зарею,
Манифеста словом
Дело, за какое
Мы на смерть готовы,—

Что порою вешней
Под зарею юной
Стало нашей песней,
Мы — его Коммуной.

Дом шестнадцать... По ночам
Свет горит нескучно.
Та же тема: как друзьям
С жизнью связь нащупать?
К маме в школу их с собой
Взял бы я на лето,
Только где тут связь с землей,
Нового примета?

Угол есть, что я своим
Верным сердцем слушаю,
Где напет мой псевдоним
Дудкою пастушьейю.
Там есть хата, где я рос
Под стрехой замшелюю.

Я ведь с ней три года врозь
 Прожил — вечность целую.
 Торопливые года
 Мчатся, не воротятся...
 И понятно, что туда
 Снова сердце просится.

С жизнью связь такая
 Подойдет, поди-ка...
 Землю предлагаю
 Хлопцам, как Хадька:
 — Жить нам без порухи,
 Быть вам дударями,
 Пусть едят вас мухи,
 Мухи с комарами!
 Добывать вам опыт,
 Пить вам из ведёрца,
 Не олады лопать,
 Спать где доведется.
 Ноги окровавим
 Там о ребра леса,
 Стеклами в канаве,
 Камнем и железом.
 Вкус такой житухи
 Хлопцы знают сами:
 — Пусть едят нас мухи,
 Мухи с комарами!

Пыльный шлях, как свиток, лег
 Полею, лесом, кручею.
 Путь один трем парам ног
 Выпало раскручивать.
 Докатился гул глухой —
 Молнией слепящею
 Где-то лес сечет сухой,
 Пыль метет над пашнею.
 Как поэт¹ сказал бы нам:
 Голые и босые
 Танцевали тучи там —
 Девки чернокосые.

СМОТРИНЫ

Перешли три пары ног
 Мост...

Тропой надежной
 Вышел к детству на порог
 Возраст молодежный.
 На завалинку присел,
 Ковырнул песочек,
 Будто выкопать хотел
 Золотой следочек.
 И к польни голубой

¹ Строки из стихотворения В. Хадьки.

Тихо наклонился,
Духу горечи былой
Молча причастился.
Возле двери отдохнул...
И, с собою сладивши,
Перед хатой с глаз смахнул
След неожиданной слабости.

У кустов дорожный прах
Путники стряхнули
С пиджаков своих. И — трах!
В речку сиганули.
Из воды, как новые,
Вылезли, готовые
На осмотр земли
Той, куда пришли.
Ты за стол, Тодоровна,
Приглашай людей —
Пер пешком из города
Дружный наш лицей!

Вот и мост, где ныне
Будет, как известно,
Встреча по причине
Нашего приезда.
Вечеринка будет
На его платформе;
Людная — по сути,
Звонкая — по форме.

Форму — на баяне
Исполняют с жаром,
Ну, а содержанье
Есть у каждой пары.
Знал я всех в округе
По подворьям смежным,
По одной дерюге,
По кострам ночлежным,
По несчастью, счастью...
Как в былую пору,
Мне смеется Настя,
Тычет в бок Ходора.
С Павлом и Якубом
Занят разговором.
Мост нам служит клубом,
Как в былую пору.
Клубом у излуки,
Клубом под ветрами...
Пусть едят нас мухи,
Мухи с комарами!

Не мастак в танцульках,
Деликатным тоном
Скромный Гомон Юлька
Говорил с Антоном.
Хоть для тракториста,

Плясуна лихого
 В интервью том смысла
 Не было большого,
 Но ведь — гости! И как там
 Утерпеть ни тяжко,
 Отвечает с тактом,
 Как посев, как вспашка,
 Сложно ль непокорным
 Управлять «Монархом»¹.

А Дмитрок проворный —
 Тот не слыл монахом.
 Изучал Ходоры
 Строгие детали
 С опытом, который
 Танцы позволяли.
 А она, как знала,
 На колени села.
 — Ночью, — зашептала, —
 Приходи на сено.

Пусть не искушает
 Это приглашенье
 Тем, что обещает
 Ночь иль две на сене.
 Просто в здешнем месте
 Был такой обычай,
 И ничем он чести
 Не грозил девичьей.
 Был девчатам нашим
 Только тот и нужен,
 Кто мог быть им стражем,
 Кто мог стать их мужем.
 Ну, а тот, кто слишком
 До девчат охочий,
 Лестницею с вышки
 Мигом загрохочет.

Гулким клубом, под каким
 Речка, словно стеклышко,
 Да под дубом вековым,
 Где укрылось гнездышко,
 Школьным парком, через гай
 Дружелюбный пес Дунай
 Вел моих приятелей —
 Молодых писателей.
 Здесь полмесяца одним
 Днем веселым прожито.
 Здесь всего хватало им —
 Нагостились досыта.
 Одаряли, не скупясь,
 Их поля просторные.
 Вечер потчевал их всласть
 Песнею Тодоровны.
 Той, что реченькой течет,

¹ «Монарх» — марка трактора.

Под ракитой плещется.
Ночка — сеном, а еще —
Чтоб ей треснуть! — лестницей.
На весь век, а не на год,
Хватит хлопцам трапезы.
Словно жбан вина — блокнот
Распирают записи.
Тем добытых целина
Забушает по ветру!
Вон — пыхнув дымком, одна
Вышла в поле поутру.
Вон — вторая вслед за той
Повела бороздочку,
Вместе с дедовской межой
Подняла полосочку.
Кто-то там, держа штурвал,
Кличет с поля хлебного:
— Приезжай на сеновал,
Дмитрочок! Не гребовай!
Это крошки со стола
Шустрая Ходорочка,
Как сорока, разнесла
По своим задворочкам.
Пусть потешатся — не страх!
Смех девичьих выщечек
Не заглохнет во дворах
Их блокнотных книжечек.

Я — рукой, хвостом — Дунай,
Стоя под сосенкою,
Помахали им. Прощай,
Час гощенья звонкого.
Вот и лес поймал их шаг
Щупальцами голыми,
И пошел звенеть в ушах
Он — кукушки голосом.
Пожелал он всей душой
Ото всей окрестности
Долгих верст — дороге той,
Записям — известности.

Годы беспечальные
Прочили березоньки...
Долгие, прощальные
Бились в сердце отзвуки.
А они не ведали,
Что в годах, им выпавших,
Жизнь их скрутит бедами,
Впишет в книгу выбывших,—
Не печатным столбиком,
Памятной отметкою,
А песчаным холмиком,
Безымянной веткою,
Что навек отпущены
Им под сенью зыбкою —
Не судом кукушкиным,
Не ее ошибкою.

С Л О В О В Т О Р О Е

У кого — не краткий век,
 У кого — комета.
 Человеку человек
 Друг — не шутка это.
 Канул друг за окоем
 Искрою мгновенной —
 Загорись его огнем,
 Стань звездой нетленной.
 А как следом за одной
 Искрою — вторая..
 Пусть горит звездой двойной
 Верность, не сгорая.

Отыщи тот уголок
 Ты в краю бесплодном,
 Где упал их уголек,
 Камнем став холодным.
 Жалкий прах с него стереть
 Не забудь тогда ты,
 Чтоб навек запечатлеть
 Краткой жизни даты.
 А не сыщешь, где покой
 Обрели бессрочный, —
 Забери под камень свой
 Ты их в час урочный.
 Рядом с именем своим
 На одном граните
 Место ты оставь и им..
 Только так дружите!

КНЯЖНА

Скоро времечко летит..
 Новая работа
 Так и тянет, как магнит,
 Нас в свои ворота.
 Сколько их, друзей былых,
 Что, роясь, как пчелы,
 Отгудели здесь в родных
 Стенах нашей школы!
 Каждый рвался в даль дорог
 С мыслью, чтоб сюда еще
 На ее ступить порог
 Человеком знающим.
 Глянуть вновь на старый дом,
 Где, сменив панов, она
 Революции пером
 С первых дней основана.
 Что колонны? Целы?.. Так!..
 Хороши подпоры в ней!

После — двинуть через парк
 Прямоком к Тодоровне.
 С ней мы жили под стрехой
 Общей, нам назначенной,

Столовались там одной
 Небогатой складчиной.
 Кухни скромный уголок
 С отсветами ранними
 Полон, словно чугунок,
 Всклень воспоминаньями.
 За минувшие года
 Не одна, заветная,
 Побывала здесь мечта...

Кухонька приветная
 Гостя вновь усадит есть,
 А хозяйка — рядышком.
 Письма спросишь.
 Письма? Есть!
 Вынет из укладочки
 Штемпелеванный конверт,
 Дружбою дарованный...

Получаешь ты в ответ
 Тот листок линованный,
 Радость ту — что нет цены,
 Нету ей названия...

Так, волнуясь, от Княжны
 Я читал послания.
 Штамп почтовый — Ленинград.
 Поделиться новостью
 Отправитель с вами рад —
 Сдал зачеты полностью.
 Поступил он в комсомол —
 Черточка не лишняя...
 Вот — отправленный зимой —
 Лист... прогулка лыжная.
 Вот — весенний... культпоход...
 Выход на субботники...
 Минет год — и ей черед
 В школьные работники.
 День за днем, за вестью весть
 В письмах сообщается...
 Дальше, дальше... так и есть! —
 Обо мне справляется.
 Обещается Княжна
 (Новость, и немалая!),
 Что к Тодоровне она
 Вскорости пожалует.

Дни летят, как дым костра,
 А ее все нету...

 Что ж? Коль так —
 сама гора
 Двинет к Магомету!

То селеньице Князи
 Ближе, чем Австралия.

Встречу дядьку: — Подвези
Поля магистральями!
А не встречу — не беда!
Горевать не буду я!
Первый мой рубеж — вода
С мельничной запрудой.
Море ржи перегребешь,
Что под ветром пенится,
Ну, а там леском дойдешь
Прямо до селеньца.
Доберешься за полдня
Смело — так кумекаю! —
Без попутного коня
С дядькой и телегою.

Шаг умерь. С дороги слазь.
Проходи деревнею.
Что ни хата, то и князь
С родословной древнею.
Савка Князь — всю жизнь коня
Не имел желанного,
Князь Андрей, его родня, —
Стебля конопляного.
Князь Кузьма — ни швец, ни жнец —
Знаменитый дудочник.
А Княжны моей отец
Лесником был тутошним.
Не был князем Князь Тарас
Даже в сновидении,
Ну, а дочь его звалась
Сашей — от рождения.

Так встречайте же меня
Шумом, лес и мельница!
В одиночку нынче я
Выбраться намерился
На побывку в новый свет,
В полосу бессонную!

А навстречу Магомет —
Сам своей персоною.
Так сошлись среди двора
Раннею порою
Магомет с горой, гора
С ним, мечта — с мечтою.
Лишь на краткий миг сплестись
Руки не решались...

Как друзья мы обнялись,
А поцеловались
От нежданности такой
Так, что аж подернуло
Краской окна хаты той...

— Что она, Тодоровна?
— Караулит старый сад,
Тот, что третий год подряд
Арендует Ленинград...
Спелых яблок горы там!

Может, сходим поглядим?
 — Погоди-ка. Я не к ним,
 Я к тебе с визитом —
 Где леском, где житом...
 Что дивишься?..

Как Дуда
 Навещал с друзьями
 Сень родимого гнезда,
 Слышно за борами.
 Просто зависть забрала —
 До чего же здорово!

Появилась, позвала
 Нас к столу Тодоровна.
 Чем кормить нас, чем поить? —
 Носится чумная.
 Где нас вместе усадить,
 Уложить — не знает.
 Наплывает ночи тень...
 Стелют руки быстрые
 На двоих одну постель,
 Как водилось исстари.
 Только тут ведь — выбор наш.
 Нам под небом звездным
 По душе как раз шалаш
 В том саду колхозном.
 Самолично Ленинград
 Хочет в ночь такую
 Сторожить со мною сад,
 Тот, что арендует.

При ночлежном костерке
 Давними друзьями
 С ней сидим — щека к щеке.
 Кружатся над нами
 Искры, падая в кусты...
 — А скажи-ка, помнишь ты
 Песню о криниченьке,
 Что хлопец копал
 С грустью о девчиночке,
 Что любил — не взял?..
 — Как забыть? Не стерся след.
 Помню. Жито, сосны...
 С песней той тебя мы в свет
 Провожали взрослый.
 — Восемь было вас в тот час...
 — Ты была одна...
 — Так и звали люди нас —
 Восемь и одна.
 Вы тревожились тогда,
 Что разлука навсегда,
 Что — лишь выйду в свет чужой —
 Поминай как звали...
 — Нет, не этот был настрой —
 Счастья мы желали!
 — Не криви душой, Дуда,

Были в ту минуту
Ваши слезы — не вода.
Я их не забуду
До останешнего дня,
До черты конечной...
Не тревожься за меня,
Спутник мой сердечный.
Я все та же, погляди,
Я такой осталась...

И она к моей груди
Жарким лбом прижалась.
А во всей вселенной тишь —
С полюса до полюса.
Я молчу. Притих, как мышь, —
Шевельнуться боязно.
— Мир тот взрослый... Пальца в рот
Не клади — покаешься!
Мы ж с тобой — иной народ,
Мы с тобой пока еще
Не забыли школьных лет.
Говоря по совести,
Хорошо с тобою! Нет
Ни тревог, ни горести.
Я такая, как была,
Я другой не стала,
Я, как друг, к тебе пришла...
Вот и все сказала!

Вышли утренней порой
Днем святой недели.
Возле мельницы
с водой
Вместе пошумели.
Словно сон средь бела дня...
Потчевал малиной
Лес — ее, потом — меня
По дороге длинной.
Шел назад под шум ветвей
Снами теми ж самыми —
Говорило сердце с ней
Дятла телеграммами,
Отправляло по реке
Мельницы колесами,
Разносило вдалеке
Над ночными плесами.
Выходил далекий дом
На крылечко встретить их...

Зачерпни их, ночь, ковшом
Голубой Медведицы...
Наклони его:
пускай
С неба неоглядности
Льются, льются через край
Телеграммы радости!..

Гнал тем часом с посвистом
Август свой состав.

Сад примолкнул, поздним
Яблоком опав.
В ящиках с рассвета
Ленинград увез
Дорогое лето
Под конвоем ос.

ПИСЬМА

Через год меня в поход
Вновь позвало лето.

Жил я в Минске этот год
На правах поэта.
И друзья со мною там...
Как сказала б Клава:
Не сидится гусярам —
Эх ты, слава, слава!
Там, среди густых садов,
В переулке скромном
Приглянулся тихий кров
Гусярам бездомным.
Тротуар, хотя и был
Шатким и дощатым,
В перспективе выводил
К сборникам печатным.
В мир большой из тесных стен
Неотступно влек он
Жаждой вечных перемен,
Светом тысяч окон.
Шумный Минск, где шло житье
Со стихами рядом,
Переписку вел с ее
Людным Ленинградом.
Слышно было за любой
За ее строкою,
Как трепещет осень
 той
Летнею листвою.
Мне в метели и в мороз
Ветер нес почтовый
Грохот мельничных колес,
Аромат садовый.
А весной внезапно стих
Ветер тот —
 из сада
Не вручал листов своих
В руки адресата.
Не летел с почтовиком,
Не спешил, как прежде.
Отгремел весенний гром...
Писем нет — хоть режьте!
Сам про все ей написал,

Не тая секрета,
И обратный указал
Адрес.

Адрес лета.

Все там, словно год назад:
Школа, хата, речка, сад.
Вижу, ставши на порог,
Приглядевшись зорко,
Стол, конверта уголок
Под льняной скатеркой.

Прочитал.

А тем же днем,
Но не свадьбы ради,
Мне, Якубу с Павлюком,
Словно некогда в ночном,
Лес прием наладил.
Разложил он костерок
Под зеленой кровлей,
Нам яичницу испек
На своей жаровне.
Три пол-литра на тронх
Спрятал под колоду.
Мы, признаться, доз таких
Не пивали сроду.
Слушал дуб, нагнувши сук,
После первой склянки,
Что Якубу плел Павлюк
Про свои гулянки.
Каждый хвастал — смех и грех! —
Пред его ветвями,
Что, мол, трактор — лучше всех! —
Водит он полями.
Ну, а я?.. Как будто в рот
Я набрал водицы.
Хмель, наверно, не берет —
Не могу забыться.
Тут опять подносят мне...
После новой дозы
Закачались в вышине
Ласково березы.
Мне б теперь поговорить,
Пошуметь с борами,
Как тут весело гостить
Было с дударями,
Пусть бы вспомнил вечный дуб,
Как друзья встречаются.
Только Павел и Якуб
На глазах меняются.
Помрачнели братья враз —
Что им дуб замшелый,
Что им этот лес сейчас?
— Хата, брат, сгорела?
— Да... Пошла на дым с золой,
Еще дедом рублена.
— Хата, хаточка, грозой

Ты навек загублена.
 — Надвигается зима,
 Словно злая мачеха...
 — А ее нема, нема.
 Хата наша, хаточка!
 — Батька помер... С давних пор
 Все на нас возложено...
 — Хаты, хаты,— слышит бор,—
 Новой не заложено.
 Вторит эхо: как нам быть
 С погоревшей хатою...

Как им быть?

А как же быть
 Мне с моей утратою?

Так и есть. Пришла беда,
 Встала надо мною.
 «Ты не жди меня, Дуда,
 Это все — пустое...
 Навалился бурелом —
 Ветер жизни взрослой,
 Загудел по лесу гром,
 Задрожали сосны.
 Он тропинки встреч былых
 Завалил деревьями,
 Не пройти мне больше их
 С песнями душевными,
 Не уйти из пуши той...
 Жизнь — она поистине
 Не картошка, что с тобой
 Мы когда-то чистили...»
 Так вот. Что ж? Иди смелей!..

Ну, а я — дорожкой
 От дверей и до дверей
 Со своей картошкой.
 От светла и до светла
 С моего села...—
 Так сказал бы, каб пришла.
 ...И она пришла.

Тех же звезд ночная стыдь,
 Сад, шалаш тот самый...
 — Я пришла поговорить...
 — Ты ж выходишь замуж.
 Ты, наверно, с женихом
 Погостить на лето
 Прикатила в отчий дом?
 Правда?
 — Правда это.
 — Что тебе до моего
 Тихого причала?
 Как ты в этот свет с того
 Выход отыскала?
 Для чего опять ходить

Тропкою былою?
 — Чтoб меня не мог забыть
 Ты, простясь со мною.
 Стану я стареть, седой
 Стану, неказистой...
 Пусть! Но только бы не в той
 Не в криничке чистой.
 Я в глазах ее такой
 Молодой, как ныне,
 Быть хочу назло лихой
 Старящей судьбине.
 Чтo милей тебе: ряды
 Строчек с их гореньем
 Иль мое старенье?
 — Ты
 Со своим стареньем!
 — Быт, работа на семью,
 Как из жил — не так ли? —
 Жажду высушат твою
 Из чернил до капли.
 Станешь сам не мил себе,
 Как сгорит их сила...
 Нет! Огонь, что я тебе
 В душу заронила,
 Не гаси! Лети моей
 Птицей над землею!...

Так я долгих пять ночей
 Говорил с собою.
 То растет, как снежный ком,
 То горит, как рана,
 Эта боль, что мне с письмом
 Послана неожиданно.

Как я ждал ее!.. Не ждет
 Так голодный пицци!
 Ждал, что, может быть, исход
 Тем словам отыщет,
 Чтo в письме в прощальный час
 Высказать не смела.
 Неужели ей до нас
 Нету больше дела?
 А какая ей была
 В том забота, право?
 Ну, а я все ждал...

Пришла
 Не она. А Клава.

ТОЛОКА¹

Как по морю, в старый бор
 По ржаным увалам
 С ней доплыли...

Жги костер —

¹ Работа сообща в помощь кому-нибудь из односельчан.

Хворосту навалом.
И пока горят сучки
Дней, что пережиты,
На огонь несет пучки
Наливного жита
Клава.

Мы его едим
Прямо с пылу с жару.
Для меня с пряжмом своим
Гостя — как подарок.
На лице ее, у губ
Нивы след пахучий.
Я и сам, как черный дуб,
Что в воде под кручей.
Дуб мореный тот

пилой,
То сильнее, то тише,
Кто-то пилит под водой,
Но она не слышит.
Не утишила река,
Рожь не усыпила.

Видно, тут и толока
Пособить не в силах.
Видим мы, идя селом:
Новый дом добротный
Для Якуба с Павлюком
Ставят всенародно.
Суетится у крыльца
При пиле и рейке
Плотник Миныч — от лица
Сельской партячейки.
— Не гуляй, — кричит, — даешь! —
Мне и Клаве Миныч. —
Хоть приезжие, а все ж
Со значками КИМа.
Я вас знаю, вы народ,
Как и мы, завзятый.
Дело есть — громоотвод
Ставьте возле хаты.

Вот уж в клубе, под каким
Речка протекает,
Отмечает первый дым
Толока людская.

Заселив под кров семью —
Павлюка с Якубом, —
Глушит, глушит боль мою
Толока всем клубом.
Начинают земляки —
Я и гостя Клавочка —
Вальс под шепот толоки:
— Гляньте, что за парочка!
Где такую подцепил?
— Так и кружит павою!

В волнах вальса гордо плыл
Я с пригожей Клавою.
Вальс кружится все живей..
Две завистных звездочки
Колют нас из-под бровей
Шустренькой Ходорочки.
Смотрят искоса и вдруг,
Полыхнув пожарами,
Объявляют:
— Шире круг!
Поменяться парами! —
И меня своей волной
Мчит уже Ходорочка.
Шепчет мне: — Пойдем со мной..
Сена... сена... горочка.
Не тyani... Кончай-ка, друг,
С привозными чарами,
Наши — лучше..
Шире круг!
Поменяться парами!

Мост не под ударами
Бубна чуть не рушится —
Это под стожарами
В быстром танце кружатся
Дни, скрываясь за чертой,
За моей орбитой!..

Тише, молодость, постой
Вон за той ракитой,
Удаляться не спеши
Стежками садовыми
Ты за круг моей души
С шумными дубровами.
За собою дверь закрыть
Не спеши пока еще..
Стой! Еще на дне криниц
Светится твой камешек.
И еще под сень ветвей
Приглашает грушица.
Стой же!.. Память прежних дней
Толокой не глушится!

Нет, не стой! Ступай, не жди
Срока неизменного!
Вот и Клавочке идти
Время — за Ременного.
Не за дверь пойдет она,
Сгинет за увалами...

От меня моя весна
Вдаль уходит парами.
Отлетает навсегда
С яркими обновлениями,
С марками почтовыми —
В предстоящие года

С ликами суровыми.
 Вот и мне уж за собой
 Дверь закрыть не терпится.
 Погоди!.. Чуток постой
 Под ковшом Медведицы.
 Слышишь, слез горячий ком
 Прокатился горлом?..

Зачерпни их, ночь, ковшом —
 Небосводом черным.
 Зачерпни и наклони,
 Породни с землею!..
 Пусть из той земли они
 Прорастут лозою,
 Чтобы дудку из лозин
 Вырезала зрелость,
 Чтобы песня до седин
 Молодая пелась.
 В путь!

Оставив за спиной
 Свой рубеж тревожный,
 К зрелым дням уходит мой
 Возраст молодежный.

ПОГРАНИЧЬЕ

Камень, брошенный в реку
 С высоты приречной,
 Вдруг напомнит пареньку
 Возраст быстротечный.
 Может, канет в темень вод
 Камень? Нет! Кругами
 Став, беседу он ведет
 С речки берегами.
 Берег зрелости! Круты
 Дни, где труд всечастный
 Щедрой юности круги
 Всасывает властно.
 Очиняет карандаш
 Зрелость точным словом...

Собрала недаром наш
 Круг под минским кровом.
 Тех, кто кончил институт,
 За столы редакций
 Усадила: время тут
 Делом заниматься.
 Призван был под этот кров
 Волей перемены
 За один из тех столов
 И Кастусь Ременный.
 Для упорного труда,
 Не для брэнной славы...
 Переехал он сюда
 Не один, а с Клавой.

У него партийный стаж,
 Опыт — и в итоге
 Он теперь редактор наш —
 Не поспорю — строгий.
 Не скажу, чтоб этот стол
 Обнаружил слабость.
 Усмехался кое-кто —
 Что еще за лапоть
 Учит нас! Но год протек,
 И смекнули — так-то! —
 Хоть и лапоть — не сапог
 Новый был редактор.
 Видел глазом пастуха,
 Как пасется слово:
 Где зерно, а где труха,
 Где одна половина.

Зрелость!.. Кинулись и мы
 В дело без оглядки,
 Между тем как старый мир
 Трясся в лихорадке,
 Кризис тучей стал над ним...

Руки сжав от злобы,
 Толпы шли по мостовым
 Западной Европы.
 Мог любой увидеть сам
 С приграничных вышек,
 Как он гнал оттуда к нам
 Рук рабочих лишек.

Потолкаться мы спешим
 Ярмаркою этой,
 Предъявляя часовым
 Пропуск от газеты.

Над границей арки свод
 Буквами багрится.
 Лозунг:

Коммунизм сметет
 Все границы!

Улеглись гуртом под дуб,
 Примостились скопом
 С камнетесом лесоруб,
 Плотник с землекопом.
 Каждый с пилкой, с топором —
 Все оружие с ночи
 Приготовлено, чтоб днем
 Стать на пост рабочий,
 Поменять, как жизни строй,
 На спецовки — свитки.
 Люди шли на Днепрострой,
 На леса Магнитки.
 Вдруг смешался шум ветвей
 С шумом перебранки —

Затесался меж людей
Плотник из охранки.
Захотел подзашибить
Сыщик на Магнитке —
Получил, как должно быть,
В шею, под микитки.
Конвоир его сквозь лес
Провожал с припарки
На заставу,— чтоб не лез
Он под своды арки.

А под аркою — галдеж:
На конях веселых
Приезжает молодежь
К нам — учиться в школах.
А за нею вслед чуть свет
Той тропинкой торной
Перешел рубеж поэт
С ношей стихотворной.
Он пополнить в Минске рад
Опыт небогатый,
А потом нести назад
Стих — на баррикады,
Чтобы строчки палачам
Задали работку,
Чтоб в Лукишках по ночам
Стих пилил решетку,
Чтоб огонь летел сюда
Роем искр нетленным...

Ну, а если б нам туда,
А? Скажи, Ременный?

Первые экзамены
Зрелости сдавали мы.
Минск гремел вокзалами,
Минск звенел трамваями,
Пыльною брусчаткою,
Тесными проулками...

Пятилетки знатные
С улицами гулками
Обходили яркою
Спешкою строительной
Город, что под аркою
Жил заставой бдительной.
Не был знаменитыми
Славен он порогами,
Ни горой, набитою
Доверху породами.
Но и Минск, не залитый
Доменными зорями,
Жил, работой занятый —
Подвигом истории.
Жил не глухоманною
Жизнью, не тепличною,—
Нес он неустанную
Службу пограничную.

От границ товарные
 Эшелоны грузные
 Гнал он на ударные
 Стройки всесоюзные.
 Шел отсюда с посвистом
 Поезд с дипкурьерами...

Минск с метлою осени
 Брел своими скверами.
 Там под шелест тихого
 Ветерка мгновенного
 Выслушать мне выпало
 Исповедь Ременного.
 — Скверно,— молвил с горечью,—
 Жить в деревне дачником,
 А в столичном городе
 Вечным неудачником.
 Видно, брат, поэзия —
 Не моя профессия...
 — Брось,— сказал я,— надо ведь
 Твердо помнить заповедь:
 Вращивай былинку —
 Строчки стебель тоненький.
 — Знаю!.. Грей живинку,
 Режь сорняк риторики!
 Слыхивал. От Клавы.
 Но, как говорится,
 Тут не до забавы —
 Мне уж, брат, за тридцать.
 Даром Клава смелая
 На основе классовой
 Хочет из Ременного
 Вынянчить Некрасова.
 Руки есть, а создано
 Что? — вздыхает горестно... —
 Совестно!.. Особенно
 Перед веком совестно.
 Не с моими граблями
 Ковыряться с ямбами.

Вижу я Ременного
 Руки узловатые,
 Что могли б с отменной
 Силой обрабатывать
 Борозды гексаметров,
 Ритм сталеплавильщика,
 А в лукишской камере
 Выбить дух из сыщика.

Лезть мне к ним с советами
 совестно — поэтами
 Числимся, а, собственно,
 Что же нами создано?

Что на откровение
 Кастуся Ременного
 Мне сказать?

Осеннего
Листопада тленного
Там следы оставлены,
Где на зрелость лавочка
Приняла экзамены...

Эх ты, слава, славушка!

РЕМЕННЫЙ

Отбыла свой срок зима
На столичном сквере.
В голый сад весна сама
Открывает двери.
И, как руки, распростав
Мокрые акации,
Зачисляет нас в состав
Выездной редакции.

Неразлучен наш кружок —
Юлий Гомон, я, Дмитрок...
Едем, призваны весной,
Выездной компанией
Мы на встречу с боевой
Посевной кампанией.

Журналистская артель
Поспешает трактами.
Слякоть, снег, дождливый день —
С неполадок фактами.
Каждый факт — зацепка нам
В битве с днями хмурыми.
Факт, как хлеб, — на зуб стихам
Под карикатурами.
Людный сход. Гудит народ:
На штыке — негодники!
Ну, а мы?.. А мы в поход
Снова, как отходники.
Холод, голод, поле, лес,
Школы, клубы, МТС.
Под дождей глухой напев
Грязь ногами месится.
Затянулся нынче сев
Не на дни, на месяцы.
Мы под свой вернулись кров,
Как с войны —

солдатами.

.....
Мостовые городов
Век топтал парадными.

Возле стен Мадрида,
Под Гвадалахарой
Грозная коррида...

Перли в злобе ярой
 Через смрад и трупы,
 Не щадя металла,
 Биться домны Круппа
 С домнами Урала.
 Выползала погань
 Из своих пределов.
 Пялилась эпоха
 В прорези прицелов.

Ветер века грозовой
 На столе блокнотами
 Шелестит... И нет со мной
 Хлопцев с их заботами.
 Не кукушкиным судом,
 Не ее ошибкою
 Разразился этот гром...

Где, в каком краю глухом,
 За какой развилкою —
 Их сердца?..

Лежу пластом
 В горестном безделье
 Между бдением и сном,
 Между сном и бдением.
 Скрыты занавесом век,
 Крутятся живые
 Кадры детства: поймы рек,
 Рощицы сквозные,
 Листьев рой, ржаной увал...
 Слышу неизменный
 Грохот поезда...

Прервал
 Тяжкий сон Ременный.
 Загремел, придвинув стол,
 Зазвенел стаканами.
 — Заболел?
 — Да нет, не то...
 Горе, брат, неожиданное.
 — Знаю. Горе.
 — Как бы нам
 Пособить, Кастусь, друзьям?
 — Выручал их. Как-никак
 И партийность давняя
 У меня, и сам — батрак...
 Да и хлопцы славные.
 — Провинились в чем?
 — Видать,
 Оговоры злостные.
 — Ну, а чьи?
 — Кто может знать?
 Дни настали грозные —
 Не весенний наш аврал
 С посевными грозами...

Лес всегда в движеньи.
 Ходит стезжкой торной
 Веток тень сквозная,
 Вдаль стремясь упорно,
 Поле засевая.
 Как и мы, веками
 Разрастаясь шумно,
 Лес вцепился в камень,
 Обживает гумна.
 Растеряв с годами
 Хватку, твердость, силу,
 Лес ложится с нами
 В общую могилу.
 Жадность дровосека,
 Смерти плотогоны
 Губят человека,
 Словно лес зеленый.
 Словно лес плотами
 В темную пучину,
 И людей рядами
 Войны гонят в спину.

Судьбы наши сходны,
 Обиход несхожий:
 Хоть не рослый род мы,
 Но не сосны все же.
 Нас не свалишь впокат
 Теми топорами,
 Что в крови по локоть
 Грохают борами.
 Для того — и зрелость,
 Для того — и братство,
 Для того — и смелость,
 Чтоб людьми остаться.
 Все, что непрестанно
 Мыслью обуянно,—
 Не для океана,
 Не для океана.

ПРИЗНАНИЕ

Средь событий, меж людей,
 Наравне с эпохой
 Труд ведет нас по своей
 Магистральной строгой.
 Слава медлит? — Не умерь
 Беспokoйной жажды,
 И придет признание, верь.
 Верь!..

И вот однажды
 Карандаш мой, что похвал
 Не знавал газетных,
 Из безвестности попал
 В список дел приметных.
 Обнаружилось тогда ж

Из хвалебных строчек,
Что нашел мой карандаш
Свой особый почерк.
Голос прессы в должный срок
Поддержало радио...
Как ты сам к себе ни строг,
А удача радует:
Сделан, стало быть, зачин
На пути искомом.
Но ведь это — только блин
Первый, что не комом.

Мне успеха полоса
Сквозь года немые
Возвращала адреса —
Голоса живые.
Первый отзыв на стихи,
Их читатель верный,
Мне прислал с Амур-реки
Человек военный.
Да. Кастусь Ременный.
Отгремел мадридских дней
Ураган жестокий.
Вместе с Клавою своей
Жил он на Востоке.

И еще пришел конверт.
Вскрыть иль нет?.. Неспешный,
Ровный почерк... Вскрыть иль нет?
От нее, конечно,
Весть! Обратный адрес есть!
Снова из бывшего
Юность мне прислала весть
С маркою почтовой.
Бьются все еще круги
Дней ее не серых
С тихим шорохом тоски
О песчаный берег.
Еду!.. Бьет в виски огонь
Так, что сладу нету,
Обожжешься — только тропь!

Еду, еду, еду!
Но не к ней спешу я, нет.
Колеею твердой
Тороплюсь на жгучий след
Своей грезы гордой.

Нет, не сгинул он в пыли,
На стерне, на поле,
Строчек след, что всем смогли
Обо мне напомнить.
Здесь упрямые слова
К свету прорастали.
Не забила их трава,
Не сожгли печали.
Бережет надречный клуб

Прожитого эхо,
 Не забыл и вечный дуб
 Молодого смеха,
 Верболоз — горячих слез,
 Горечи прощальной.
 Свой поклон им всем принес
 Я с дороги дальней.

К старой хате напрямиком
 Гаем поспешаю.
 Словно душу, двери в дом
 Настежь открываю.
 Нет Тодоровны.

Ушла,
 Кров родной забыла.
 Нет... Земля ее взяла
 И не отпустила.
 На погосте водружен
 Щедрой школьной складчиной
 Скромный камень — вечный сон
 Охранять назначенный.
 Не обиженная им,
 Так и спит с тех пор она
 Под нагробием немым
 С надписью —

Тодоровна.

Девять буковок всего
 На граните выбито:
 Ни словечка про того,
 Кто под ним, не выпытать.
 Граням камня — имена,
 Людям жизнь — дорожке.

Не один я здесь.

Она --

На поминках тоже.
 Не была та встреча с ней
 Для меня неожиданной.
 Знать, была утрата дней,
 Что под камнем спят, и ей
 Болью несказанной.

Мне поведала она,
 Что на Халхин-Голе
 Муж погиб... Живет одна —
 В той же самой школе.

Мимо сада мы идем
 С ней, как в дни былые.
 Разместились нынче в нем
 Сторожа другие.
 В тягость саду бремя лет,
 Что ни сук — подпора.
 Сад не вправе больше, нет,
 Нас для разговора
 Пригласить ни в ночь, ни в день...

Лес широким жестом
В тень зовет. Просторный пень
Предлагает место.
Разговор она ведет
С тишиной глубокой.
— Я не та, и ты не тот.
Замутился небосвод
Юности далекой.
Если б вновь с тобой прошла
Стежкой былою,
Если б встретиться смогла
Там сама с собою,
С бурной юностью моей,
Полной нетерпенья,—
На колени вместе с ней
Встала бы! Прощенья
Попросила бы за сад
Наш с тобой, не выжженный,
Мною восемь лет назад
Брошенный, обиженный.
Не суди!
— Ты не права,
Незачем виниться.
Что любовь отобрала —
Труд вернул сторицей.
Ты пришла... И вновь чуть свет
Ты уйдешь лесною
Тропкой. Память этих лет
Будет жить со мною
Год и два и двадцать пять...
— Ты мне не ответил
На письмо.
— А что опять
Могут дать нам эти
Письма? — здравствуй и прощай!
— Не спешим ли очень
Ставить крест?
— Уже не май.
— Но еще не осень.
Лето прежним костерком
Разве не приветит?
— Поздно. Сад отцвел. И гром
Смолк. И стихнул ветер.
Не избудем мы обид
В письмах, не схороним
За словами. В сад закрыт
Доступ посторонним.
Не вернешь былые дни,
Не начнешь сначала.
Я женился...
— Извини,
Этого не знала.
Я пойду. Прощай!
— Прощай.

Так уходит солнце...
Погоди, не исчезай,

Солнце, за сосенки,
 За шумящий рожью дол
 В бездну окоема.
 Это ложь, что сад отцвел!
 Перекаты грома
 Все слышны. Да как еще! —
 Над простором стылым,
 Над речушкой, что течет
 Следом за светилом.
 Ты помедли, обогрей,
 Солнце, край оврага,
 Отдохни в кругу ветвей
 На пороге мрака.
 Стой, свидания с тобой
 Больше не дождусь я.
 Стой! Не молкнет в сердце боль,
 А ему до устья
 Путь далекий по реке...
 Погоди ж чуточек,
 Задержись на тростнике,
 Завяжи платочек.

От меня ушла она
 По лесной дороге.
 А чуть свет — пришла война!
 Горе на пороге.
 И на запад шли за мост,
 Просквозив березы,
 Волоча свой дымный хвост,
 Наши бомбовозы.

С Л О В О Ч Е Т В Е Р Т О Е

Век свой человечество
 Метит не спокойными
 Метками младенчества,
 А увечья войнами.

Камень тот, что пращур
 Запустил пращою,
 Пулей стал разящей,
 Бойней мировой,
 Что муштрой прилежной
 Горло рвать обучена.

С привязи железной
 Свора танков спущена.
 А на полигоны,
 На фронты глобальные
 Бич дикарский гонит
 Армии тотальные,
 Гонит их пустынной,
 Мертвой территорией.

Люди со звериной
Бьются предысторией.
Чтоб из притяженья
Вырвать у пращи той
Своего творенья
Клад, трудом добытый.
Чтоб уйти от власти
Мертвой гравитации,
Что у пушек в пасти,
В бомбах авиации.
Чтоб в ее загробный
Мир с крестами клятыми
Изуверский, злобный
Строй — загнать лопатами,
Схоронить все зверство
За веков запорами!..

Чтоб ступить из детства
На порог истории!

СЛАВА

Ткется, ткется полотно
Дней на вечных кроснах.
Бой за боем. Не дано
Нам привала в соснах.
Карандаш снует, как ткач
На машине ткацкой,
Нитки бед и неудач,
Слезы вдов, сиротский плач
Над могилой братской.
Ткет избытый до конца
Горя срок нескорый —
От простых петлиц бойца
До звезды майора.
Ткет он приговор войне
Смертный, что отвага
Начертала на стене
Черного рейхстага.

Громкой славы карандаш
Не искал по свету —
Май привел ее в блиндаж
По живому следу
Дня Победы. Мирный май!
Как там, что ты, отчий край?
Погоди, приеду!
Вот он — мост. А вот и дом!
Вижу спозаранку:
Он с пожарища огнем
Выселен в землянку.
Скрыта зеленью ветвей,
Там живет невзгода.
Светят мне глаза детей
Из сырого входа,
Хлеба просят...

Нет, Дуда,
 Слава горше муки,
 Если к ней с земли беда
 Простирает руки.
 Не равна ни в чем она
 Радостной удаче.
 За спиной ее — война,
 Смерти лик незрячий.
 За утратой — перед ней
 Новая утрата:
 Черный пепел, что твоей
 Школой был когда-то.

Может слава (самый раз
 Тут прибавить к счету)
 Добрым делом в трудный час
 Пособить народу.
 К ней, замечу сверх того,
 Слабость у начальства,
 Особливо, как его
 Не тревожит часто.
 А тем боле, коль пришла
 По своей охоте.

Сам министр из-за стола
 Тут ко мне выходит.
 И, оказывая честь,
 Усадив поспешно,
 Выясняет:
 — Дело есть?
 — Дело есть, конечно.
 — Погоди. Тебе вручен
 Наш проект программы
 Школьной? Нет?.. В нее включен
 Стих твой... Ну... Тот самый.
 Хоть иные, знаешь сам,
 И смотрели косо...
 Если ты за этим к нам,
 Значит — нет вопроса!
 Утверждаем не на год
 Планы, как законы.
 Будь уверен!
 — Я насчет
 Здания для школы...

Перед нами на столе
 Чай дымит горячий.
 — Школа?
 — Да. В родном селе...
 — Трудная задача!
 С матерьялами зарез,
 Фондов маловато. —
 Помрачнел министр, как лес,
 Глянул виновато:
 — Сотни, сотни этих школ —
 Не осилишь с ходу.

Тут легло письмо на стол
С просьбой от народа.
Нам ведь тоже пальца в рот
Не клади — немалый
Довод сыщем:
— Нас народ
Не поймет, пожалуй!
— Гм... Ты думаешь? — Министр
Кашлянул в смущенье.
Заявленье сверху вниз,
Как стихотворенье,
Пробежал в единый миг
И бумагу эту
Положил поверх других:
— Все! Вопросы нету!
Ну и хват. Фронтовиком
Был. Берешь за горло!

Слава громкая тайком
Пот со лба утерла.

Школа будет! Шлют мне весть
Земляки про это.
Пишут мне, что гвозди есть,
Есть проект и смета.
Время строиться. А как?
Губит бездорожье.
Может, с транспортом земляк,
С кирпичом поможет?
По наряды в Могилев
Съездит, может? Что ж, готов!
Нам бы только клич трубы,
Отозваться рады.

Словно в пушу по грибы,
Еду по наряды.
У газеты самокат
Мной не для забавы,
А для дела напрокат
Взят — не ради славы.

В Могилеве, где с небес
Лился свет весенний,
Я вступил в открытый лес
Местных учреждений.
За полдня сумел наскресть
Там добра немножко;
Есть кирпич, и транспорт есть —
Целых два лукошка.

Солнце свой вело отсчет.
День кончал работу.
Тут я вспомнил меж забот
И свою заботу,
Что таилась до сих пор...
— Быхов? Можно в Быхов! —
Головой тряхнул шофер,

Подмигнул мне лихо.
И помчался по прямой
На свиданье с нею...
Да, ты прав, читатель мой! —
С Сашею моею.

Я б машину гнать не стал
В Быхов этот самый,
Если б в Минск он не прислал
Спешной телеграммы
И не вздумал нынче в пять
Телеграммой тою
Телефонный назначать
Разговор со мною.

Как флажками на постах,
Сосен лапы синие
Меряют путь на проводах
Телеграфной линии.
Тянут связь, чтоб мы вели
Разговоры новые.
И гудят, гудят стволы
Как столбы сосновые.
Прогремель под нами мост,
Днепр дохнул просторный.

Пять часов. Последний пост.
Пункт переговорный.
Ровно десять зим и лет
Этот голос снова
Ждал услышать абонент.

За порог почтовый,
В отшумевшее свое,
В прожитые годы
Я шагнул.

Узнал ее.

Только что ты, что ты
Силой властною, крутой,
Непреодолимой,
Время, сделало с мечтой,
Издавна хранимой!
Как ты, век, не уберег
Дорогое имя?

Ветер почты за порог
Сердце мое вымел,
Прислонил меня к стене,
Зашвырнул в кабину...
— Что, не встретили?
— Да нет...
— Нет! Гони машину!

Даром молодость зовет —
Цепью мы привязаны.
Нет Княжны моей! Живет
На земле —

Тарасовна.

Небо катится, кружится, светится,
 Поспевая за скоростью бешеной.
 Темной шалью лесов занавешена,
 Плачет в небе старуха Медведица.
 Льются слезы неслышно, непрошено,
 Льются, льются зеленые, синие
 На столбы, провода придорожные
 И на связях оборванных
 линии.

Где он край, Александра Тарасовна,
 Тот, куда нам вернуться заказано?

Где вы, рощицы в солнечных крапинках,
 Юлий Гомон, Княжна и Притапенко?

Льются горькие, льются соленые,
 Не ревнуя уже и не жалуясь,
 Лишь о солнце с лучами бессонными
 На земле обедневшей печалюсь.

Где за волнами шторма военного
 Спят полки командарма Ременного?

За какими хребтами Карпатскими
 Спит их детство под звездами братскими?

Льются жаркие, катятся холодные
 Затаенно в ночной непроглядности.
 Плачет, плачет пора безвозвратная
 Перед ликом своей безвозвратности.

БЕДА

Ехал я.

А мне вослед
 Мчал надземной трассой
 От Тарасовны пакет
 С болью ненапрасной.
 Боль о том, что отошел,
 Отлетел куда-то
 Час, что в прошлой жизни сплел
 Нас корнями сада:
 «Что сказать? Таков уж ход
 Жизни непреклонный.
 Нам былого не вернет
 Вызов телефонный.
 Но ведь так — короче связи!..
 Я не укоряю,
 Что она оборвалась...
 Ты любил, я знаю,
 Юность нашу — не меня.
 Но метель над нею
 Прошумела... Зябну я...
 Не хочу, не смею
 Даром душу бередить,

Да и смысла мало:
 Снова жизнь не пережить...
 О себе писала
 Я тебе в лихие дни
 Письма... Вспомнить горько —
 Не отосланы они.
 Вон лежит их горка,
 Словно листья после гроз...
 Я скажу короче:
 Меньше строчек в них, чем слез,
 Тех, что между строчек.
 Может, жалоба моя
 Неуместной будет.
 Целый свет

жил так, как я.

Только все ж мы люди.
 Как предстать перед тобой
 Мне с глазами хворыми,
 С головой, где лег густой
 Пепел крематория?
 Замела ее зима —
 Лагерная замять.
 Не хочу пугать сама
 Дорогую память.
 Я в глазах твоих такой,
 Как в саду когда-то,
 Быть хочу назло лихой
 Власти Бухенвальда.

Покидаю отчий край.
 Не взыщи, коль сказано
 Что-нибудь не так. Прощай
 Навсегда.

Тарасовна».

«Юность нашу — не мешая
 Ты любил».

Безмолвную
 В тех словах читаю я
 Правду... Но неполную.
 Верно, юность я любил!
 Только вспомнить надо —
 У нее ведь адрес был,
 Дом родной, куда ходил
 В гости я когда-то.
 Написал немало,
 Чтоб с другими вместе их
 Первой ты читала,
 Ты, мой друг!

Когда стеной
 Вал катился вражий,
 Ты стояла за спиной
 Неустанной стражей.
 В блиндаже сыром дрова
 Ты в огонь бросала,
 Жарким пламенем слова

В стужу зажигала.
Это ты моей рукой,
Ты, лесное диво,
На бумагу ратный строй
Строчек выводила.
Ты незримо моему
Делу пособляла.
А теперь? Писать кому,
Как писал бывало?

Где он, час былых тревог,
Поисков сердечных?
Кто придумать сказку мог,
Ложь о чувствах вечных?
Как я, сердцем чудака,
Верил тем поспешным,
Жалким клятвам паренька
При огне ночлежном?
Сгас огонь, засыпал снег
Жар его весенний.
Где он, след, где пепел тех
Злых опустошений?
Пусто. Будто вытряс кто
Душу вон из тела.

Минул год — длиною в сто.
Карандаш заело.
Отвыкают от стола
Мысли. Пушкин вроде
Был не прав.
Любовь прошла,
Муза не приходит.

Не беда идет за мной
Памятью всечасной,
Сам хожу я за бедой
Тенью неотвязной.
А за мною — в новый год
Топают уныло
Безработных дней черед,
Дней моих постылых.
Тут запал бы растерял,
Порастратил каждый.

Потащился в ресторан
По веленью жажды...
Лето. Пекло — не денек!
Вижу:
Юлий Гомон
И Притапенко Дмитрок
Перед входом в «Нёман».
Вдохновенно, нараспев
Там читает что-то
Дмитроку в тени дерев
Юлий из блокнота...

Ветром радости гоним,
 Набавляю скорость...
 ...До сих пор по двадцать им,
 Мне с бедой — за сорок.
 — Вы откуда?.. — пристаёт
 К ним беда смолою...
 Но никто не узнает,
 Видно, нас с бедою.
 Я молчу. Беда ж моя
 Шпарит без раздышки:
 — Поздравляю вас, друзья!
 Вышли ваши книжки.
 Точно так! Средь книг других
 Видела сама я
 На прилавке нынче их!
 — Стой! Ты кто такая? —
 У растерянной беды
 Губы задрожали:
 — Я?.. Как кто? Беда Дуды,
 Разве не узнали?
 Двадцать лет прошло и зим.
 Вспомните-ка сами,
 Как вас ели, вместе с ним,
 Мухи с комарами!

Пялят зенки дудари.
 И внезапно Юлий
 Засмеялся:
 — Не дури!
 — Отливаешь пули! —
 Поддержал Дмитрок: — Ты что,
 Спятил ненароком?
 Двадцать лет назад под стол
 Мы ходили пёхом!
 — Ты — Дуда?
 — Ей-богу ж, я!
 — Не дуди, однако!
 Нализался, как свинья,
 Брешешь, как собака!
 В нашей келье, как всегда,
 За столом сидит Дуда.
 У него работа
 До седьмого пота.
 Лихо рвет пером листы
 В рвенье непрерывном,
 А не шляется, как ты,
 Днем по ресторанам.

Молвит Гомон Дмитроку:
 — Брось... Не вяжет лыка...
 Время двигать к погребку,
 С пивом ждет Хадька.
 Раки ждут! Пошли, Дмитрок!

И в людском потоке
 Скрылись хлопцы.
 В погребок

Я молчу. Туманится
 Месяца серпок.
 Память — я, что тянется
 С устья в свой исток.
 Что мне бухгалтерия,
 Если там, вдали,
 Сердце громко меряет
 Каждый метр земли.
 Тут всему без вычета
 Ясен точный счет.
 Зажигай за Кричевом
 Правый поворот!
 Сумрак надвигается,
 Пристальной гляди!
 Что ни метр — сужается
 Русло впереди,
 Колеей глубокою
 По кустам шуршит,
 Лентой неширокою
 Через рожь бежит.
 После упирается
 Тропкой в темный гай,
 За каким кончается
 Могилевский край.
 Ну и территорию
 Отхватили. Стоп!

Николай Егорович
 Валится, как сноп.
 Рядом на могильнике
 Дед родимич спит.
 Коростель в лещиннике,
 Словно снасть, скрипит.
 Вся в туман одетая,
 Спит, неглубока,
 Много раз воспетая
 Куликом река.

Над рекой, над стрехами
 Солнце вскинул бор.
 Брод мы переехали...
 А теперь, мотор,
 Колеей недолгою
 Через лес вези!
 Видишь, там, за елкою,
 Вот они — Князи!..

Крайний дом, где Князь Тарас
 Жил перед войной,
 Подал знак, завидев нас,
 Из травы
 трубой печной —
 Словно бы рукой.
 Всю войну своим окном
 В пуцу дом глядел,
 Чтобы связь с родным селом

Этот лес имел.
Черным дымом стал очаг,
И золой — пожитки,
Гнал селом притихшим враг
Всю семью на пытки.
Мы тому клочку земли,
Где былшем седым
Из-под пепла проросли
Полымя и дым,
Поклониться подошли.
Шапки сняв, стоим...
Обступил гостей народ...
Помрачнели лица...
День тот скорбный, месяц, год,
Зубы сжав, занес блокнот
На свои страницы...
Навестила летом дочь
Пепел отчей хаты...
Лесника сгубили в ночь
С лесничихой каты...
На глазах у дочки
их
Смерть кидала в топку...
Так! Я в записях своих
Тут поставил точку.
И — в дорогу поскорей...
Адрес дал нам Князь Андрей,
Лесничихи той
Сват, солдат лесной.

Новый адрес, старый путь,
Езженный когда-то.
Тут в бору и повернуть
Нам направо надо.
Под одной, другой сосной
Прем по корневищам.
Наконец-то вот лесной
Двор, который ищем.
Выключается мотор.
На лесной усадьбе
Полон был гостями двор,
Словно бы на свадьбе.

Сели там и мы вдвоем
В тень ветвей прохладных
Меж хозяев за столом,
Молодых и ладных...
Взял хозяин в должный срок
Слово при застолье:
— Дорогой земли горбок
Есть на Халхин-Голе.
Спит под ним мой брат Максим
С дня того сраженья —
Ровно тридцать лет и зим —
С моего рожденья.
Я не видел тех степей,

Братней той земельки,
 Ни поминок — из своей
 Детской колыбельки.
 Но одну про нас всегда
 Память сохраняет
 Дом, где зыбка никогда
 Гроб не забывает.
 Пейте, гости!..

Как могли,
 Пили, как хотели,
 Гости. После, как шмели,
 Завели, запели
 На весь лес.

А в этот час
 Со стены,
 не пыльный,
 Взгляд косил иконостас
 На гостей фамильный:
 Черный прадед — бог сохи,
 Дед — косы и плуга,
 Батя — бог лесной стрехи,
 Мельничного круга.
 Муж Княжны — комбриг Максим
 С остальными вместе,
 Внук богов, отчизны сын —
 На почетном месте.
 С ним — она. Из-под бровей
 Светит мне живая
 Озабоченность очей,
 Молча вопрошая:
 Узнаешь?.. Ты в этот кут
 Как забрел укромный?..

Только я —
 уже не тут,
 Я давно под кровлей
 Той, где издавна привык
 Жить трудом упорным,
 Где лежит мой черновик
 Рядом с хлебом черным;
 Где не гость я, где в гостях
 У меня отныне
 Древний бор, просторный шлях,
 Неба полог синий,
 Двор лесной, иконостас,
 Хатой сбереженный,
 Князь Андрей и Князь Тарас,
 Катами сожженный, —
 Не сраженный свистом пуль
 Жизни ход упрямый...
 В путь, Егорович, — за руль,
 Мне — за стол тот самый.
 На свиданье с далями
 «Волгу» погоняй!..

Едем, покидаем мы
 Могилевский край, —

Едем, охмеленные,
Пулями крещенные,
Горем убеленные,
Едем, окрыленные,
Сквозь леса зеленые.
Молодость залетная,
Нас не забывай!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На горизонте — виденье устья,
А за спиною — истока жажда.
Года, которых не дозовусь я,
Вернула память, чтоб жили дважды.
Радеет ныне живая память
О летах давних, что на экране:
Куда плотам их теперь причалить?
Что ожидает их в океане?
Вздывать привык он на гребень вала,
Средь прочих судеб нести по свету
Плоты, какие в одно связала
Судьба героя, что людям ведом.
Плоты лесные! Пусть штормовая
Волна всей яростью крутоверти
Стремит вас, гибелью угрожая.
А вы плывите! А вы не верьте! —
Одним столетье огнем крестило
Героев судьбы и судьбы ваши,
Их не покроет забвенья тина,
Наш век суровый на дно не ляжет.
Еще ведет нас по трудным трассам.
Еще нам светит тревожным светом
И постучится еще не раз он
В сердца людские своим заветом.

Век наш рукою труда своего
Тянется в своды надземные.
Жаль только, что на челе у него
С волей — решетки тюремные.
Зыблется тенью при свете зари
Облако с ядерной осыпью.
Десятилетия, как поводьери,
Ощупью, ощупью, ощупью
Век свой ведут по дороге крутой
Старца, который донине
Маску не сбросил, где свет — на одной,
Тьма — на другой половине.
Рядом с надеждой — отчаянья край,
Труд — с лихоимства конторами.
Век наш, личину срывай — открывай
Тяжкие двери истории!

Скоро по книге приходной веков
Примет твой сменщик, столетье,
Неисчислимых твоих земляков,

Их трудовое наследье.
Движимый примет планеты багаж
С гордыми шапками полюсов.
Если ж, столетие, ты передашь
Колос отравленный — колосу,
Вместе с руками — наручников звон,
С верною дружбой — предательство,
Знай же, поправ непреложный закон,
Вечного сна обстоятельства,
Выйдем мы, пущенные на распыл,
Выжженные в крематории,
Будем стучаться из братских могил
В тяжкие двери истории!

Ныне слышней, чем полвека назад,
Кличет весь род человеческий
С башни вселенской немолчный набат
На трехмиллиардное вече.
Станьте владыками в мире своем,
Люди! Стучитесь Земли кулаком
С тесной ее территории
В тяжкие двери истории!

В тяжкие двери истории!

Авторизованный перевод Н. Кислика.



ОЛЕГ СМИРНОВ

★

ЭШЕЛОН *

Роман

16

Город Лида

На выпускном вечере Пете Глушкову вручили аттестат отличника. Он сказал директорисе: «Спасибо», небрежно свернул плотную бумагу в трубку и, сутулясь, пошел со сцены в зал. Сел возле мамы, отдал ей аттестат. Она благоговейно рассматривала оценки, плакала, не утираясь, шептала:

— Умница ты мой, радость ты моя...

— Да брось, мама,— конфузась, пробормотал Петя.

Ежегодно повторялось: он приносил похвальную грамоту, круглый отличник, и мама плакала в фартук, говорила, как причитала:

— Умница, светлая головушка, гордость моя и школы...

Петя морщился, отмахивался. Да что с мамой поделаешь? А тут — десятилетка окончена, выпускной вечер, золотое тиснение аттестата отличника, прочувствованная речь директорисы, аплодисменты родителей и учеников, туш духового оркестра. Сам бог велел маме всплакнуть и сказать слова, которые заставляли Петю краснеть от конфуза.

После торжественной части заварились танцы: вальс, танго, чарльстон, фокстрот, вальс-бостон,— оркестр сверкал медными трубами и сотрясал стекла. Родители постояли у стенки, полюбовались на пары и благополучно разошлись. Петя вздохнул с облегчением: мамино присутствие сковывало, теперь можно развернуться. И он шутил, дурачился, смеялся, танцевал напропалую со всеми девушками. Вообще-то танцевать он не любил, а выучился по настоянию мамы: она записала его в кружок западноевропейских танцев при клубе железнодорожников, пришлось посещать занятия. Танцевал же на выпускном со всеми подряд потому, что своей девушки у него не было. Наверное, он единственный из десятиклассников, кто не встречался, как говорили — не дружил, ни с одной из соучениц. Как-то не влюблялся, все больше на учебу нажимал, на спорт — по волейболу имел первый разряд, был капитаном школьной сборной.

И танцевал он не ахти как: горбился, наступал партнерше на ноги, терял ритм. С Зоей Шапошниковой он вышагивал фокс-марш, когда его сильно толкнули в спину, и он, не удержавшись, толкнул Зою. Повернулся: за спиной перебирал ногами, как лошадь, Борька Гусев, рожа — злующая.

— Ты что, Борис? Нельзя ли поосторожней?

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Борька натянул на скулах прыщеватую кожу, взмахом головы откинул с прищуренных глаз челку и дохнул винищем:

— А отбивать девчат можно?

— Дурак! — сказала Зоя. — Я с тобой не хочу...

— Захочешь...

— Нет! Петя, давай танцевать...

— Погодь, — сказал Борька. — Ты будешь со мной... А с кавалером твоим я покалякаю... Выйдем, Глушков!

— Не ходи, Петя! — Зоя ухватила его за локоть.

— Почему? — Глушков освободил руку. — Пойдем, Борис.

Сопровождаемые группой парней, они спустились во двор, к штабелям дров за уборной: здесь испокон веку старшеклассники выясняли отношения, дрались до первой крови, мирились, а то и снова дрались, уже не принимая в расчет кровь. Ребята курили, предвкушая зрелище. Кто-то, однако, сказал:

— А не разойтись ли полюбовно, хлопцы?

— Нет, — сказал Гусев, выгибая грудь. — Я этому жлобу, отличнику, маменькиному сынку, ухажеру покажу, как отбивать бабу...

— Не смей так о Зое, — сказал Глушков. — Ты выпил, а я с ней просто танцую...

— Знаем эти танцульки! Прижимаешься, лапаешь, падла!

Зоя Шапошникова и Борька Гусев учились в параллельном классе, Зоя — скромная, симпатичная девушка, Борька — троечник, заядлый курительщик и крикун; дружили ли они — шут их разберет, Глушков не приглядывался, сегодня они получили аттестаты вместе с ним, все было б, видимо, хорошо, если бы Борька не хлебнул из горлышка. Глушков сказал примирительно:

— Не выдумывай, Борис. И веди себя по-человечески.

— Вот тебе по-человечески!

И Гусев выбросил кулак. Он целил в лицо, но Глушков увернулся, и удар пришелся в голову. Петр пошатнулся, Гусев бросился к нему, но тот отбил удар, схватил за грудки, оттолкнул. Гусев опять бросился, и опять его схватили за грудки. Морщась, Глушков увертывался, отталкивал распаленного, матерившегося, вонявшего водкой парня. Это он мог — отталкивать, а ударить — нет, не подымалась рука. С ним такое уже случалось. Надо было постоять за себя, но он только уклонялся от ударов да отпихивался. Он потом спрашивал себя: «Не трус ли я?» Он не трусил. Ни мальчишкой, ни парнем. Наравне со всеми лазал за яблоками в чужой сад, на спор один ходил ночью на кладбище, переплывал Дон, на том же Дону спас девчонку из омута — сиганул с берега не раздумывая, задержал вора, залезшего к соседям, — воруга молотий его куда попало, он держал, и не пускал, и не бил сам...

Петр сплел Борьке руки, Борька вырывался, норовил боднуть, изловчившись, ударил ногой в толстом ботинке по правой руке, в большом пальце больно кольнуло. Глушков резко оттолкнул Борьку, и он отлетел к поленнице, стукнулся спиной и, вроде протрезвев, сказал:

— Не будешь лезть к Зойке? Побожись по-ростовски, нараспев!

— Вали к черту, — сказал Петр. — Называется, отметил выпуск, нализался...

Он поднялся на второй этаж, в коридоре оглядел себя в трюмо — белая рубашка-апаш была измята, выпачкана, брюки-клеш в пыли, на затылке, выстриженном под «бокс», круглилась шишка. Он стряхнул пыль, поправил рубаху и прошел в зал. Найдя Зою, пригласил ее на вальс. Танцевал, на вопросы Зои отшучивался, а большой палец у него опухал и ныл. Когда Петя вернулся домой, палец и вся кисть отекали, болезненные. непослушные.

Назавтра мама повела его на рентген (он соврал ей, что упал на руку, играя в волейбол), и снимок показал: перелом фаланги. Наложили гипс. Ручка на перевязи — поиграй теперь в волейбол, это словно кара за вранье. По пути из больницы Петя набрел на Борьку Гусева — развалившись на скамейке в сквере, лужгает семечки, поплевывает, наглые навывкате глаза не отводит, хмырь болотный. В институт Борька не собирался, а вот остальные выпускники денно и ночью зубрили, готовясь к вступительным экзаменам. Один Петя Глушков в ус не дул: отличник поступает куда хочет без экзаменов! И они с мамой листали вечерами справочник для поступающих в высшие учебные заведения: можно в этот институт, можно в эту академию, а можно и туда... Московский... ордена Ленина, имени Сталина — звучит...

Как ни прискорбно, но круглому отличнику, гордости школы было абсолютно безразлично, куда поступать. У него не было никакого призвания, и выбор взяла на себя мама — в Московский институт имени Баумана. Из-за столичной звучности. Петя Глушков будет инженером-машиностроителем. Пусть так. Ему все равно. Главное — поступать без всяких экзаменов...

Ростов плавился от августовской жары, когда мама провожала Петра в Москву. Паровоз шипел паром, словно раздувал черные маслянистые бока, гомонила толпа, чемоданы, сумки и корзины кружили водоворотами, мордастые, под хмельком носильщики в белых фартуках и с бляхами, похожие на дворников, катили перед собой тележки и рывкали: «Па-асторонись!» Пахло разогретым асфальтом, углем, мазутом, пивом, рыбцом, жареным луком. Суховой гнал по перрону обрывки газет, подсолнечную шелуху, раскачивал квелые, пропыленные пальмы в кадках с поржавевшими обручами и будто поглаживал по лицу горячей шершавой ладонью. А мамины руки, гладившие его щеки в прощальные минуты, были влажные, холодные и словно неживые.

Он говорил:

— Мама, не расстраивайся, не скучай, я приеду домой на зимние каникулы...

— Да, да, ты навестишь меня, навестишь,— отвечала она, и лицо ее было постаревшее, больное.

Стоя у вагона с эмалированной табличкой «Ростов — Москва», не догадываясь Петя Глушков, что не суждено ему приехать в Ростов на зимние каникулы и что матери он больше не увидит. О многом не догадывался Петя Глушков, да и как провидеть в семнадцать годков. И вообще — в избытке ли они, провидцы?

Складывая ему вещички в чемодан, мать сокрушалась: жили в Москве, а остановиться не у кого. Он успокаивал: в общежитии буду. Черта лысого! В ректорате с ним вежливоенько побеседовали, беседу подытожили так: в институт зачисляем, в общежитии же мест нет, то, что было, заселили, вы опоздали. А опоздал он из-за гипса, из-за хмыря Борьки Гусева.

— Как же мне быть? — растерянно спросил Петр.

— Есть два варианта, голубчик,— отвечал профессор с бородкой-эспаньолкой, в пенсне, лысый и благожелательный.— Или вы забираете документы, или подыскиваете себе частное жилье...

Вот так-то: огромна Москва-матушка, а жить негде. Никакой родни, со знакомыми все связи порваны. Наведаться в коммунальный домишко в Останкине, где жили с мамой и откуда, бросив комнату, она перевелась по работе в Ростов — после ареста Алексея Алексеевича? Вряд ли его, Петра, там помнят. Да, откровенно говоря, и не тянет в тот деревянный, перенаселенный людьми и клопами дом-барак, что-то удерживает. Пока проживем в аудитории, где разместили будущих студентов, а дальше видно будет.

Помог случай. В деканате Петр познакомился с разбитным, ёрничающим парнем-москвичом — они попали в одну учебную группу, — и тот сказал: ты что, богач, давай снимать частную комнату, да это и не просто в Москве, давай я поговорю с паханом, устроим на нашей даче. Пахан — это значило отец, а дача находилась в Клязьме, летняя, из досок, ночами в ней было свежо. Петр заикнулся было о плате, товарищ поднес к его носу кулак:

— Об этом не пикни.

— Но как же... Все-таки...

— Что взять с бедного студента, да еще провинциала? Будешь сторожить дачу — вот и отработашь.

Товарищ убрал кулак, и было непонятно, шутит он или всерьез. Да, Петя Глушков провинциал, а некогда был москвичом. Забыл он Москву, и Москва забыла о нем. Может побожиться по-ростовски, нараспев. Южанин теперь. Из города Ростова. Ростов-папа, Одесса-мама, как говорят урки. Кто-кто, а уркаганы в Ростове водятся.

Отсидев лекции, Петр мчался в магазины, выстаивал очереди за снедью, втискивался в битком набитый трамвай, втискивался в вагон метро — ехал до «Комсомольской», — на Ярославском вокзале втискивался в электричку, точно: всюду надо втискиваться. В Клязьме вылезал на платформу, плелся раскисшей от дождей дорожкой по обезлюдевшему, затянутому сумерками поселку, на крайней от глухого, мокрого сосняка даче разжигал печку-буржуйку, стряпал ужин. Ночью просыпался от холода, набрасывал на себя все что можно, укрывался с головой и, клацая зубами, думал: «А что дальше? Что в октябре или в декабре?» Но еще больше беспокоило: зачем пошел в Бауманский, скучно и чуждо все то, что преподают мне на занятиях маститые профессора и доктора технических наук, не хочу технических наук. А чего хочешь? Отоспаться, отогреться. И — к маме хочу.

А в утренних сумерках Петр трусил на электричку, и глиняные наросты были прихвачены морозцем, и по ледяным корочкам луж мело порошу. Из мглы, ревя белугой, вырывалась электричка. Впору самому ревануть по-белужьи: разнесчастная, в миг опротивевшая учеба, неустроенный, холодный и голодный быт. Сесть бы не на загорскую электричку, а на пассажирский псезд «Москва — Ростов». До Ростова сутки езды, и там тепло, солнечно и радостно.

Товарищ по группе, славный малый и юбочник, иногда прикатывал на дачу с девицей — каждый раз с другой, — переночевав при бодрящей температурке, любопытствовал:

— Не надоело еще коченеть?

— Мешаю? — Петр кивал на дверь, за которой была очередная девица.

— Дурень. Нисколько не мешаешь.

— Ну, так буду жить...

— Живи хоть до лета. Но как перезимуешь, не загнешься?

— Ерунда, — говорил Петр с раздражением и кашлял: маленько простудился-таки.

— Гляди. С высоты твоего роста тебе видней.

Утром товарищ пилил с ним и колол дрова, пособлял складывать запасец на неделю. Перед обедом уезжал с девицей — были они, точно, разные, но и схожие: губастые, с горячечным блеском блеклых, выпитых глаз в подкрашенных ресницах. Петра они злили и пугали. Попадись им — съедят и не подавятся. А цыпачка вроде Пети Глушкова проглотят с потрохами. Подальше от них. Верно, и девицы не посягали на него. Ну и слава богу.

А октябрь уже сыпал снегом, выдувал из щелей остатки тепла, леденил и тело и душу — бедной душе доставалось еще больше, чем телу.

Еженощно он видел во сне набережную Дона, двор своего дома — летние мангалы, палисадники с виноградом, розами и мальвами, стеклянную террасу, на которой они с мамой пили чай. На террасе и зимой не было холодно: Ростов-папа — южный, добрый, греющий город. Пробуждаясь, Петр надрывно кашлял, чихал, синий от озноба, неумытый — вода в рукомойнике промерзала, — хватал книги, рысил на платформу, продаваемый в кепочке и демисезонном пальтеце насквозь, и над ним каркала воронья стая, сносимая ветром с Клязьмы-реки. Толпа на платформе росла, колыхалась. Ревела электричка. Туда — сюда. День за днем. От холода, еды всухомятку, тоски он просто-напросто отупел. Матери ни о чем не писал — она была уверена, что он в общежитии. Да и что писать? Денег просить на частную комнату? Откуда они у мамы, лишние деньги?

Мечтал о самостоятельности? Пропади она пропадом, эта самостоятельность, у мамы под крылышком уютней. Да-да-да, он маменькин сынок, не зря его дразнили. Мечтания о свободе, о независимости обернулись немой рожой и цыпками на руках. Слабачок ты, Петя Глушков, не зря тебя также интеллигентией дразнили. Пусть слабак, пусть интеллигентия, но он хочет домой, к матери.

И в конце октября, когда от холода стало неважно и простуда окончательно расхлюпала его, он сел в пассажирский вагон, где было скученно и тепло, пожалуй, жарко. Он отогревался и спал, спал. Мысль о том, что едет в пассажирском поезде не на юг, к маме, а на запад, в армию, не очень всплывала в памяти, точнее, он топил ее. На дно ее, на самое дно, прежде всего — отогреться, отлежаться, отоспаться.

Но чем больше отсыпался, тем чаще эта мысль поднималась на поверхность и, превращаясь в вопрос, будоражила, мешала дышать: что ж теперь с ним станет, со вчерашним студентом и нынешним новобранцем? Все повернулось в три дня. Вызвали на призывную комиссию — она работала прямо в институте, — пропустили через врачей, остригли под нулевку — и готово. Товарищ, который устроил его на свою дачу, уже отслуживший действительную, втолковывал оторопелому, шупавшему выстриженную макушку Петру:

— Не одного тебя — всех первокурсников забривают, по ворошиловскому призыву...

Это Петр знал и сам. Не знал только: почему восемнадцатилетних решили призывать именно с тридцать девятого года, когда Петя Глушков поступил в институт? Подождали б еще годик, а со второго курса уже не забрали бы. Впрочем, что жалеть об этом институте, чуждом для него? Но в армию идти мало радости, армейские годы придется вычеркнуть из жизни. Что там? Ать-два, коли, руби, стреляй, честь отдавай. И поменьше рассуждать. Старшина, который вез их команду, так и сказал:

— Студенты, загляните в уборную и забудьте там гражданские замашки, потому как в армии не рассуждают, а выполняют приказание.

Ясно, армейская дисциплинка, с прежними привычками предстоит расстаться. Хотя это можно сделать и без посредства уборной. Старшина, видать, остряк. Это армейский юмор? Старшина был меднолиц, как индеец, перетянут ремнем, фуражку снимал, лишь ложась спать, сапоги его блестели, надраенные, бриджи были заглажены, и полоски на них совпадали с заглаженными полосками на гимнастерке, в петлицах сверкало по четыре эмалированных треугольничка. Целых четыре! Старшина был строг, неприступен и, даже когда острял, оставался строгим, отстраненным. Он сказал новобранцам, что вверенная ему воинская команда направляется в Белоруссию, в город с бабским именем Лида, но писать домой об этом нельзя: военная тайна, за ее разглашение в армии по головке не гладят. И все-таки Петр черкнул маме с дороги, куда они едут: «В город, носящий твое имя...» И разглашения военной тайны вро-

де бы не допустил, и мама будет знать, найдет в атласе. В это письмо он вложил фотокарточку, снялся после призывной комиссии: глаза округлившись, выражение недоуменное, из-за отсутствия шевелюры нос и уши торчали еще больше. На обороте карточки надписал: «Дорогой маме Лидии Васильевне Глушковой от сына Петра, будущего бойца доблестной Красной Армии» — и поставил многоточие: так выглядело внушительней.

Ну, а город Лида — это вам не Ростов-папа или Москва-столица. Это маленький город среди болот и лесов, малолюдный, полусонный, с немощными тротуарами, с одноэтажными, потемневшими от дождей и мокрого снега домишками. Тишина на улицах — как в склепе. Особенно по ночам. Неизвестно, есть ли еще на белом свете место, где бы так дождило. По крайней мере как приехали в Лиду, так и не просыхали: если не дождь, то мокрый снег, опять же переходящий в дождь. И грязи в городе — поискать где такую грязюку: сапоги едва не оставляешь. Не только красноармейцы и командиры, но и командирские жены, и вообще все горожане ходят сплошь в сапогах. Никаких туфель, ботинок, галош. Со здешней грязищей не шути.

Завывает ветер, хлопает дождь, по окнам казармы хлобыстают обезлиственные ветви, по стеклам ползет капля за каплей. На станции кричат паровозы, и после их вскриков тишина еще глубже, завывание ветра, хлоп дождя, хлобыстанье веток лишь подчеркивают ее. От паровозных гудков Петр просыпается. Прислушивается к ним, хриплым и тревожащим. Ему чудится: паровозы зовут его в дорогу. Но какая еще может быть дальняя дорога? Куда? Разве что спустя троечку годков, отбарабанив срочную службу, поедет в Москву либо в Ростов. А куда — в Лиде жить да поживать да знания по боевой и политической подготовке наживать. Всего и делов-то, как говорит старшина Вознюк Евдоким Артемьевич. В углу казармы дремлет за столиком дневальный, уронив голову на грудь. Мигает керосиновая лампа на стойке. Посапывают и похрапывают товарищи, и если кто-нибудь из них умолкает, это беспокоит Петра, словно что-то случилось с человеком. А не случилось ровным счетом ничего, и ты давай спи, красноармеец Петр Глушков. Ты всегда не высыпашься. И всегда ты не наедаешься.

Увы, это было так. Намаевшись за день, он не успевал отдохнуть ночью (еще и просыпался) и утречком по команде «подъем!» вставал не без труда. А в желудке постоянно посасывала пустота, хотя кормили трижды и порции были солидные. Утешало одно: все бойцы первого года службы не высыпались и все голодовали: армейский харч — это не мамины калории да витамины, как выражался старшина Вознюк Евдоким Артемьевич. Что же касемо простудной хвори, то от нее остался пшик. Не врачеванием, не лекарствами исцелился, а само по себе прошло. Поперву думал: загнется он с армейского житья-бытья. Не загнул, на удивление — вылез, закалился, задубел. Со временем заделается заправским армейским дубом, как отзывается о собственной персоне старшина-сверхсрочник Вознюк Евдоким Артемьевич, не замечая, что молодежь вкладывает в понятие «армейский дуб» несколько иной смысл.

Надо разъяснить: старшина, сопровождавший призывников из Москвы до Лиды, и оказался Евдокимом Артемьевичем Вознюком. Вдобавок он оказался старшиной роты, куда попал красноармеец Глушков. По этому поводу у них состоялся краткий разговор.

— Стало быть, мы с тобой старые знакомые? — спросил Вознюк.

— Совершенно верно, товарищ старшина! — ответил Петр, втайне радуясь, что один из ротных начальников — знакомец, можно сказать, свой человек, на снисходительность которого рассчитывай в трудную минуту.

— Коли так,— сказал Вознюк,— то спрос со старого знакомого должен быть тройне. А? Погоняю!

Речь у Вознюка была негромкой, ровной по тону, но свое знаменитое «а?» он произносил, будто взрывая этот тихий, ровный тон. Непривычные к взрывному, рывкающему «а?» вздрагивали. Но Глушкова он погонял — это точно.

То есть что значит — погонял? Как уразумел впоследствии Петр, все было нормально. С армейской точки зрения. С той точки зрения, которая должна была стать единственно определяющей. Во всяком случае, на время службы. А старшина заставлял его перестилать койку, подтягивать поясной ремень, расправлять гимнастерку сзади, перечищать сапоги, перешивать подворотничок, отдавать честь — по несколько раз, повторять приказания — по несколько раз. Если Петр артачился, Вознюк спокойно и ровно напоминал ему про обязанности бойца Красной Армии, рывкал: «А?» — потом опять тихо заканчивал:

— А тепер получи нарядик вне очереди...

По внеочередному наряду выпадало чистить картошку на кухне, мыть полы в казарме и — о, ужас! — в уборной. Сначала Петр считал себя чуть не жертвой старшинских придирок, затем уяснил: так Вознюк поступает и с остальными первогодками. Он их гонял. Позже Петр еще уяснил: старшина приучал их к элементарному армейскому порядку, в котором находилось местечко и для уборки сортира. Приучал прямолинейно, грубовато, по-мужски. То есть он считал их за мужчин, а не за мальчиков, полагая, что мальчики кончились в тот час, когда переступили порог казармы. Справедливо, если не вдаваться в тонкости. Но Евдокиму Артемьевичу не до тонкостей. А может, в армии они и не нужны? Это вам не институт благородных девиц. Ну, девиц, тем более благородных, у Петра не было, институт остался в прошлом, Бауманский институт. Бог с ним. И будем считать, что стал мужчиной. Еще бы! В шинели, в шлеме, в сапогах, на ремне винтовка, и военную присягу принял. Не мальчик, но муж.

Ночами Петр просыпался также из-за малой нужды. Он ворочался, кряхтел, оттягивая момент, когда надо сунуть босые ноги в сапоги и на нижнее белье накинуть шинель. Почему-то страшновато было выходить в черный безлюдный двор, топтать под снегом и дождем к дощатому сооружению, где в щелях по-дурному выли сквозняки. Он никогда зря не задерживался в этом сооружении на отшибе: справил свое — и бегом в казарму, к похрапывающим соседям. Укладываясь снова под серое суконное одеяло с нашитой посредине ситцевой красной звездой, старался не думать о том, что он все-таки не мальчик, но муж.

А вот холода он перестал бояться, холода, от которого так страдал на клязьминской даче. Полдня на плацу, полночи на посту у склада, сутки на тактических учениях в сырь и ветер — и ничего. Как-то само собою привык к холоду. Возможно, потому, что, намерзшись на воле, угревался затем в казарме. А быть может, потому, что на даче он был один, а тут — множество таких, как он. Ребята из Москвы, Подольска, Калининна, из Смоленской области, из Тульской, студенты, рабочие, колхозники — все стриженные, всем по восемнадцать, девятнадцать лет. Петр Глушков — один из них.

Далеко на севере, за Ленинградом, шла непонятная, неожиданно упорная война с Финляндией, в газетах повторялись слова «Карельский перешеек», «линия Маннергейма», «белофинны», «шюэктор», старослужащие полка уехали на эту войну, порывался на Карельский перешеек и старшина Вознюк, подавал рапорты, ему отказывали, и он бурчал: «Я хóчу воевать, потому я военный человек!»

А они, едва начавшие бриться, воевали на учебных полях вокруг Лиды — окапывались, ходили врукопашную, отражали контратаки, сры-

вая крикливые, петушиные голоса, вопили «ура» — от этих воплей с верхушек деревьев снималось воронье и с возмущенным карканьем тучей смещалось к дальним, завешенным туманами лесам. Эта ненастоящая, как бы поддельная война утомляла, заставляла Петра думать: «Взрослые люди везде работают, а мы чем занимаемся? Пользы от нас никакой, ничего не производим, только потребляем — кормят нас, одевают, обувают. Как иждивенцы...» И ни разу не пришло в голову: когда-нибудь и их могут отправить на ту, настоящую войну. Как будто не было ее в помине, этой финской, не большой и не малой, кровопролитной, непонятной — с чего вдруг — войны.

Для Петра Глушкова она проходила неприметно, и таким же незаметным было ее окончание: прорвали линию Маннергейма, овладели Выборгом, очистили Карельский перешеек. Ну и хорошо. Снова мир. Как и прежде. Как будет и дальше. Отслужит Петя Глушков два, а скорей три годика (быть ему сержантом — студент, грамотей, комсомолец — и годик добавят), распрощается со старшиной Вознюком. Годики — это он бодрился, не годики — годы, три года долгих-предолгих. Отслужит — и ему будет двадцать один, вот так номер. третий десяток пойдет!

Ну, а белофинны полезли в бутылку, стали угрожать Ленинграду, нашим границам, войну спровоцировали. В Западной Белоруссии и на Западной Украине было иначе: Польши не существовало — не выдержала германского удара. Наши газеты и радио оповестили в сентябре тридцать девятого: освободительный поход Красной Армии завершен, западные области воссоединились с советской матерью Родиной. Быстро, здорово и приятно. И никакой войны — ни с поляками, ни с немцами. А с финнами пришлось воевать — штурм Выборга, раненые, убитые и обмороженные. В сороковом году, весной, закончилась эта финская кампания, на которую так и не попал старшина-сверхсрочник Вознюк Евдоким Артемьевич и уж тем более не попали бойцы-первогодки.

Сороковой год казался Петру Глушкову зеленым, симпатичным и домашним. Зеленым — потому что с апреля вымахала уйма травы и листьев, Лиду и окрестности словно окунули в чан с зеленой краской, сплошная зелень. Симпатичным — потому что время проходило быстро, все часовые и минутные стрелки двигались в одном направлении — к демобилизации: «Солдат спит, а служба идет»; она шла день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем — к увольнению в запас. Домашним — потому что Петр стал частенько бывать в доме у Евдокима Артемьевича, пил чай со сливками, колотым сахаром и земляничным вареньем, ел пирожки с капустой и картошкой, слушал кенаря, суетившегося в клетке на подоконнике, и беседовал с гражданскими лицами, а также потому, что мама обещала навестить его летом, в отпуск приехать — из того, настоящего, ростовского дома.

Если быть поточней, то надо сказать: ходил он в гости не к старшине Вознюку, а к его сестре. Старшина с супругой занимал просторную горницу, сестра с ребенком — угловую комнатенку. Сюда, в угловую комнату с плохо поштукатуренным потолком, с единственным оконцем, и захаживал красноармеец Глушков.

Пошло все это вот с чего. Петр Глушков дежурил посыльным при штабе, и его послали за старшиной Вознюком на квартиру: срочно понадобился начальнику штаба. Был воскресный день, и Евдоким Артемьевич сидел за столом в пижамной куртке, армейских бриджах и тапочках, а перед ним сидела жена и стояла поллитровка. Когда Петр вошел, старшина не смутился, деловито чокнулся с законной супругой, выпил стопку, закусил огурчиком. Смутился Глушков, не предполагавший, что грозный старшина — служака, поборник дисциплины и уставов — может балахониться в пижаме и запросто выпивать. Петр покраснел, кое-как до-

ложил, зачем пожаловал. Вознюк с сожалением посмотрел на недопитую бутылку и сказал:

— И в выходной не дадут покою. Собираюсь... А ты, Глушков, посиди, на пару отправимся. Не то придешь допрежь меня, начштаба сызнова пошлет, знаю его, настырного...

И стал неторопливо, с ленцой вставать из-за стола.

В это время заскочила Варя — за утюгом к вознюковской половине. Пока та, полная и неповоротливая, доставала ей с полки чугунный утюжище, Варя успела назвать себя, узнать, как зовут Глушкова, похлопать его по плечу, сесть на стул, обнажив колени, гибко пройтись по комнате, объяснить Глушкову, что она собирается погладить кофточку и юбку, чтоб пойти в клуб, да, жаль, не с кем, и попросить его поднести тяжелый утюг к ней в комнату. Петр вслушивался в ее картавую скороговорку, удивленный непосредственностью и напористостью этой женщины. А перед тем он подивился старшине: законник, борец за субординацию, а как отзывается о начальнике штаба, майоре, орденосце?

Петр отнес утюг и хотел вернуться в горницу, но Варя схватила его за руку, усадила рядом с собой на скрипучем, расхлябанном диванчике. Она была сухощавая, веснушчатая, большеротая, и от нее пышало жаром. Откинувшись на спинку, сыпала картавой скороговоркой, и за пять минут Петр узнал, что ей скучно в этой дыре, но поскольку она живет вместе с братом — куда его переводят, туда и она, — то ничего не попишешь, что работает она на молокозаводе, в сепараторной, заработки приличные, что была замужем за старшиной же — армянчик, артиллерист, разошлись по-людски, — что есть наследник, большущий уже, седьмой год, в школу скоро, что ей самой, слава господи, под тридцать.

— А тебе сколько, Петя?

— Девятнадцатый, — сказал Глушков.

— Люблю молоденьких, — сказала Варя.

С улицы вбежал мальчуган. Варя сказала:

— Легок на помине. Вот он, наследничек.

Это было и так ясно: облеплен веснушками, большеротый, зеленоглазый, как и мать. Мальчик оглядел Глушкова с ног до головы, протянул крепкую прохладную ладошку:

— Коля.

— Петр, — сказал Глушков.

— Значит, дядя Петя, — уточнил мальчик и ушел.

— Ну, вот что, дядя Петя, — сказала Варя. — Ты мне нравишься. Будем встречаться. Договорились?

Петр не ответил, потому что в дверях показался старшина Вознюк — шинель затянута, сапоги надраены, полный порядочек. Отчеканил:

— Шагом марш, Глушков!

Петр сказал Варе: «До свиданья», она сказала: «До скорого свиданья» — и проводила его до порога.

На улице они с Вознюком обходили лужи, грязь подсохла, уже пылило, старшина посматривал на свои тускнеющие сапоги и был неразговорчив, строга и неприступен. Но перед воротами проходной обернулся и промолвил:

— Учти: Варвара бой-баба. Мне-то безразлично: не ты, так кто другой, порожней она не будет. А? Но ты учти...

Громоподобное, взрывное «а?» ответа не требовало, и Глушков промолчал.

Он был достаточно робок, чтоб посметь прийти в увольнительную на квартиру старшины Вознюка. Но Варя сама пришла к проходной, вызвала его и пригласила к себе на очередное воскресенье. Так он и стал

бывать на Гродненской, дом восемь. Варя угощала его пирожками, вареньем, картавой скороговоркой, трелями красногрудого кенаря и «Синим платочком» в собственном исполнении. Иногда они ходили в кино, в клуб или в лес по ягоды. Там, в лесу, однажды Варя легла на свежую травку, осипшим, изменившимся голосом позвала Глушкова и, когда он приблизился, дернула за руку, уронила на себя, обдавая нестерпимым жаром. Он сперва не разобрал, обиделся, она сказала: «Дурачок» — и снова дернула за руку. Потом она перебирала его отросшие жесткие волосы и говорила, что теперь он не мальчик, а мужчина, и Петр думал: «Я слышал это, слышал, только не от нее и по иному поводу...» Он и гордился тем, что сейчас случилось, и жалел о чем-то, и хотел чего-то другого и не с Варей. Но с ним была она, Варя, — для него она могла быть и Варварой Артемьевной, — и он опять припал к сухощавому, гибкому и жадному телу.

После этой лесной прогулки он зачастил на Гродненскую, восемь, и уже вел себя уверенней: козырял старшине, с его половиной ручкался и проходил в Варину комнатенку. Варя выпроваживала сына на двор, закрывала дверь на крючок и, с неистовой торопливостью сорвав с себя одежду, опрокидывалась на скрипучий, расхлябанный диванчик.

Все это было как в угаре, и перед всем этим отступали и порой забывались и тяготы службы, и послеармейские перспективы, и даже то, что мама не придет к нему в отпуск: легкие больны, местком выделил путевку в Теберду, на будущее лето откладывается поездка к ее дорогому мальчику Петеньке, мама так и написала — мальчик Петенька. А он, собственно, перестал быть мальчиком. Он мужчина. И мальчики ему говорят: «Дядя Петя». Вот так-то.

Старшина сверхсрочной службы Вознюк Евдоким Артемьевич, имеющий в личном деле сорок пять благодарностей и ни одного выговора, сказал Глушкову:

— Варька к тебе присосалась, стал быть, устраиваешь... Да и вообще ты человек ничего... А? Однако скажу откровенно: вояки стоящего из тебя не выйдет. Потому злости в тебе нету...

— Да ладно вам, Евдоким Артемьевич, — ответил Петр и махнул рукой. Он мог позволить себе эту вольность: некоторым образом породнились со всемогущим ротным старшиной. Вот так-то. И подумал: «Во мне нет злости? Есть, наверное. Дремлет. Стоит лишь разбудить ее». И еще подумал некстати: «Боялся лихих девиц на клязьминской даче, а Варенькинисколько не боюсь, хотя она тоже, видать, из лихих...»

И сорок первый год был зеленым, симпатичным и домашним — по тем же причинам.

У Глушкова была увольнительная на сутки, и он ночевал у Вари; Колю положили спать в горнице, им никто не мешал. Они уснули перед рассветом, истомленные. Глушков пробудился оттого, что кусали блохи, в зрачки бил солнечный луч и дребезжало-позванивало оконное стекло — вдали глухо погромыхивал гром. В Лиде ведро, но откуда-то, наверное, идет гроза. Блохи же в Лиде — звери, нигде больше нет подобных и в подобном количестве.

Он высвободил из-под Вари свою затекшую руку, повернулся на спину, почесался — звери, звери, всего искусали. Варя свернулась комочком, простыня над ее грудью колыхалась, в подглазьях синели круги, у рта залегли мелкие морщины, в рассыпанных по подушке волосах белели сединки. Если приглядеться. А если не приглядываться, то все волосы — каштановые. Лучше не приглядываться. И к ней и к тому, что завязалось и никак не развяжется между ними, — угарное, не совсем чи-

стое и начинающее тяготить. Его, но не Вареньку. Варенька, Варя, Варвара Артемьевна.

Она почмокала во сне, простонала затянжно и гортанно, как это она умеет. Во дворе прокукарекал петух, залаяла собака, заплакала девочка. Продолжало погромыхивать — при солнце. За дверью раздались легкие шаги, в нее толкнулись, и она отворилась. И Глушков сперва спохватился — не закрыли на крючок? — а после уже услышал слова вбежавшего в комнату Коли:

— Война! Что вы тут спите? Война! Дядя Евдоким сказал!

Так и запечатлелось: радостно-возбужденный мальчишка, конопатый, большеротый, с вихром на макушке, мальчишка, который возвестил о войне.

В том первом бою они дрались как умели. Старшина Вознюк был наповал убит осколком, сержант Глушков уцелел. После боя его рвало желто-зеленой слизью, и он отрывочно вспоминал о городе Лиде, старшине Вознюке и его сестре Варе, чтобы потом почти не вспоминать их. Гораздо чаще он припоминал о том, как считал свои армейские годы вычеркнутыми из жизни, но вся его жизнь была только армейская.

А мама в Ростове не уцелела. Как ему написали, Лидию Васильевну, бывшую у подпольщиков связной, схватили гестаповцы. Немолодая и нездоровая. Связная. Расстреляна во дворе гестапо. «Вы можете гордиться своей матерью...» Он никогда ею не гордился, это она гордилась им. Прости, мама.

17

За Волгой эшелон пошел ходче. Проехали Данилов и от Буя повернули на Киров, строго на восток. Ярославские, костромские и вятские края разворачивались неоглядными лесами, заливными пастбищами, болотами. Деревенки серели и в лесах и среди болот, небольшие, с осевшими, под drankой и соломой избами. Радовало, что они целые, не тронутые войной, и печалило, что они дряхлые и убогие. Народец — худосочный, белесый, в лаптях. Мужиков почти не видать, разве что какой старик на завалинке, или инвалид — безрукий, безногий, на костылях, наш брат, побывал в мясорубке, или кто с палочкой, прихрамывает — опять же наш брат, из вояк, долечивает раны. Зато ребятни много — сопливые, голопузые, с отбеленными головенками. Вот кому заживется — ребятне, когда кончатся все войны, будь они прокляты. Ребятне повезет: война не будет нависать над их жизнью, как грозовая туча, висящая сейчас над горизонтом.

Насколько вятская пацанва моложе меня? Лет на пятнадцать. Так и останется навсегда между нами эта разница. А вот между мной и павшими ровесниками разница с годами станет расти, и когда-нибудь они сгодятся мне в дети: мне будет сорок, им двадцать — тот возраст, в каком они погибли. Мы, живущие, будем стареть, а они не будут. Не будут стареть — по крайней мере в нашей памяти.

Эшелон спешил в дождь, в ливень, в грозу и, с разбегу въехав в них, укутался влагой и холодком; по железной вагонной крыше колотили струи, они ломились и в дверь, пришлось ее закрыть, в оконце вспыхивала дымная молния, раскатисто грохало громом — небо будто раскалялось; в теплушке почернело, помрачнело, и дневальный сказал:

— Стихийное атмосферное явление. Дает дрозда!

Эшелон пропорол дождевую полосу и вырвался на сияющий солнцем простор. Голубое небо, зеленые леса, серые деревенки и еще один

цвет — буровато-кирпичный, обожаемый на железной дороге, в него покрашены постройки, заборы, скамейки на станциях и полустанках. Мокрые вагоны подставляли свои бока под солнце — и так и эдак, словно солдаты обсушивались у походного костра, — и позади вставала радуга. И впереди радуга. А мы ехали меж ними по сухому солнечному простору.

Старшина Колбаковский сказал:

— В Кирове полно будет пуховых платков, чесанок и леденцовых петушков.

— Откуда известно? — спросил я без интереса.

— Да уж известно. — Колбаковский осклабился. — Езживал я по Транссибирской, езживал. От Москвы аж до Читы и обратно же... До войны до Отечественной срочную служил в Монголии, в Семнадцатой армии, там дислоцируется.

— А скрывали этот факт от общественности, — сказал ефрейтор Свиридов. — Не в обжитые ли ваши края путь держим?

— Возможно, туда, — сказал Колбаковский. — Насчет обжитости не ручаюсь, но Монголия граничит с Маньчжурией, это точно.

— По географии проходили, — сказал Вадик Нестеров, ставший после Ярославля побейчее, поразговорчивее.

— Кто в школе проходил, кто на практике. Служба в Монголии — это вам мед?

— Рассказали б, товарищ старшина, — попросил Логачев.

— Когда-нибудь и расскажу. Под настроение...

— А что, товарищ старшина, у вас хреновое настроение? По какому, извиняюсь, поводу? — Логачев подмигнул другим.

— Не скрывайте причину от общественности! — Свиридов тоже подмигнул.

Мне не нравится этот панибратский тон, подмигивания, смешочки. Да, солдатики ведут себя вольно, даже юнцы Нестеров и Востриков осмелели. Дисциплинка поослабла. Субординация подзабылась. Вот так-то. Последствия того, что война кончилась. Я сказал:

— Отставить разговорчики! Подготовиться к занятиям по матчасти оружия...

Старшина Колбаковский не соврал: на кировском вокзале сновали растрепанные тетки, обвешанные пуховыми платками, домашней выделки валенки — под мышками, в руках — набор розовых леденцовых петухов на палочках. Сверх того у пронырливых теток были петухи из пера и глины, аляповато раскрашенные. Всю эту продукцию тетки, косясь на равнодушных милиционеров, старались продать или — охотнее — выменять на воинское добро, официально выражаясь — на вещевое довольствие.

В Кирове было много других эшелонов, ни одного пути свободного. Между составами и на перроне толчея, мешанина из военного и гражданского люда. На привокзальной площади, пыльной и ухабистой, репродуктор — граммофонная труба — источал старинные вальсы, звуки их будто застревали в пышных тополевых ветвях. И там же застревали воробьи. Старшина Колбаковский сказал мне:

— Воробьишек полно, а сизарей — черт-ма. То есть я что хочу выразить? Что допрежь сизарей на вокзалах было — завались, проезжал тут, помню... А за военные-то голодные годики скушали голубей. Воробьи да вороны остались...

А что, так, наверное, и есть. Голод не тетка, в войну было не до сизарей. Не сдохнуть бы, выжить. С тылового пайка разве что ноги не протянуть. Голодные, холодные были, а стояли у станков, рубали уголь, сталь варили, хлеб сеяли. Женщины, подростки. Мужики-то в основном на фронте. Все для фронта, все для победы. Было время...

Каркали вороны, чирикали воробьи, по радио трио баянистов наявивало старинный вальс. Кляча на площади вполсилы помахивала подвязанным хвостом. Люди обтекали клячу и подводу, растекались промеж эшелонов. Инвалиды, старухи с подслеповато ищущими, скорбными глазами, женщины, от которых веет одним — одиночеством, беспризорные мальчишки.

Да, города на востоке и села целые, не задетые войной. А люди ею задеты, от нее нигде не скроешься. Эхо войны докатывалось до любой, самой глухоманной точки. Так было в минувшую войну. А как будет в предстоящую? Может, она будет покороче? Может, мы и в самом деле разобьем Японию единым махом? Силы у нас развернуты дай боже. За четыре-то года. Стоит поглядеть на наши эшелоны. Сколько их!

А первый бой у меня сложился так. От самой Лиды эшелон в пути бомбили не единожды. Воя сиренами, немецкие самолеты пикировали, сбрасывали бомбы, обстреливали из пушек, на брющем проходили над составом, обстреливали из пулеметов. Но машинист попался башкозый: он то резко тормозил, то рывком подавал эшелон вперед, и немцы никак не могли угодить в паровоз. Вагонам, правда, доставалось, некоторые из них дымились и горели. Потом прилетели наши «ястребки», завязался воздушный бой, и поезд уполз в лес.

Там, в лесу, и разгружались. Из разбитых, оцепленных, обгорелых вагонов выносили раненых и убитых — тех, кто так и не произвел по врагу ни одного выстрела, — здоровые прыгивали наземь, строились, уходили в чащобу. Командиры поторапливали бойцов: «Шире шаг, шире шаг», потому что к исходу дня надо было выйти на оборонительный рубеж у шоссе. Полк едва занял этот рубеж, когда на шоссе появились фашистские танки. Громоздкие, черные, с белыми крестами и цифрами на бортах, они шли колонной с интервалом в десять — пятнадцать метров; расчехленные орудия покачивались, люки приоткрыты, из них выглядывали танкисты в шлемах и кожаных куртках. Сухая серая пыль висела над дорогой, в клубах разгляделось: за танками ехала колонна грузовиков с мотопехотой, за грузовиками — мотоциклы с люльками, в люльках автоматчики.

Вжимаясь в недорытый окопчик, я не отрывал глаз от приближающейся колонны. Мне все казалось, что это не реальность, а выдумка, сон, что танки, грузовики и мотоциклы ненастоящие, придуманные и что вообще никаких врагов на нашей земле нет. Но из-за деревни на взгорке, за нашими спинами, ударила артиллерия, на шоссе вспучились разрывы, и танки открыли ответный огонь, и я расчухал: реальность. Та самая, от которой не схоронишься.

И не придуманным, а всамделишным оказался жалобный, стонущий крик в соседнем окопчике:

— А-а-а! Товарищ сержант! Я поранен!

Звали меня, я — сержант, командир отделения, это мой солдат. И будто некая сила приподняла меня, вытащила из укрытия и заставила под осколками перебежать к соседнему окопчику. Боец лежал на дне окопа, нескладный, несуразный, отчего-то без ремня, раскидав длиннющие руки и ноги, и тонко, по-бабьи стонал. Я крикнул:

— Что с тобой?

— В живот... товарищ сержант...

Он перестал кричать, говорил так тихо, что я едва разбирал его. Перевернул на спину и увидел: гимнастерка на животе излохмачена. Намокла от крови. Задрал ее, вскрыл индивидуальный пакет, принялся бинтовать, думая о том, что это не мое дело, этим должен заниматься санитар-структор, мое дело — командовать отделением. Перевязав бойца, я сказал ему:

— Лежи, санитары вынесут.

И побежал к своему окопу. Разрывы вставали вокруг, свистели осколки, воняло взрывчаткой, гарью и взбитой пылью. Танки стреляли, переползая через придорожную канаву, разворачиваясь в линию. За ними покатили по полю и мотоциклисты, и пехота, соскочив с машин, потопала следом; грузовики на поле не съехали, остались на шоссе, для чего-то сигналивая — подбадривали, что ли, пехоту?

Потом я не раз слышал от фронтовиков, да и сам чувствовал: страшнее вражеского танка в бою ничего нет. Наверное, это справедливо. Но в том первом бою страх у меня вызывали не бронированные громады, а живые люди, немцы — в серо-зеленых кургузых мундирчиках, в рогатых касках, в запыленных сапогах с короткими голенищами, у животов — вороненные автоматы. Я не упускал из виду эти подробности, хотя страх возник во мне — где-то под сердцем — и разливался по телу словно с токами крови, парализуя рассудок и волю. И чем больше смотрел я на немцев, живых, двигавшихся, тем навязчивей становился страх. Еще немного — и он одолеет меня. И тогда я разозлился на себя, начал стрелять. Чтобы живые немцы превратились в мертвых.

Высокий стройный офицер в расстегнутом мундирчике, из-под которого белела майка, трусивший впереди всех рядом с танком, вдруг упал, надломившись, за ним свалился тучный, краснорожий солдат, и я люто и радостно заорал:

— Бей их! Круши! Бей!

И еще что-то орал, топя в этом крике страх и зверея оттого, что немцы падали после наших выстрелов.

Затем была рукопашная, и я с механической ловкостью и остервенелостью работал штыком и прикладом. Затем разорвался снаряд, и осколок угодил старшине Вознюку в висок. Я закричал: «Санитара! Санитара сюда!», но старшине санитары не требовались, похоронщики требовались. После боя мы стирали пучками травы кровь с трехгранных штыков и хоронили убитых. Их оказалось больше, нежели уцелевших.

Подъехала полевая кухня, мне в котелок плеснули пшеничного супа, и от запаха пищи меня стошнило. Ушел в кусты, мучительно, в спазмах выворачивался там наизнанку.

Я стою у раскрытой двери и будто спиной вижу, что делается в теплушке. Старшина Колбаковский: под распоясанной гимнастеркой вздымается и опадает солидный животик, мясистое, в глубоких складках лицо, короткая и толстая морщинистая шея в капельках пота, нижняя губа отвисла, старшина шлепает ею, сгоняя муху с подбородка, во сне теористом, вразяжку командует: «Равняйся!», снова шлепает нижней губой. Крутолобый бровастый Микола Симоненко и Толя Кулагин тоже спят, парторг во сне чешет ногу об ногу, у Кулагина открыты глаза, карий — виноватый, серый — нахальный. Кулагин подхрапывает, однако по сравнению со старшиной он ребенок. Каспийский рыбак Логачев вертится на нарах и не может заснуть, рябой, медвежеватый, он раскидывает руки, будто обнимает кого-то, руки в курчавой шерсти и наколках: русалки, якоря, спасательные круги. Егор Свиридов, ефрейтор, острослов и великий музыкант: на коленях аккордеон, но Свиридов не играет, «Поэма» даже не вынута из футляра, великий музыкант говорит соседу: «Например, я не уважаю блондинок, уважаю чернявеньких». Сосед — это Филипп Головастик, скуластый, небритый и мрачно-тверезый — рассеянно кивает. Вадик Нестеров и Яша Востриков, пацаны, желторотки: за шахматной доской, деликатно, вполголоса: «Значит, вы ладьей? А мы офицером. Что на это скажете?» — «Офицером? Так, так. А мы конем, вот сюда...» Узбек Рахматуллаев и армянин Погосян сидят друг перед другом, скрестив ноги, и молчат, оба печальноглазые, смуг-

лые, черноволосые, но у Погосяна нос с горбинкой, а у Рахматуллаева — приплюснутый.

Я вижу спиной и других солдат. Но и спиной же чувствую: кого-то в теплушке нет. Оборачиваюсь, шарю глазами. Отсутствует мой верный ординарец Миша Драчев. Остальные на месте. Когда же исчез верный, дисциплинированнейший ординарец? Где обретается? Когда объявится?

Драчев объявился тремя часами позже. Я уже беспокоился, наведывался в соседние теплушки. Узрев на станции выходящего из пассажирского поезда ординарца — пилотка на ухе, острый носик морщится, словно принохивается, рот до ушей, — я откровенно обрадовался, но тут же нахмурился. Спросил у Драчева прохладно:

— Где пропал?

Морща нос, брызгая слюной, глотая слова, Драчев поспешным фальцетом объяснил: заболтался на остановке, прозевал, спохватился, а последний вагон — за выходной стрелкой, извините, товарищ лейтенант.

— С кем заговорился? С дамочкой?

Драчев потупился. Я сказал:

— Гляди у меня! Чтоб в последний раз. Снова отстанешь — попадешь на гауптвахту.

Я не верю, что Драчев отстал нечаянно. Уже несколько солдат в эшелоне так проделывали: сталкивается с бабонькой, идет к ней в гости, а после на пассажирском нагоняет своих. Все это проделывается, естественно, без спросу, походит на самовольную отлучку, и кое-кого комбат упек на «губу». Хотя попробуй доказать, что солдат отстал нарочно. Тебе докажут обратное: нечаянно отстал, прозевал отправление!

Мне ничего не хочется доказывать Драчеву, тем более слышать его доказательства. Просто хочется, чтобы не отставали от эшелона, не портили кровь лейтенанту Глушкову, временно исполняющему должность командира роты. Могу я рассчитывать на покой хоть сейчас, в промежутке между войнами?

Эшелон стоит на небольшой станции, к ней примыкает небольшой поселок, где главное здание — железнодорожное депо. К депо лепятся улочки: кирпичные тротуары и шлаковые, в подорожнике, клевере, одуванчиках, через канавы с тротуара на мостовую переброшены мостики — списанные шпалы. Дворы за штакетниками тесные, с сараюшками, поленницами, огородами и садочками. Дома — одноэтажные и двухэтажные: первый этаж каменный, второй деревянный. У колодезных срубов женщины гремят ведрами. Одуревшие от зноя дворняги, вывалив языки, прячутся в тенечке.

Станция и поселок — посреди поля, а мне кажется: посреди России. Но серединой России можно, пожалуй, назвать Урал, где Европа граничит с Азией. Мы еще проедем это место, как утверждает старшина Колбаковский. Женщины гремят ведрами. Гудит наш паровоз, и это значит: нам дальше в дорогу, прощайте, безвестная станция, безвестный поселок. Я оттягиваю кожу под подбородком, и это значит: задумался.

Меня затащили на платформу с редакционным автобусом. Ребята из «Советского патриота» — исключая редактора, молодежь, холостежь — окружили, подхватили под мышки и подняли на платформу:

— Не хочешь добровольно к нам в гости — силком заставим!

Мне ничего не оставалось, как сказать:

— Слушаюсь и повинуюсь.

Пузатый, вместительный автобус закреплен растяжками, под скачками — упорные клинья. Дверь его распахнута, из душного, жаркого нутра — музыка. Я переступил чьи-то ноги, — полуголые наборщики и печатник расположились на брезенте, под машиной, полуголый шофер

загорал у борта. (Начальник эшелона гонял таких курортников, требуя соблюдения формы, но редакционно-типографские — народ вольнолюбивый и продолжают загорать в пути.) Следом за газетчиками я забрался внутрь автобуса. Там на лавочке сидел перед приемником редактор — тучный, лысоватый, близорукий майор в майке — и крутил рукоятку настройки. Звуки марша, обрывки речи, обрывки песни, снова марш и снова песня.

— Товарищ майор, вот приволокли лейтенанта Глушкова...

— Здравия желаю, товарищ майор,— сказал я и пожал протянутую мне пухлую влажную руку.

Майор сказал:

— Товарищ Глушков, на фронте мы, дивизионщики, не раз пользовались вашим гостеприимством. Теперь хотим угостить вас...

Ну, какое там гостеприимство, что за громкие слова! Бывало, при вечал на передовой продрогших, оголодавших офицериков из «дивизионки», да и самого редактора, кормил чем ни чем, водочкой согревал. Что там считаться! Но от вашего угощения не откажусь, потому что вы хорошие мужики.

— У нас спиртик есть, закусон...

Редактор скомандовал, и на столике появились баклага спирта, котелок с водой, консервы, сало, хлеб, лук. Мы уселись тесно, едва ли не на коленях друг у друга. Редактор разлил спирт по кружкам:

— За нашу дружбу, товарищ Глушков. Мы ж с вами дружили на фронте?

Да вроде дружили: они наведывались к нам и в наступлении, и в обороне, писали об отличившихся, мы им помогали собирать материал, создавали условия — в том числе ночлегом, кормежкой и согревающим. Ребята симпатичные: простые, смелые, лезли в пекло. Один из них, заместитель редактора капитан Волков, погиб под Минском, пошел в атаку с ротой. Писал этот заместитель здорово, с душой, подписывался: «Ал. Волков». Вместо него прибыл старший лейтенант, он подписывался: «Ник. Кузаков». Между прочим, «дивизионка» дважды расписывала меня лично: «Взводный Петр Глушков» и «Путь офицера». Не скрою. приятно было, газетки донине вожу с собой, уже поистерлись на сгибах.

Редактор опрокинул в себя полкружки неразведенного спирта и отпил прямо из котелка. Кто-то из редакционной холостежи сказал:

— Не канителься, Глушков. Пей!

— Слушаюсь и повинуюсь.— Я улыбнулся, выпил спирт и, придерживая дыхание, налил в кружку воды. Запив крепчайший спирт теплой водой, ощутил, как в груди разлилось горячее, жгущее, будоражащее. И подумал: «Я же зарекался пить!» Нарушил зарок. Подчиненных гоняю, а сам закладываю. Правда, компания достойная — работники пера, офицеры дивизионной газеты. Да и нализываться же не обязательно. Выпьем в меру, поговорим — и до дому. Надеюсь, без меня там ничего не стрясется. Не малые же дети, в конце концов, эти мои подчиненные.

Хлебнули по второй. Журналисты оживились, разбеседовались. Майор-редактор нащупал чистый, без помех, звук — из приемника вытекал сладкий тенор: слегка картавя, пел о России, о косых дождях и берегах у крыльца. Грешен, каюсь: не жалую теноров. Из-за их слащавости. Чего-нибудь помужественней бы, погрубей.

Светилась шкала приемника. Картавый тенор пел про Россию. Дивизионные журналисты рассказывали всякую всячину.

Про комдива и его ординарца рассказали.

Весной, когда погромыхивала первая в году гроза, провожали на родину демобилизованных солдат-ветеранов. Провожал комдив и своего ординарца, служившего у него с финской войны. Перед малой, пе-

ред финской, войной генерал (тогда подполковник) был начальником Сестрорецкого погранотряда, и он принимал участие во многих боях с белофиннами. С началом Великой Отечественной он получил стрелковую дивизию, полченскую, — чекисты, милиционеры, партийные работники, ленинградская интеллигенция. Дрался с дивизией под Пулковом, на Невской Дубровке, дрался у стен города, где родился, где комсомолит на Невском судостроительном заводе и откуда ушел служить в погранвойска. С погранвойсками он распрощался в сорок первом, а с ординарцем прошагал всю Отечественную, распрощался аж в мае сорок пятого. Так вот, когда ординарец, тертый калач, из уральских казачков, прощался с комдивом, он убежденно сказал:

— Товарищ генерал, история прошлая, а ведь вы дружили с нечистой силой...

— Что? — с удивлением спросил генерал.

— Говорю: с нечистой силой знали, ей-богу! Посудите сами...

И ординарец стал называть случаи, когда по каким-то неведомым причинам его начальник избежал смерти от упавшего вблизи снаряда, от танковой болванки, от взорвавшегося фугаса, от срикошетившей пули. Генерал слушал, кивал — да, да, все было, — после принялся объяснять:

— Ну, правильно: сбили мы белофиннов с моста через Сестру, пробежали с тобой мост, бежим уже по насыпи на финском берегу. И вдруг я сталкиваю тебя с насыпи и сам скатываюсь в канаву, спустя миг — на насыпи взрыв фугаса. Ну, так рассуждай: за секунду до этого я увидел в том конце насыпи финского солдата. Куда он бросился? Не крутнуть ли ручку машинки и взорвать фугас? Упредить, в канаву! Так-то. Или ходил я во главе лыжного отряда по тылам белофиннов, и нас обстреливал снайпер, убил комиссара. Второго выстрела я ему не дал произвестти, врезал автоматную очередь по верхушке ели. Почему туда? Да потому, что с того дерева снег осыпался, там, стало быть, «кукушка» сидела. Или рассуждай: под Оршей стоял я с группой офицеров на крыше землянки, снаряд рванул, кого убило, кого ранило, мне элементарно повезло — контузило. Почти аналогичное: случай на КП в полку у Череднюка. Сели мы обедать, полуподвал, стол — у окна; я было пристроился подле окна, но Череднюк мне: «Товарищ комдив, прошу во главе стола...» Я пересел, Череднюк — на мое место, а спустя полчаса снарядный осколок влетел в окно и прямо в висок Череднюку... На войне кому-то везло, кому-то не везло. Но иногда, повторяю, и соображать надо было. Вот ты заявляешь: ночевка в Сувалках. Ночевали, ночевали, не отпираюсь. А теперь вникай, как складывалась ситуация. Въехали мы в Сувалки, начали размещаться, начальник штаба на первом этаже, я — на втором. Ты соорудил мне постель у одной стены, я приказал перенести к противоположной. Так? А почему приказал? Рассуждай: бой идет близко, немецкие танки выползают из леса и бьют болванками по окраине Сувалок. Значит, нужно подальше от той стены, что обращена к лесу, к немцам. Перенесли постель, а танк и долбанул болванкой, пробил стену, спи я там — махай кадиллом. Или ты в бога не веришь? В нечистую силу веришь? А возьми недавний случай, бой под Кенигсбергом. Как погибли командующий артиллерией и замначштаба? А так. Ночью наши штабные машины задержал на развилке патруль: «Дальше нельзя: немцы». — «Как немцы? Их же там не было?» — «Прорвались». Ну, коли прорвались, мы свернули с шоссе, заночевали до рассвета. Командующий же артиллерией и замначштаба без моего ведома поехали дальше, по пути обругав патрульных: «Вы трусы, никаких там фрицев нету в помине!» Храбрецы были отменные, ибо дегустировали трофейный коньяк... Кончилось тем, что немцы из засады вцепили в их «виллис» фауст-патрон, погибли офицеры, хорошие, в общем,

заслуженные офицеры... Словом, так вот обстоит: где повезло, где сам соображал.

Ординарец с сомнением сказал:

— Не-е, товарищ генерал, тут-ко без нечистого не обошлось — уцелеть в таких передрягах...

Комдив улыбнулся, прощально похлопал его по плечу. А над Пруссией гремела, как напоминание о прошедшем, добрая весенняя гроза, и в воздухе пахло цветочной пылью, дождевой свежестью и тройным одеколоном, которым щедро надушился после бритья бравый уральский казак.

Да, умеют журналисты рассказывать. Но я слушал их, а припомнил нашего Фрола Михайловича Абрамкина и других ветеранов роты, уехавших с первой демобилизацией. Не забыл ли Абрамкин меня? Безотказный был старикан!

А третий калач, ординарец комдива, на Урал ведь уехал. Может, сумеет выйти к эшелону, к генералу. Если генерал даст ему телеграмму, адрес-то ординарец наверняка оставил. Мне Абрамкин Фрол Михайлович тоже оставлял адресок, да я его посеял, раздолбай. И письма-ца теперь не черкнешь. Хотя до писем я не охотник, лень-матушка губит. Получать — куда ни шло, писать — увольте.

Вот в блокнотик я иногда записываю интересные, ценные сведения и гениальные мысли. Свои в том числе. Например, после посещения редакционного автобуса я записал: «1. Слабая воля — это нехорошо. Давал слово не пить, а у «дивизионщиков» вкусил неразведенного спирта. 2. Но воля у меня не столь уж слабая: сказал себе — не напьюсь, и не напился. Был лишь навеселе. В теплушку вернулся в полной форме. Следовательно, умей держать себя в руках, это золотое правило».

Но еще чаще я их не записываю, свои гениальные мысли. Мелькнут — и забудутся. Вот мелькнуло: «Новая война. Когда она будет? Узнать бы дату! А может, не стоит? И чем война закончится? Я то хочу определенности — любой, пусть даже трагической для меня, — то хочу продлить неопределенность, пребывая в неведении. Двойственность моей натуры? Но двойственность — это плохо». И забылось.

18

Человек — совершеннейшее создание. И вот это чудесное, неповторимое создание лишают жизни. Кто лишает? Да столь же совершенные, расчудесные создания. Черт знает что! Как сделать, чтобы не было войн? Наступит ли когда-нибудь вечный мир? Должен наступить, хотя сейчас думается об этом иногда без уверенности. Впрочем, иногда и с уверенностью.

На войне я научился убивать. Меня убивали — да не убили, и я убивал — некоторых убил. Таких, как я, людей. Вся штука в том, что люди эти были врагами. Из этого следует: войны не кончатся, пока не кончится вражда на планете. А из этого следует: пошли-ка подальше прекраснотушие и чистоплюйство, поскольку ты все-таки не пацифист, а солдат. Прекраснотушие оставим до лучших времен. Однако до чего же я задубел: о человеческой смерти говорю — штука.

Людям нужно верить. И я верю. Подчас на слово. Но как часто они обманывали меня, и тогда я корил себя за телячью доверчивость. А переиначиться не могу. Глупая, ребяческая доверчивость — не моя вина, а моя беда.

Столбик, обозначающий стык Европы с Азией, мы проспали, включая и дневального. Ничего не попишешь: ночью сладко спится. Уже ко-

торые сутки в пути и вроде бы отоспались. Ан нет, придавить минут шестьсот — всегда в охотку.

Уральские горы подставляли солнышку свои крутые, острогорбые спины; ельник на них был похож на вздыбившуюся шерсть. С гор стекали ручьи. Речки и озера голубели в долинах, в расщелинах. На разъездах, где останавливались, пропуская пассажирские поезда, была оглушающая тишина. Оглушающая потому, что в знойном, тягучем воздухе висел звон кузнечиков — и ничего более. Днем небо на Урале высокое-высокое, но ночные звезды кажутся досягаемыми: протяни руку — и потрогаешь любую. Ночью горы обступают железнодорожное полотно и ели сбегаются прямо к вагонам.

Ночами же полыхало зарево — и вблизи дороги, и подальше в горах. Наверное, там варили сталь. Наверное, там делали танки и пушки. Правильно, Урал — арсенал страны. Как писали в газетах: Урал куёт оружие. И сейчас куёт? Заводских труб здесь изобильно, как в Подмосковье.

В городах и поселках мало зелени, хотя они окружены лесами. Пыльно, дымно. А рядом, в ельнике, в березняке, благодать. Сойти бы с поезда и пожить на заимке недельку-другую. Чтоб подальше от деревень, чтоб на берегу речки или озера, чтоб в лесу куковала кукушка и звенели кузнечики. Да не одному пожить, а с девахой вроде Эрны. Вспомнил об Эрне, и во мне рождается плотское, жадное. Не всегда мои мысли о ней такие. Бывает, что вспоминаю о ней чисто и грустно. Но как-то мимо-летно. Плотские же воспоминания долги и мучительны. И я не стесняюсь их.

Станций и разъездов на Урале порядочно, и мы порядочно стоим. К эшелонам выходят все — от древних дедов до трехлетних ребятишек, белоголовых, сопливых и голопузых. Дедов мы угощаем армейской махрой, голопузых — армейским сахаром. На Урале окают, как на Волге, а старшина Колбаковский заявляет:

— И в Сибири окают.

Доберемся, убедимся. Еще уральцы любят употреблять частицу «то»: «Я-то говорю-то тебе-то». Как сибиряки насчет этого — старшина умалчивает.

Стоим на унылой, невзрачной станции. Она наверху, а поселок внизу: на немощных улицах и лужи и пыль, лужи — миргородские, пыль — пощиколотку. От вокзальчика на улицу ведет деревянная лестница, и Нестеров с Востриковым по-школьному съезжают по перилам. Поднявшись щелястыми, шаткими ступенями, поджигают хлопя пуха возле уборной — на станции цветут тополя, — пух легко, радостно сгорает. Я говорю им:

— И не жаль спички переводить?

— Извиняемся, товарищ лейтенант, не будем, — отвечает Нестеров.

А едва я отворачиваюсь, поджигают кучу тополиного пуха возле ограды. Тихони и скромники расшалились. Ей-богу, пацаны. Как есть пацаны.

Тополевый пух подымался от деревьев, от земли, плыл в прогретом воздухе, снова ложился на землю. Как тихий снегопад. Если дувал ветер, пух несло, будто снег в метель, забивало нос, рот, глаза.

Вот так же забивало лицо — но не сухим теплым пухом, а сухим холодным снегом. Сначала тоже был ленивый, тихий снегопад, снежинки сыпались с низкого, навалившегося на подмосковный лес неба. А затём ударил ветер, закружило, понесло, завьюжило, стало по-вечернему сумрачно, хотя был день. Хмурый, снежный, свинцовый день. Конец ноября. Сорок первый год. За спиной — столица.

И сейчас Москва позади, но тогда все было по-иному. Сейчас мы после победы, а тогда были накануне поражения. По крайней мере мне

так казалось, не скрою. Никому об этом не заикался, но в мыслях — было. Прошло пять месяцев войны, протяженных, как пять лет. И не было дня, чтоб мы не гадали: когда же погоним немца обратно? А покамест он нас гнал, не так уж быстро, но гнал и допер до московских пригородов.

Мы знали, фашисты планировали блицкриг — молниеносную войну: за какой-нибудь месяц разбить нашу армию и, заняв Москву, завершить кампанию. Они были недовольны тем, что война складывалась не по их планам. Мы тем более были недовольны ходом войны. Если бы кто сказал мне, что начало войны будет таким, я бы ни за что не поверил. Но пять месяцев были позади, и фашисты подошли к Москве.

Мы были недовольны ходом войны? Недовольны — да разве этим словом можно определить наши тогдашние мысли и чувства? Мы были угнетены, подавлены, злы. Но сквозь подавленность пробивалась надежда, злость побуждала к действию. В итоге — дрались, как черти. Были, конечно, и слабые, сдавшиеся в плен грозным событиям. В нашей роте — а от нее осталось два десятка человек — нашелся боец, простреливший себе кисть. В другой роте ручной пулеметчик, из Мытищ родом, сбежал с фронта домой. Их обоих — и самострела и дезертира — расстреляли перед строем. За секунду до залпа один упал на колени, второй истерично закричал, после залпа они завалились в сугроб. А мы разошлись по заснеженным траншеям.

В преддверии зимы морозило, поля и перелески обдувал ветер, где оголяя смерзшиеся комками палые листья и суглинок, где наметая сугробы. На вершинах елей каркали вороны. Стараясь не думать об этом карканье, мы расчищали от снега окопы, траншеи, ходы сообщения, всматривались в сизую клубящуюся муть, изъязвленную пожарами. Мы были поморожены, валились с ног от усталости, недосыпа и недоеда (мне — только что из госпиталя, недолечившемуся — доставалось покруче других), однако оружия и боеприпасов было вдоволь, а это всегда подбадривает ратного мужика.

Комиссар полка, обмороженный не меньше нас, ходил по траншеям, курил с бойцами, обнадеживал: ребята, малость еще продержимся — и не за горами контрнаступление, в тылу готовится ударный кулак, подходят сибирские дивизии, выстоим же, ребята! Начальник особого отдела тоже бывал в траншеях и тоже обнадеживал: никакой паники, колебаний и сомнений, никаких пораженческих слов и мыслей, иначе — трибунал, законы военного времени. Мысли, как я уже сказал, бывали у меня далеко не победные. Но я помалкивал: кому охота в трибунал, с которым шутки плохи. И еще: я верил комиссару, верил, что вскоре начнется наше наступление, надо только выстоять.

А окончательно уверовал я в перелом, в близкую победу под Москвой, когда мы отбили атаку на Крюковку, атаку, по счету двенадцатую — за четыре дня (немцы атаковали с железной неизменностью: три атаки в день, будто норма какая). Немцы откатились к совхозу, от которого уцелели одни силосные башни, служившие неплохим ориентиром для нашей артиллерии, — заливать раны, готовиться, вероятно, к завтрашним атакам, ибо на сегодня их норма вроде бы исчерпана. На поле чернели воронки, догорал, сея жирную копоть, танк с крестом на борту, валялись трупы в серо-зеленых шинелях (в первых атаках на Крюковку немцы уволакивали своих раненых и убитых, потом — только раненых). Трупы немцев лежали ничком, навзничь, на боку, раскидав руки и ноги — в сапогах, в ворованных валенках, в уродливых соломенных чоботах, эрзац-валенках, для сугреву при жизни. Мы хоронили своих убитых на окраине деревни, где держали оборону, — в воронках от снарядов и бомб; забросав глиной и снегом братские могилы, клали поверх про-

стреленные каски. Валил снег, натягивал саван на изрытую, истерзанную, обезображенную землю, на мертвых и живых еще людей.

За траншеей было то, что осталось от Крюковки, от ее изб и дач,— печные трубы, груды кирпича и обгорелых бревен, покореженные куски листового железа, обезглавленные, расщепленные ветлы. Жители эвакуировались, и Крюковка погибла без них. В сущности, от нее осталось разве что название.

Прежде я как-то не ощущал, что позади нас Крюковки, Сафоновки и прочие Козловки, полудеревни, полудачные поселки, а затем уж Москва-матушка. А тут словно прострелила мысль: до Москвы еще есть километры — деревни, поля, леса, реки,— которые фашисты должны преодолеть. Не преодолеют, не приблизятся к столице, не войдут в нее, проклятые, если мы стоим на их пути. Не овладели они Крюковкой в двенадцати атаках, не овладеют и в тринадцатой и в двадцатой. И Москвы им не видать как своих ушей. Погоним прочь! Трудно сказать, с какой видимой причины появилась у меня эта уверенность: ведь немцы доперли от границы до московских пригородов,— но она появилась, и росла, и крепла. Погоним!

И — после того как немцы выдохлись, перешли к обороне — мы их погнали. Взащей. Вспять. На запад. Вот тогда-то, наверное, и родился боевой клич: «Вперед на запад!», с которым мы не расставались всю войну. Однако в декабрьских полях Подмосковья, зарождаясь, он звучал как-то по-особому. Признаюсь: я больше радовался, что не отдали Москвы, чем тому, что взяли Берлин. Ибо понимал: не отдав Москвы, мы неизбежно должны взять Берлин. И мы взяли его. Закончив войну. На западе. Против немцев. А на востоке были и остаются японцы, о которых я, каюсь, подзабыл. Зато сейчас, в эшелоне, вспоминаю. Придется свидеться. Так сказать, представиться...

А парторг Микола Симоненко также воевал под Москвой в сорок первом. Может, неподалеку от меня находился. Был сержантом и остался всю войну в сержантах. Случай не очень типичный. Видимо, Миколу Симоненко везло на госпитали. Если же человека не убивало и не слишком часто ранило, он рос в чинах. Сколько сержантов стало лейтенантами да капитанами, сколько майоров стало полковниками да генералами! Я и то продвинулся. Не так чтобы здорово, однако продвинулся: лейтенант, а могут и старшего лейтенанта дать, срок позволяет. Но многие, многие навечно оставались в своих воинских званиях. Те, что легли в братские могилы, под фанерныеobelisks, под простреленные каски.

Едем по Уралу, и я думаю: «Ну ладно, ну хорошо, ну допустим на миг, хотя это и собачья чушь: вот отдали мы Москву. Так что, на этом был бы конец войне? Выкуси, Адольф Гитлер! Отступили б и до Урала — и тут бы дрались. Отступили б до Сибири — и там дрались. Пока не разбили б врага. Отдавали бы серые таежные деревеньки и снова брали бы их. Но какое счастье, что Москву мы отстояли и что война сюда не дошла въяве, будь она распрэжята... Нет, никакой враг никогда не войдет в Москву!»

Попали в полосу затяжных, нудных дождей. Сколько ни едем — мокрядь, промозглость, тучи. Вагоны потемнели от дождя, рельсы мокро блестят, на остановках мы почти не выходим, да и к эшелону не очень-то выходят: мокнуть неохота. Даже в Свердловске на перроне было малолюдно. Меня это несколько обижает, хотя разумею: наш эшелон — далеко не первый, пыл может полегоньку улечься.

Мы проводим политинформации, играем в шахматы, домино и карты и спим, спим. Под дождичек и стук колес спится. Всем, кроме меня.

По совести, днем я больше притворяюсь, чем сплю. Мне временами до чертиков не хочется ни слушать, ни тем паче вступать в разговоры.

Они прекращаются лишь на ночь. А так — в разных концах вагона слышны голоса, громкие и тихие, уверенные и робкие, хриплые и чистые. порознь и все разом. Говорильщики подчас забывают великого храпуна старшину Колбаковского и великого исполнителя, певца-аккордеониста Егоршу Свиридова. Ефрейтор — в незнамо где добытой динамовской майке, склонившись пышным чубом к планкам и высокомерно оттопырив губу, — перебирает клавиши, изредка произносит: «Карамба!», вновь перебирает клавиши, поет. Для себя поет, для души. Игнорируя невнимательных, неблагодарных слушателей. Среди этих, неблагодарных, значусь и я, у которого репертуар Свиридова навяз в зубах.

Настроение у меня подпортилось из-за дурной погоды. Я уже подметил: ясно, солнечно — и на душе вроде радости, сумрачно, непогодисто в природе — и на душе скверновато. И у других, полагаю, то же. Что-то не видать улыбок, не слышать смеха, одни будничные, скучные разговоры.

Дорога имеет ту особенность, что позволяет обстоятельно подумать, присмотреться к себе и людям. Во фронтовой обстановке это не всегда удается. А тут — пожалуйста. Хочешь — спи, хочешь — наблюдай и размышляй. Я размышляю и одновременно пробую подавить свое дурное настроение. Действительно, из-за туч и дождя кукаться? Не резон!

В который раз возвращаюсь к мысли: вопреки моим ожиданиям, жизнь, люди не изменились после долгожданной, выстраданной, добытой такую ценою победы. Нет, жизнь не переменялась круто, и люди прежние, живые — то сильные, то слабые. Наверное, я должен после победы быть неизменно ровным, радостным и счастливым: ведь дожил до нее! Да что там, бывает, и вовсе забываю о том, что была победа. Быт, повседневность, суэта засасывают. А поддаваться им нельзя. Надо почаще оглядываться назад, будоражить свою память. Поворошив прошлое, лучше разбираешься в настоящем, уверенней ожидаешь будущее.

Как сложится твоя судьба, Петр Глушков, бывший студент Бауманского института, ныне лейтенант, исполняющий должность командира роты? Заглянуть бы в свое завтра. А может, не стоит? Неинтересно будет жить, зная наперед, что с тобой случится. И так, да здравствует неизвестность!

Черт подери, в конце концов любопытно узнавать, чем оборачивается для тебя завтрашний день. Это так много — целый день. Сколько их, новых дней, будет в моей жизни? Впрочем, точнее: день — это так мало, пролетел — и нет его. Мои дни мелькают, как километровые столбы. И ничего не вернешь, ничего не переиначишь. Что сделано, то сделано. А что предстоит сделать, то сделаем. Вот и вся несложная философия Петра Глушкова, бывшего тем-то, ныне того-то...

— Карамба! — Верхняя губа ефрейтора Свиридова надменно вздернута, взор устремлен в потолок.

— Ты чего наподобие ворона заладил: кар... кар... — Это старшина Колбаковский, с верхних нар.

Свиридов не устаивает его ответом, лишь меняет позу, наклоня голову к планкам аккордеона. Раньше подобное высокомерие могло дорого обойтись великому исполнителю, но нынче аккордеон едва ли не в безраздельном владении Егора Свиридова, старшина будто запомнил, что «Поэма» — его личная собственность. Вот Свиридов и чхает на некогда грозного ротного бога. Сдал он, ротный бог, утратил хватку, размагнитился. Солдатики это расчухали мгновенно, не один Егорша Свиридов. И мне в ином случае хочется размагнититься, да не позволяю себе: мы еще военные люди, а не штатские, без дисциплинки рухнем под

откос. Приелось, конечно, все это за армейские, фронтовые годы, но куда ж денешься? Командир и есть командир. А взводные и отделенные, я усекаю, идут вслед за старшиной на поблажки. Больше, чем на других сержантов, я могу рассчитывать на парторга Симоненко. У него кадровый, службистский характер, хотя внешне Симоненко мягок. В Можайске даже плакал на станции, так растрогался.

Колбаковский валяется на нарах в майке и кальсонах — трусов принципиально не признает, — пошевеливает пальцами ног, наблюдает за ними, за Свиридовым, за мной. Ступни у старшины рыхлые, в фиолетовых пятнах, ногти отросли, загнулись, на пальцах рыжая шерстка. Неизвестно, созерцание чего наиболее не по душе Колбаковскому — собственных пальцев, ефрейтора Свиридова или меня, но старшина хмурится и кривится.

Старшина за дорогу округлился и словно помолодел, потому что округлость эта разгладила морщины. Животик у него стал еще полней. Колбаковскому лет тридцать пять, а мне кажется: в отцы годится. Может, из-за того, что плешина красуется и зубы сплошь металлические. Объяснял: зубы потерял — цинга, а где потерял — не объяснял. Колбаковский воевал в нашей роте месяца три. Не трусил, на передовой показывался, в окопы с термосами жаловал. Но бурчать бурчал: что за жизнь под старость лет, таскаюсь под пулями, не по назначению используют мой армейский опыт. Ну, а опыт-то армейский у Колбаковского — в основном отирался на продскладах. Как по той поговорке: кому война, кому мать родна. Войны он понюхал чуток. И еще чуток понюхает.

Со Свиридовым и Симоненко я знаком побольше. Они из числа немногих уцелевших в передрягах зимних и весенних наступлений сорок пятого года. Фронтowego Симоненко я запомнил в двух видах: с газеткой в руках, читает вслух в окружении бойцов, и в атаке — с автоматом, в солдатской цепи, он командир отделения, но если надо показать пример, вырывается вперед. Свиридов, рядовой автоматчик, в атаках и не вырывался, и не отставал, нормально дрался. И вообще вел себя нормально, дисциплинированно, носа не задирает. А вот Симоненко, пожалуй, не изменился, каким был, таким и остался.

Откуда родом Колбаковский, мне неизвестно, не поминает он об этом. Как многие сверхсрочники, покочевав по разным местам службы, он, возможно, подзабыл родину, армия для него — родина. Микола Симоненко с Полтавщины, Свиридов из Иркутской области, потому и зовет себя по-сибирски: Егорша. Будем проезжать Иркутск, попросится на побывку. А ну загуляет?

Дверь теплушки прикрыта: дождь хлещет с этой стороны, налет. В вагоне сумеречно, и Симоненко зажигает «летучую мышь», растопырив локти, просматривает за столом газеты, выписывает в тетрадочку, готовится к политинформации либо к беседе. Он сосредоточен: брови сведены к переносице, мясистые губы шепчут, повторяя цитаты. Будешь сосредоточенным: цитаты — штукавина серьезная.

— Ну, чего ты ко мне причепался? — Это сиплый, пропитый бас Головастикова. Адресован он Логачеву. Тот говорит непримиримо:

— Повторить, что ль? Погромче?

— Замолчь! Причепался, ей-богу... Ну, лады, лады, сделаю...

О чем — непонятно. Но Логачев напирал, Головастикова оправдывается.

Логачев мне нравится: грамотешки нехватка, тугодум, но очень правильный человек, не враль, работяга, нрав — ровный, спокойный. Однако сегодня Логачев нервничает, покрикивает на Головастикова. Судя по всему, за дело.

Сутулый, нескладный Филипп Головастикова натягивает на крепких скулах жирную, в угрях кожу, катает желваки, в бесцветных плоских

глазах — скука, тоска и, по-моему, усталость. Ну, тоска с погоды, скука с дорожного однообразия, а усталость с чего? Спи, отдохнай, набирайся сил. Отсыпайся за войну, как это проделывает Толя Кулагин — дрыхнет, потом проснется, промолвит словечко, ввязываясь в разговор, и, глядь, уже снова храпит с пугающе открытыми разноцветными глазами.

У Головастика своя позиция: «С этой войной запустил всю пьянку». Поэтому спит он немного, а пить замахивается много. Один раз сорвался, полез на меня с кулаками, второй назревает? Товарищи его опекают, не дают ходу, особенно Логачев. И вот угрюмо-трезвый Головастик катает желваки и поскрипывает зубами, они у него желтые, изъеденные табаком. Пожалуй, я зря не посадил его на гауптвахту. В назидание. Ему и другим.

Федор Логачев вразумляет Головастика и, вдруг поймав мой взгляд, убирает под стол татуированные руки. Федя не такой уж скромник, и русалки и голые бабы для него — тьфу, но меня почему-то конфузится. Не всегда, правда. Однако если вот так перехватит взгляд — убирает татуировочки. От греха подальше.

До войны Логачев проживал в Дербенте, ловил рыбку на Каспии. Гордится тем, что он рыбак и что он из Дербента. Говорит: «Читали книгу «Танкер «Дербент»? Это в честь нашего города названо... Не читали? Как же так? Ай-я-яй... Сам я тоже не читал, но про книгу слыхивал, мировая, сказывают, книга. И город Дербент мировой!» В Дербенте у него жена, два сына, три дочери, отец, теща, свояченица, живут все в одном домике на побережье. Им Логачев аккуратно шлет письма-треугольнички, многочисленное семейство отвечает ему со значительно меньшей аккуратностью. В минуту жизни горькую Логачев вздыхает: «Не пишу своему пахану, мне то есть...» И еще повод для огорченных вздохов: «Пошто я не на флоте, а в пехтуре? Все из-за военкома, Юсупову фамилия...» Слово «флот» произносит с любовью, слово «пехтура» — с пренебрежением. А пехотинец он вполне исправный, кто воевал на пару — подтверждает.

— Послушай, Федя,— басит Головастик,— регламент твой истек, кончай говорильню.

— Кончаю,— успокаивается наконец Логачев.— Но ты учти...

— Учту, учту.— И Головастик принимается вертеть здоровенную сигарку.

В теплушке накурено, дым кольцует «летучую мышь» на стояке. Парторг Симоненко морщится, подносит газету ближе к лицу.

Геворк Погосян фыркает:

— Начадили! Надо открыть дверь.

Его поддерживает Вадик Нестеров:

— И то! Дышать нечем.

Погосяну возражает дружок Рахматуллаев:

— Не надо открывать: на улице холодно.

Его поддерживает Яша Востриков:

— Тепло выпустим...

Спор о том, отодвигать или не отодвигать дверь, разгорается, в него втягиваются остальные солдаты. Пустой, никчемный, он удивляет меня своей горячностью и раздраженностью. Из-за сущего пустяка лаются. Удивляюсь обычно неразговорчивым, печальноглазым Погосяну и Рахматуллаеву — может, непогода на них подействовала больше, чем на кого-нибудь, вконец испортила настроение,— удивляюсь обычно вежливым, уважительным юнцам: спорят — будь здоров. Сверху, из угла, кто-то, подзуживая, кидает:

— А не пойтить ли на кулачки?

Действительно, только и остается — решить этот вздорный спор потасовкой. Я говорю:

— Дневальный, отодвинь на минутку дверь. Проветрим и опять закроем.

Все молчат. Может, поражены несложностью и мудростью моего решения. Или просто не о чем говорить и спорить.

В теплушке блистательно отсутствует мой верный ординарец Миша Драчев. Повалился гостить в соседних вагонах, а то и отставать. Не скажу, чтоб мне его очень уж не хватало. Но вот кого не хватает, так это замполита Трушина. Давненько не заглядывал в нашу теплушку, по другим кочует. Завернул бы к нам, покалякали бы, парень же, в общем-то, свойский. Ну да, я немного соскучился о нем.

И, подумав о Трушине и ощутив некую к нему близость, я вдруг ощутил близость и к тем, кто находился сейчас со мной в теплушке, ощутил общность, неразделенность с ними. Будем трезво смотреть на вещи: люди после войны меняются, увы, не так, как мне хотелось бы, в ином смысле меняются, но не настолько же, чтоб взаимно отдаляться, чужеть, что ли, друг другу. Ведь столько пережито вместе, и не должно это сгнуться без следа.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Василевский сказал командующему нашей 39-й армией Людникову:

— Не надоело воевать, генерал?

— Надоело, товарищ маршал.

— Ну так берите Кенигсберг и заканчивайте войну...

Мне редакционные офицеры, когда попивал у них чистейший медицинский спирт, рассказали, что был якобы подобный разговор перед штурмом Кенигсберга. Возможно, и был. Все верно, кроме одного: весной сорок пятого война не кончилась. Для меня, в частности. Она как бы сделала передышку.

19

Старичок был тщедушный, сморщенный, убогий, и кто-то сказал:

— Старичок-сморчок.

Я рявкнул:

— Отставить!

Но старичок не обиделся на солдата. И без того сморщенное личико его сморщилось еще сильнее, он обнажил розовые, без зубов, десны, хихикнул и прошамкал:

— Истинно так, солдатушка. Я и есть гриб-сморчок...

Мне было жаль старика. Он был не только сморщенный, но и сухонький, невесомый, как пушинка, дунет ветер — и понесет старичка. И ветер поддувал, может, поэтому старичок и держался за что-нибудь — за спинку скамейки, за ствол дерева, за вагонные поручни.

Заприметил я его в Ишиме. Он был в армейских обносках, на голове соломенная шляпа — под ней, не блеклые, не стариковские, синели глаза. Были они добрые, робкие и чистые, как у ребенка. Чистые потому, наверно, что в старости становишься по-детски безгрешным. И у меня будет такой же незамутненный, безгреховный взгляд, когда доживу до семидесяти.

Распогодилось, и на станцию высыпал народ. Наигрывала гармошка, бубнило радио, толчея, смех, галдеж. Среди уже ставших привычными станционных занятий было и такое. Столпившись, солдаты с хохотом и шутками наблюдали, как по карнизу ходила кошка: туда-сюда, по краешку, вот-вот сорвется, — и хладнокровно заглядывала вниз, любительница острых ощущений, где у кольев штакетника облизывались худющие облезлые собаки, поглядывая на нее.

Солдаты, гогоча, толковали зрелище:

— И не боится, зараза! Свалится -- разорвут в клочья.

— Играет с огнем сродственница тигра!
 — Дразнит их, дразнит как: на-кось, мол, выкуси, близко, да не достанешь!

— А как они облизываются-то, псы-собаки!
 — Прямо цирк, ей-бо! Бесплатный цирк!
 Кошка и впрямь дразнила собак. Они стали раздосадованно, злобно поскуливать.

— Везде посередь божьих тварей война. Нету мирности, нету...
 В солдатских огрубелых голосах и гоготе я разобрал эти тихие, сожалеющие слова. Их произнес синеглазый, высушенный годами старичок, державшийся за скамейку, у ног его был фанерный чемоданчик.

Потом я увидел его возле пассажирского поезда — с облупившейся краской вагоны, немытые оконные стекла, обшарканные, заплыванные подножки. Он упрашивал дебелую распаренную проводницу со свернутыми флажками посадить его. Она отвечала непреклонно:

— Как же я посажу, любезный папаша, ежели у тебя билета нет? На незаконность толкаешь.

— Так их, билетов-то, нету в кассе, как есть нету, красавица, — шамкал старичок жалобно и просительно. — Посади, сделай божескую милость, век не забуду.

— На преступление толкаешь, папаша. Сказала — значит, все: не посажу. Некуда. Вагон забитый. Как селедки в бочке...

Да, поезд был забит до отказа. Старичок поковылял к соседнему вагону, к молоденькой грудастой проводнице в берете, любезничавшей с тихоокеанским морячком.

Потом я встретил старика у нашего эшелона. Он опять просил посадить его. Солдаты объясняли: не имеем права, папаша, брать штатского в воинский эшелон, не обессудь. Он прошамкал:

— Не забижайте старого старика. У меня трое сынов и пятеро внуков воевали, вот как вы.

Солдаты говорили: «Не имеем права», разводили руками, отворачивались. И тогда я спросил у него:

— Докуда ехать, отец?

Он встrepенулcя, весь подался ко мне:

— До Омска, сынок, до Омска! Тут-ко недалече...

До Омска недалеко, это так, старшина Колбаковский давеча подтверждал. Я отнял у старика чемоданчик, сказав:

— Пойдемте в нашу теплушку.

Пока шли, я подумал, что, конечно, это непорядок — везти гражданского в воинском эшелоне, — что надо где-то устроить его на нарах, не стеснив солдат, что начальство наверняка взгреет меня, если усечет.

Около теплушки разминался Колбаковский. Я сказал:

— Старшина, подвезем человека до Омска.

Он кивнул, спросил у старика:

— Вшивости нету?

— Нету, — виновато ответил тот.

— Полезай. — Колбаковский забрался по лесенке, подал старичку руку, я подтолкнул в спину, и он, кряхтя, залез в вагон.

Колбаковский веско произнес:

— На остановках без надобности не выползай, ферштеен?

— Чего-чего, милый?

— На остановках сиди и не рыпайся, не то попадешь на глаза кому не следоват, понял?

— Понял, милый, понял! Спасибо, рóдные вы мои сыночки...

— Не аллилуйствуй, — строго сказал Колбаковский, и я подивился этой воскресшей в старшине строгости. С солдатами уже иной, размягченный, а вот на старичка насаждает, взыграло бывшее, забилося ретивое.

Старичок пришибленно примолк, оглядываясь. И я огляделся и приказал Нестерову:

— Давай наверх, ко мне, там можно потесниться. А его на твое место, несподручно ему лазать на верхотуру.

— Есть, товарищ лейтенант! — рубанул Нестеров и, схватив вещевой мешок, шинель, закинул их наверх. — Прошу, дедушка!

Вот тут кто-то и сказал — старичок-сморчок, а я рывкнул.

Робея, старичок пристроился на краешке нар. Но когда пассажирский поезд, на который его не пустили, стронулся на соседнем пути, во взгляде старичка промелькнуло: ничо, милый, и я за тобой, далёко не уйдешь. Наш эшелон пошел, набирая скорость, и у старичка взгляд стал еще живей да веселей.

Он назвался мне, потом Колбаковскому, потом всему вагону разом:

— Макар Ионыч.

И поклонился всем сразу, низко, по-русски. Я назвал себя, Колбаковский себя, а остальные загалдели:

— Уважительный старикан!

— Мерси, папаня!

— Устраивайся, дедко, располагайся!

— Обмыть бы знакомство, а?

— Жаль, нету! Да и начальство не позволит.

— А что начальство? Оно само женатое, хе-хе!

— Гляди, Макар Ионыч, Омска не проспи!

— Старуха заждалась небось свово сокола!

— В гости, что ль, ездил? Нашел время.

— Подвижной ты старик, Макар Ионыч!

Старичок слушал, кивал, улыбался. А после, когда стихло, взялся рассказывать. Да, старуха, поди, заждалась его. Не в Омске, правда, от города на автобусе надо катить полста верст. Да, ездил в гости, на свадьбу внучки свзяка, за хорошего парня взамуж, лейтенант был, счас инвалид, обезножел маненько. Не в Ишиме это, а село от Ишима сто верст, потому никто и не провожал на вокзале, на свадьбу добирался на попутных и обратно на попутных, нашлись божьи люди, не обидели, как вот вы не обидели, посадили в поезд.

— Не обидели и не обидим. Но ты вот что, Макар Ионыч, — со строгостью сказал старшина Колбаковский, — ты на остановках не рыпайся, не то на тебя глаз положит кому не следоват. Замри и не выгладай, понял?

— Да нешто я неразумец какой? В доскональности понимаю, товарищ старшина. Вас не подведу, себя не подведу... Как мышь в норке буду!

Макар Ионыч и вел себя как мышь: тихонечко лежал либо сидел на нарах, хрумкал сухариком — свадьба была, видать, не шибко богатая или же хозяева забыли снабдить старика на дорогу чем повкусней. Во время обеда мы накормили Макара Ионыча щами из кислой капусты, пшенной кашей, напоили чаем. В отличие от нас он побаловался чайком всласть, выдул котелок, изрядно вспотев. Колбаковский не преминул внушить:

— Надуваешься, а как будешь сливать?

— Потерплю, товарищ старшина, — смутился Макар Ионыч. — Я терпеливый, выдюжу хоть сколько...

Он пропустил столько остановок, что я забеспокоился о его мочевом пузыре. И, когда остановились в поле, заставил старика выйти из вагона. Настороженно озираясь, он пристроился у ближайшего кустика и дул так продолжительно, что я опять стал беспокоиться: эшелон вот-вот тронется.

Облегчившись, Макар Ионыч взбодрился и осмелел. Пустился в объяснения:

— Ехаем по Ишимью, то ись Ишимские степи это...

Мы и сами зрели: степь куда ни глянь, изредка березовые колки. Кое-где ходила под ветром пшеница, кое-где были распаханные клинья, в остальном — трава, ковыли, кустарничек. Толя Кулагин — как бывший полевод — спросил:

— Что за почвы?

— Пошти чернозем, что твоя Кубань, — не без хвастливости ответил Макар Ионыч. — Воткни оглоблю — дерево вырастет! А за Омском, за Татарской проехаете Барабинские степи. Пониже, на юг от Барабы, Кулунда, то ись Кулундинские степи, хлеба там, на Алтае, богатеющие. Целика там много...

— Целик — это целина, — пояснил нам, серым, бывший полевод Толя Кулагин.

Потом Макар Ионыч поведал о ходе свадьбы, о невесте и женихе, о гостях — местных и приезжих, о своих родичах, о своей старухе. На данном вопросе — насчет старухи — его попросили остановиться подробнее, уточнив, сколь годов они живут парой. Старик уточнил: на пару живут сорок годов, это у него вторая жена, а с первой он прожил десять годов.

— Померла? Либо разошелся? — в упор спросил Головастик, скребя небритую щеку.

— Разошелся.

— Почему?

— Не сошлись характером, — сказал Макар Ионыч и загадочно улыбнулся.

Головастик с той улыбки сделался еще мрачнее, старик же окончательно разохотился говорить. обстоятельно рассказал о характере и внешности супруги, и по всем статьям выходило, что добрей, верней и пригожей бабы не сыщешь на белом свете. В виду имелась нынешняя супруга, предшественницы он не касался, сообщил лишь:

— Звали ее Евдокия Петровна. А мою законную зовут Евдокия Ивановна! А то и вовсе морской узел: первая-то женка вышла опосля за Макарку Сухороброва! Одна пара склеилась: Евдокия да Макар. И друга пара: опять же Евдокия да Макар...

— От перемены мест... этих... слагаемых сумма не меняется, — изрек Свиридов.

Какой-то озорник спросил сверху:

— Ну, а жене изменял, дедушка? Признавайся! Законной Евдокии Ивановне?

— Нет, — твердо ответил Макар Ионыч.

— Почему? — снова в упор спросил Головастик.

— Во-первых, опасался дурну болесь подцепить. Ну, во-вторых, любил старуху свою, стало быть...

Кто усмехнулся, кто рассмеялся, а Головастик угрюмо сказал:

— Силён старик.

Головастик в последнее время не пьет, а если и пьет, то самую малость, потому что незаметно. Но с каждым днем он все угрюмей, и я не без опаски думаю: Головастик из Новосибирска, вот-вот попросит трехдневный отпуск, надо отпускать, а не наломает он там дров со своей разлюбезной неверной женой? Бывало, что фронтовики круто расправлялись с эдакими дамочками. Не пустить? Так сам сбежит! Что за мысли у Головастикова — знать бы. Ишь как дотошно выпрашивает у старика, как нехорошо блестят его глаза. Ей-богу, наломает дров в Новосибирске, чует мое сердце.

Я мысли Головастика не угадываю, а он мои — угадывает. И говорит:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Разрешите задержаться в Новосибирске, повидаться с женой.

— Гм,— отвечаю я, несколько растерянный. Нахожусь, обретаю уверенность: — Разговор преждевременный, до Новосибирска еще далеко.

— Ничего не далеко,— говорит Головастик.— Четыреста пятьдесят километров. От Омска.

— Наверде того,— поддерживает Макар Ионыч.— По сибирским понятиям, рядышком.

— Рядышком? — говорю я.— С остановками протащимся сутки... И к тому же я самостоятельно не могу разрешить отлучку, надо согласовать с комбатом, с замполитом.

— Потому и нужно загоя начинать,— говорит Головастик. И он, конечно, прав, не оспоришь. Добавляет: — Промежду прочим, я с замполитом уже разговаривал...

— Субординацию нарушаешь, не по команде действуешь.

— С комиссаром можно, товарищ лейтенант,— говорит Головастик, вторично ставя меня в тупик.

— С комиссаром-то с комиссаром, а через меня перепрыгиваешь... И что же он тебе сказал, комиссар?

— Сказал: ты разгильдяй, тебя нельзя отпускать.

— Вот видишь, Головастик...

— Ничего не вижу. Прошу отпустить.

— Подумаю, подумаю.

Разумеется, буду думать, отпускать Головастика или нет. Но прямога, с которой он передал мнение замполита, подкупает меня, настраивает на благожелательный лад. И второе обстоятельство: если Трушин категорически против, я скорей буду за. Таков уж закон противодействия, имеющий быть в моих с Трушиным отношениях. Глупости это, идиотство, однако факт: не согласиться с Трушиным — для меня соблазн. Не всегда, но часто. Словом, риск — благородное дело. На риск, и немалый, придется идти, отпуская Головастика. Не мешает с комбатом посоветоваться. Посоветуюсь, если выпадет возможность. Ладно, до Новосибирска еще порядочно.

Все-таки Головастик — фрукт: до последнего момента утаивал, что из Новосибирска, а ведь можно было вмешаться в разговоры, когда старшина Колбаковский демонстрировал свою осведомленность насчет Транссибирской магистрали. И Свиридов не сообщает, что он иркутский, хотя мне это известно. Иркутск тоже будем проезжать, Егорша Свиридов, ясно, попросится. Его я отпущу без помех.

Эшелон, пыля, рассекал степи. Они напоминали мне донские степи, но здесь они шире, необсржимей, величественней. Ну и масштабы на востоке: то беспредельные леса, то беспредельные степи, вскоре опять пойдут леса — и опять без предела. До чего же огромна наша страна! Огромная, а целиком умещается в твоём сердце.

Солнце раскаленным, будто пульсирующим шаром садилось за горизонт, по степи растекался лиловатый — вперемежку с голубым — свет. Ветер продувал ее насквозь, волоча по проселкам пыль и иссушенную колючку, сгиба придорожный цикорий. Но он не мог сдуть ворон — с чашечек изоляторов, ласточек — с проводов, птицы были словно приклеены. Если к телеграфному столбу приложить ухо, услышишь, как поют провода. Некогда я получал от этого занятия удовольствие. Пацаном.

У колка пасся табун, лошади были разномастные, худые и понурые. Лишь гнедой жеребенок-стригун носился взбрыкивая, играл сам

с собой. Сивый мерин, расставив мосластые ноги, мочился и печально смотрел на его шалости. И, видимо, не понимал их.

Макар Ионыч выкурил самокрутку, предложенную ему Филиппом Головастиковым, и стал рассказывать про своих сынов и внуков:

— У меня избыток баб, стало быть, шесть дочек и шешнадцать внучек. А сынов трое. Все детки от Евдокии Ивановны, от Евдокии Петровны не было, чегой-то у ей не зачиналось... И пятеро внуков у меня. Сынов зовут по старшинству: Яков, Алексей, Парамон. Внуков: Васятка, Гришка, Володька, Федька и Петюня, тож по старшинству счислил. Весь мой мужеский корень воевал... Ну, сыны — те в меня: не лезут наперед, уважительные. А с внуками вразнойбой: Васятка и Петюня — хорошие, в отцов, а Гришка, Володька и Федька — фулиганы были не приведи господь. Царствие им небесное. Потому как Гришка и Федька убитые на фронте, а Володька пропал без вести, считай, нету в живых. А из сынов убитый Алексей, раб божий... Вот и скажу вам, ребятки: ничего страшнее нету, ежели убивают человека до смерти...

Наверно, это так, Макар Ионыч, наверно. Хотя я видел кое-что, возможно, пострашнее смерти. Это когда человек сошел с ума. Фамилия его была Леговский, такой интеллигентный солдатик, из недоучившихся студентов наподобие меня. Жить-то он остался, но перестал быть человеком, ибо без разума — что за человек? Быть может, на меня этот случай произвел впечатление потому, что к смертям я попривык, а сумасшествие на глазах — первое и последнее.

Было это в январе сорок четвертого, под Оршей. Леговский прибыл в роту за месяц до нашего наступления, неудачного, кровавого, трагического. Но кто из нас догадывался, что оно будет таким? К нему готовились, к зимнему наступлению, его ожидали нетерпеливо, с надеждой: наступать — значит, идти вперед, на Оршу, и дальше, на Минск, и еще дальше, пока хватит пороху.

А пороху не хватило и на триста метров. О, эти злосчастные метры, на каждый из которых приходилось, я думаю, по десятку убитых красноармейцев! Конечно, я преувеличиваю, но наложили нашего брата тогда густо. Пожалуй, впоследствии нигде не встречал подобной густоты.

Леговский был малорослый, слабосильный, застенчивый, терялся, натываясь на грубость бывалых солдат. Они не панькались с ним, попрекая физической немощью, очками в золотой оправе, подпиленными ногтями, отсутствием мата в лексиконе и наличием линиялых обмоток на искривленных рахитом ногах. Обмотки-то и выдавали в нем ненастоящего, необстрелянного солдата, обстрелянные, как доказано, ходят только в сапогах, хотя бы и трофейных. Я утешал его: будет наступление — разживешься у фрицев. Он отвечал: благодарю вас. Он мне неизменно говорил «вы», я ему, задубевший, выдавал «ты».

Леговского забрали в армию после отсрочки. Он объяснял мне: из-за близорукости была отсрочка, потом пропустили через медицинскую комиссию — годен к строевой службе. Понятно, подчищали, тут и близорукий и пожилой сойдут: война требовала людей, где ж их наберешь, одних молодых да здоровых? Три месяца в запасном полку — и на фронт с маршевой ротой. И — здравия желаю, рядовой Леговский! Он, разумеется, отвечал: здравствуйте — от гражданки еще не отшелся.

Ах, милый, смешной, беспомощный Леговский! Он из кожи лез вон, чтобы стать не хуже прочих. Нас гоняли в тылу, патаскивали перед наступлением, и Леговский старался не ударить лицом в грязь (падать лицом в грязь, в снежную кашу нам приходилось всем). Прибинто-

вав очки к голове — со стороны: будто ранен в голову, — он немилосердно шлепал ботинками, пыхтел, задыхался, натужливо кричал «ура» в атакующей цепи, с разбегу прыгивал в траншею, снова бежал. На занятиях по рукопашному бою остервенело вонзал штык в соломенное чучело, а выдернуть — не мог. Разбирал винтовочный затвор, а собрать — увы. Но вот стрелял он — с его-то близорукостью — неплохо. Объяснил: в кружке ворошиловских стрелков занимался, в школе еще.

Он тяготел ко мне, родственную душу, видать, почуял. Родственности, точнее, сходственности было, однако, мало — разве что оба бывшие студенты и одногодки. А разница хотя бы в том, что он в армию попал с четвертого курса (надо же, с четвертого курса забарабали), я же в эти годы служил срочную, воевал, валялся в медсанбатах и госпиталях, сызнова воевал и довоевался до командира взвода. Для Леговского я был начальство, а он жался ко мне, как теленок к теленку. Но я уже не был теленком. А он был.

Учился Леговский на философском факультете университета, и я не замедлил пошутить: «Ну, философ, так в чем же смысл жизни?» Он ответил на полном серьезе: «Жить достойно». Происходил Леговский из ученой семьи, родители — доценты, кандидаты философских наук. Вот и сынок вдарился в философию. Это неплохо — философия, плохо то, что Леговский вырос комнатным, не приспособленным к жизненным суровостям, что ему только и жить при маме-папе. Правда, я также рос комнатным, маминым сыном, но приспичило — и задубел. Постепенно: служба в кадрах, затем уж война. А вот Леговскому это еще предстояло — задубеть.

Но он не выдержал, сломался. Может, потому, что постепенности не было. Сразу в пекло. И он свихнулся. В самом прямом смысле этого слова.

Когда началась артподготовка, Леговский побледнел. Я положил ему руку на плечо, надавил — для ободрения. Он криво, вымученно улыбнулся и побледнел еще больше. Сказать бы ему утешающие, бодрящие слова, да за грохотом стрельбы и разрывов не услышишь и самого себя. Я хлопал его по плечу, думал: «Напрасно до артподготовки не поговорил, не подбодрил. Закрутился — и упустил возможность побеседовать». Беседы эти — моя командирская обязанность — помогают, да отнюдь не всякому. Позже я понял, что и Леговскому беседа вряд ли бы помогла.

Перед наступлением мы сменили полк, занимавший оборону, затем нас сдвинули, потеснив еще одной свежей частью. Траншеи были набиты пехотой, повернуться негде. Было сумрачно, мглисто, падал ласковый мокрый снежок, и падали снаряды. Потому что немцы здорово огрызались, и контрбатарейная борьба нарастала. По тому, как доставалось нам, ясно было, что и немцам достается.

По логике, однако, им должно было доставаться гораздо больше, нежели нам: мы первые открыли внезапный и мощный огонь по их разведанным, пристрелянным позициям. Но на войне логика не всегда срабатывает. Хотя, возможно, логика тут все-таки была: далеко не все огневые точки противника были засечены нашими наблюдателями и в то же время многие наши точки были засечены немцами. Как бы там ни было, огонь немецкой артиллерии плотнел, ожесточался.

Немцы били и по артиллерийским позициям, и по траншеям и землянкам, где засела пехота. Сперва они не стреляли, будто оглушенные нашими орудиями: мы слышали лишь выстрелы за спиной и разрывы впереди. Так продолжалось минут десять, радуя сердца. А затем снаряды стали рваться за леском, где стояла артиллерия и танки, и на

переднем крае у нас — возле траншей и ходов сообщения. Немецкие снаряды. И сердца уже не так радовались.

Был блеклый рассвет. Из мглы проступали проволочные, в три кола, заграждения, кой-где разрезанные и разведенные саперами, голые кустики и трава ничейного поля, и подалее угадывалась немецкая колючка спиральями — безо всяких проходов; может быть, наши саперы их еще проделают, а нет — набросим на проволоку шинели и по шинелям... Это будет минут сорок спустя, когда артиллерия перенесет огонь в глубину немецкой обороны и мы пойдем в атаку. А покамест снаряды выворачивали глыбы мерзлой земли, перемешанной со снегом и корнями будяка, и эти глыбы шмякались о бруствер.

Грохот долбал по барабанным перепонкам, от него разбалчивалась голова. Траншея, где мы стояли, покачивалась, словно плыла на волнах. Солдаты были сосредоточенные, внешне спокойные: кто курил, кто грыз сухарь, кто поправлял каску либо вещевой мешок на горбу, кто подтыкал полы шинели за пояс — так бежать удобней, кто напряженно оглядывал нейтральное поле, кто нагибался — если снаряд падал вблизи. И только Леговский, как мне думалось, был явно взвищен, откровенно встревожен: руки у него тряслись, нижняя челюсть отваливалась, взгляд — бегающий. По совести, встревожен был и я, и не столько тем, что Леговский трусил, сколько тем, как огрызались гитлеровцы. Не подавим их артиллерию, пулеметные гнезда — перепадет на орехи всем, не одному Леговскому. И чем больше я вслушивался в грохот артиллерийского боя, тем больше росло во мне предчувствие неудачи. Я старался подавить его, а оно не подавлялось — как немецкие пушки.

Снаряд упал в соседнем колене траншеи, другой разнес землянку. Засновали санитары с носилками. Дурное предзнаменование. Еще до атаки несем потери. А ее начало — вот оно: дерущий по сердцу скрежет, в небе огненные трассы реактивных снарядов. Залп «катюш», артиллерия переносит огонь на немецкие тылы, и мы выбираемся из траншей. За Родину! Коммунисты, вперед!

Мы пошли, увязая по шиколотку, а то и по колено в снегу, — прерывистой, неровной цепью, кто опережал ее, кто отставал, и эти отстававшие были моей заботой. Я орал: «Шире шаг, славяне!» — и, оглядываясь, призывно махал рукой. Среди отстававших был и Леговский, я прокричал: «Леговский, какого х... плетешься? Подтянись!» Брань и команда подействовали, он приблизился ко мне, сутулый, мучнисто-бледный, с прибинтованными к башке запотевшими очками. Черта ли он увидит в них? А без очков вовсе слепой кутенок.

Мы шли, подгоняемые собственными криками и стрельбой. Вокруг творилось невообразимое. Немцы садили из орудий и минометов, метров через сорок на нас обрушился и пулеметный огонь. Давно я не переживал такого лиха. На нейтралке стлался смердящий дым, рвались снаряды и мины, пересекались пулеметные очереди. В цепи то тут, то там падали. Кричали раненые. Я еще вопил: «Не отставай, славяне, за мной!», но понимал, что атака вот-вот выдохнется. Дали немцы прикурить!

Разорвался снаряд, и меня отбросило воздушной волной, припечтало к бугорку. В глазах потемнело, но сознания не потерял. Подумал: «Жив, осколки помиловали». Затем подумал: «Что с моим взводом? Что с ротой?» Приподнял голову и увидел: цепь на снегу. Залегли. Врешь, так не пойдет. Ползком, по-пластунски, но вперед!

Я проорал это куда-то в пространство, в снежное, мглистое, грохочущее небо, и с усилием отклеился от бугорка. Тошнило, слабость сковывала движения. Цепь лежала. Не разберешь, кто убит, кто нет. И я полз от тела к телу и орал живым в ухо: «Вперед, по-пластунски!»

И мы поползли и доползли до немецкой проволоки, и здесь фланкирующие крупнокалиберные пулеметы окончательно пригвоздили нас: ни сдвинуться, ни поднять головы. И шестиствольные минометы лупили. Мы прижимались к бугоркам, к трупам, ища спасения. Да, мы уже искали не победы, а спасения. Невозможно сказать, в какой момент произошел этот перелом в сознании, но когда я увидел труп красноармейца, повисшего на спирали Бруно, — я знал: атака не состоялась. Она захлебнулась в разрывах снарядов и мин, в пулеметных очередях, а мы захлебнулись в своей крови.

Мы валялись, живые и мертвые, у проволочных заграждений. Пал дал снег, мело, подмораживало, и мы коченели: живые — медленно, раненые — быстрее, мертвые — совсем быстро. Я лежал, уперевшись подбородком — в приклад автомата. И ступни и подбородок озябли и были уже нечувствительны. И казалось: холод проникал в меня с ног и с головы, эти две ледяные волны должны были где-то сойтись. И они сошлись, сверля стужей, в низу живота, ибо я лежал ничком на снегу. Я подумал: «Отморожу мужские принадлежности, этого еще не хватало».

Было невмоготу. Замерзал я, замерзали мои солдаты. Как поступить? Подыматься в атаку — бесполезно, пулеметы выкосят. Валяться у проволоки — бессмысленно: околеем. Выход: как только вражеский огонь ослабнет, забрать раненых и отползть к своей траншее. И тут я вдруг подумал о Леговском, что с ним, где он, я потерял его из виду.

Леговского я обнаружил возле нашей траншеи, он, как оказалось, полз передо мной. В траншею мы скатились разом, и когда встали на ноги, я увидел, что он без ушанки и без очков.

Отходили мы по приказанию комбата, так и не дождавшись ослабления вражеского огня. Грохали разрывы, свистели пули, а мы ползли, уже не обращая на них внимания. Скорей бы добраться до своей траншеи! И мерещилось, что скорость движения убережет от осколка или пули. Это был самообман, но с ним, неосознанным, было легче. Да и согревались мы, оживали при переползании — те, кого не убило на обратном пути. Задыхаясь, я тащил на себе раненого пулеметчика, потом его потащил помкомвзвода. Уже после, в траншее, я подумал: «Раненый-то прикрывал меня от пули, от осколка...»

Леговский привалился к траншейной стенке, перепачканный глиной, кровью, сажей, и мускулы на его лице подергивались, а глаза, выпуклые, близорукие, беспомощные, метались, перескакивая с предмета на предмет. Они перескочили с меня на труп, полузаваленный землей на дне траншеи, с трупа на сорванную дверь блиндажа, с двери опять на меня. Я спросил Леговского, где его очки и шапка, он издал в ответ что-то невнятное. Не в себе парень. Не может очухаться от пережитого. Я снял с убитого ушанку и нахлобучил Леговскому. Он обхватил ее, натянул на уши, промычал.

Меня вызвали к комбату. Когда возвратился, остатки нашей роты обедали — прямо здесь же, в траншее. Леговский с напарником сидел на корточках, хлебал из котелка, поставленного на закоченевший труп. Их, трупов, в траншее было немало, а там, на нейтральной полосе, во много крат больше...

Вместо пораненного эрдинарца меня обиходил помкомвзвода: отрезал ломоть хлеба, налил из термоса супу, дал ложку. Я не донес ее до рта, услышав душераздирающий вой. Выл Леговский. Он приплясывал, задрал лицо к небу и оскалившись. Я остолбенел. Он упал, забился в судорогах, вскочил, бросился бежать, налетел на выступ траншеи, снова упал — и ни на миг не прекращался звериный, обреченный вой.

Сперва я рашил: истерика. Потом, когда Леговский, став на четвереньки, залаял, я подумал: симулирует сумасшествие. Леговского отвели

в санроту, оттуда отвезли в санбат. Я думал о нем весь вечер и ночь, а утром мы опять пошли в наступление, и Леговский подзабылся. Это наступление тоже было неудачным...

Через месяц, когда мы бесповоротно втянулись в прежнюю окопную жизнь и не помышляли о наступлении, командир медсанбата при случае сказал нам, что Леговский, точно, сошел с ума, психика не выдержала — в госпитале определили, в санбат пришла «телега», то есть бумага. «Банальное сумасшествие», — прибавил медик.

Но для меня это было необычно. И потому жутковато. В моих ушах возник волчий вой и собачий лай, я увидел Леговского с запрокинутым перекошенным лицом, оскаленного, стоящего на четвереньках. Сколько попадал я в переделки — похлестче, чем под Оршей, — и ни разу не было, чтоб теряли рассудок. В прямом смысле. В переносном — было. Но то было — и проходило, а тут — нормальное, или, как выразился майор-медик, банальное, сумасшествие. Я слушал, как обсуждают это известие солдаты — деловито, собранно, как решают, что уж лучше пускай убьет, чем жить сумасшедшим. А может, еще вылечат Леговского? Кто-то мрачно пошутил: мол, к концу войны вылечат, останется в живых в отличие от нас. Солдаты с той же мрачностью посмеялись. А мне было все так же жутко.

В Омск мы приехали ночью. Гурьбой проводили Макара Ионыча до автобусной остановки, поболтались на вокзале. А затем нас по пустынному ночному городу повели в гарнизонную баню. С нашей ротой банился и гвардии старший лейтенант Трушин. Почтили нас, так сказать, своим присутствием.

20

Трушин

Рваные черные тучи, однако дождя нет. Изредка проглянет солнце — и опять темно, как вечером. А на дворе полдень, и Федя Трушин одет в майку, парусиновые брюки и сандалии на босу ногу. Жарковато. Под тополями дремлют дворняги. В пыльном бурьяне бродят куры, клюют, кудахчут. Ставни домов прикрыты. Улица пустынна, и лишь на дальнем конце возникает человеческая фигура. Ей навстречу и шагает Федя Трушин. Когда они сближаются, он видит: гражданин неопределенного возраста, носатый, кучерявый, с прямым пробором несет на шее золоченую раму для картины, видать, купил в магазине. Голова продета в раму, и похоже: портрет. И это сходство не нравится Феде Трушину. Кто он такой, этот гражданин с прямым пробором, чтобы представлять в качестве портрета? По Фединым понятиям, на портретах могут быть только выдающиеся деятели, исторические лица. А то каждый пожелает быть в золотой раме, висеть на стене — что получится? Поравнявшись с гражданином, Федя Трушин с неодобрением качает головой, гражданин недоуменно оборачивается — вместе с рамой.

Эта встреча в пыльном заволжском городке почему-то запала Федору в душу, хотя, повзрослев, он усмеялся этой своей наивности, своей прямолинейности. В портрете ли суть? Хочешь красоваться на стене — красуйся. Вопрос глубже, серьезней. Он заключался в том, что Трушин преклонялся перед великими людьми, за которыми вставали, естественно, их великие дела. Великие личности и их деяния украшали человеческую историю, собственно — как позднее вывел для себя Трушин — твоили ее, историю.

Все в них было масштабно, бессмертно, прекрасно, в вождях, полководцах, революционерах, и ответ от их благородных ликов как бы

освещал и простой народ. Они были в прошлом — далеко и не очень. А в настоящем тоже был революционер, вождь и стратег, который творил историю на глазах у современников, у Федора Трушина в том числе.

Он много думал о Сталине перед войной и еще больше — во время войны. И не мог не поклоняться вождю и полководцу. Ибо в его представлении все хорошее, что было со страной и народом, связывалось с именем Сталина. И победы в войне связывались с ним же. А плохое, а поражения с этим именем не имели ничего общего. Трушин верил в это твердо, без малейших колебаний и сомнений. Потому что он вообще был человек твердый и, раз уверовав, не менял своих взглядов.

А еще он был человек строгий, резкий, требовательный. Не щадя себя ради дела, не щадил и других. «Это стиль нашей эпохи — не жалеть себя», — говорил он, подразумевая, что может не жалеть и других. Но часто бывало так, что к себе он относился беспощадно, а окружающих щадил. Сам не замечая этого.

Уже в школе Федор Трушин сделал своим правилом: расшибись в лепешку, а выполни порученное как можно лучше. На заводе и впоследствии на войне, по мере того как росли объем и важность выполняемого, росло и сознание: все это во имя нашего общего дела, во имя Сталина. Наше общее дело и Сталин — они были неразрывны. И чем больше жил на свете Федор Трушин, чем дольше шла война, тем безусловней становилась для него истина, что всю его простую, скромную, заурядную жизнь освящает своей жизнью Сталин. Он никогда не произносил: «Товарищ Сталин», так как слово «товарищ» уравнивало Сталина со всеми смертными. Тем более уравнивали слова «Иосиф Виссарионович». А этого Трушин допустить не имел права. И он говорил: «Сталин».

Трушин подчас уставал, но не от своей преданности, а от своей строгости и требовательности, чувствуя, что перегибает палку (хотя его же изречение: «Лучше перегнуть, чем недогнуть»). Сущность его натуры оставалась неизменной, но он утрачивал тогда суровый тон, хмурость, подмигивал, щербато улыбался и тяжеловесно шутил. Особенно если был расположен к человеку.

А к лейтенанту Глушкову Федор Трушин был очень расположен. Не потому, что Глушков обладал исключительными, неотразимыми личными качествами, а скорей потому, что Трушин был не в состоянии жить без человека, которому бы симпатизировал. И этого он не замечал за собой. Такие люди были у Трушина везде, куда забрасывала судьба. Менялись места службы — менялись привязанности. Последней и был лейтенант Глушков. Можно сказать, что привязанностей у Федора Трушина много было, а любовь одна. Ибо простых смертных было много, вождь — один.

А вообще Федя Трушин — нежный сын, заботливый брат и любитель природы. Отец умер рано, сбитый грузовиком. Был он развеселый, разудалый, ухажер и балалаечник и будто торопился жить, предчувствуя близкий конец. (Мать, больная чахоткой, жива и посейчас.) Работал отец на фабрике игрушек и приносил детишкам расписных деревянных зверей, а жене краски, и она красила наличники, перила, двери, ставни, стены, пол — домик выглядел сказочно-красочным. В переулке его так и называли: «Трушинский терем». По вечерам отец играл детям на балалайке — виртуозно закидывая ее за спину, перебрасывая под ногами, пел частушки. Потом уходил из дому допоздна, и мать кашляла за ситцевой занавеской.

Хоронили его осенним днем, накрапывал дождь, гроб накрыли крышкой, чтоб не намочило покойника. Ему, покойнику, было уже все

безразлично, а Феде хотелось хоть напоследок насмотреться на родное лицо с запудренными мукой синяками от ушибов,— шофер был пьян, машину занесло на тротуар, она ударила отца крылом. Спустя два месяца шофера судили, Федор был на суде, слушал судью, прокурора, защитника, свидетелей и обвиняемого и понимал: происшедшее непоправимо.

И еще раньше, по дороге на кладбище, Федор осознавал эту непоправимость. Он шел за гробом, поддерживая мать под руку, к нему — не к матери, а к нему — жались сестренки. Она была в черном платье и черной шали, он в белой рубахе — другой не было. В сентябре еще тепло, но хлюпало, чмокало — заволжская пыль при дождях превращалась в грязюку. Гроб покачивался, его несли на полотенцах отцовы дружки по игрушечной фабрике, молодцы, как на подбор, статные, кудрявые, в хромовых сапогах гармошкой, на румяных лицах — скорбь. И на городском кладбище, неогороженном, запущенном, спуская гроб на полотенцах в яму, на дне которой блестела вода, они были скорбные, понурые. Но когда после похорон сели за поминальный стол, молодцы оживели, взыграли. Они хлопали стаканами, не закусывая, заигрывали с молодайками, матери пророчили женишка, и это было оскорбительно. Мать сновала из кухни в комнату, таская холодец, соленые огурцы и вареную картошку, а Федор стоял в углу со сжатыми кулаками.

В год смерти отца Федор пошел в восьмой класс. В октябре он бросил школу. Отцовы дружки уговаривали его подаваться на игрушечную фабрику, но Федя устроился — сам, без помощи — в ремонтные мастерские, выучился на слесаря. Заработанные деньги до копейки приносил матери. И уж у нее получал на свои нужды, сводившиеся преимущественно к приобретению книжек об исторических личностях.

Отработав смену, Федор ходил за покупками на рынок и в магазины, кашеварил, таскал воду, колол дрова, починал кое-что по хозяйству. Вечерами пособлял сестренкам готовить уроки. Уложив всех спать, ложился и сам. А утром вскакивал первый, разогревал завтрак, кормил сестер и хворавшую мать и топал на автобусную остановку. Трясся в разболтанном, дребезжащем автобусе, подняв воротник полупальто, клевал носом не без риска проехать ремонтные мастерские.

Но воскресенье было его, Федино. Зимой он читал запоем книги, летом уходил в лес, один, без сестер. Пропадал целый день, не принося ни ягод, ни грибов. Что там делал — никому не рассказывал. Но сестренкам на досуге рассказывал разные истории про птиц и зверей. Так, например:

— Вот вы, засони, спите и не слышали, как по ночам в конце апреля кричали кукушки. Откуда я знаю, не спал, что ли? Спал, да знаю... Так вот, это в лесах кричали самцы кукушки, они прилетели первые. Позже прилетели самки. И уж как они кричали по ночам: самцы — «та-та-ку, та-та-ку», самки — «буль-буль-буль-буль». Вообще-то они кукуют, правильно, но весной ночами кричат именно так... Ну, весной кричат все птицы, каждая по-своему. После крику они строят гнезда, откладывают яйца, садятся на них. А кукушка не желает строить гнездо, она подбрасывает свое яйцо в чужое гнездо, чтоб кто-то за нее высидел. Не верите? Честное комсомольское! Верите? Ну, а теперь мотайте на ус, как это происходит... Кукушка выбирает самое высокое дерево и часами с верхушки выглядывает гнездо, куда бы подложить свое яйцо. Если хозяева в гнезде, кукушка выжидает, а когда они отлучатся — садится в их жилище. Снесет яичко — и деру. А бывает так, что хозяева засекают кукушку, поднимают крик, им на подмогу со всех сторон летят другие птицы, и кукушка удирает. Тогда она что? Тогда она появляется с самцом. Помозолив глаза, он улетает, за ним устремляются защитники гнезда, а кукушка тем часом пробирается в гнездо. И еще что делает, разбойни-

ца! Выбрасывает пару яиц хозяйских, чтоб положить свое! Но что еще вытворят, послушайте! Если гнездо маленькое и кукушка в нем не поместится, так она снесет яйцо на земле, а потом в клюве несет в гнездо. Ох, и хитрющая... Ну, а дальше... дальше не знаю, рассказывать ли? Уж больно нескладно получается, жестоко. Рассказать, говорите? Ладно. Слушайте... Птичка, допустим зарянка, высидела яйцо, и вылупился кукушонок. Вылупился на день, на два раньше, чем птенцы зарянки. Маленькая зарянка смотрит на него, большого, удивляется. Но начинает кормить. А он орет, все ему мало. Зарянки улетают за кормом, и тут кукушонок выталкивает из гнезда яйцо, второе. А когда появляются птенцы зарянки, он и их выбрасывает из гнезда. Всех, одного за другим. Один остается, весь корм ему. Разбойник, да? В мамашу. А подрастет — и покинет своих приемных родителей... Безрадостная жизнь у кукушек, потому, наверно, они так грустно и кукуют. Нельзя на неправде, на зле строить свою жизнь, правильно?

И на фронте Федор Трушин любил поваляться на травке, понаблюдать за кузнечиком, ящерицей, сорокой или белкой — ежели позволяла обстановка. Наблюдал, улыбался, вздыхал. И никому не рассказывал о наблюденном.

На войну Трушин уехал через неделю после ее начала. Часть дислоцировалась в Оренбурге, стояла сушь, травы блекли под знойным солнцем, на город из степи наплывали пыльные тучи. Федор в числе первых подал рапорт: «Прошу командование направить меня на фронт борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на священную социалистическую Родину...» Командир части в уголке наложил резолюцию: «Не возражаю». И Федор Трушин покатил наперхват своей фронтовой судьбы. Он катил по железным и шоссейным дорогам, вышагивал по проселочным и думал: «Как же это могло случиться, что Гитлер посмел напасть? Разорвал пакт о ненападении, обманул нас... За свое вероломство Гитлер и его шайка расплатятся, они еще поплачут кровавыми слезами...»

Пока же плакали русские женщины, хотя и не кровавыми, а обыкновенными слезами. Собирая и провожая близких на войну, они, русские женщины, знали, чем она обернется. И пусть мать Трушина не собирала и не провожала его, и она в эти дни плакала мутными, солеными бабьими слезами. Может, она и крестилась, и шептала в ночной тишине: «Сохрани тебя бог, Феденька... Да ты и сам берегись, сынок...» И, быть может, вспоминала, что сын не очень-то берег себя. Перед самым призывом в армию в однодневье дважды отколол.

Был канун Октябрьской годовщины. В городке гуляли и в честь праздника, и в честь призывников, которых военкомат вот-вот должен был отправить в армию. Городок умел погулять! В районном Доме культуры крутили кино и давали концерты, по квартирам свои концерты — оконные стекла звенели от песен и плясок, по мосткам и кирпичикам под гармошечные переборы ходили принаряженные толпы, и ветер трепал красные флаги над каждым домом. Веселье, радость, хмельная легкость! И самыми веселыми и хмельными были призывники, уже остриженные под нулевку. Менее других был навеселе Федя Трушин, но зато он более других сокрушался по утраченной шевелюре. Шевелюра была, что говорить, завидная: смоляная, завитушная, не расчешешь гребешком, зуб — до глаз. Федор принимал с матерью гостей, сам ходил в гости и все стеснялся своей оболваненной. как смеялись призывники, башки. И не без поспешности натягивал кепчонку, выбираясь на улицу.

По улицам Федя шел угнув голову и все поправлял кепочку, как бы проверяя, не унес ли ее ветер. А ветер дул в лицо и в спину, рыскал

вдоль палисадников, высекал волну на речке. Федя свернул к речке только потому, что увидел: кто-то растелешился и, белея незагорелым телом, полез в воду. Бр-р! Не жарко! Или кто-нибудь из подпивших, коим жарко и коим море по колено? Он подошел поближе и признал в купальщике Ваську Анчишкина — сосед через улицу, тоже призывник, башка оболванена.

Васька крутил этой выстриженной башкой, тарачил zenки, орал что-то лихое и нечленораздельное, бил ладошками, подымая брызги. Однако отплыв от берега на середину, он вдруг окунулся с головой, вынырнул и завопил совершенно членораздельно: «Утопаю, спасите!» Опиь скрылся под водой, вынырнул: «Спасите, утопаю!» Сперва Федор подумал, что Васька придуряется, изображая тонущего, — парни иногда так забавлялись. Но потом, взглядевшись, сообразил: и впрямь тонет, дурачина, пьяная морда.

Он разделся и бултыхнулся в воду. Она обожгла, и он подумал: «Купаться в такой — только спьяну». И еще подумал, что Васька здоров, не зря его прозвище — Бугай, вытаскивать будет нелегко. Чтоб быстрее добраться до Васьки и чтоб было не так холодно, Федя поплыл энергичными саженками. Когда полуживой, наглотавшийся водицы Васька вынырнул, белея бледно-зеленой рожей, Федя схватил его за шею. Васька вцепился в плечо, поволок на дно. Федор оторвал его руки, окунул с головкой. Васька подуспокоился, и тогда они поплыли к берегу: Федор на боку, гребя одной рукой, другой — таща за собою послушное огрузневшее Васькино тело.

На берегу откачивал Ваську, его рвало водой и слизью, он стонал, охал и всхлипывал. Очухавшись, несостоявшийся утопленник стал одеваться. Оделся и Федор, дрожа и выстукивая зубами. Васька сказал:

— Слышь, Федька, айда ко мне. Выпьем, согреемся. Угощаю как своего спасителя.

— Иди ты к черту, — сказал Федор. — Лезешь в воду пьяный, а из-за тебя приходится купаться не по сезону.

— Судорога у меня была. Свело обе ноги. Спасибо, что спас. Пойдем тяпнем, а?

— Не пойду. А спас я не только Ваську Бугая, но и будущего бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Гляди не вздумай пить в армии, опозоришь нас всех...

После купели Федор согрелся не водкой, а пожаром. За пустырем и садом, на отшибе, стоял домишко, ветхий, покосившийся, с засыпанными землей стенками, с плохо вымытыми окнами. Наверное, такие оконные стекла были единственные на весь городок, ибо к Первомаю или Октябрю домашние хозяйки заставляли буквально сиять свои окна. Но в этом домишке жила Красотка Клавка, и этим объяснялось все. Красотка Клавка была действительно когда-то красивой, но сейчас поблекла, подурнела. В городке она известна как гулена, лентяйка и грязнуля. У нее, безмужней, две маленькие дочки, и Красотка Клавка, уходя в гости, оставляет их одних, подпирая дверь поленом.

Федор увидел это полено, но сначала он увидел, как из щелей выбивался дым, а в окошке плясало пламя. В домике горело! Пожар! Федя отбросил полено, отвел дверь, и в лицо ему ударили искры, горячий воздух и дым.

И в сенях и в комнатке было полно дыма, прошиваемого языками огня, он трещал, шипел, брызгал искрами. Дым выедал глаза, душил. Прикрывшись носовым платком, Федор силился увидеть девочек. Крикнул:

— Где вы? Эй, где вы?

Никто не отзывался. Трещало и шипело пламя. Задыхаясь, Федор нашаривал рукой табуретки, стол, кровать. Девочки были под кроватью. Полузадохнувшихся, он вынес их одну за другой наружу. Закопченный, обожженный, с воспаленными белками, судорожно кашляя, он стоял возле горевшей хибарки и смотрел, как народ сбегается на пожар.

Позже выяснилось: девочки нашли в столе спички, стали баловать-ся, подожгли занавеску, испугавшись, залезли под кровать. А хибару, между прочим, отстояли, всем миром подлатали жилье Красотки Клавки, она и посейчас там обитает.

А с Васькой Анчишкиным, вытасненным Федей из осенней воды, они в дальнейшем вместе служили в стрелковом полку, вместе воевали на фронте и вместе попали в госпиталь, где пути их разошлись, потому что Федю подлечили, а Васька Анчишкин умер от гангрены.

В том бою, когда их ранило, решалась судьба переправы через Донец. «Юнкерсы» три дня кряду бомбили мост и скопившиеся около наши войска, немецкие танки рвались к реке, но их сдерживали на оборонительном рубеже — километрах в двадцати отсюда — наши артиллеристы и пехотинцы.

Жгло летнее солнце, в раскаленной степи за каждой машиной вставало пыльное облако, бойцов мучили жажда и нехватка боеприпасов. А немцы от души, от пуза стреляли из орудий и минометов, бомбили, бросали в атаку танки и самоходные установки. Канонада утихала лишь к ночи, и в степи багровели пожары — подбитые танки и автомашины, развороченные фермы и полевые станы, подожженный массив пшеницы, ее смрадным, прогорклым запахом забивало сладковатый трупный.

Хоронили своих, на немцев не хватало сил. Да и времени не хватало. Днем отбивались от противника, ночью углубляли окопы и траншеи, рыли запасные позиции. А немцы ночами преспокойно почивали, за вычетом дежурных ракетчиков и пулеметчиков: до рассвета над степью взмывали белесые ракеты, посвистывали пули. Еще три дня назад здесь было тихо, танковый гул только надвигался с северо-запада. Пахло не горелой пшеницей и трупами, а чернобылом и мятой, и Федя Трушин дышал полной грудью, покусывая вкусную степную былинку.

Трое суток удерживали оборону, а на четвертые покатались к Донцу. Полк, в котором служили Трушин и Анчишкин, отходил последним, прикрывая остальные части. Арьергардные бои — не сахар: наши ходко отступают, чтоб успеть переправиться на тот берег, немцы прут, того и гляди перережут дорогу, окружают полк. Тогда, летом сорок второго, мы немецкого окружения боялись так, как в последующие годы немцы стали бояться нашего окружения.

Зацепившись за прибрежные холмы, полк стоял насмерть и позволил всем частям переправиться. Но когда начал переправляться сам, бомба с «юнкерса» попала наконец в мост. Немецкие танки и самоходки то там, то тут выползали к реке, к переправе. Много наших полегло в лозняке, на отмелях, в реке: Донец переплывали на бочках, ухватившись за конский хвост, или саженками, если умеешь. Пулеметные очереди и снаряды вспенивали воду — танки били из кустов прямой наводкой.

Трушин плыл в намокшей одежде, тянувшей на дно, окунал голову, будто это могло уберечь ее от пули либо осколка. И вдруг — невероятно! — вспомнил, как спасал в Заволжье подпившего Анчишкина.

Земляк плыл рядом, тоже опуская голову под воду. А затем пуля ужалила Трушину плечо, вода окрасилась кровью, Анчишкин тут как тут, помог доплыть до мели, и Трушин ни о чем больше, как только о раздиравшей плечо боли, думать уже не мог. На мели пуля нашла и Анчишкина, ударила в бедро, он упал. Санитары оттащили их обоих на сушу, в буерак, погрузили на двуколку. Скрючившись, Трушин покачи-

вался в повозке, и сквозь пресный запах крови ему мерещился запах мяты, чернобыльника, клевера. Пикируя, ревели моторами «юнкерсы», бомбы и снаряды взрывали нагретую землю и нагретый воздух — степные миражи, никли под слоем пыли хлеба и сады, и вдоль шляха затаились в страхе сгоревшие и еще не сгоревшие хутора.

В госпитале у Федора Трушина было вдоволь свободного времени. Он сочинял стихи. Скрытно, никому не показывая. Парочку стихотворений посвятил умершему Васе Анчишкину, остальные — Сталину. О Сталине он писал еще до призыва, писал в армии, на фронте и особенно — в госпиталях. Ни в какие редакции не посылал. Во-первых, это было сугубо личное, сокровенное, во-вторых, считал их несовершенными, недостойными Сталина, которого воспевали во всех журналах и газетах сотни профессиональных поэтов, не чета ему, самоучке. Он просто с величайшей тщательностью переписывал свои творения в общую тетрадь под коричневым коленкоровым переплетом. Эту тетрадку хранил от посторонних взоров бдительнейше.

А письма матери и сестрам Федор писал открыто, не таясь, даже комментируя кому-нибудь, кто был близко. Он, кроме писем, посылал им деньги по аттестату, и мама не переставала благодарить его, а он понимал: при рыночной дороговизне деньги те мало что значат. Он рассматривал корявые, недописанные слова в маминном треугольнике и аккуратные, красивые буквы в сестриных треугольниках и воочию видел свой городишко, дом-теремок и маму с сестрятами. Всех таких, с какими распрощался, уезжая в РККА.

День, когда команду призывников отправляли в Оренбург, выдался пасмурным, промозглым. Утром Федя поднялся с мыслью: «Всё. Сегодня всё в последний раз...» Он умылся, побрился, погладил перед зеркалом стриженный затылок, как будто шевелюра могла отрасти за неделю. Сели завтракать, мама достала из шкафа четвертинку, плеснула себе на донышко, Феде — стакан, вровень с краями. И Федя, зажмурившись, выпил всю ее, подлую. На дорогу. Затем с вещевым мешком за спиной, сопровождаемый мамой и сестрами, с радостью не пошедшими в школу, он направился в военкомат. Во дворе военкомата призывников заперли и не выпускали часов пять, а родня топталась за воротами. Кое-как построились и колонной, вернее, толпой — на вокзал. Федя шагал по лужам, моросил дождь, было зябко — хмель испарился — и грустно. Миновали переулок, где кособочился дом-теремок, краска на нем поблекла, облупилась, вышли к привокзальному скверку — тополя голые, паровоз свистит. Мама, глядя на паровоз, крестилась, по впалым морщинистым щекам стекали слезинки, сестрята веселились, толкали друг дружку, курносые, белокрысы, с пышными косами. Федю дергали за рукав: «Пиши нам про службу подробно, обещаешь?» Он обещал. Он умел писать подробно.

Сестры белокрысы, а он — цыганистый. В кого? Молодцы с игровой фабрикой скалились: «В соседа!» Мать сердилась, объясняла: «В деда. В моего, то есть, батю. Такой же был чернявый. А я вот беленькая, в маманю...»

Вообще гвардии старший лейтенант Трушин был красив: широкоплеч и строен, с тонкими удлиненными чертами, с гордой посадкой крупной головы, глаза, точно, черные, жгучие, и чуб, точно, смоляной, кудрявый. Одно портило — шербатинка, из-за которой он пришепелывал. Ее происхождение: Трушин стоял в блиндаже у окна, смеялся, неподалеку упала мина, осколок на излете ударил в окно и в рот, отколол кусочек от двух передних зубов. Будь осколок посильней, не предугадать, чем бы все кончилось. Изучая шербатину перед карманным зеркальцем, Трушин хмуро пошутил:

— Спасибо, что не проглотил.

Он был неравнодушен к своей внешности и не скрывал этого, изъяснец с зубами изрядно расстроил его. Петр Глушков, посмеиваясь, утешал:

— Не скажу, что до свадьбы заживет. Скажу, что после войны поставишь золотые коронки, фиксами будешь прельщать слабый пол...

— Слабый пол мы и без фикса прельстим,— сказал Трушин, не улыбаясь. На эту тему он не собирался разводить шуточки.

21

Гарнизонная баня в Омске была тесная, пропахшая хлоркой и мышами, с отсыревшими, заплесневелыми стенами и потолком, с которого шлепались увесистые капли и не менее увесистые куски штукатурки. Но все это меркло перед горячей водой, мочалкой и куском хозяйственного мыла. А еще был душ! А еще была парилка! К сожалению, очередь в нее была такая, что и через сутки не попасть. Можно было бы проявить твердость, и офицера пропустили б вне очереди. Но в бане все роты перемешались, в предбаннике и бане чужие солдаты, ну как не признают за начальство: голяком, погон нет. Тут все равны: голые, со шрамами и вмятинами, с отметками войны.

Решили с Трушиным: обойдемся без парилки. Как в том анекдоте: не больно-то хотелось. Попариться, конечно, хотелось, но и так славно: шайка горячей воды, намыливаешься, трешь мочалкой на совесть, без дураков. И нет в помине пота, грязи и усталости, кожа горит, душа поет! Мы терли с Трушиным спины друг другу, обмывались под душем, снова орудовали мочалками, как наждаком, безжалостно сдирая с себя кожу. От избытка чувств я насвистывал «Синий платочек», Трушин мурлыкал: «Кони сытые бьют копытами...»

В предбаннике мы надевали чистое белишко, которое выдавал старшина Колбаковский. Солидный, с сознанием ответственности момента, он слюнявил химический карандаш и ставил в ведомости жирные галочки. Выдаст майку с трусами либо рубашку с кальсонами, поставит галочку против фамилии получившего и со значительностью выкликнет:

— С-следующий!

«Почему галочку, а не крестик?» — подумал я, и эта вздорнейшая мысль не сразу отвязалась от меня.

Мы развалились на лавках, распаренные, отмытые донельзя, с сырыми волосами, блаженные. Не хватало лишь пива. Наверное, его в Омске можно было бы достать, если б не ночь.

Армейская банька, будь то на фронте или же в сибирском городе Омске! Это святое дело. Аминь. Одна из немногих житейских радостей, выпадавших нам на долю. Зато — большая радость. Еще раз аминь. Помню, на фронте был период, когда вши одолели нас. Набрались мы от немцев: захватим блиндаж, переночуем — и пошел развод. Прямотаки кишели в складках одежды. Изведут тебя, бывало, ты уже и бить их перестал, и чесаться — сдался: жрите, проклятые. Но тут приезжает походная баня: большая палатка, где моются, и дезкамера, где обрабатывают обмундирование и белье сухим паром, — милая вошебойка, спасительница наша! И немедленно после этого настроение у личного состава поднималось на сто градусов. А возможно, и выше. Так что баня — серьезный фактор.

На улице ночная свежесть обдала нас, охолонула, взбодрила. Был глухой час, и улицы были безлюдны. Если не считать нас, служивых. У подъезда бани слышались покашливание, приглушенный говор, среди

которого выделнилось как отпечаталось: «Воспитанные люди говорят: с легким паром! Ты невоспитанный, Мамонов?» Тлели огоньки папирос и сигарок. Мы с Трушиным курили, угощаясь у комроты-три. Сигареты «Спорт», коробочка с дискоболом на этикетке, не перевелись, значит, еще кое у кого немецкие трофеи. А у меня — пшик. Поэтому курю что придется — и папиросы, и сигареты, и махорку. Поэтому и кашляю: надо что-то одно.

Роты построились, зашагали по мостовой, вымощенной булыжником. От вокзала нам навстречу поднимались в гору другие батальоны — в Омске, видимо, банился не один наш эшелон. Мы с Трушиным шли по тротуару, то кирпичному, то дощатому, покуривали, переговаривались. Было лунно, безветренно и влажно — сказывалась близость Иртыша. Незнакомый город спал, не подозревая, что лейтенант Петр Глушков со товарищи имел честь помыться в местной гарнизонной бане и вышагивал сейчас к вокзалу мимо цветников, тополей, заборов и домов с закрытыми ставнями. Глядя на эти ставни, я думал, какие за ними там люди и как живут. Ничего определенного на эти вопросы ответить, разумеется, не мог. Но мнилось: в Омске уже бывал, очень давно, и ходил вот так же по его ночным улицам, гадая, что за люди живут в его домах и как живут.

Я не весьма прислушивался к тому, что говорил Трушин, отвечал ему рассеянно, и он рассердился, скрыв это шуткой:

— О великих материях задумался? А что замполит говорит — наплевать?

— Почему же наплевать? — сказал я. Действительно неладно: с тобой разговаривают, а ты думаешь о постороннем, буркаешь в ответ невразумительное. — Говори, пожалуйста. Я слушаю.

— Ну так слушай, — уже с откровенной сердитостью сказал Трушин. — Ты на каком основании вез гражданского? В воинском эшелоне? Соображаешь, ротный?

— Что ж раньше не сказал? В бане, например? Не хотел мне портить банное расположение духа?

— Да и себе не хотел. Однако ближе к сути. Почему пустил в вагон старика?

— Потому и пустил, что старик, — сказал я и взялся объяснять свои мотивы.

— Гуманист, — сказал Трушин, выслушав меня. — Гуманизм — это, конечно, мило. Но зачем же нарушать закон, порядок? Добреньким для всех хочешь быть, я давненько это за тобой замечаю.

— Не для всех, — вставил я.

— Добреньким, конечно, быть приятственней... А закон пусть подерживает дядя? В своем гуманизме можешь зайти так далеко, что и не выберешься назад. Всепрошцем стать можно.

Его слова прозвучали и угрожающе и убедительно. Но я с наигранной беспечностью сказал:

— С помощью комиссара определю разумную границу человеколюбия и за нее — ни шагу. Устраивает?

— Смотря кого устраивает. А с комиссарами посоветоваться неззорно по любому вопросу.

— Буду советоваться, — заверил я.

— Я имел в виду не только себя.

— И я имел в виду не только тебя.

— А комбату и в полк доложу. О том, что ты провез гражданского.

— Докладывай. Положено... Ночевать в нашей теплушке будешь?

— Какое тут — ночевать, утро вот-вот. Но до Новосибирска поеду с тобой. Чтoб не наколбасил чего, ротный называется...

Трушин говорил раздраженно, резко, а мне внезапно подумалось, что он мой товарищ, даже в некотором роде старший, что он смелый вояка и неплохой, в сущности, человек. И мне захотелось дружески обнять его, промолвить что-либо дружеское же. Но я одернул себя — это выглядело бы сентиментально — и только сказал:

— У нас в теплушке просторно и сено поменяли. Старое слежалось, выкинули. Тебе будет хорошо.

— О начальстве печешься? Это правильно.— И Трушин чуть улыбнулся.— Что же касается человеколюбия вообще, то на войне это не актуальная тема.

— Так какая нынче война? Нынче пауза!

— А у меня ощущение: война не кончилась, она продолжается и вечно будет продолжаться.

— Ну, это ты загнул, Федор!

— Возможно, и загнул,— согласился он не очень охотно.

На путях фыркали, пересвистывались маневровые «овечки». На перроне людей почти не было, а в залах ожидания они спали на деревянных диванах с вязью НКПС, на полу, пристроив в изголовье чемоданы и мешки. Пожилой, с черной повязкой на глазу милиционер-железнодорожник оглядывал спящих пассажиров, переступая разбросанные руки-ноги. Мы прошли с Трушиным по перрону, закурили, подвинулись обилию цветников на вокзале: Сибирь, а на клумбах гвоздики, настурции, розы. Трушин сказал:

— Кончится война, во всех наших городах и поселках будет изобилие цветов.

— А говорил, война не кончится никогда.

Трушин не ответил и полез в теплушку. Я за ним.

Неурочное бодрствование привело к тому, что пробудился аппетит. Я достал из вещмешка печенье. Погрызли. Снова закурили. Солдаты уже засыпали. Колбаковский устраивался на нарах повольготнее, не вязываясь в наше бдение. Он судорожно, с хряском зевнул и в то же мгновение выдал начальный всхрап. И вот уже эти всхрапы, нанизываясь на что-то или цепляясь друг за друга, образуют знакомую бесконечную руладу. Дает старшина!

Трушин послушал руладу, сказал с неодобрением:

— Черт-те что! Не заснешь из-за него.

— Перебирайся на мое место. Я лягу между вами.

Так и поступили. Теперь богатырский храп бил прямой наводкой мне в ухо. М-да, старшина дает, ничего не скажешь.

— Приспичит — уснем,— сказал Трушин, вновь закуривая.

Я курить больше не стал, накурился: во рту кисло, носоглотка будто обожжена. После некоторого молчания Трушин задумчиво проговорил:

— Занятная это штука — история.

— Занятная,— подтвердил я.

Он помолчал — по-моему, неодобрительно — и сказал:

— История — величественна! В сравнении с ней себя, свою жизнь, свои дела осознаешь ничтожными. Так, песчинка в Сахаре... Историю творят великие люди!

— Она бывает разная,— сказал я.— В том смысле разная, что состоит из добрых и злых деяний.

— Выходит, и злодеи могут быть выдающимися личностями?

— Азбучная истина.

— Азбучная? Истина? Как бы не так! Я лично убежден в ином: подлинную историю творят положительные герои, а отрицательные им, так сказать, подыгрывают.

— В том смысле, что помогают как-то проявиться добрым деяниям?

— Да! Своим противоборством помогают!

— Значит, и Гитлер помогал? Своими злодеяниями? Не будь Гитлера, никто бы не проявил себя на исторической арене?

— Темнишь, Петро! Передергиваешь! Без злодеев, как ты их имеешь, история не обходится, к сожалению. Диалектика. Борьба противоположностей. Но закономерность такая: в этой борьбе побеждают положительные герои.

— Всегда ли?

— В конечном счете всегда. Истинную историю в итоге можно рассматривать как свод героических и благородных свершений. Человечество неуклонно продвигается к прогрессу, несмотря на зигзаги — на того же, допустим, Гитлера и его фашизм. Впереди у человечества светлая цель — коммунизм.

— Ради того и воевали.

— В конечном счете ради того. Мы, считай, построили социалистическое общество, после войны будем строить коммунистическое. Залечив предварительно военные раны, восстановив народное хозяйство. То есть наберем силенок и приступим к строительству коммунизма.

— Ты считаешь, что перед войной мы построили социализм?

— В основном построили. Ведь неплохо же перед войной зажили, а? Были, наверное, и отдельные промахи, ошибки, недостатки — задача была исторически новая, неизведанная, — но в принципе достигли своего. А какой ценой построили социализм? Кто определит эту цену? Только тот, кто руководил этим строительством, тот, кто на самом верху!

— Иосиф Виссарионович?

— Да, Сталин... Или вот мы толковали о человеколюбии и я тебе сказал: на войне это не актуальная тема. Почему не актуальная? Потому. Война складывается из сражений, сражения — из боев. Кто измерит степень необходимости тех или иных потерь в том или ином сражении, бою?

— По-видимому, никто. Это вещь неуправляемая.

— Не согласен! Потери планируются. Но сколько планировать надо — больше или меньше? Чем ниже командир рангом, тем ограниченнее его кругозор и тем менее понимает он объем потерь, могущих быть у командира рангом выше. Словом, лишь на самом верху, во всефронтовом масштабе, можно правильно спланировать свои силы, средства и потери, да, потери — где больше, где меньше.

— Лучше бы планировать так: везде поменьше. Живые же люди гибнут.

— Так не бывает. На войне было множество конкретных задач, и каждая решалась по-своему. В том числе и по потерям. Так-то, гуманист! Легко быть гуманистом в мелком, частном случае. И труднее им быть, когда решаешь глобальные вопросы. Речь шла о конечном результате, о Победе с большой буквы. И приходилось действовать, не считаясь с жертвами.

— А по-моему, Федор, наоборот: чем больше возможностей, чем больше власть, тем проще избежать лишних жертв. На войне, естественно, всего не предусмотреть, но беречь людей нужно.

— Ты не только гуманист, но и стратег выдающийся, — сказал Трушин, позевывая.

Это пренебрежение меня не обидело. Вероятно, гуманисты, стратеги и философы мы оба доморощенные. О себе это заявляю с уверенностью. А вообще я устал. Пора отдыхать. Однако я все-таки сказал:

— Мы с тобой рассуждаем, как надо было действовать, а война-то закончилась.

— Новая предстоит. На наш век их хватит.

Я кивнул лежа, и это было смешно. Тут я соглашался — что новой

войны не избежать, на нее и едем. Но с другим не соглашался и сказал:

— У тебя получается, что все вершит вождь, а народ ни при чем.

— При чем. Народ выполняет указания вождя.

— А если он не пожелает выполнять эти указания?

Трушин привстал на локтях:

— Ты, друг ситный! Ты говори, говори, да не заговаривайся! А вообще давай спать, не то с тобой влипнешь.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи... Ты, Петро, возьми в толк одно: время наше жестокое и негоже быть размазней.

Он еще что-то говорил затухающим голосом, и я незаметно задремал под этот голос и стук колес. А когда Трушин умолк, заснув, я пробудился. Вагон спал. Старшина Колбаковский всхрапывал чудовищно, как никогда. С баньки, видать. Подхрапывал неназойливо, деликатно и гвардии старший лейтенант Федор Трушин. Запрокинулся. Красив, породист брюнет. И, наверное, неглуп брюнет. Во всяком случае, умней меня. А может, и нет. Просто некоторые проблемы мы трактуем от лично друг от друга. Только и всего? А так — общая судьба, сверстники, порождение войны. И не ее одной.

Фитиль в «летучей мыши» был прикручен, в теплушке по углам гнездилась тьма. И в одном из углов проглянуло, как живое, лицо Ермолаева, Алексея Алексеевича. Это мамин муж, мне — никто, хотя считался отчимом. Зачем мне отчим, если у меня, говорят, был отец. Был да умер до моего еще рождения. А отчима мне не надо.

— Если не надо, я уйду,— прошептал Ермолаев и растаял в сумраке.

Галлюцинация? Либо приснилось? Я похлопал ресницами, ущипнул себя за руку. Не сплю. Привиделось. Бывает.

И тут же привиделось: в тесной комнате горит электричество, незнакомые мужчины — в кожаном пальто и коверкотовом плаще — отодвигают ящики письменного стола, роются в бумагах и книгах, простукивают пол и стены, на стуле — бледная мама, бледный Алексей Алексеевич: «Я чист перед народом»; а за окном хлещут дождевые струи, в водосточной трубе клокочут ручьи, кожаный и коверкотовый говорят Пете: «Спи, мальчик, спи».

Сгинь, наваждение. И впрямь надо уснуть лейтенанту Петру Глушкову. С чего-то разгулялись нервишки. Ермолаев, Алексей Алексеевич, явиться вживе не может, наверняка он мертв. Как мертвы погибшие фронтовики. Наглухо, навечно. Он мертв, и они мертвы, хотя причины и обстоятельства их смерти различны.

Я лежал, вперившись в угол, где уже никто не возникал, и старался думать не о Ермолаеве, а о павших в боях однополчанах. И это мне удалось.

Четыре года войны — пот, кровь, нечеловеческое нервное напряжение, горечь утрат. Но ведь была же и светлая, гордая радость побед! Была. Только как доставались нам эти победы? За войну я столько перевидал трупов! Иногда пытаюсь вывести цифру — сколько наших людей погибло за войну. Цифра у меня колеблется от пятнадцати до двадцати миллионов. Это, наверное, домыслы. После войны подсчитаем в точности. Может, цифра окажется больше, чем моя.

Вот так досталась Победа. И если я когда-нибудь забуду об этом, или забудет мой ровесник, или забудет кто-то из молодых поколений, — пусть погибшие встанут из своих могил и задушат нас мертвыми костлявыми руками.

Возле нас будут возводить двенадцатиэтажный дом. Кто-то из жильцов барака, на месте которого строился новый дом, съезжая в другой район, бросит кошку. И она будет бродить по стройплощадке и мяукать. И мы с женой возьмем ее к себе, и жена скажет:

— Что-то к старости мы стали сентиментальны.

Я кивну в знак согласия.

Может быть, из-за небывало чудовищного храпа Колбаковского я то и дело просыпался. Сколько ж так маюсь? По привычке поднес к глазам запястье и вспомнил: часы нарочно оставил в вещмешке, чтоб не брать в баню, — там могли утащить. Ладно, не буду потрошить вещмешок, шуметь. Перебьюсь без часов. Утром достану.

То, что не знал, сколько времени, успокоило меня, и я наконец-то заснул. Крепко, без сновидений. Утром проснулся раньше всех. Первым чувством было удивление: Колбаковский спал, но не храпел. Вторым чувством было недоумение — когда я полез в вещмешок и не обнаружил часов. Вот так, удивляясь и недоумевая, перетребушил весь мешок, однако часов не было. Начал припоминать: не отдал ли Драчеву на хранение, не положил ли еще куда? Обшарил карманы, планшет. Да нет же, был в здравом уме и твердой памяти: перед баней оставил в своем вещмешке.

Увели? Кто? Как? Как — это очень просто: развязав горловину мешка. То-то мне показалось, когда я развязывал горловину, будто она завязана не так, как это делаю обычно я. А вот — кто? Кто этот негодяй, подлый воришка?

Не может быть, чтобы кто-то из наших пошел на такое! Вероятней всего, я каким-то образом потерял часы. Да, да, утерял, сунул куда-то, забыл. А теперь трясусь над пропажей, возвожу поклеп на людей. Меня и вправду немного трясло, разнервничался — не из-за пропажи, а из-за того, что подумал: украли свои. Неужто это могло быть? На фронте никогда бы! А здесь? Нет, не верю, что украли. Потерял.

Снова все обшарил. Даже сено под плащ-палаткой поворошил. А может, Драчев надумал попользоваться. Не предупредив? Без спросу? И я разбудил ординарца, зашептал:

— Ты часы мои не брал?

— Какие часы, товарищ лейтенант? — Драчев спросонья тарашит-ся, чешет грудь.

— Не кричи! Мои часы. То есть твои. Которые ты мне подарил на время.

— Почему на время? Я вам их насовсем подарил.

— Да не в этом дело...

— А в чем, товарищ лейтенант?

— В том, что они пропали.

— Сперли их? Ух, заразы!

— Тише ты! Значит, не брал?

Мой вопрос повис в воздухе. Ясно, что Драчев не брал и не мог брать. Но кто тогда? Кто этот сукин сын? О, позор какой! И это — при Трушине, при замполите. Позор!

Драчев сказал:

— Товарищ лейтенант! А не старик ли тот, Макар Ионыч, спер часики?

— Замолчи, — сказал я.

— Чего ж молчать, товарищ лейтенант? Я скорей на старичка подумаю, чем на кого из наших. Чтoб к командиру в мешок лезть... Тьфу!

А что, если старик? Так мне подумать легче. Все-таки не мой солдат, все-таки человек посторонний. Но какие основания бросать тень на

старика? А вдруг кто-нибудь вовсе чужой на остановке забрался в вагон? На остановках все выходят, дневальный зазевался, прохлопал. Так думать мне еще легче. Но, в общем, — тяжело. И обидно. И горько. Такого на фронте никогда бы не произошло. Словно измазали меня в липучем, постыдном, гнусном.

— Товарищ лейтенант, — сказал Драчев. — А ежели обыск устроить? Обыскать всех подряд?

— Отставить! Ты ж говоришь: старик...

— Для страховки. Всех подряд!

— Отставить! Во-первых, кто дал право подозревать всех?

Сверху — голос Трушина:

— А во-вторых, тот мерзавец уже продал часики на вокзале либо обменял. Словом, краденое при себе держать не будет.

Я чертыхнулся. Не хотелось, чтобы замполит узнал об этом позоре, а он — нате вам! — засек разговор. Наверное, потому, что ординарец орал, вместо того чтобы говорить тихо. Черт бы побрал всю эту пакость!

Трушин слез с нар, подошел к нам:

— Обыскивать, товарищ Драчев, мы не имеем юридических прав. Это будет нарушением социалистической законности.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — сказал ординарец, — а воровство — это не нарушение законности?

— Нарушение, — ответил Трушин и не нашелся, что сказать еще. Кашлянул в кулак, оглядел нары.

Я подумал: «Кто же из этих, спящих, стибрил часы? Ах, дьявол, надо было сделать вид, что потерял их в бане! И так и эдак я оплеван, но хоть не было бы в роте публичного позора. Теперь публичности вряд ли избежать».

Я ожидал: замполит примется читать мораль, стыдить, вразумлять, мылить шею, промывать мозги. И было за что — воровство в роте. Но он не стал этого делать. Сердито, но сдержанно сказал:

— Случай, который отнюдь не украшает. Однако раздувать его не будем. Из-за одного воришки не будем подозревать сорок человек. Тем паче не ясно, кто мог быть этим жуликом. Следствие проводить нам и некогда и не с руки. Ограничимся разговором. Я сам поговорю с нарядом.

Пораженный непредвиденным исходом, я сразу поглупел и спросил:

— Разбудить личный состав, товарищ гвардии старший лейтенант?

— Без нужды, товарищ Глушков, — сказал Трушин, будто и не было моей глупости. — После завтрака поговорю.

— Слушаюсь, — промямлил я.

Завтрак был поздний, часов в одиннадцать. Я ел вяло, сверх силы. Старшина Колбаковский спросил:

— Товарищ лейтенант, посуху дерет горло?

— Оставьте, старшина, не в этом кручина.

— Вижу, что не в этом. Занедужили? Чего-то вы не в себе, расстроенный, а?

— Неприятности, старшина, неприятности.

— Какие? — встрепенулся Колбаковский, впиваясь в меня хищным взором.

— После завтрака узнаете. Замполит батальона обнаружит.

За столом и на нарах дружно стучали ложки. Активно орудовал ею и Трушин, домовитый, благожелательный, свойский. Но когда попили чаю и помыли посуду, он насупился и, суровая, произнес:

— Товарищи, минуту внимания! У вас в теплушке произошло чепе, о котором считаю своим долгом проинформировать. У вашего команди-

ра роты, лейтенанта Глушкова, украдены часы. Собираясь в Омске в баню, он оставил их в вещевом мешке, откуда они были похищены...

Я сидел с опущенными глазами, с краской стыда на щеках, словно это не у меня крали, а я крал. Трушин говорил, становясь все больше суровым и грозным:

— Можно, разумеется, обвинить в происшедшем дневального, можно старика, ехавшего с вами, можно и кого-то из вас. Но не станем так поступать. Признаться мерзавец не признается, если он среди нас, содеянного же не переменишь. Кто он — мы не будем допытываться, не будем мारаться. Но предупреждаю: попытайся он еще раз совершить кражу, пусть пеняет на себя, мерзавец. Выведем на чистую воду!

«Все же подозревает кого-то из наших», — подумал я.

— Выведем, повторяю, на чистую воду, посадим на гауптвахту, а предварительно набьем морду!

«Вот так ортодокс!» — подумал я, и мне стало веселее.

— Понятно, товарищи? — спросил Трушин, и тут все загалдели.

До этого — словно в рот воды набрали. Меня даже удивило это молчание, потому что я ожидал взрыва негодования. Люди же молчали — до тех пор, пока замполит не задал своего вопроса. Да и сейчас они не кипели, как того желалось бы мне. Они говорили с возмущением, осуждающе, но без воплей. Суть высказываний: если этот гад среди нас, то устроим ему темную, оторвем руки и ноги, на ходу выбросим из вагона.

А все-таки кто вор? Я не переставал об этом думать весь день.

Трушин сказал:

— Слушай, ротный! Тебе не сдаётся, что в роте некоторый переизбыток нарушений воинской дисциплины и порядка? Перечислю: случай с Головастиковым, провоз гражданского лица, сон дневальных на посту, теперь эта кража... Не многовато ли?

— Многовато.

— Так вот предупреждаю: кончай с бардаком.

— Подбери выражения!

— Ах, скажите пожалуйста, ему не нравятся выражения! Смотрите, какая благородная девица! А я тебе повторю: бардак все это.

— Ну, хватит, — сказал я, в общем-то признавая его правоту. — Наведем порядок.

— Давай наводи...

Наводить — как? На взыскания я не очень рассчитываю. Больше на сознательность. Все-таки я верил и верю в людей. Да, сейчас расслабились, могут что-нибудь и допустить. Этакая послевоенная разрядка. Да, связи между нами ослабели, подослабла и дисциплинка. Такова реакция на мирную жизнь. Она, мирная жизнь, продлится недолго. Едем на новую войну, и я не сомневаюсь, что все мы не сплонуем, что бы там ни было.

А нечестные, непорядочные людишки есть и между нами. Не всех война очистила от скверны, такие будут попадаться и в послевоенной жизни. И попадают, как это ни печально. Мне временами на фронте казалось: война сожжет в нас все дурное, низменное, недостойное прошедших горнило. Значит, ошибался.

Эшелон помногу стоял ночью, да и утром не спешит, останавливаясь на полустанках, разъездах и просто в степи перед семафором. Из крупных станций проехали Татарскую, впереди были Барабинск и Чулым, а затем уж и Новосибирск. Старшина Колбаковский говорит, что Новосибирск на берегу Оби, — крупнейшая река. Это нам известно из географии. Из нее же известно, что и другие большие сибирские и дальневосточные города на берегах больших рек: Омск на Иртыше, Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре, Хабаровск на Амуре. Но од-

но — знать из школьной географии, другое — взглянуть собственными глазами. Взглянем и запомним. Особенно запомню Иртыш и Омск — там я обнаружил исчезновение трофейных швейцарских часов, дарованных ординарцем Драчевым. Кто их украл?

В Барабинске, когда Трушина вызвали к комбату, ко мне обратился Головастиков:

— Разрешите, товарищ лейтенант?

— Да.

— Товарищ лейтенант, разрешите отлучиться до дому, в Новосибирск.

Головастиков говорил напряженно, катая кадык. На выбритых — небывалое явление — щеках пятна, шея, схваченная белоснежным подворотничком, тоже в красных пятнах, он переминался, словно надраенные сапоги жмут. Я спросил:

— У вас, кроме жены, кто в Новосибирске?

— Мать, сестры, тетки...

Я не очень понял, зачем задал ему этот вопрос. Как и этот:

— От вокзала далеко живете?

— На трамвае за полчаса доберусь.

И вдруг во мне созрело решение, рискованное, необъяснимое и твердое, испытать судьбу, свою веру в людей. В это решение не буду впутывать Трушина, благо нет его, ибо если Головастиков что-то натворит дома, отвечать придется и тому, кто его отпустил. Сам буду решать и отвечать. И я сказал:

— Головастиков, я вас отпускаю.

Он не сказал: «Спасибо», не обрадовался, только пятна на лице и шее стали гуще. Выпрямился, принял стойку «смирно». Я сказал ему:

— Напоминаю о необходимости вести себя на побывке как полагается. Чтоб ни пьянок, ни дебошей, ничего иного... Вы когда напились... гм, помните?.. угрожали расправиться с женой. Смотрите, чтоб намека на это не было! Будьте благоразумны. Не подведите себя и меня.

— Постараюсь, — сказал Головастиков, усмехаясь, и я тут же пожалел о своем решении. Но переиначивать, отступить было поздно. Рискну. А если натворит?

Он отковырял, подхватил за лямки вещмешок и вскочил на подножку вагона; пассажирский поезд, стоявший на соседнем пути, тронулся, будто специально дожидался этого пассажира. В Новосибирск Головастиков прибудет значительно раньше нас. А нагонит после Новосибирска. Где? Где-нибудь в Красноярске. А если не нагонит, если сорвется и наломает дров? Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Тогда, спяну, он грозил: зарежет непутевую супругу. Пьяный треп? Или всерьез? Не зря ли заварил кашу, лейтенант Глушков? Не пустил бы — и все. Головастиков, правда, мог бы удрать самовольно, с моволка в роте — тоже мало радости.

Докладывать Трушину о том, что отпустил Головастикова, я не стал. Замполит вернулся от комбата оживленный, деятельный, но суровый. Объявил мне: проинформировал капитана обо всех упущениях в моей роте, капитан велел передать, что вздрючит по первое число, ежели не наведу порядка. Трушин доверительно прибавил, что и в остальных ротах дисциплина прихрамывает, поэтому во всех теплушках будут проведены беседы, надо решительно предупредить личный состав: за нарушение дисциплины и порядка последует строжайшее наказание вплоть до ареста, вплоть до гауптвахты, кстати, в последние дни она не пустует. Беседчиками выступят командиры рот, взводов, отделений, парторги, комсорги, агитаторы. Что ж, выступим. Вреда от этого не будет. Не говоря уже о пользе. Впрочем, это уж я для красного словца. Значение партийно-политической работы в армии понимаю.

В Новосибирск мы прибыли под вечер. Громадный город лежал в сиреневой дымке, мерцал ранними огоньками. С детства я слышался: Сибирь — это стужа. А тут стояла удушливая жара, хоть солнца не было видно. Оно угадывалось за облаком, будто давило на него изнутри, выгибалось. Город — и каменный и деревянный, и многоэтажный и приземистый — был запылен, разморен духотой, растревожен проходящими на восток воинскими эшелонами. Мальчишки, возбужденные, крикливые, шныряли между составами. Женщины робко подходили к дверям теплушек: искали среди нас своих сыновей, мужей, братьев, на худой конец — знакомых. На перроне было много госпитальных мужиков в полосатых пижамах и байковых халатах, из-под которых выглядывали кальсоны, — кто на костылях, кто с пустым рукавом, кто с забинтованной головой — последние раненые с западной, с немецкой войны. Раненые заговаривали с нами, расспрашивали, откуда мы. Одни из них были печальны, отрешены, другие бодрились, шутили: мы-де отвоевались, так повоюйте вы за нас на востоке. Но шутки были вымученные, с горчинкой. Что там нас ожидает впереди — это вопрос иной, покамест же мы были здоровые, а они больные, покалеченные. Старик железнодорожник в промасленной тужурке, с масленкой и паклей в руках сказал мне:

— Что, лейтенант, жалкуешь раненых? Да нечье их немного. Остатние. А бывало-т, эшелон за эшелонем везли раненых с запада. Все одно как вот вас...

Мы закурили, и старик, попыхивая дымком в седые усы, рассказал, что третьего дня гостил у него сын-майор, ехал с эшелонем на восток, он артиллерист-зенитчик, вся грудь в наградах, орел, только вот закладывать за галстук научился, до войны за ним этого не числилось.

— После войны отвыкнет, — сказал я.

— Дай-то бог. Опасаюсь: как бы не пристрастился. Мужик, ежели присосался к бутылке, — пропал...

— Не переживайте, папаша. Отвыкнет, — сказал я и подумал: «А что с Головастиковым? Он уже дома. Не наломал бы дров!»

Ах, до чего это унизительно — подозревать человека! Вот я подозреваю, что Филипп Головастиков может совершить дурное с женой. Вот я подозреваю, что славный, добрый Макар Ионыч мог польститься на мои часы. Или на них польстились мои однополчане — Колбаковский, Симоненко, Свиридов, Кулагин, Логачев, Погосян, Рахматуллаев, Нестеров, Востриков и кто там еще? Противно так думать. А думаю. Унижая себя и их. Фу, пакость!

Увидел: верный ординарец Драчев точит лясы с сибирячкой, заходит в хохоте. Что ему ротные неприятности? Как с гуся вода. Весельчак. Ветроуд. И я припомнил: так, ветродуем, именовал меня старшина Колбаковский в бытность мою взводным. Я давал повод для этого, был легкомысленный и пустой? А ведь это обидно звучит — ветродуй.

Я прошелся по перрону, выпил газировки, заглянул в вокзал, лекарственно провонявший из-за дезинфекции. Поглазель на расписание поездов, на очереди у касс, на таблички: «Ресторан», «Медпункт», «Почта и телеграф», «Милиция», «Дежурный по вокзалу», «Комната матери и ребенка». Вокзал был большой, под стать городу, и заполнен транзитниками. Бросались в глаза узбеки в расписных тюбетейках, стеганных халатах и кирзовых сапогах, ворочающие тюки и ящики, и женщины, без утайки кормящие грудью детишек, — по-видимому, мест в «Комнате матери и ребенка» не хватало. В зале ожидания было гулко, как в храме, и затхло, смрадно.

По лесенке я спустился в привокзальный сквер, сел на скамью. Откинулся на спинку. Достал из пачки папиросу, помял в пальцах и, прежде чем сунуть в рот, осмотрелся.

Я не донес папиросу до рта. Наискосок, через аллею, на скамейке сидела особа — женщина не женщина, девушка не девушка, во всяком случае, молодая, но с ребенком — и лила слезы в три ручья. На меня дамские слезы действуют губительно, и я немедленно готов сделать все, чтобы они прекратились. В женщине — все же это была женщина, похотливый на нее мальчишка скорей всего сын — было что-то восточное, то ли китайское, то ли бурятское: черные гладкие волосы, продолговатые, подтянутые к вискам черные глаза, слегка приплюснутый нос, выступающие скулы. Одета в жакет с накладными плечами, в застиранную юбочку, на ногах стоптанные туфли на высоком каблуке. Она плакала, вздрагивая всем телом, по чистой бледно-смуглой коже щек текли слезы, она вытирала их скомканным, уже намокшим носовым платком, сморкалась.

Я закурил, затянулся и перешел на ту скамейку. Спросил:

— Разрешите присесть? Что с вами? Кто вас обидел?

Она мельком взглянула на меня и залилась еще горше, всхлипывая и шмурыгая носом. Этого я вытерпеть не мог.

— Да что ж вы молчите? Кто вас обидел, спрашиваю?

Наверное, тон мой был излишне нервным, крикливым. Мальчишка испугался и также заплакал. Этого еще не хватало. Как можно спокойнее я сказал ей:

— Поверьте, я хочу вам добра. Хочу помочь. Что с вами случилось?

Она вновь посмотрела на меня, но не мимоходом, а внимательно, изучающе. Потом сказала мальчику: «Ну что ты, Гошенька, успокойся», обняла его, прижала. Вытерла ему нос и себе. Спрятала платок в сумочку. Одернула жакет. Я курил. На привокзальной площади сигнализировали автобусы. За вокзалом, на путях, пересвистывались паровозы. Скоро свистнет и мой паровоз. Для добрых дел времени у меня в обрез.

— Не хотите говорить?

Сам подивился своей настойчивости. В принципе я с незнакомыми женщинами не заговариваю. Стеснительность мешает, переходящая порой в угрюмую застенчивость. А иногда кажется: женщины подумают, что я с ними заигрываю ради определенной цели, а это уже пошлость, от которой меня коробит. Короче: на знакомства я не мастак.

Докурил папиросу, окурочек швырнул в урну и собрался было уходить, когда женщина сказала:

— Лейтенант, не сердитесь. Мне стыдно выкладывать свои беды как-то сразу. Но я выложу...

И, запинаясь, она рассказала: стояла в очереди за билетом, заевалась, сумочку раскрыли и вытащили кошелек (она щелкнула замком сумочки для наглядности), там все деньги, паспорт, пропуск, ну, кошелек с документами потом подкинули, деньги — тютю; заявила в милицию, обещали посадить без билета, да покуда не сажают, разбираются.

«Благородные ворюги. Документики подбросили», — подумал я и спросил:

— Ехать-то куда?

— В Читу.

— Там дом?

— Да.

— А зачем в Новосибирск приезжали?

Разговор смахивал на допрос, но женщина отвечала все с большим желанием. Видать, я ее разговорил-таки.

— Сюда приезжала хоронить отца.

— А что ж никто не провожает?

— Некому.

— А это ваш сынишка?

— Мой. Пришлось брать с собою. В Чите не с кем оставить.

Пацаненок — ему года три — крутил пуговицу на рубашонке, тарасил на меня раскосые глазенята, еще полные слез; в нем было побольше русского, светлого: и кожа, и волосы, да и нос не такой приплюснутый, и скулы не выпирали. И тем не менее на мать он походил здорово.

— В Новосибирске никто не провожает, зато в Чите вас будут встречать с цветами,— пошутил я, понимая: тяжеловерсно это, топорно.

— В Чите нас некому встречать,— сказала она так, что у меня пропала охота шутить. Да и расспрашивать тоже.

Помимо всего прочего, время мое истекло. Это милиция может досконально разбираться, а мне некогда. Я должен решать без проволочек. Эту женщину я абсолютно не знаю. Но знаю: она плакала, плакал и ее ребенок. После войны я дамских и тем более детских слез совершенно не переносу, тут я всегда действую. О нарушении воинского порядка, о незаконности того, что задумал, я старался не вспоминать. И потом во мне опять возникла необъяснимая и острая жажда испытать судьбу, свою веру в людей — то, что было с Головастиковым. Я сказал:

— Простите, вас как зовут?

— Нина.

— Меня — Петр. Вам, простите, сколько лет?

— Двадцать три.

— Мы ровесники! Стало быть, можно на «ты». Можно? Ну так слушай, Нина: поедем с нами, в эшелоне. Это, конечно, медленней, чем в пассажирском, но верней.

Она подняла глаза и пристально посмотрела на меня. Я смутился:

— Ну, что разглядываешь?

— Надо же поглядеть на человека, которому доверяешься,— сказала она.— Дальше Читы не увезете?

— Нет.

— А точно эшелон пройдет через Читу?

— Вероятно, да.

Она задумалась, снова в упор глянула. И почему-то прерывисто вздохнула.

— Спасибо. Я согласна. Но для вас это никаких трудностей не создаст?

— Какие там трудности? — сказал я беспечно и подумал о комбате и о Трушине.— Сами хозяйева. Теплушка неказистая, но доехать можно. Пошли, Гоша?

Мальчишка задичился, спрятался за мать. Она встала, взяла корзину. Я взял чемодан. Процессия: я впереди, за мной Нина, тащившая за руку Гошу, он отставал, заплетался великоватыми, не по размеру ботинками, явно собираясь расхныкаться. Идем, так сказать, на посадку.

Я оборачивался, ободряюще улыбался Нине, пацану подмигивал: «Шире шаг, Гоша! Сейчас ты ту-ту, домой!» — а сам думал: вот тебе и ту-ту, куда веду эту женщину с ребенком, как они будут жить несколько дней среди моих солдатиков? Старичка подвезли от Ишима до Омска, накоротке — это одно, женщина и несколько дней — это другое. У нее, совершенно незнакомой, на глазах будет вся наша армейская жизнь. Ну, особых секретов нет: занятия почти не проводим, только политинформацию. Но разговоры-то могут быть не для посторонних ушей. И потом она же женщина, как ей, извините, управляться со своими надобностями от остановки до остановки? Как оценят ее присутствие в вагоне Трушин, а следовательно, и начальник эшелона? Не заставят ли высадить? Женщина на корабле! И как поведут себя в данной ситуации они, мои солдатики? Со старичком было проще, с Макаром Ионычем.

Разве что исчезновение часиков кое-кто связывает с ним, и то это вряд ли — часики.

Так или иначе отступить было некуда. Да и не в моих правилах — отступить. Все-таки я спросил:

— Нина, а вы где работаете?

— В райкоме комсомола.

— О! И кем же?

— Инструктор по учету.

Райком комсомола — это неплохо, это обнадеживает. Начальство повезем.

На перроне мы наткнулись на Райку. Батальонная повариха, блестящая медалью «За боевые заслуги», прогуливалась в одиночестве, и во взоре ее было высокомерие. Но когда увидела меня, то взор ее, кроме высокомерия, выразил и глубочайшее презрение: и ты, Глушков, такой же, как все, и ты уцепился за гражданскую бабу, да еще с ребенком, нет, люди добрые, вы подивитесь на этих мартовских котов! Я невольно заплелся ногами, наподобие Гоши.

В теплушке Нина сняла жакет, и оказалось, что плечи у нее узкие, и вся она узкая, тонкая, как девчонка. Мне это было приятно, как и то, что в эшелон посадил ее, по-видимому, незамеченной батальонным начальством. Теплушке объяснил, кто Нина, почему и куда едет с нами. Солдаты выжидательно помалкивали, оглядывая гостей и меня. И я понял: они поведут себя с ней так, как поведу я.

— Товарищ старшина, отгородим внизу закуток для наших пассажиров.

— Создадим купе, товарищ лейтенант, — ответил Колбаковский с неким тайным смыслом.

— Да, купе. В нем будут жить Нина с сыном. Отгородите моей плащ-палаткой. Драчев! Дай плащ-палатку.

Колеса под деревянным полом чугунно провернулись, застучали, и мальчик сказал:

— Мама, хочу пи-пи.

Никто не засмеялся, не улыбнулся. Нина вытащила из корзины завернутый в газету эмалированный горшок, водрузила на нем в уголке Гошу, задумчивого, сосредоточенного. Вот так-то, лейтенант Глушков: солдатская теплушка и детский горшок. Не представляется ли вам это сочетание несколько противоестественным? Представляется. Но отлично, что у Нины есть горшок, иначе с пацаном была бы проблема.

На ужин была перловка, шрапнель, как называли ее в армии из-за специфических свойств (тут перловка уступала разве гороху). Старшина Колбаковский неизвестно с чего лично раскладывал кашу с кружочками колбасы; Нине наложил в отдельную миску, пацану — в отдельную: ему, как я заметил, больше колбаски, меньше шрапнели. Хлопчик рубал вовсю, жмурился от удовольствия, облизывал ложку и пальцы. Мать внушала:

— Нельзя оближивать. Это некрасиво.

— Ничо, — сказал Кулагин. — По вкусу пришлось, это заглавное.

К чаю Нине и пацану подложили сахару столько, что она растерялась: куда его? Я поморщился: забота, гостеприимство хороши в меру. Но Гоша начал хрумкать кусок за куском, и сахару поубавилось.

После ужина Гошу сморило, и Нина уложила его за плащ-палаткой. Посидела с ним, затем вышла к столу. Потеснились, дали ей местечко. Молчали. В приоткрытую дверь всасывало вечернюю свежесть, запах хвои и влаги. В проеме мгновенно возникали и исчезали дорожные огни, и «летучая мышь» на стояке мгновенно то меркла, то разгоралась. У фонаря кружились бабочки, мошкара, изнемогая, падали на пол. По-собачьи повизгивала доска в обшивке вагона. Раньше этого звука не бы-

ло. Или не примечал? Это деревянное повизгивание будит беспокойство, тоску и еще что-то.

На Нине была кремовая крепдешинная блузка, которую буравили маленькие острые груди. Стараясь не смотреть на груди, я смотрел на них, на тоненькую слабую шею с детской ложбинкой сзади, на худые нервные пальцы — на безымянном был перстенок. А где обручальное кольцо? Хотя извиняюсь: у нас, помимо стариков, не принято носить обручальных колец, за границей — носят: золотые, серебряные, оловянные — в зависимости от достатка. Под Рославлем, помню, захватили в плен обер-ефрейтора, у него в ранце был узелок с золотыми кольцами, штук десять: снимал с убитых товарищей. Когда из ранца выуживали этот узелок, немец чуть не упал в обморок. Ну, это я так, к слову. Хочу отвлечься от Нины и от того, что нужно разговаривать.

Она была смущена, стремясь не показать этого. Смесь независимости, непринужденности с робостью, со скованностью. То постучит ногтями по столу и усмехнется, то отодвинется от сидящего рядом, подогнет ноги. То просветлеет, то нахмурится. То раскроет рот, чтобы произнести фразу, то сомкнет, не произнеся и словечка.

Ефрейтор Свиридов закурил, но Логачев прикрикнул на него:

— Задымил, паровоз! Мальчишку задушишь. Валяй дымить к дверям.

— Пардон,— сказал Свиридов и беспрекословно направился к двери.

— Да что вы, не беспокойтесь, ничего с ним не случится,— сказала Нина, покраснев.

— Как ничего? — веско проговорил старшина. — У мальчонки легкие не привыкли к нашему зелью. Слушать всем: курить либо выходи на остановке, либо у дверей! Правильно, товарищ лейтенант?

— Вдвойне правильно,— сказал я. — Ибо и наша дама, по моим наблюдениям, не курит. Да, Ниночка?

— Упаси боже! — Она всплеснула оголенными по плечи руками, а у меня засвербило — курнуть. Встал, пошел к двери.

Выпуская дымок, затягиваясь, спиной осязал взгляд Нины. Захотелось внезапно повернуться и поймать его. И я внезапно обернулся. Нина глядела на Колбаковского, который ей что-то говорил. Черт! Несерьезная, мальчишеская досада заставила меня повернуться с возвращением к столу. Я выдымил вторую папиросу и лишь после этого сел за стол. Там уже вязался неторопливый, вялый разговор.

— Значится, папашу схоронила? — говорил Логачев. — С чего же это он?

— Умер от ран. Почитай, всю войну прошел,— отвечала Нина.

— А что ж так? — спросил Логачев. — Ты в Чите, он в Новосибирске?

— Мама у меня умерла в сороковом году,— сказала Нина. — Отец женился вторично и уехал в Новосибирск. А я осталась у тетки.

— История,— сказал Кулагин, отворачиваясь от насупившейся, погрумувшейся Нины.

Снова молчали, и снова вязался неторопливый разговор.

— Ты вот скажи мне, дочка,— говорил старшина Колбаковский. — Как Чита поживает?

— Да как всегда,— отвечала Нина.

— А большой город? — спросил Симоненко.

— Не очень, тысяч сто населения.

— А вот ты скажи, дочка. — Чувствуется, что Колбаковскому приятно так называть Нину. Хотя какая она ему дочка: ей двадцать три, ему лет тридцать пять. — Скажи, дочка: как в Чите, ежели идут сильные дожди, Большой остров заливают?

Нина оживилась, с удивлением спросила:

— Вы бывали в Чите?

— Доводилось.— Колбаковский доволен, что растормошил ее, подмигивает безадресно, разъясняет всем сразу:— В Чите нету стоков для дождевой воды, она прет с сопок по улицам, а Большой остров в низинке, вот его и затопляет.

Похоже, Колбаковский рад, что может сообщить об отсутствии стоков, а Нина огорчена, что эти сведения не в пользу ее города. А Колбаковский подзуживал:

— Чита! Чи та, чи не та. Есть Чикаго, а есть Читаго. Чита город областной, для народа он нужной... Как не надсмехаются над ней, бедняжкой!

Нина на подзуживание не поддалась. Спокойно, как бы растолковывая непонятливому собеседнику, она сказала старшине:

— Некоторые военные не балуют Читу и вообще Забайкалье. Из тех, которые там служат. Наверное, жалеют, что не стоят в России или где-нибудь в благословенных краях — Грузии, Молдавии, Украине. Там-то и климат поласковей, и с продуктами посытней. Рвутся туда душой. Поэтому Чита для них — пыльная, серая, забытая богом, они называют ее всесоюзной гауптвахтой. Остроумно? Я не нахожу.

— Строгая ты, дочка,— сказал Колбаковский.— А как там поживает маньчжурская ветка?

— Как всегда.

Кулагин спросил:

— Что это — маньчжурская ветка?

— Это ответвление от железной дороги в сторону города Маньчжурия.

— Китайский город,— уточнил Колбаковский.

— Да, китайский. От него начинается КВЖД.

— А это с чем едят? — спросил Логачев.

— КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога.

— Мерси за справки,— сказал Свиридов, хотя вопросы задавал не он.

— Не стоит благодарности. А вам, старшина, скажу откровенно: человек я не пришлый, коренной, поэтому люблю Забайкалье и Читу, они мне по-настоящему дороги, это моя родина.

— Да я что? Я так,— с улыбкой сказал Колбаковский.— Читинский патриотизм нам знаком. Значит, ты чалдонка?

— Конечно.

— Чалдонами да гуранами кличут местных жителей, коренных забайкальцев,— не без важности пояснил Колбаковский высокому собранию.— А вообще-то гуран — это дикий козел. Между прочим, в Забайкалье живут русские, буряты, эвенки, якуты, много смешанных браков.

— И я от смешанного,— сказала Нина.— Отец русский, мать бурятка.

— Надо же! — удивился Симоненко.— Потому и смахиваешь на китайку. А в паспорте как пишешься?

— Русская,— сказала Нина.

— Законно,— сказал Свиридов.— А Чита лучше Иркутска?

— Ну, это извечный спор. Кому Иркутск больше нравится, а мне — Чита. Иркутск чем берет? Ангарой. А так — старинный купеческий город с переулками да закоулками. А Чита спланирована вроде Ленинграда — улицы прямые, как стрелы. Вокруг нашего города — сопки в багульнике, в листовнице, сосне, березе, недалеко озеро Кенон, чудесный уголок, проезжать будем. Знаете, как весной красиво: зацветет ба-

гульник — и сопки заливают лиловым цветом. А осенью сопки в золоте: березы и лиственницы желтые, а тут еще солнце подсвечивает, знаете, как красиво!

— Знаем, дочка, — сказал Колбаковский. — Я неоднократно приезжал из Монголии в Читу. У меня в Читаго даже знакомая была, в военторге работала.

— Товарищ старшина выбирает, с кем знакомиться, — сказал Свиридов.

Колбаковский игнорировал шутку. Солидно, с достоинством произнес:

— В Чите штаб Забайкальского военного округа на площади Ленина помещается. Затем округ превратили во фронт. — Это всем, чтоб оценили познания старшины Колбаковского. А это Нине: — Нет спору, оправа у Читы красивая, а сам город не блещет!

— Верно, Чита неблагоустроена, не везде тротуары и мостовые, мало канализации, мало крупных зданий. Но это все наживное, город молодой, после войны наверстает. С такой планировкой Чита себя еще покажет!

На щеках у Нины сквозь бледную смуглость проступил бледный румянец. Что-то в ней было трогательно-милое — может, оттого, что нерасторжимо соединилось русское с бурятским. В мальчишке, в Гоше, бурятского меньше, видимо, отец его русский. Но на мать он похож. А кто Гошин отец и где он? Собственно, какое мне до этого дело? Вероятно, на войне был, как и все. Да, а в Нине есть нечто девичье, милое.

— Вот увидите, покажет! Так что милости просим: разобьете самураев — приезжайте к нам в Читу, не пожалеете.

«И она знает, куда мы направляемся. Военная тайна! Шила в мешке не утаишь», — подумал я, а Свиридов брякнул:

— Приедем, Нинон! Выбирай любого из нас...

— Меня зовут Нина. — И она так посмотрела на Свиридова, что тот осекся. Поделом тебе, менестрель двадцатого столетия.

Молчун Рахматуллаев сказал:

— Нина, а ты похожа на мою сестру, она узбечка.

Нина улыбнулась. И молчун Погосян сказал:

— Каждый город хороший, где живут хорошие люди.

— Правильно, товарищ Погосян! — веско сказал Колбаковский. — Но я расширю твое замечание: не только город, а любое место красят собою — кто? Красят собою люди! Возьмем хотя бы Монголию. Я там не один годочек отбухал, в Семнадцатой армии служил, не слухом пользуюсь. Так что мы имеем в Монголии? В Монголии мы имеем: полупустыня, камни, пески, ковыли, безводье, зимой пятьдесят мороза, летом пятьдесят жары, обитали в землянках. Край наисуровый, а монголы — добрые, гостеприимные, бесхитростные, честные. Так что получается? Получается: через тех монголов и сама страна делается доброй и радужной, хотя климат дикий. Там наша Семнадцатая давненько загорает, и ничего, прижилась. И с цыриками, с даргами крепко дружили. Цырик это кто? — солдат. Дарга это кто? — командир. А крестьяне по-ихнему — араты. Славнецкий народ! И русский для них — как брат, ей-богу. Завсегда приглашали нас на свои надомы. Надом это что? — конное состязание. — Колбаковскому хотелось закурить, он уже сунул папиросу в зубы, но спохватился. Поколебавшись, идти курить к выходу или повременить, спрятал папиросу в пачку: желание рассказывать перебороло. — Ну, как надом проходит? Рассказать?

— Беспременно и обязательно, товарищ старшина! — сказал Свиридов. — С подробностями и в лицах.

— Так-с.— Колбаковский выдержал паузу.— Ну, надом устраивают в степи. Степь там — конца-краю не видать. На старте собирается всадников пятьсот, а то и до тыщи. Наездниками бывают чаще пацаны и пацанки, но бывают и взрослые. Со старта все срываются как оглашенные. Первые версты идут кучно. Потом образуется колонна, потом и она растягивается, разрывается. Стало быть, скачут ребята. А их родственники скачут сбочь, за кордоном конной милиции. Надобно вам заметить, что участников надом сопровождают конные милиционеры от этапа до этапа. Чтоб порядок был. Чтоб родственники не поменяли кому-нибудь лошадей. Уставшую на свежую. Сродственники эти кричат, свистят, гикают: своих подбадривают. Постепенно, однако, болельщики отстают. А ребята мчатся, а милиция мчится, степь гудит от топота копыт. Зрители болеют, как на футболе, а их, зрителей, тыщи. Проиграть в скачке считается зазорным. По этой уважительной причине неудачники за несколько верст до финиша сворачивают, пытаются ускакать в степь. За ними скачет милиция, нагнав и окружив — сопровождает перед зрителями. А глашатай при этом кричит, шутейно, конечно: мол, посмотрите на этих лошадей и всадников, они тащились на кончике коровьего хвоста! Победитель же в бронзовом шлеме проезжает с почетом. Теперь глашатай кричит: посмотрите на славного батора, он был впереди ветра, честь всаднику и его родителям! После победителю вручают пиалу кумыса и призы. Богатейшие призы. А цена его коня враз что? — повышается. Все добиваются купить или выменять такого знаменитого коня. Вообще должен сказать: у монголов культ лошадей. Вот мы говорим как? «Добро пожаловать». А монголы говорят как? «Идите на коня». Для монгола конь, ей-богу, дороже жены. Не обижайся, дочка!

— Я не обижаюсь,— сказала Нина.— У бурят то же самое.

Мне показалось, что говорит она уже без охоты. Наверное, выговорила. А может, душевный настрой все-таки не для говорений — как-никак отца схоронила. Лицо ее как бы застыло: выражение вежливое, но замкнувшееся, отчужденное. Вероятно, не один я уловил это, потому что разговор пресекался.

Грузно, жерновами крутились под полом колеса, подрагивал стол, позванивала ложка в кружке, покачивалась лампа, ломая наши тени. В некий миг тень Нины и моя столкнулись на стене и почти что совместились. К чему бы это? А-а, ни к чему. Не разводи символику, лейтенант Глушков. Действительно символика, притом глупейшая. А в дороге я, точно, поглупел. От безделья. В начале пути отдышал, отлеживался, нынче приелось. Дальняя дорога имеет свои минусы. Вот-вот, теперь пофилософствуй.

Но я не стал философствовать, а посмотрел на Нину, на ее тонкие пальцы, на узкие покатые плечи, на слабую, нежную шею, на торчливые груди. Она нахмурилась. Не нравится, что пялюсь. Не буду.

На остановке я ей предложил:

— Прогуляемся?

— Только чтоб не отстать,— сказала она.

— Это в мои планы не входит.

Она глянула на меня, будто спрашивая: а что входит?

Я помог ей сойти на землю. Огляделся: батальонного начальства не видать, на станции фонари, а чуть отойди — темень, очень хорошо. Будем прогуливаться, не выползая на свет.

Вкруг фонарей летали ночные бабочки, в тополиных ветках возились вороны, кем-то потревоженные. В поселке, за мостом, лаяли собаки. В соседнем вагоне блеял патефон: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю...» Музыкальная лирика, сладость высшей кондиции. У нас — Свиридов, у соседей — патефон. Что лучше — сказать трудно. В иных теплушках уже спали — двери задррае-

ны. Стучали молоточками осмотрщики вагонов, старые чумазы дядьки. Мы с Ниной прохаживались вдоль состава и не разговаривали.

У нее, по-видимому, не было настроения, я же хотел поговорить, но не знал, с чего начать, и, во-вторых, оробел. От той лихости, с которой завязал знакомство на новосибирском вокзале, не осталось и следочка. Эта лихость убывала во мне постепенно, и вот она на нуле. А промежду прочим, боевой офицер, фронтовик, медали и ордена позвякивают на груди. Да и не всегда я теряюсь с женщиной. Бывает — наоборот. Останься я наедине с Ниной, вполне возможно, что разотчаялся бы, превратился б в сумасшедшего, как называла меня в иные минуты одна немочка. Ее имя? Не важно. И вообще сейчас о ней не стоит вспоминать.

Молчать было сущим идиотством, и тем не менее я молчал. Мы ходили туда-сюда. Похрустывала галька. Козлетонил патефон: «Когда б я только смелости набрался, я б ей сказал...» Солист Большого театра Лемешев. Неаполитанская песня. Прелестно! Во мне заваривалась злость и на себя и на Нину. Ну чего в рот воды набрала? Сказала бы что-нибудь.

И она сказала:

— Пойдемте на станцию?

— Ради бога,— сказал я без энтузиазма: на станции светло, можешь напороться на эшелонное начальство. А засечет, допустим, Трушин — запросто от него не отделаешься, допечет расспросами, внушениями да осуждениями.

Мы прошлись по станции, и Нина сказала:

— Обождите меня. Я на минутку.

И прямым ходом — к уборной. Ну и балбес же я! Вытащил на вечернюю прогулку, хожу хвостом, а ей-то нужны не променады и не мое сиятельное присутствие. Догадаться б оставишь ее одну. Учтем на будущее.

Досада перебивалась чувством, которое я в точности не мог определить, но было в нем что-то приятное, в этом чувстве. Я думал: «Как она открыто, без стеснения, у меня на глазах пошла туда, куда ей надо». И это как бы снимало между нами некие условности, как бы сближало нас.

Потом мы вернулись к эшелону, и Нина сказала, что пора спать, и мы залезли в теплушку.

Я лежал на верхних нарах, а на нижних, подо мной, лежала женщина. Ее зовут Ниной. Она дочь русского и бурятки, она женственна, молода, и у нее есть сын, которого зовут Гошей. Эту женщину я почти не знаю, но до Читы немножко узнаю. А вот женщину, которую звать Эрной, я знал достаточно хорошо, вернее — близко. Что с ней, как она живет без меня? А так, наверно, и живет — как я без нее. Было же: вместе жили. Не забывай меня, Эрна. Я тебя не забуду. И будь счастлива. Я тоже постараюсь быть счастливым. Ауфвидерзеен! По-русски: до свидания! Но свидание наше вряд ли состоится. Будь счастлива, Эрна. Спокойной ночи, Эрна. По-немецки: гутен нахт.

Сквозь стук колес, повизгивание доски в обшивке, сквозь солдатский храп и посвист мне чудится легкое женское дыхание. Словно оно рядышком. Словно оно на моей щеке. О, женщины! Вспоминаю: концерт фронтовой бригады, щекастый, с брюшком опереточник пел-хрипел на грузовике с откинутыми бортами: «Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вы наши звезды, как сказал поэт!» — и скакал козликом. Ария была пошлая, как и все в оперетках, однако суть ее правильная: нельзя без женщин. И у меня будет своя женщина. Вот отвоюю, демобилизуюсь и женюсь. «Вы наши звезды, как сказал поэт...» Уж не ведаю, называл ли Головастикова супругу звездой. А теперь грозит зарезать.

Пустые угрозы? А если не пустые? Что тогда будет? С ним? Со мной? Он загремит в трибунал. Да и я, вероятно, туда же. Вот тебе и послевоенная идиллия. Точней, между двумя войнами. И точнее, не идиллия, а драма. Однако к черту богатое воображение. Пока еще никто никого не зарезал. По крайней мере я об этом ничего не ведаю. И слава богу.

То черта поминаю, то бога. А ни в того, ни в другого не верю. В себя верю. Стараюсь верить. Надо верить не в богов, а в людей. И надо, пожалуй, записать эту мысль в блокнотик.

Я подвинулся к свету, помуслил химический карандаш и увековечил мысль на бумаге. Довольно банальную. Это у меня частенько случается: более интересным пренебрегу, менее интересное запишу. А в общем, никчемное занятие — записывать в блокнотик. Кому это надо?

Колбаковский всхрапнул так, что я вздрогнул. Дает старшина. Тот самый, что прозвал меня некогда ветродуем. Ветродуя обозначает: пустой, легкомысленный, подбитый ветром человек. Я такой? Вот Миша Драчев ветродуя: на каждой остановке прилабунивается к каждой женщине. Зубоскалит: «Даст, не даст, а попросить обязан». Урезонивающим его Драчев режет: «Я ни одну фрициху не тронул. Потому — брезговал. А тут свои, кровные бабоньки, и никто мне не указ, пишите вы хоть кипятком». Принципиальный он, мой ординарец. Не зря косился, когда я похаживал к Эрне. К той немке с округлыми коленями, которую я тронул, не побрезговал. А и обалдуя же ты, братец Драчев! Да и ветродуя в придачу.

Однако нужно спать. И я уснул. Пробудившись в середине ночи, понял: стоим. Поглядел в оконце, убедился: стоим в поле. Поближе к лесу, на косогоре, спала деревня, облитая лунным светом. Я всмотрелся: подслеповатые избы под соломенным верхом, пыльные улочки, срубы колодцев, поскотина. Ни огонька, ни звука, ни движения. Показалось: людей нет, они не спят по избам, а ушли в лес.

И вдруг вспомнилась иная, далекая, смоленская деревня: она была, как и эта, под соломой, пыльная, с колодезными журавлями и срубами и так же безлюдна, потому что жители схоронились в лесу.

Деревня была километрах в двадцати западнее Рославля и называлась не то Ипатовка, не то Игнатовка. Забыл. А надо бы помнить. Все-таки, сдается, Ипатовка. Закрою глаза и увижу карту, разложенную на пенке. Она измята, потерта на сгибах — лейтенант Глушков аккуратностью не отличается, — исчерчена разноцветными пометками. Условные обозначения, названия населенных пунктов. Да, точно: Ипатовка.

Деревня была раскидана по буграм: изба на бугре, пониже — огород, поскотина. Подумалось: эти избы на буграх — как надолбы. Увы, такие надолбы не могли задержать немецкие танки в сорок первом. Ипатовку фашисты прошли на третьей скорости, словно разрезав по большаку пополам. Деревня уцелела, потому что боев не было — наши части поспешно отступали. Два года спустя Ипатовка опять сохранилась, ибо немцы отступали с не меньшей поспешностью, без боев, не успев поджечь избы, что обычно делали. Тогда драпали мы нах остен, то есть на восток. Теперь драпали они — нах вестен, то есть на запад. Вот такие пироги.

Стояло бабье лето: солнце, теплынь, паутинки, поредельй, будто расступившийся лес-прясельник, желтые и рдяные листья, полегшая трава. Угасающее, грустное птичье цвирканье. А людям было радостно! Солдаты нашего полка, топавшие через Ипатовку, улыбались, выбравшиеся из лесу, из укрытия, бабы, старики и детишки обнимали их и целовали, и если кто из баб плакал, так разве что от радости.

И у меня был рот до ушей: не так уж часто бывает, чтоб освобожденная деревня сохранилась. Чаще видишь кучи пепла, груды битого кирпича, печные трубы на пепелищах, обгорелые ветлы и не видишь людей — их немцы или угоняли, или расстреливали, если находили в лесных схоронах. Натыкались мы, и не раз, на трупы женщин и детей, убитых немцами при отступлении. И я, вроде бы привыкший на войне ко всему, в сущности, так и не смог привыкнуть к виду женских и детских трупов. Глядя на них, я содрогался от сознания своей личной вины перед дорогими, милыми, беззащитными, кого я — а не мы — не уберег, отдал на поругание и смерть.

А в Ипатовке были живые люди! Говор, смех, плач. Старики расчесали бороды, надели чистые и мятые, вытасенные из сундуков рубахи. Бабы тоже принарядились — косы уложены, платочки, жакеты. Голоногие, с истрескавшимися пятками пацаны заворуженно глазели на наши погоны, звезды на пилотках, а бабы угощали нас холодной криничной водой. Такая водичка, когда протопал с десятков километров, потный и усталый, — это то, что надо.

Полк наш сразу же за деревней свернул в лес. Сперва подумалось: нас вывели в резерв. Передохнем в лесочке. Лучше бы, натурально, в избах, а не под сенью берез. Но против начальства не попрешь. Оно, дивизионное начальство, не разрешало подразделениям размещаться в деревнях — немцы могли засесть с воздуха и разбомбить, — однако само расквартировывалось именно там. Как говорится, начальству виднее.

Быстренько, впрочем, выяснилось: остановились мы потому, что притормозилось наступление. Было слышно, как на западе, неподалеку, бухали пушки. Значит, завязался бой. Значит, противник зацепился за какой-то оборонительный рубеж и наш марш преследования на сегодня кончился, надо вести бои и сбивать противника. Это не улыбалось, преследовать отходящих гитлеровцев куда как приятнее.

Пушки бухали остаток дня и ночь, утром услыхались взрывы тяжелых бомб. В темноте над лесной кромкой дрожало зарево, растекалось по небу. При свете утра мы увидели, как на запад пролетели эскадрильи «Илов», а Ипатовкой пропылили танки и артиллерия. Подтягиваются туда, где бой. Скоро и нас подтянут, пехоту, — обычное дело.

По утренней росе я накоротке наведалься в деревню. Хотелось поговорить с жителями, если удастся — отведать молочка от бешеной коровки, сиречь самогона. Вопреки воле начальства в деревне размещалась какая-то часть — как я понял, саперы. Крепкие, с руками-кувалдами, они шуровали по дворам: кто починял изгородь или крылечко, кто точил ляды с молодайками, кто курил с дедком на завалинке. Выходило, что номер мой пустой, делать мне тут нечего.

Но номер не был пустым: старик, стоявший у ворот, кривой на левый глаз, с заросшими шерстью ушами, в треухе и рваных галошах, поманил меня узловатым, негнувшимся пальцем. Я подошел. Старик спросил:

— Закурить есть?

— Найдется, папаша, — сказал я и достал пачку папирос.

Старик прикурил от моей зажигалки, с наслаждением пыхнул дымком:

— Духовито, я т-те скажу!

— Нравится? Курите на здоровье!

— Как от курева здоровье? От самогонки — другой разговор. Употребляешь?

Я скромно опустил глаза. Старик рассмеялся.

— Мужик да чтоб не употреблял! Пошли-ка со мной, сынок.

Он провел меня на выгон за огородами. В кустах бересклета, огля-

нувшись, нет ли кого поблизости, поворошил опавшую листву, в ней — початая бутылка. Зубами извлек матерчатую пробку.

— Храню в тайности от старухи. Первак. Дуй из горла. Ровную половинку.

Бутылка была прохладная, с налипшими листьями и травинками. Я принял молодецкий вид.

— Ну, папаша, со знакомством!

Запрокинулся, хлебнул. Вонючая маслянистая жидкость обожгла рот, глотку, грудь. Задыхаясь, сделал еще несколько глотков. Огонь! Даже слезы выступили. Старик усмехнулся, сунул луковичу:

— Закуси.

От лука слезы у меня навернулись еще сильнее. Старик истово перекрестился, сказал:

— С освобождением! Дожил я, значит... Аминь!

И единым махом, не отрываясь от горлышка, выпил самогон. Спрятал бутылку в листве, не торопясь вытер губы рукавом, в удовольствии закрыл живой глаз, и мне показалось, что старик вообще слеп. Но он открыл глаз, по-стариковски блеклый и не по-стариковски пронзительный, посмотрел на меня. Я спросил:

— Вас как зовут, папаша?

— Филимон. По батюшке — Терентьич. А тебя?

— Петр.

— Ну, давай, Петр, закурим.

Он затягивался, кашлял, сплевывал и прислушивался к тому, как гудит не столь уж далекий бой. И я прислушивался, прикидывая, не стронулся ли немец, не подается ли на запад. Непохоже, чтобы подавался. Старик сказал:

— Под германцем быть — краше в гроб лечь. А теперя как заново народились, после освобождения-то, дожидались вас-то два годочка... Хоть помирай с радости!

— Зачем же помирать, Филимон Терентьич? — сказал я. — Жить надо!

— Надо,— согласился старик и попросил еще папирску.

Мне нужно было возвращаться. Я пожал ему руку, а он обнял меня, и тут мы расцеловались. Самогон уже давал о себе знать: я расчувствовался, снова поцеловал старика, сказал, что пусть живет сто лет, теперя жить да жить, все наладится, а мы немца погоним дальше.

Самогон действовал! Я шел от деревни тропой, нырявшей под березы, и нырял вместе с нею. Ветки мягко шлепали по лицу и плечам, стволы мазались, будто мелом, полужелтая, полужелтая листва осыпалась, шуршала под ногами, пахло горечью и прелью, и хотелось вдыхать и вдыхать этот грибной запах. Тренькали синицы, долбил дятел,— без конца слушал бы эти звуки. Голубое небо, оранжевое солнце, в низинке плескался молочный туман, осина пылала, как подожженная,— глаза не уставали смотреть на эти краски. Все было хорошо, славно, трогательно. До того трогательно, что в горле першило от умильных, никогда не проливающих слез. У меня так: выпью порой и расчувствуюсь, до слез расчувствуюсь чему-нибудь, однако все это в душе. Разве только улыбаюсь безудержно и безудержно вздыхаю. Так сказать, от избытка чувств, подогретых вином. В данном случае самогоном. А вообще это здорово — жить!

Я прошел березняк, осинник, забрел в ельник. Здесь, в ельнике, и стоял наш батальон. Солдаты стучали ложками о стенки котелков. Так, завтрак. На опушке — полевая кухня, повар в колпаке и нарукавниках. Давай подрубаем, повар. Подрубать сейчас в самый раз. Вареву пока-

залось мне необычайно вкусным, крутой чай — потрясающ. Папироска на десерт. Да здравствует радость бытия!

А после завтрака нас спешно построили и форсированным маршем повели на запад. Мы шли, и бой приближался к нам что-то слишком быстро. Потому что не только мы двигались к нему, но и он к нам. Да, под давлением немцев наши части отходили. И это в сентябре сорок третьего! И это после стремительного преследования!

Тягостно вспоминать, что было потом. Наш полк с ходу ввели в бой. Виданное стократно: изрытое курящимися воронками поле, поваленные, расщепленные деревья, горящие постройки хуторка. Немцы били из артиллерии и «ванюш», снаряды и мины накрывали, секли осколками неубранные трупы наших бойцов. За льяным, дымившим на корню полем в дубняке взрывывали немецкие танки и самоходки. Над лесом — карусель воздушного боя, объятый пламенем и дымом упал красноразвездный «ястребок», за ним, как привязанный, упал «мессершмитт» со свастикой, два взрыва огромной силы потрясли округу.

Перед вечером мы заняли мелкие окопы, полуразрушенные, заваленные землей, принялись углублять их. Работали лопатками, как говорится, с огнем: поскорей бы зарыться поглубже, иначе при таком обстреле не уцелеешь. Закатное солнце было багровое, к ветру, а может, и к большой крови — у меня на фронте родилась эта примета. К несчастью, она часто оправдывалась.

Подтвердилась она и на этот раз. В сумерках гитлеровцы пошли в атаку: танки, за ними автоматчики. Они едва не достигли нашей обороны, но все-таки были отбиты. В полночь снова нас атаковали. Вот этого-то мы и не ожидали. Они не любили и не умели воевать ночью. Они отдыхали ночью, а мы сплошь да рядом портили им этот отдых. И вот — впервые на моей памяти — немцы предприняли ночную атаку. Не скажу, что мы проворонили ее начало, однако несколько растерялись — факт.

Мы не спали: углубляли ячейки, рыли траншеи и ходы сообщения, подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых. И вдруг на оборону, довольно-таки хлипкую, на ближние тылы обрушился сильнейший артиллерийско-минометный огонь. Шквал огня! Разрывы следовали один за другим. Темноту словно выжигали кусками, и огненные эти куски сливались в сплошную стену пламени, как грохот отдельных разрывов сливался в сплошной, рвущий барабанные перепонки грохот-ревун.

И следом из дубняка выползли танки и самоходки, замелькали цепи автоматчиков. На нашем участке они не прошли, но сосед слева дрогнул, и немцы пробили там брешь, зашли к нам в тыл. Полк попал в полуокружение. Мы дрались всю ночь, а утром, потеряв половину личного состава, получили приказ отойти.

Мы отходили, таща раненых на плащ-палатках, натываясь на трупы немцев, упирались в бурелом и снова брели. На восток брели. Как в сорок первом. Немцы бомбили, окрест горели оставляемые нами деревни. Горела, наверное, и Ипатовка. Бог миловал: мне не довелось увидеть ее в часы нашего отступления. Но я представлял себе: трещат схваченные пламенем соломенные кровли, рушатся стропила, по улице бегут женщины, старики, дети, а на противоположном конце ее уже бегут немцы с приставленными к животу автоматами. Ипатовка была где-то близко, за лесом, горящая, беззащитная, отданная немцам. В ней, в Ипатовке, встречавшие нас, освободителей, принарядившиеся бабы, пацаны с голыми, истрескавшимися пятками, кривой старик Филимон Терентьич, угощавший меня самогоном. И я отдал их немцам.

Не хочу тягостных подробностей!

Мы отошли на восток еще дальше, и горящие деревни скрылись за холмами, лишь почерневшее от дыма небо указывало, где пожары. Го-

рело пять деревень, одна из них — Ипатовка. По которой я вышагивал торжественный и важный, как индюк, улыбился, сиял. Освободитель, тут же отдавший деревню назад.

На выходе из урочища на нас налетели «мессеры», обстреляли из пушек и пулеметов. Крепенько досталось. А меня помиловало. Везет некоторым освободителям.

Через три дня, подтянув резервы, мы опять перешли в наступление, сбили противника и погнали. Прошли южнее Ипатовки, и я ее вторично не освобождал. Хватит одного раза, век не забуду. Снова мы взбивали проселочную пыль, а то и катили на колесах, когда артполк давал нам грузовики. Торопились вперед, вперед, чтобы немцы не оторвались. Я трясся в «студебеккере», глотал въедливую пыль, натирал ноги, задыхался от жажды и усталости, и во мне, как затаенная боль, ныла вина перед Ипатовкой. Долго ныла, до конца войны, да и сейчас ноет, как старая рана к непогоде.

Ночью в эшелонной теплушке приснилось: рукопашная, я сцепился с немцем, мы катаемся по земле, бьем друг друга, душим, и вдруг я вижу, что это не немец — смуглый, раскосый, скуластый, с выпирающими зубами,— из тех, с кем мне предстоит воевать, из японцев.

Вагон скрипел, покачивался. Звенели на столе кружки. Свет станционных фонарей падал в оконце, плясал на стенах, на нарах, на лицах спящих солдат. Знакомые, близкие лица. Чтобы вновь заснуть, я прикрыл глаза. И увидел немца, превратившегося в японца. Японец! Признитесь же!

23

Утром, едва продрал глаза, я нацарапал в блокнотике: «Возможно, доживу до почтенного возраста. В этой затянувшейся жизни будет все: радость, счастье, любовь, когда жить бы да жить, и горе, несчастье, беды, когда впору повеситься. Но как бы мне ни пришлось тяжело, я и не подумаю о самоубийстве. Прошедшему войну помышлять о смерти? Да здравствует жизнь!» Ставя восклицательный знак, сломал карандаш.

Было ясное, солнечное утро. За которым последует такой же, наверное, ясный и солнечный день. Кстати, что за день нынче? Хотя бы число? А вчера? Забыл. Сбился в пути со счета. И от этого мне почему-то стало радостно. И еще, конечно, оттого, что внизу спала молодая симпатичная женщина, которую зовут Ниной. Черт дери, все-таки это здорово — ты остался в живых и тебе двадцать три! А Нина — хорошее имя!

Она, однако, не спала. Когда я свесился с нар, то увидел, как шевелится плащ-палатка: за ней — движение. Я шепотом позвал:

— Нина!

Она высунулась: в зубах зажаты шпильки, в одной руке гребень, другая сжимает расплетенную косу. Я прошептал:

— Доброе утро, Нина.

Разжав зубы и уронив шпильки на колени, Нина улыбнулась:

— Доброе утро, товарищ лейтенант.

— Ну что за официальности? Это я для своих подчиненных товарищ лейтенант, а ты ж не моя подчиненная, так?

— Так,— сказала Нина.

— Поэтому зови меня Петром, Петей.

— Если вы настаиваете, буду звать Петей.— Она усмехнулась:— И даже Петенькой.

— Вот-вот,— сказал я.— К чему нам китайские церемонии? Мы ж свои люди. А церемонятся пускай другие.

Какие другие, что за церемонии? Я говорю явно что-то не то. Хотел сказать ей умное, доброе, душевное, под стать настроению, а говорил какую-то ерунду. На постном масле. А она подсмеивается надо мной — Петенька. И выдерживает дистанцию: я ей «ты», она мне «вы». Вот тебе и китайские церемонии.

Колеса выстукивали: ты — вы, ты — вы. Ах, да чепуха это. На постном масле. Живи и радуйся жизни, лейтенант Глушков, он же Петенька. Радуйся! И я сказал:

— Ниночка, подъем! Скоро завтрак. Подрубаем?

Захнычка мальчик. Нина развела руками — дескать, ничего не попишешь, прошу извинить — и скрылась за плащ-палаткой. А меня вдруг — как солнечный луч толщу воды — пронизало предчувствие счастья: будет оно у меня когда-нибудь, то самое, что называют личным. Будет! Хотелось задержать, продлить это мгновение. Но мгновение уходило, и предчувствие счастья вытекало из меня, как кровь из раны. И все ж таки до конца не вытекло, что-то осталось на донышке.

За завтраком мы сидели рядом с Ниной, она кормила сына солдатской «шрапнелью» — ложку себе, две ему,— и я невзначай касался ее руки. Гоша то капризничал, то подлизывался к матери — симпатичный чертенок, рожица измазана кашей. Мне каша не шла в глотку, ел насильно, давился, запивал чаем. И в задумчивости оттягивал кожу на шее у подбородка. Так, гениальные мысли: когда-то настанет конец этому пути, собственно, он все время кончается — с каждым городом, с каждой деревней, с каждым километром — и никак не кончится, но потом наступит настоящий конец, когда мы покинем теплушки. И начнется другой путь, а за ним иной, и еще иной, и так далее. Гениально? Записать в блокнотик?

После завтрака Колбаковский рассказывал Гоше сказку про волка и семерых козлят в вольной трактовке («Волк — он, знаешь, какой гад, тот же фашист, фашист с автоматом, а волк с острыми зубами...»), мальчишка лънул к нему, старшина старался еще пуще, гримасничал, тарачил глаза, бляял, шипел и рычал — изображал в лицах. Кто бы мог подозревать у старшины такие таланты!

Мы остались с Ниной за столом: молчали, слушали художественное слово старшины Колбаковского. И внезапно рассмеялись: оба совершенно одинаково подперли подбородок рукой, вроде бы закручинились. Колбаковский недоуменно глянул на нас, ибо мы засмеялись в весьма неподходящем месте — волк начал заглатывать бедных козликов. Старшина в неудовольствии пожевал губу, однако сказку продолжил.

Напротив нас восседал ефрейтор Свиридов, небрежно перелистывал старые, оборванные по краям газеты. Присевшему парторгу Миколу Симоненко с той же артистической небрежностью объяснил:

— Повышаю уровень, расширяю кругозор.

— Зер гут,— сказал Симоненко.— Но чего ж музыку забросил? Песни не играешь — и чего-то не хватает.

Точно: чего-то недостает без свиридовских танго. Привыкли к ним. Ефрейтор Свиридов кинул на Нину томный взор и сказал:

— На музыку, товарищ парторг, настроение отсутствует. Повлекло на политику...

Колбаковский кончил сказку и сиганул в другую область — рассказывал о некоем своем сослуживце:

— Звали его Никита Иваныч, толстый — во, бочка, рожа — во, зрелый помидор, словом, здоровяк несусветный. А почитал себя за больного, все болести-хворости выискивал, едри твою корень! И у себя выискивал, и у посторонних. Когда у себя находил — горевал, ежели у

людей — радовался. Он и знакомых своих различал не по именам-фамилиям, а по болезням: «Ага, это язвенник... У этого почки больные... А это тот, у которого грыжа...» Хо-хо!

Старшинский смех не поддержал никто. Кроме Гоши, засмеявшегося тонко, визжаще. Будто понял что-то, чертенок. Ефрейтор Свиридов тягуче, со значением произнес:

— Вот, значит, как все это раскладывается на сегодняшний день...

А я подумал о своей носоглотке. Во время сна она пересыхает зверски, когда говорю, голос садится, длинные речи не для меня. Диагноз: хронический катар. Что бывает у лекторов, учителей, вообще у говорунов. Но я-то к ним не принадлежу, а все равно катар. Обидно. За что, граждане? Сослуживец Колбаковского звал бы меня примерно так: «Это который с хроническим катаром носоглотки...»

Вадик Нестеров и Яша Востриков начали что-то рисовать Гоше на тетрадном листе, а мы с Ниной, не сговариваясь, разом встали и отошли к двери. Стояли, облокотясь о бревно, и смотрели, как убегает назад соседняя колея. Я курил, Нина шурилась, может быть, от сносимого на нее папиросного дыма. Я сказал: «Извини, Нина» — и выбросил папиросу. Она улыбнулась, то ли отрицательно, то ли утвердительно покачала головой. Я спросил:

— О чем задумалась?

— Да так, ни о чем... — И после паузы: — Неправда, задумалась я вот о чем... Сколько сейчас болтают кумушки, да и не только они! Такой-то-де фронтовик привез из Австрии чемодан иголок, спекульнул, миллион заработал. На такой-то станции танкисты с платформы навели свою пушку на пивной ларек: угощай нас бесплатно, а то разнесем. Там-то взяли в теплушку девушку, а после, надругавшись, выбросили на перегоне. И прочее...

— Что за гадость! — вскипел я. — Да это поклеп! И ты, комсомолка, повторяешь...

— Гадость. Поклеп. Я сама еду с вами и вижу что к чему. А повторяю я потому, что меня поражает: как можно к тому великому, что свершила наша армия, приплетать такие слухи, клевету такую возводить! И кто этим занимается? Добро б еще враги, а то ведь наши, доморощенные сплетники!

— Извини, — сказал я, продолжая кипеть. — Ты, конечно, вправе повторять, хотя и из твоих уст слушать противно. Пойми, ведь я представитель этой армии, каково мне слышать? Ты правильно все оцениваешь. Но эти болтуны, сеятели слухов... Передал бы их! К сожалению, они живучи, каналы.

— Откуда они берутся?

— Их питательная среда — мещанство. Мещанина издавна отличает почти физиологическая страсть к сплетне, к дурной сенсации... А-а, ну их к ляду!

— От этого так не отмахнешься, — сказала Нина. — Да, это мещанская стихия. Но откуда берутся советские мещане? А они есть!

М-да. Советские мещане. Они существуют. Действительно, не отмахнешься. Моей категоричности поубавилось. Я проямлил:

— Завершим все войны и начнем разбираться. У нас не только эта проблема, поднакопилось всего...

— Надо разобрататься, — сказала Нина с уверенностью, которая будто перешла от меня к ней.

За нашими спинами разговаривали солдаты, смеялись, и Гоша смеялся, визжал, как поросенок. Перед нами пронеслись деревеньки, полустанки, речки, озера, опушки, буераки. И меня наполняло ощущение нескончаемости жизни и нескончаемости Земли — словно она не шарик, который мечтал облететь Валерий Чкалов, а нечто беспредельное, как

вселенная. Это ощущение боролось с мыслью: нет, Земля мала, людям на ней тесно, однако лучше в тесноте, да не в обиде, чем истреблять друг друга, а истребиться человечеству проще пареной репы. И мысль росла быстрее ощущения, обгоняя его и подавляя.

Вообще мысли мои в это утро как-то скакали: от предчувствия счастья к носоглотке, от мещан к тому, чтобы сделать войну с японцами последней на планете, и затем снова к будничному — словно бы искупаться в речке или озере, если б поезд, остановился вблизи водоема.

Эта мысль явилась, когда я глядел на разворачивавшееся за насыпью лесное озеро: с трех сторон его окружали березы и сосны, с четвертой, у насыпи, камыш, вода в озере была зеленая, до того плотная, что ветерок не мог взрябить ее — деревья и камыш качались, а озеро было гладкое, по нему, будто по льду, скользили солнечные блики. Я представил себе: в трусиках вхожу в воду, и со мной входит, держась за мою руку, Нина в трусах и лифчике, — и мне стало жарко. Я покосился на нее. Плавным поворотом головы она провожала озеро.

Капризничая, затараторил Гоша, а потом засмеялся. Я спросил:

— Нина, а кто Гошин отец?

— Отец?

— Если неприятно, не отвечай, это я так...

— Неприятно? Да. Но я отвечу. Не считаю нужным скрывать как оно есть... Замуж я выскочила, именно выскочила, потому что плохо знала Виталия. Он старше меня на десять лет, военный летчик, капитан. Познакомились с ним на танцах в окружном Доме Красной Армии, и влюбилась, дурочка. Он сделал предложение, я согласилась. Любила его и почему-то боялась. На свадьбе для храбрости пила и потому ничего не помню, лишь наутро все поняла... Стали мы жить. Он служил в пригороде, приезжал ко мне часто. К себе не брал, объяснял: нет жилья. А через полгода до меня дошло, люди добрые расстарались: у него в пригороде жена. Не взвидя света я помчалась туда. Не ввали — законная жена. А со мной Виталий просто позабавился, хотя и оформил все честь по чести: в загсе регистрировались, дружок добыл ему в штабе чистое удостоверение личности, чтоб в загсе штампик поставили... Ну, что было? Ничего. С ума не сошла, не повесилась, не отравилась, под поезд не бросилась. Родила. И вот живу с ним, с Гошкой. Довольно банальная история...

— Нет, не банальная, — сказал я. — Этот мерзавец носит офицерские погоны! Да как же это так?

— Да вот так, — сказала Нина. — Выходит, разные они бывают, представители нашей армии.

Я не нашелся что ответить. Ах, мерзавец! Пока мы воевали, лили свою кровь, этот хлюст в тылу ходил на танцы, морочил мозги девчонкам, обманывал их как распоследняя сволочь. Попался бы он мне!

Было тоскливо, тошно. Словно меня самого обманули. Нина положила свою руку на мою и сказала:

— Все быльем поросло, Петя. Не жалея меня.

То, что она запросто положила руку, назвала по имени и на «ты», смутило меня, и я внезапно понял: мы ровесники, но она старше, и ее жизненный опыт в чем-то намного превосходит мой. Хотя бы потому, что у нее сын. А кто я? Мальчишка, голь перекатная, ветродуй.

Сорвавшаяся с сопки туча накрыла эшелон, и строчки дождя были как пулеметные строчки. Я притворил дверь. Ливень стучал по крыше, плясал на железе, словно загулявший мужик. В вагоне потемнело, зажгли «летучую мышь».

Покуда мы с Ниной разговаривали, солдаты уложили Гошу спать, и он пускал пузыри за плащ-палаткой. Нина поправила у него под головой подушку, сказала:

— Скоро матери нечего будет делать.

— Нехай,— сказал Симоненко.— Под дождичек парубок знатно выпится!

Дождь вскоре перестал, но Гоша, разметавшись, продолжал пускать слюни по-прежнему. Открыли дверь, и в вагон будто вкатилось солнце: засияло, заиграло на зеркале, оружии, пуговицах, орденах-медалях, ложках-кружках. Старшина Колбаковский провозгласил:

— Вёдро.

— А как вы догадались, товарищ старшина? — со скрытой ехидцей спросил Свиридов.

Колбаковский без слов ткнул рукой в сторону аккордеона, потом в сторону Свиридова, потом скрутил дулю. Кажется, было ясно, что имеет в виду старшина. Не так-то он прост, как представляется некоторым военным.

А мне представляется иное, отнюдь не связанное с Колбаковским. Словно на скамеечке в сквере — супружеская пара, старики, пенсионеры, на кончике носа очки, каждый углубился в газету. Затем он говорит: «В хронике происшествий сообщают: в Пензу забрел лось из леса, милиция ловила». Она говорит: «Надо же!» И опять каждый углубляется в газетный лист. А что, если этим стариком окажусь я? А кто старуха? Вот этого я не знаю.

В Красноярске эшелон простоял часа два. Воинских составов скопилось много, и солдат на перроне было, пожалуй, поболее, нежели гражданских. Чем дальше мы ехали, тем менее пышно встречали нас на вокзалах. Да это и понятно: люди попривыкли к нашим эшелонам, они к ним выходили, но уже без митингов, знамен и духовых оркестров, все стало будничней, без затей.

Оставив разоспавшегося Гошку на попечение дневального, Нина пошла со мной на вокзал. Один состав мы обогнули, через второй пробрались по тормозной площадке, пролезли под вагоном третьего и выбрались на перрон. Жара плавил асфальт, развороченный, как во фронтовом городе, на привокзальной площади удушающая воняла выхлопными газами, как при танковой атаке, листочки кустарника пожухли, как от пожара, цыганки, оборванные, как беженки, бродили толпой и приставали к солдатам: «Молодой, красивый, позолоти ручку, всю правду скажу...» И представьте, некоторые, смущаясь и краснея, гадали. Уж больно хочется человеку узнать свое будущее!

Когда в сорок первом я ехал на фронт, цыганки на станциях вот так же приставали к нам. Всем, кто подставлял ладонь, они пророчили долгую жизнь и полное счастье — разумеется, после осложнений, вызванных происками пиковой дамы и трефового короля. Ах, сколько их, гадавших, уцелело в июньских боях? Я тогда не стал гадать, хотя впоследствии иногда жалел об этом. Не стал гадать и сейчас, в Красноярске. Поживем — увидим. А цыганки, как и в сорок первом, предсказывали солдатам долголетие и счастье. Они добросовестно отработывали свой хлеб, похожие на беженок цыганки.

Нина и я ходили по своим надобностям, снова встретились, погуляли, выпили газировки, купили газеты, съели мороженого, в коем льда было больше, чем всего остального, и вернулись к эшелону. И тут я увидел комбата и Трушина. Капитан стоял к нам задом — обезображенного лица не видать, фигура рюмочкой, — а Трушин смотрел на нас с явной заинтересованностью. Они закончили разговор, комбат похромал к штабному вагону, Трушин направился ко мне.

«Влип,— подумал я.— Попал как кур во щи. Потому — потерял бдительность».

Трушин подошел и как ни в чем не бывало, простецки попросил закурить. Я вытащил папиросу, чиркнул спичкой по коробку. Прикуривая, Трушин пристально, из-под век, взглянул на меня. О, эти неожиданные пристальные, прострельные взгляды он уважал! Со вкусом затягиваясь, спросил:

— Как жизнь молодая, Глушков?

— Лучше всех.

— Цветем, значит?

— И пахнем.

Глупая, пустая перекидка словами. Надо — так спрашивай. И Трушин спросил:

— Кого-то из гражданских везешь?

— Везу.

— Женщину с ребенком?

Уже известно. Стукнули замполиту. От него не утаишься. Нужно идти напрямик. Я сказал:

— Так точно. Женщину с ребенком.

И пустился объяснять, что у Нины украли сумочку, что она комсомольский работник, что отец ее фронтовик, умер от ран и прочее. Трушин выслушал и спросил:

— Бескорыстная помощь? Видов на нее не имеешь?

— Никак нет.

И здесь Трушин удивил меня, сказав:

— Верю тебе. И хоть это не положено — вези до Читы.

Он говорил как-то рассеянно, и мне подумалось, что этот разговор не главный, он хочет сказать о чем-то ином, более существенном для него. Трушин сказал:

— Красивый город, красивая река. Красноярск — Красный Яр, микитишь? Краснолесье кругом, воздух смолой пропах. А над городом голубое марево, а Енисей-батюшка каков? Силища! Волге-матушке не уступит!

И опять я подумал: это тоже не главное сейчас для Трушина, он скажет о более существенном, чем речные батюшки и матушки. И Трушин сказал:

— Как считаешь, Петро: правильно, что мы не пошли в Западную Европу?

Я даже поперхнулся:

— Ты о чем, Федор?

— Да о том же... Меня один гвардии рядовой, разудалая головушка, вопрошает: почему мы не пошли в мае дальше на запад, чтоб занять всю Германию? Я ему говорю: договоренность с союзниками, каждый занимает что намечено. А он мне: зачем было договариваться, связывать себя по рукам и ногам, мы освободили Восточную Европу, надо было освободить и Западную, не отдавать ее империалистам!

— Так они ж наши союзники, — сказал я.

— И я ему об этом, гвардии рядовому! А он гнет свое: союзники союзниками, но они не перестали быть империалистами, вспомните, товарищ замполит, как они волынили со вторым фронтом, чтоб мы кровушкой побольше истекли...

— Было дело, — сказал я.

— То-то что было! Возражаю разудалой головушке, максималисту, а сам думаю: Англия, Америка и другие потому и примкнули к нам, что расчихали: без нас Гитлер сожрал бы их! Вот теперь и гадай на кофейной гуще: что они там, в своих зонах оккупации, разведут-расплодят? Империалисты! А фашизм — лишь крайняя форма империализма...

— Ты что же, осуждаешь или поддерживаешь того рядового?

— Осуждаю, осуждаю. Но не улавливаешь ли ты в его словах некой сермяжной правды? Не просчитались ли мы, что не пошли за демаркационную линию? Наша армия на сегодня сильнейшая в мире, против нее никто не устоит, с этим надо считаться.

— Слушай,— сказал я.— Туда нам нельзя было идти без риска столкнуться с союзниками. И они не рискнули идти на восток, хотя на-верное зуд у них был. Я даже слыхал, что американцы не хотели отходить за Эльбу, за разграничительную линию, наши их вынудили.

— Видишь, какие они,— сказал Трушин.

— Но не доводить же до столкновения, до войны с ними! Кстати, нацистские главари до последнего надеялись сшибить нас лбами. Не вышло! Надо сотрудничать, а не конфликтовать. Это — наша официальная установка, так ведь? Ты же знаешь, кто принимает решения такого масштаба. Политбюро, Иосиф Виссарионович — вот кто принимает! По-твоему, он ошибся?

Трушин переменялся в лице. А я твердо сказал:

— Иосиф Виссарионович принял разумное решение. Потому наша армия и не пошла за демаркационную линию.

— Мы не правомочны обсуждать действия Сталина,— тихо признает Трушин.— И давай забудем этот разговор. Я не говорил, ты не слышал.

— Согласен,— сказал я и подумал, что у крупных людей и ошибки крупные, но в данном случае все было правильно, я в этом убежден.

На Трушина было жалко смотреть: растерян, подавлен. Чтобы он подуспокоился, я предложил:

— Закурим?

Его пальцы, державшие папиросу, дрожали. Он затаился, выпустил из ноздрей дым. Я перевел разговор: когда еще будет баня в пути? Он ответил: у начальника эшелона нужно спросить. После папиросы Трушин малость успокоился. Я сказал:

— Поедем в нашей теплушке? Давно ты не ехал с нами.

— Поеду. Давай еще по одной выкурим...

С американцами и англичанами мы пока воевать не будем. Если они нас не заденут. Не должны бы: все-таки сюзники по антигитлеровской коалиции. Ну, а с японцами воевать наверняка. Настолько наверняка, что верней не бывает. Какая она будет, эта война? Большая или малая? Длительная или короткая? Хочется, чтоб была малой, короткой. Правда, и на такой могут убить. Обидно будет: уцелев на большой войне, погибнуть на малой. В этой гибели будет, пожалуй, особый трагизм.

В теплушке Трушин первым делом познакомился с Гошей, а затем уже с Ниной. Пацаненок, пообтершийся в воинской среде, не дичился, разглядывал трушинскую щербатинку, дал себя погладить по голове, потрогал пальцем гвардейский значок. Нина была озабочена и напугана, узнавши, что перед ней замполит; наверное, в ее представлении это был ба-альшой начальник, а для меня не очень: я сам командир роты. Поэтому я посвистывал и хлопал Трушина по плечу: мол, знакомься, знакомься, чего там.

Глядя мальчишку, Трушин ласково улыбался; пожимая руку Нине, ухмылялся. Но и ухмылка у него была добродушная, в сущности, он незлой, хороший человек. Конечно, не без недостатков. А кто без них? Быть может, лейтенант Глушков? И смел он, Федор Трушин, честен до ортодоксальности, до конца предан партии. Да, мы с ним коммунисты, мы с ним русские люди, нам вместе еще одну войну ломить — это что-нибудь да значит. Гоша восседал на колене у Трушина, тот его подбрасывал, будто он на лошади едет: «Н-но!»

Надо сказать, что Гоша скоренько к этому привык — сидеть на солдатских коленях. Он у Трушина устроился без лишних слов, а от него перекочевал на мои колени. Я тоже дрыгал ногами, чмокал губами: «Н-но, лошадка», обнимал его за плечи и чувствовал под рубашкой худенькое, слабое, доверчивое тело, и меня подмывало поцеловать Гошку.

Накоротке возникло ощущение: это мой сын, а Нина моя жена, — и ушло, когда я припомнил: и Эрна виделась моей женой. Нет, ничего этого не будет, и у мальчика есть отец с красиво-сусальным именем Виталий, и физиономией он, наверное, смазлив, сукин сын с капитанскими погонами. Мерзавец, каковых в стародавние времена вызывали на дуэль, нынче — отделяются вызовом на парткомиссию.

До того стало муторно, что захотелось выпить, точнее — напиться. И я бы позычил у старшины спиртного, если б не присутствие Трушина и отчасти Нины. К тому же я давал себе обещание не пить, слово, как известно, не воробей. Ладно, не буду напиваться, блюдем сухой закон.

А потом завязался разговор, вызвавший одобрение замполита, и он похвалил парторга Симоненко, комсорга и меня как командира подразделения. За что? За целенаправленную политико-массовую работу в роте. Не уверен, что наша троица так уж направляла эту работу, но разговор, точно, сложился нужный. Не помню, кто его затеял, — я прислушался, когда он уже был в разгаре:

Говорил Микола Симоненко:

— Хлопцы, дюже справедливо толкуете: у нас с самураями счеты-пересчеты издавна. Они издавна зарились на наши земли. В гражданскую войну хотели оттягать Дальний Восток и Забайкалье, да не вышло: Красная Армия вышибла их!

Его перебил ефрейтор Свиридов:

— А чего они вытворяли, товарищ парторг! На Дальнем Востоке да в Сибири! Вот я сибиряк и могу попомнить рассказы свидетелей, старикашек...

— Не старикашек, а стариков, — поправил Симоненко.

— Стариков! — отмахнулся Свиридов. — Не в этом соль... А уж коли о соли помянул, то слушайте: японцы сыпали ее на раны красноармейцам, которые в плен попали. А то еще вырезали звезды на лбу, на груди. А еще насильничали наших женщин прямо на народе... У, псы!

— Филиппок Головастиков то же сказывал, — внес свою лепту Логачев. — У него родные дядья сложили головушки в боях с японцами. В гражданскую.

— А я вот что вычитал, — сказал Вадик Нестеров, тушуясь от всеобщего внимания. — Из книги... Японцы сожгли в паровозной топке Сергея Лазо!

— Сколько героев сгубили японцы! — сказала Нина. — И белобандиты атамана Семенова. И американцы. Сколько братских могил в одном Забайкалье! У меня отец юношей партизанил, многое порассказал... Японским и американским интервентам вовек не отмыть свои лапы от крови!

— Американцев не будем касаться, — сказал Симоненко, направляя разговор в нужное русло. — На текущий момент о японцах речь.

— Ну, что японцы? — сказал старшина Колбаковский. — С ними ясно. Вся Отечественную продержали на наших дальневосточных границах Квантунскую армию. А в ней миллион, не меньше. Выбирали час, чтобы вдарить с востока. Да мы смешали ихние планы, раздолбали Гитлера...

Вмешался Трушин, не выдержал:

— Простите, товарищ старшина, что перебиваю. Но хочу сказать попутно: и мы были вынуждены держать крупные войска на Дальнем

Востоке, противостоять Квантунской армии. А как они были нам необходимы под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, под Харьковом или Курском!

— Ваша истина, товарищ гвардии старший лейтенант, — сказал Колбаковский. — Добавлю: всю Отечественную япошки устраивали провокации на границе, помотали нам нервы. А возьмите события пораньше, на Хасане и Халхин-Голе. Это тридцать восьмой год, тридцать девятый. Лезли на нас и получили по морде. Самураи! Банзай! Однако и нам это стоило жертв... Я считаю: Отечественная война берет начало с Хасана. А потом пошло цепью: Халхин-Гол, финская, сорок первый — сорок пятый, теперь вот сражаться с Квантунской армией...

— И это будет последнее звено в цепи, — вновь вмешался Трушин. — Разобьем Квантунскую армию, освободим Китай, Корею и прочие страны, оккупированные японскими милитаристами, и завершим войны! Последний, решающий рывок, товарищи! Разгромим ненавистных самураев!

Трушин так и шпарил открытым текстом про вероятного противника. Какой там вероятный, когда в точности обозначен: самураи. Трушин закончил зажигательно, это он умеет. Увы, лично у меня особой ненависти не было. Но воевать надо. Стало быть, будем воевать. Как велит долг. В этом можете не сомневаться, товарищ заместитель командира батальона по политической части, товарищ гвардии старший лейтенант.

В почти четырехлетней войне с гитлеровцами было то, что я назвал бы кровообращением дивизий, армий, фронтов. Подразумеваю следующее: тебя ранили, эвакуировали в тыл, из госпиталя ты далеко не всегда попадал в свою дивизию, даже в свою армию, бывало — вообще попадал на другой фронт. В этом смысле мне, домоседу, везло: несмотря на госпитальные отлучки, войну я провел на одном фронте — Западном, впоследствии ставшем 3-м Белорусским. Армии, естественно, менялись, тем паче дивизии. В последние месяцы войны на западе наша дивизия входила в состав 39-армии. После Кенигсберга эта армия, по слухам, целиком перебрасывается на Дальний Восток. Следовательно, такова моя воинская судьба — пройти еще одну войну. Только и всего — повороты воинской судьбы. Так же, товарищ гвардии старший лейтенант?

Ночью я проснулся с мыслью: на новой войне убьют, и я, мало что взявший от жизни, ничего не получу больше. В вагоне было тихо, все спали, включая дневального. Среди сопения и храпа мне почудилось легкое дыхание Нины. Милая, симпатичная, привлекательная женщина. Совсем близко от меня. Я ведь тоже молод, полна грудь орденов и медалей. А? Почему бы не спуститься к ней за плащ-палатку?

Подгоняя себя, я слез с верхних нар и, сторожко оглядываясь, отвел плащ-палатку. Гошка лежал у стенки, Нина рядышком, свернулась калачом, волосы рассыпаны. Наклонившись, я обнял ее, поцеловал в губы. Она повернулась, увидела меня, шепнула: «Уходи» — и отвела мою руку. Не отталкивала, не ругалась. И ее шепот и та мягкость, с какой она отстранила меня, сразу подействовали. Трезвея, я сказал:

— Спи, спи.

И полез наверх. Укладываясь, увидел: ординарец Драчев, не разлепляя век, во сне поднял голову и уронил. Миша Драчев не одобрял меня, когда я хаживал к Эрне, а теперь что волнует? Спи и ты, Миша, не переживай, приятных тебе сновидений. Я также вздремну. Ничего худого не случилось. И не случится. Не убьют меня, черта им лысого! Я еще покопчу белый свет!

Утром мне не было стыдно перед Ниной. Да и она вела себя так, будто не было ночного визита. Да что визит? Ерунда. Чем он кончился? Нам нечего стыдиться, право. Тем более подобное не повторится, оно

лишнее. Надо ехать, следить за порядком в роте, заботиться о подчиненных и готовить себя и их к войне. Словом, не отвлекаться.

И мы ехали — километр за километром — на восток. Ели, спали, вылезали на остановки. Никто не напивался. Если отставали от эшелона, нагоняли на пассажирских. Воровства больше не было — то ли Трушин припугнул, то ли еще что. Чтобы не сглазить, скажу: пока не было. Проводили политинформации, занятия по уставам и матчасти оружия (солдаты клевали носами, да и сам я клевал). На досуге забавлялись с Гошей, играли в шахматы и домино, читали журналы и книги, слушали великого исполнителя заслуженного артиста ефрейтора Егоршу Свиридова. Он выклянчил-таки у старшины аккордеон, соскучившись рвал меха. Репертуар начал с новинки: «Где же ты теперь, моя Татьяна... тир-лим, тир-лим, тир-лим...» — танго, патока и мед, слюни про то, как «встретились мы в баре ресторана», про «дни золотые», которым наступил капут, и про прочие пироги. Замполит Трушин, проходивший по перрону, однако, обрезал заслуженного артиста:

— Свиридов! Чтоб я не слыхал эту «Татьяну»! Репертуар белоэмигранта Лещенко! Идеино вредная вещь!

— Учту, товарищ гвардии старший лейтенант, — пробормотал озадаченно заслуженный артист. — У меня другие в запасе.

И нажаривал знакомое, испытанное, не белогвардейское, которое к идеино вредным уже не причислишь, — «На карнавале музыка и танцы», «Мы с тобой случайно в жизни встретились», «Мой милый друг, к чему все объяснения», «Орхидеи в лунном свете», «Брызги шампанского».

С Ниной я говорил мало. Чаще смотрел на нее. И чем больше смотрел, тем сильнее хотелось смотреть. Думал: «Скоро она слезет. В Чите. Промелькнет в моей жизни, как мелькали, не задерживаясь, сотни солдат, офицеров, местных жителей и считанные женщины, какой-то непрерывный поток. А как хочется, чтобы рядом постоянно, всегда-всегда находились твои друзья, твоя женщина, твои дети. Устал я от мельтешения лиц, характеров и судеб. Честное слово, устал».

24

Году этак в семидесятом, через четверть века после войны, мы будем с женой отдыхать в Крыму. Загорать, купаться, гонять теннисный мяч, есть фрукты и пить вино. И однажды, гуляючи по берегу, выйдем к одинокой воинской могиле. В ней будет лежать не он, а она. Девушка-партизанка. Тогда, при казни, ей было двадцать, она сверстница Нины и моей жены, она была комсомолка, как и они. В этой могиле, при иной судьбе, могла лежать Нина, могла лежать моя жена. Но лежит неизвестная мне девушка, партизанская разведчица, расстрелянная карателями в сорок втором году. Сколько лет и ветров прошумело над могилой!

Мы стояли с женой у ограды, смотрели на обелиск, а теплый предвечерний воздух разрывали музыка, смех, шутки жизнерадостных курортников. И мне померещилось, что той, покоящейся в земле, хочется сказать счастливой, беспечной, легкомысленной толпе: «Если можно, будьте немного тише. Чтобы я могла услышать морской прибой...»

В Иркутске я вспомнил, что Свиридов так и не попросился в отпуск. Я к нему: в чем дело? Он объяснил: жил не в Иркутске, а в Братске, это еще пилать да пилать на север, и отпуска не хватит, но не в этом соль, соль в том, что он детдомовец, из Братска давно умотал, и

никого там нету, к кому звала б душа. Он так и сказал: «Звала б душа»,— и глаза у него стали грустные. Вот не ведал, что они у Егорши Свиридова могут быть такими.

Неразговорчивый Рахматуллаев, слыша нашу беседу, не удержался, сказал:

— Вах, если б это была моя родина, пешком пошел бы, пополз бы. Чтоб хоть издали увидеть Узбекистан...

В Иркутске нас нагнал Головастиков. Он сошел с пассажирского поезда, свежевыбритый, с чистым подворотничком, в надраенных сапогах, трезвый, как стеклышко, и хмурый, как осеннее небо. В одной руке он нес битком набитый вещевой мешок, в другой — бутылку водки. Солдаты встретили его дурашливыми криками «ура». Толя Кулагин спросил:

— Досрочно обернулся?

— Управился,— сказал Головастиков, камня лицом.— Много ль надо, чтоб сполнить свои делишки?

Я присматривался к нему напряженно. Во что вылилась его поездка? Не учинил ли чего с неверной женой, черт бы их съел, этих неверных жен. Буду ждать, не подавая виду, что тревожусь. Головастиков кинул пятерню к пилотке:

— Товарищ лейтенант! Разрешите доложить? Рядовой Головастиков прибыл в расположение.

Я козырнул ответно, подал руку. Головастиков сжал ее. Потом сунул мне бутылку:

— Вам подарочек, товарищ лейтенант. За то, что уважили, отпустили...

Нашел что дарить. Я отрицательно покачал головой:

— Благодарю, но...

— Уважьте, товарищ лейтенант. От души.

— Спасибо, Головастиков. Но не пью. Завязал. Выпейте уж лучше сами с товарищами, всем понемногу.

— Не. Я тож завязал. Будь она проклята, окаянная. Тож не пью больше.

— Давай сюда,— сказал Колбаковский.— Мы ей найдем применение.

Толя Кулагин блеснул разномастными глазами:

— Товарищ старшина, меня не обделите!

— Разберемся без подсказок, сами грамотные. Но гарантирую: коллективной пьянки не будет.

— А индивидуальная? — не отставал Кулагин.

Старшина зыркнул на него, сухо произнес:

— Товарищ Кулагин, я б на твоем месте не претендовал. Потому у тебя здоровье не позволяет, подорвано в плену. Ты что, враг своему здоровью?

— Об моем здоровье не печалуйтесь,— сказал Кулагин.— И плен не пристегивайте.

Головастиков распатронил вещмешок, стал угощать Гошу, меня, солдат. Свиридов стонал от восторга:

— Гляди-ко! Шаньги! Шанежки! Шанечки! Гляди-ко! И клюква! И медвежatina!

Нину Головастиков не угощал, за него это сделал Колбаковский. Все жевали, хвалили. Кулагин брякнул:

— Небось жинка собирала?

— Кто ж еще? — Головастиков скрипнул зубами.— Не убил я ее, курву. А ведь дело прошлое, товарищ лейтенант, ехал-то я, чтоб прирезать...— Головастиков начал громоздить этажи мата, но, покосившись на Нину и на меня, спохватился.— Мысля была одна: зарезать! У меня

трофейная финочка, наточенная, лезвие — четыре пальца, аккуратно до сердца достанет...

Я аж похолодел. Значит, это все могло быть. Значит, и Головастики и я были на волосок от трибунала? Ну и ну! Неужели пронесло? Слава тебе, господи. Если ты есть.

— Я все прикидывал, все прикидывал. И в теплушке, и в трамвае уже. Как войду в дом, как скажу: «Молись, курва» — и финочкой ее, финочкой...

Солдаты притихли, перестали жевать. Нина с испугом смотрела на Головастика. Я подумал, что зря он это выкладывает, но прерывать не буду. В конце концов, пускай выговорится, быть может — полегчает.

Головастики больше не матерился, однако ни разу он не назвал жену по имени, только — «моя курва».

— Ну, вошел я в комнату, она мне на грудь, курва... Нечайком обнял, учуял ее тело. И не поднялась рука. Опосля легли с ней, она у меня сладкая, курва-то моя. Льет слезы, причитает, кается, а я злюсь, что раскис перед бабой... Ну, пожил я денек и чую: не могу. И быть с ней не могу, и зарезать не могу. На рассвете собрался, она гостинцы соорудила. С тем и отбыл... — Головастик скрипнул зубами так, что у меня мороз пробежал по коже. — Опосля войны не возвращусь к ней. Потому все-таки зарезу, ежели будет рядом. Через неделю, через месяц, через год, а зарезу. Потому не прощу. Я ведь, знаете, через что с моей курвой спознался? Спас ее от хулиганов, вечером в парке пристали, хотели снасильничать. Я услышал крик, напролом в кусты, раскидал шпану, ну и мне досталось, плечо ножом раскровенили. Встречаться мы зачали с ней, обженились... Спрашивается в задаче: надо было спасать ее от снасильников, чтоб она опосля снюхивалась с кем ни попадя? Э, все это пустой разговор, лягу-ка я сыпануть...

Он лег на нары, укрылся с головой шинелью. Это в жару-то. Никто его не стал утешать, да и меж собой солдаты, словно по уговору, не касались рассказанного Головастиком. Видимо, в этом был немалый такт: почувствовали глубину чужой беды, которую лучше покуда не бередить скоропалительными выводами, дежурными утешениями и советами.

Состав не отправлялся. На запад уходили пассажирские поезда и на восток, на запад шли товарняки с каменным углем, с лесом, на восток — воинские эшелоны. А наш стоял, будто железнодорожное ведомство забыло о нем. Иркутск утопал в зелени и пыли. Сквозь тополевы купавы проглядывали купол собора, купеческие особняки, стеклобетонные сооружения тридцатых годов и деревянные бараки позднейшей формации. Мостовые были не замощены, деревянные тротуары полусгнили. Ну, это не центр, в центре должны быть камень и асфальт. Проехавшие повозки взбили тучу пыли, темно-бурой, хрусткой на зубах, позывавшей на чих. И мы чихали, и чихал пьяненький слепой, колобродивший возле погрузочно-разгрузочной площадки. Было жаль его: шатается, куда идет — не видит, натывается на забор. Я подошел, ухватил его за локоть, вывел на улицу. Одегый в списанное, выцветшее хлопчатобумажное — чебе — обмундирование, в стоптанных сапогах гармошкой, он зиял слизисто-красными глазницами, лез целоваться, бубнил:

— Браток, я танкист, сгорел под Белгородом, а ты кто? Давай выпьем!

Затем отпустил меня и зашагал по улице шатающейся, неосмысленной походкой пьяного. Пьяный слепой. Это было больно видеть.

На привокзальной толкучке я купил Гоше игрушку — резинового чертика; надув его, выпускаешь воздух, и чертик пищит: «Уйди! Уйди!» Поднатужился и выторговал Нине омуля. Он тут был и жареный, и коп-

ченный, и вареный, и соленый, с душиком и без. Я выбрал копченный, на прочее великолепие деньжат не наскреблось.

Нина обрадовалась омулю и здесь же стала делить его на всех. Представляете, рыбешку на тридцать с лишним гавриков! И Гоша обрадовался подарку. С ходу овладев технологией, он без устали надувал чертика — «Уйди! Уйди!» — замороженно прислушивался. Пока чертик не лопнул: Гоша перестарался, надувая. Что тут было! Море слез, океан горя. А я не очень переношу детские слезы. Клял себя: купил бы попрактичней игрушку, остолоп! Колбаковский подарил Гоше фонарик, и мужик утихомирился. Но до этого слез вылил море не море, а ведро — это точно.

Мы съели омуля, лопнул чертик, опробован подарочный фонарик, а эшелон все не отправлялся. Я снова вылез из вагона, пошел на базарчик, хотя делать там мне было абсолютно нечего. Побродил по рядам и наткнулся на Райку. Батальонная повариха, перетянутая в талии, сияя медалью «За боевые заслуги», одинокая, гордая, величественная, плыла по толкучке, словно мстя своим одиночеством, гордостью и величественностью всем этим невоевавшим теткам и воевавшим мужикам, которые на фронте надоедали ей своей любовью, а теперь отвернулись, кобели. Не знаю отчего, но я побоялся встретиться с Райкой, отвернул в сторону. Хотя мне-то что?

Болтаясь по толкучке, прозевал отправление. На станции разногосица паровозных гудков, и я не уловил своего. Случайно оглянулся: эшелон идет, выстукивают последние вагоны. Я чесанул, догнал, меня за руки втащили к себе связисты. Еле отдышался. Отставать командиру роты не к лицу.

Состав вскоре остановился, и я перебежал в свою теплушку. Нина сказала с укоризной:

— Разве можно так, Петя?

— А что?

— Как что? Поезд пошел, а тебя нет. Я всякое подумала.

— Ну...

— Не хочу без тебя оставаться.

— Без моего попечительства?

— Да.

— Ну, не буду отставать, слово офицера!

Пустячный разговор, а мне стало приятно. Значит, немного ей нужен. И на том спасибо.

Эшелон шел левым берегом Ангары, встречу течению. Оно было стремительное, у порогов вода закипала, пенилась. Колбаковский не преминул выложить: в Байкал впадает триста речек, а вытекает одна, Ангара. Яша Востриков засомневался:

— Триста? А не сто? Я вроде где-то читал...

— А может, и сто,— согласился Колбаковский.— Вон у Свиридова спытай, он родом здешний.

— Говоря по-французски, хрен его знает,— сказал Свиридов.— Меня это как-то не интересовало вплотную.

Справа над железнодорожным полотном нависали скальные глыбы, слева оно подчас шло впритык с Ангарой. Так было и с Байкалом: справа угрожающие скалы, слева, в нескольких метрах, голубая прозрачная вода. Эшелон и остановился перед семафором как раз в таком месте — Байкал рядом. Братва с гоготом и улюлюканьем выскочила из теплушек: есть шанс искупаться. Наиболее ретивые подбежали к воде, сбросили обмундирование, в трусах и подштанниках полезли — и выскочили как ошпаренные: озеро оказалось студеное. Я усмехнулся, вспомнил, как фантазировалось: войдем с Ниной в воду, она будет в трусиках и лифчике и будет опираться на мою руку. Опять усмехнулся. Нина даже

не сошла на землю, стояла с Гошкой у кругляка, смотрела на меня. Я нарвал букетик каких-то красных цветов, похожих на маленькие лилии, преподнес Нине. Она сказала:

— Чудесные саранки! Спасибо, Петя.

Я встал возле нее, и мы начали смотреть сверху на берег, где копошились солдаты. на расстилавшееся на многие километры озеро, стиснутое лесистыми берегами, на дымчатый горизонт. В разгар нашего созерцания Гошка сказал:

— Мама, хочу а-а.

Я остался у кругляша один. И вдруг сознание одиночества пронзило меня, как недавно пронзило предчувствие счастья. Да, я одинок, очень одинок, хотя и кручусь среди множества людей. Это нелегко. Но когда-нибудь это кончится. После войны, когда наступит мир и жизнь потечет по мирным законам. Ну, вот и успокоил себя. Уже потом до меня дошло: в этом что-то комичное — Гошкино «хочу а-а» и следом вселенские страдания по поводу моего одиночества.

Паровозный гудок развеял глубокомысленные рассуждения лейтенанта Глушкова и всколыхнул незадачливых купальщиков на бережке. Спешно натягивая штаны и сапоги, солдатуськи рванули к эшелону. А машинист — видать, дядька озорной — нарочно еще сигналил, гудок за гудком, подбавляя паники.

Берег обезлюдел. Ленивая накатывала волна, у песчаной кромки переворачивала выдрванное с корнем дерево. Чайки, всамделишные, морские, падали к воде, выхватывали серебристо сверкающую рыбу. Вдали белел косой парус. Старшина Колбаковский сказал:

— Товарищи хлопцы, споем про Байкал? Эту — «Славное море, священный Байкал...». Кхм! Голосу нету. Свиридов, запевай!

— Слов не помню, товарищ старшина.

— Тю! Местный — и не помнишь слов?

— Зато он все танги знает, — сказал Кулагин, подначивая.

Свиридов высокомерно вздернул брови, поглядел на Кулагина, как бы говоря: и ты туда же, рак с клешней? Колбаковский сказал:

— Товарищи хлопцы, когда поезд проезжает мимо Байкала, всегда эту песню играют. Поедем по Забайкалью — непременно сыграем «По диким степям Забайкалья...». Ежели не проспим. А сейчас — приготовились, начали, три-четыре...

Колбаковский запевал, путая, перевирая слова, остальные подтягивали не весьма уверенно. Молчун Погосян высказался:

— Замечательная песня! У нас в Армении, под Ереваном, есть свое озеро, очень похожее на Байкал. Севан! Поменьше, конечно...

— Я где-то читал, что Байкал — самое глубоководное озеро в мире, — сказал Яша Востриков.

Свиридов и на них — Погосяна и Вострикова — глянул надменно, через губу обронил:

— Промежду прочим, доподлинные сибиряки ни в жисть не скажут про Байкал «озеро», скажут — «море». Он и есть море!

— Мы ж не сибиряки, — пробормотал уязвленный Востриков.

Байкал не хотел нас покидать. Он то мелькал сквозь деревья, то открывался песчаным, пляжным скосом и все менял цвета: голубой, синий, зеленый — будто поворачивался к нам разными гранями. И еще: в одном месте, в бухте, он был тихий, зеркальный, а в другом месте, за мыском, уже ходили волны, пенились барашки. Эшелон приближался к нему и отдалялся, нырял в тоннели и вырывался на свет, паровоз радостно, по-оленьи трубил.

На прибайкальских станциях все больше было чалдонов и бурят, и Колбаковский посулил:

— Поедем по Бурятии — сплошняком будут буряты.

Свиридов не сморгнув сказал:

— А я предполагал, в Бурятии сплошняком будут итальянцы.

— Почему итальянцы? — спросил Колбаковский и понял: Свиридов ехидничает. Старшина показал ему кулачище, но большего сделать не в состоянии, ибо аккордеон находился в руках у Свиридова. Не отнимать же принародно.

Трубят паровоз, стелет над составом дымную гриву. И проносятся бесчисленные и безвестные речки и села, леса и поля, горы и равнины. Огромные пространства преодолел эшелон, и огромные пространства лежат впереди. На все четыре стороны немеренные просторы. И мне подумалось, что на этих великих просторах должны родиться великие люди. И они рождались, украшая собой и прославляя своими деяниями родину. Их в нашей стране немало. Но еще больше простых смертных. Впрочем, что это обозначает — простые смертные? Не приемлю этого понятия. Все люди смертны, и все люди сложны. Но есть, разумеется, выдающиеся и есть обычные. Обычные — если каждый порознь. А все вместе — народ, великий народ. Включая, само собой, и выдающихся. Короче: великая страна — великий народ. Горжусь, что принадлежу к такому народу.

И опять пронеслись сопки в сосняке, распадки, где прыгал с камня на камень бурливый поток, лесопилки, огороды на песках — картошечка на них первый сорт, — молочнотоварная ферма и одинокая береза на бугре, словно отбежавшая от своих подруг, — с зеленым платком на белых плечах. И Свиридов, будто угадав мои мысли насчет платка, заиграл «Синий платочек». Который падал с опущенных девичьих плеч. Спасибо, не пел. Только наигрывал. Что в этом мотивчике? А я слышу, как его поет любившая меня женщина, и словно я уже иду по институтскому коридору, остриженный под нулевку и оттого лопоухий. А потом был старшина Вознюк, была его сестра намного старше меня, был эшелон из Лиды на фронт и была вся война. Да, я прошел всю войну. И снова смогу пройти? Наверное. Если надо.

День складывался удачно, без происшествий. И вдруг в Улан-Удэ случилось чепе, точнее — едва не случилось. Переволновался я здорово.

Вокзал в Улан-Удэ небольшой, а перрон — футбольное поле, гуляй — не хочу. Мы с Ниной и Гошей прогуливались по этому перрону, не торопились — эшелон на первом пути, рядышком, без паровоза, — лузгали семечки, которыми нас угостил Миша Драчев, и беседовали втроем. Вернее, я спрашивал Гошу, он отвечал не мне, а матери, и она уже говорила мне. Примерно так: «Гоша, хочешь карамельку?» — «Мам, а он как думает? Конечно, хочу». — «Георгий не возражает против карамельки». Мы с Ниной смеялись, парень был пасмурен, суров — не выспался.

Прошли перрон из конца в конец и тут увидели толпу, выплеснувшуюся с площади. Возбужденные крики, брань, военный патруль, милиция. Я оставил Нину с Гошей, раздвинул толпу и ахнул: в центре ее были Свиридов, Логачев и верзила в штатском с закрученными назад руками, верзилу охраняли милиционеры, Свиридовым и Логачевым занимались патрульные.

Я крикнул:

— Свиридов, что стряслось?

Он не услышал. Обернулся Логачев, махнул рукой: мол, чего спрашивать, лейтенант? Стоявший позади меня пожилой кривоногий бурят сказал:

— Ты начальник? Шибко подрались.

Железнодорожник-усач сказал:

— Задерживали они его, ну и схлестнулись...

Кто кого задерживал? И зачем? Что схлестнулись — вижу: на фиях кровоподтеки, гимнастерки порваны, запачканы. Верзила тоже помят.

Толпа поперла к комендатуре, и я туда. Подбежал бледный, злой Трушин, заорал мне в ухо:

— Драку заварили! Позор! А ты, раздолбай, прогуливаешься с дамочками!

— Да не шуми ты! Сам раздолбай! Пойдем к коменданту разберемся.

— Поздно разбираться! Распустил личный состав!

Но прежде чем разобрались, я бегал за комбатом, вместе бегали к дежурному по вокзалу, к диспетчеру, к начальнику станции, к военному коменданту — чтоб эшелон задержали до выяснения обстоятельств происшествия. А выяснили довольно быстро. И вот что. По площади бежал уголовник-рецидивист, за ним гнался милиционер. Услыхав крики: «Держи, держи!» — Свиридов бросился наперерез преступнику, тот взмахнул ножом, но Свиридов дал ему подножку. Преступник сразу вскочил, накинулся на Свиридова, однако подоспел Логачев и выбил нож. Дальше шла рукопашная в чистом виде, без оружия.

В итоге железнодорожный комендант приказал отправлять эшелон, комбат объявил благодарность Свиридову и Логачеву, а Трушин сказал мне:

— Радуйся, ротный! Порядок! Здорово все разрешилось!

— Здорово-то здорово, но тебе бы не грех извиниться.

— Перед кем это?

— Передо мной, например. Наорал с бухты-баракты...

— Еще чего — извиняться! Да ты кто — солдат либо кисейная барышня?

Пришлось признать, что я солдат, а не барышня. Ну что за спрос с него, с Федьки Трушина? Так уж он устроен. Не помру без извинений.

Нина зашивала гимнастерки Свиридову и Логачеву. Старшина Колбаковский бурчал:

— Герои! Лезут на рожон не гляючи, казенное имущество портят. Будете требовать новое? Вынь да положь? Но где оно у меня, где склады?

А я думал: ведь и Свиридов мог погибнуть от бандитского ножа, и Логачев. Не струсил ребята, пошли на риск. Вот уж нелепо было бы, оставшись в живых на фронте, погибнуть так в тылу. Смелые ребята. Молодцы!

Солдаты одобряли поступок Свиридова и Логачева, но как-то шутейно, со смешком: дескать, с уткой связались. Нина, орудуя иглой, рассказывала, что в Новосибирске, Иркутске, Чите и других сибирских городах есть банды «Черной кошки», которые грабят и убивают, вообще за войну бандитни поразвелось. Я не очень верил в эти «Черные кошки», но что после войны придется бороться и с беспризорностью, и с воровством, и с бандитизмом — это факт. Одной победы мало, чтобы они исчезли.

А затем я стал размышлять о смелости. На фронте смелость вызревала постепенно. У меня, к примеру, она прошла три этапа. Первый этап — трусил, и это прорывалось. Второй — показная храбрость, покрасоваться любил. Третий — разумная осторожность, берег себя, но не по трусости, тут был разумный, взвешенный риск. Правда, не всегда представлялась возможность быть разумно храбрым, приходилось бывать и безрассудно храбрым. Смотря по обстоятельствам. И Свиридов с Логачевым действовали по обстоятельствам. Главное — не струсил. Молодцы, фронтовики!

Мы проезжали Забайкальем, но старшина Колбаковский что-то не затягивал «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...». Он не спал, философствовал:

— Чем путь-дорога хороша? Отоспишься, отъешься, передохнешь. Чем путь-дорога плоха? Писем не получаем! На месте, понятно, всё получим, гамузом. Но сейчас-то, сейчас какво без писем? Невмоготу! Кто возражает?

Возражавших не было. Даже и те не возражали, кому писем неоткуда было получать. Вроде меня.

На станции Петровский завод (город именовался Петровск-Забайкальский) Нина сообщила мне: сюда на каторгу были сосланы декабристы. Нина рассказала, что на кладбище есть их могилы, а в городе — домик княгини Волконской, в нем она останавливалась, когда приезжала к мужу. Из Петербурга ехала. Через всю страну. На перекладных. Кладбище было на сопке, а напротив, на той стороне железной дороги, дышал внизу жаром, дымил, сверкал огнями металлургический завод — соседство двух эпох.

— Декабристы были и в Чите, — сказала Нина. — Там есть часовня декабристов, площадь названа их именем. Какой отваги и благородства были люди!

Я кивнул и подумал, что подвиг декабристов изумителен, этих дворян, поднявшихся за народ. И вот теперь, много лет спустя, народ, за который они шли на эшафот и каторгу, стал хозяином своей страны и показал всему миру, как нужно отстаивать свободу и справедливость. Помню по портретам — мужественные, породистые лица, пронизательные глаза, глядящие куда-то вдаль. Что они там видели, декабристы?

Эшелон мчал по Читинской области. Из сумрака смутно выступали очертания сопок, разъезды и полустанки швыряли навстречу россыпи огоньков. Перед тем как лечь спать, я обошел нары, пригляделся к спящим. Лица их не были породисты, аристократичны, но от этого они были не менее притягательны. Я смотрел на них и сознавал: это лик народа, не умирающего, вечного. Я связан с ними так же, как и они со мной. Возникшее было чувство разобщенности, отчуждения я должен перебороть. С этими людьми мне жить, воевать и, если выпадет, умереть. Это среди них, с их простецкими, а то и некрасивыми чертами, были и капитан Гастелло, и Александр Матросов, и Юрий Смирнов, и Иван Кожедуб, и Олег Кошевой, все большие и малые герои только что отгремевшей войны. И кто может предугадать, что падет на их долю в новой войне, на которую они едут вместе со мной?

Мне не спалось. Вспоминал о расстрелянной в Ростове маме и о погибшем в Смоленске лейтенанте Сырцове, думал о Гошке, который разговаривал во сне — впечатлительный, чертенок, — и о бледной, худенькой, в рванье девчушке, махавшей нам, когда эшелон шел по Белоруссии. Оттесняя другие, росла и крепла мысль: ладно, мы отвоюем, отмучимся, но дети-то должны жить не ведая войн. Неужели на планете не настанет мир? За что же тогда мы воевали? Нет, мир будет! Для всех на земле. Дети, вы еще скажете нам спасибо.

Первый день мира!

Кенигсберг горел. Над городом вставали, переплетались дымные столбы, самый большой в центре, подле Королевского замка. Мы с ординарцем Драчевым прошли по развороченной бомбами улице, на зубчатых башнях, на балконах, на флюгерах стреляли на влажном апрельском ветру красные флаги и флажки победы, а на закопченных, поклеванных осколками стенах сохранившихся домов — масляная краска: «Wir kapitulieren nie!» Врете, капитулировали. Четыре дня подолбала вас на-

ша артиллерия и авиация, затем штурманула пехота с танками — и сдались как миленькие.

А ведь немцы считали этот город-крепость неприступным. Мне Эрна рассказывала, как доктор Геббельс (доктор, а?) выступал по радио: Кенигсберг никогда не встанет на колени! Ему вторил гаулейтер Кох: Пруссия — это железные ворота Германии, и они не откроются перед русскими! Что-что, а трещать по радио и в газетах гитлеровские заправки умели, демагоги и заклинатели. Но слова — это одно, дела — другое. Кенигсберг пал под нашими ударами. Иначе и быть не могло.

Некогда было шататься по городу, заходить в дома. Но в один мы с Драчевым все-таки зашли. На предмет выпивона.

Дом был в глубине двора, увитый декоративным кустарником, будто замаскировался. Дверь сорвана, окна высажены. Хозяев не было. Мы побродили по комнатам — паркет, люстры, картины, зеркала, чучела птиц, олени рога, кабаньи морды, в распахнутых шкафах на плечиках костюмы и платья, внизу попарно обувь, на кухне — кафель, полотенца с вышитыми изречениями, на полочках посуда, бутылки. Но не те, выпивона не видать.

Чистенький, аккуратненький, отлаженный быт обывателей, в который ворвалась война. Вышитые полотенца висят, а хозяев нет. Где они, что с ними? И я подумал, что возмездие заявилось в Германию, хоть и задержалось в пути, шло целых четыре года, но все же вот оно, во всем — в том числе и в судьбе этого дома и его обитателей. И я подумал также: «Суть не в том, что возмездие настигло именно немцев. Оно настигло наших в р а г о в. Они могли быть и не немцами. Но немцы посягнули — и поплатились. И всякого, кто посягнет на мою страну, ожидает такая участь, ибо моя страна непобедима и бессмертна!» Может, я и не столь высоким стилем думал, но об этом.

Мы вышли с Драчевым из дома. Немки катили по мостовой тележки со скарбом, — их испуг обещал завтрашнюю благосклонность. Ветер дул с залива, обещая разогнать дым пожарищ, когда они ослабеют. Блеклое низкое небо нависало над городом, обещая с весной подняться, засиять и вынести на себе солнце.

За углом мы увидели сорванные, перекрученные рельсы. сошедший с них, завалившийся трамвайный вагон с обгорелыми боками. Драчев присвистнул:

— Трамбабуля! Тыщу лет не катался, товарищ лейтенант!

— Еще покатаешься, — сказал я. — Только билет не забывай брать.

— А точняком, товарищ лейтенант! Я завсегда зайцем норовил. — И Драчев зашелся в счастливом, беспечном смехе.

Короткая летняя ночь была на исходе. После продолжительных, выматывающих своей неопределенностью стоянок эшелон шел ходко. Вагон болтало, раскачивалась «летучая мышь», звенели ведра, котелки, кружки. Дневального, попробовавшего встать прикрыть дверь, кидало из стороны в сторону, и он ворчал:

— Качка, ровно на пароходе...

На остановках он по моей просьбе спускался, узнавал название станции, докладывал мне, а я сообщал Нине, хотя она и так все слышала. Такой тройной, что ли, разговор. Эдак вот втроем мы беседовали в Улан-Уде: я спрашивал Гошу, он отвечал Нине, а Нина говорила мне. Сейчас Гоша спит, Нина и я сидим у его ног на нарах. Я молчу, Нина — оживленная, треволения позади, Читу не минуем — комментирует донесения дневального: перевалили Яблоновый хребет, очень крутой, паровоз-толкач отцепился, без толкача на хребет не въедешь, пригород проехали, вон-вон, слева. Я вспомнил: в пригороде служил сукин сын Виталий, ка-

питан-мерзавец,— подогреваю себя этим воспоминанием, но оно проходит как-то боком, не весьма задевая.

Нина уже собрала вещички, оделась. Накинуть жакет — и готово. Гошу разбудим, оденем перед самой Читой. Уже скоро. Нина произносит:

— Вот и доехали. Спасибо тебе, Петя.

Не хочется говорить, однако я отвечаю:

— Не за что. Да еще и не доехали.

— Считай, я дома! Сейчас будет озеро Кенон, за ним — Чита-первая, это товарная станция. А после — Чита-вторая, пассажирская.

— Тебе где сходить?

— На Чите-второй.

Разговор меня почему-то утомляет, и я умолкаю. Нина принимается расталкивать Гошу, он хнычет спросонок, капризничает. Помогаю одевать пацана, он роняет голову, спит сидя. Нина сердится, трясет его:

— Проснись, засоня!

— А я проснулся! — говорит Колбаковский и свешивается с нар.

Ложась спать, он наказал разбудить его, когда Нина придет. Не дождался, сам проснулся. Встал, зевая, и Драчев. Ко мне:

— Товарищ лейтенант, дозвоьте и я провожу?

— Нет,— отвечаю.— Я справлюсь.

— Нехай товарищ лейтенант проводит!

Оказывается, и Микола Симоненко пробудился. Хотят попрощаться с Ниной. Ну что ж, пожалуйста. А провожу ее до дома я один.

Все правильно: слева мокро зачернела под береговыми фонарями вода — Кенон. Справа, на сопке,— домишки, тоже под лампочками, это Чита-первая, железнодорожный поселок. На Чите-первой нас продержали полчаса. Эти тридцать минут для меня и мчались и канителились. Мчались потому, что не хотелось расставаться с Ниной, с женщиной, которая мне нравилась, а оно было неизбежным, расставание. Канителились потому, что хотелось побыстрее совершить это, неизбежное, и тем снять с себя некий груз, стать вполне независимым. Глупо? Возможно. Смешно? Не так уж чтобы.

Паровоз прогудел, вагоны дернулись, загремели буфера. Поезд медленно-медленно прошел до железнодорожного моста, простучал по нему над речкой, которую Нина назвала Читинкой — маленькой, чепуховой,— и, не успев набрать скорость, сразу же за мостом стал тормозить. Нина взволнованно сказала:

— Чита-вторая!

Сопровождаемые Колбаковским, Симоненко, Драчевым и в последний момент вскинувшимся Свиридовым, мы вышли на перрон: Нина несла сумку, у меня на руках блаженно посапывал Гоша. Воротами рядом с вокзалом выбрались на площадь, здесь ребята остались: кричали вслед Нине всяческие пожелания, махали пилотками, она помахала им косынкой.

— Сюда, налево,— сказала Нина.— Пойдем по Бутинской, отсюда недалеко, три квартала, не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь.

— Не отстанешь? Потопали резвей.

Площадь была заасфальтирована, а улица — где кирпич, где не мощена, сапоги утопали в песке. Справа серел глухой забор стадиона, слева чернели рубленые избы, белели четырехэтажные дома. Тополя смыкали кроны, не пропуская жиденький, золотушный свет уличных фонарей. Город, раскиданный по сопкам, спал. Тишина. Безлюдье. Протахтела полуторка, резанув фарами,— и опять тихо.

Мы молчали, Нина шла чуть впереди, и я смотрел на нее. В сущности, мне осталось это делать совсем недолго. Она уйдет из моей жизни так же, как и вошла в нее. Надо было бы что-то сказать ей, да не нахо-

дил слов. И она должна была что-то говорить мне. Но тоже не говорила. А может, ничего и не нужно этого?

Улица вела наверх, и мне было видно, как Нина подается вперед, преодолевая подъем. Помочь бы ей. Взял бы под руку, кабы не Гоша. Он прижался ко мне, уткнулся носом в грудь, пускал пузыри. Чем дальше, тем тяжелей становился, стервец.

Боря задышку, Нина заговорила. Вот это — облдрамтеатр. Это — радиокомитет. Это — площадь Ленина, о которой рассказывал старшина Колбаковский, вон штаб Забайкальского фронта, вон горсовет. Я думал: «Разве об этом надо говорить?» — и отвечал ей:

— Угу. Понятно. Ясно.

Свернули за угол, под каменным вогнутым сводом прошли в тесный, замусоренный двор, поднялись по деревянной лестнице, расхлябанной и сношенной, на второй этаж, в конце коридора Нина открыла ключом обитую войлоком дверь. Для чего-то я отметил: по одну сторону коридора все двери обиты войлоком, по другую — мешковиной.

В комнате была затхлость, сырость. Нина открыла форточку, включила свет, сказала:

— Клади Гошку вот сюда.

Я положил куда приказали — в детскую сетчатую кровать. С ней была состыкована койка, застеленная байковым одеялом, — при желаниии двое взрослых вполне поместятся. Я взглянул на койку, Нина на меня. Поспешно сказала:

— Спасибо тебе, Петя. Ты хороший человек!

— Да ладно тебе, — сказал я.

— Спасибо, и ты должен возвращаться, я боюсь, как бы не отстал... Да, погоди! Напишу свой адресок на всякий случай. Может, черкнешь когда...

Я сказал, что не люблю писать письма, она ответила: а вдруг захочется, — подала листок. Я сложил его вчетверо, опустил в карман гимнастерки, застегнул пуговицу.

— Иди, Петя, иди, дорогой. Не заставляй меня переживать.

— Ну, коли так, до свиданья. Гоша, будь здоров! — Я церемонно, шутовски козырнул детской кроватке, где пацан спал без задних ног, и повернулся к Нине. Она подошла ко мне, положила руки на плечи и поцеловала в губы.

— А теперь прощай. Иди к эшелону.

— Прощай, Нина, — сказал я и шагнул к двери.

На улице я запрокинул голову — окно светилось, но никого в нем не было. По-граждански засунув руки в карманы шаровар, я стал спускаться по улице Бутина. Небо на востоке желтело, предутренняя свежесть знобила, первые пешеходы, невыспавшиеся, смурные, глядели будто сквозь меня. Внизу, на станции, перекликались паровозы.

Эшелон и не думал отправляться. Паровоза не было, теплушки закрыты. Осмотрщики лазали под вагонами, проверяли буссы. Один такой чумазый, с молоточком, вынырнул из-под нашей теплушки:

— Закурить не найдется, товарищ генерал?

— Как не найдется, товарищ генерал-директор тяги! Держи!

Осмотрщик хохотнул, сверкнул белыми зубами на черномазой роже, кинул в рот папиросу. У меня першило в горле, словно часовую речь толкал, — хронический катар. Я пооттягивал кожу под подбородком, докурил. Осмотрщик вагонов сказал:

— Силища прет на восток, а, лейтенант? Кисло придется самураям! Они предчувствуют, крысы. Японский консул в Чите — так тот кажин день сидит здесь с удочкой, под мостом у Читинки, эшелоны считает. Считай, счятай, все едино хана будет!.. Ну, заболтался я с тобой, паря...

— Послушай,— сказал я.— Случаем, не знаешь, куда эшелон пойдет?

— На Хабаровск, на Маньчжурку или в Монголию?

— Вот именно.

— Случаем, не знаю, но догадываюсь — в Монголию. От Борзи по однопутке на Соловьевск, оттель на Банн-Тумэн, к тарбаганам в гости! А оттель уже своим ходом в Маньчжурю, к хунхузам в гости! — Он хотнул и полез под соседнюю теплушку.

Небо наливалось синью и желтизной, воздух светлел, и четче стали контуры сопок, окружавших город. Из вокзала вышел военный комендант со свитой, важный, величественный, с внушительным, пивным животом майор, в свите — тощие сержанты, они прошествовали вдоль эшелона. На привокзальной площади чихали автомобильные моторы, и забубенный бас куролесил: «Имел бы я золотые горы и реки, полные вина...» Прощай, Чита. Чи та, чи не та.

Я залез в теплушку, выпил холодного чаю. С чего жажда? Сел к столу. Раскрыл иллюстрированный журнальчик: на фотографии Красная площадь, Мавзолей, слово «Ленин». Трибуны Мавзолея пустынные, обычно же печатают снимки, где трибуны заполнены руководителями.

Веки слипались. С чего так устал? Ночь не спал? Подумаешь! Бывало, и по трое суток не спал. Нехудо, однако, прилечь.

Я лег и уснул. И сразу увидел Гагры, Черное море и утонувшую девочку. Проспал я не более часа. Рассвет еще не утвердился, оконце светело синело. Колеса постукивали, перебирая стыки. Все привычно. И даже привидевшийся сон в дороге привычен. Но на этот раз я не плакал, пробудился с совершенно сухими глазами.

Я устался на окошко. Из синего оно превратилось в голубое, из голубого в желтое, из желтого в розовое. Солдаты еще не просыпались. Я приподнялся на локтях, оглядел спавших. Спустился на пол и оглядел спавших на нижних нарах. Знакомые лица людей, с которыми я скоро — это неизбежно — пойду в бой. У каждого своя судьба, свой характер. Каждый из них — личность. Как и я. Наверное, я не всегда бывал к ним справедлив. Как и они ко мне. Но вот сейчас не кривя душой могу сказать: люблю их такими, какие они есть — святые и грешные. Они и в этой теплушке, и в соседней, куда я, увы, редко заглядывал, и в теплушках других рот. У нас разные характеры и судьбы, но одеты мы одинаково, в армейское, у нас одно оружие и одна цель.

Я подошел к двери и откатил ее. Оттесняя запахи портянок, кожи, табака, ружейного масла, в теплушку вторгся горький и тревожащий запах полыни. Эшелон описывал дугу вдоль безлесной, травянистой долины, отграниченной сосновыми сопками. Из-за двугорбой сопки выкапывалось солнце, приплюснутое и набрякшее багровостью, сулящее перемену в погоде, такое солнце я не раз видел на войне. На той войне. А может, э т о и не будет? Может, просто устроим военную демонстрацию, попугаем японцев, они и дрогнут, пойдут на попятную? Ведь мощь у нас колоссальная, замполит Трушин прав. Ну, а если все-таки война состоится? Конечно, состоится. Тогда пусть она станет быстротечной и победоносной — так будет меньше жертв. Но и при этом — лучшем, быстротечном — исходе на войне, как известно, могут пострелять. А где стреляют, случается, убивают. Знаете ли вы об этом, Вадик Нестеров, Яша Востриков и остальные семнадцатилетние?

Я стоял у кругляша, ежился от утреннего холодка, табачил натошак, и багровое солнце вставало над миром, и тревожно и горько пахло полыню.



НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА

Колхоз «Новый мир» находится за несколько тысяч километров от Москвы, на Дальнем Востоке. Колхоз рыболовецкий, богатый, широко известный в Приморье — в прошлом году он отпраздновал свое сорокалетие. Читатель поймет, как велико было наше желание поближе познакомиться со своим дальним «тезкой».

Групповые поездки писателей по стране давно уже стали традиционными. Отправляясь на Дальний Восток, наша группа задалась целью показать увиденное в колхозе возможно полнее. Мы подумали: в смысле чисто литературного опыта такое освещение одного объекта разными писателями может представить известный интерес для читателей. Да, кроме того, жизнь даже одного колхоза, одного коллектива достаточно богата, разнообразна и ее, как говорится, на всех хватит.

Мысль о том, чтобы дать подобный писательский репортаж из «Нового мира», возникла у нас в дни, когда вся страна готовилась к XXIV съезду партии. Естественно наше желание внести и свою скромную лепту в общее дело — рассказать о пути, пройденном одним небольшим коллективом, рассказать о его успехах, радостях, планах на будущее, рассказать, ничего не утаивая — так, как живут там люди.

В Приморье поехала группа писателей: Евгений Евтушенко, Екатерина Лопатина, Владимир Попов, Михаил Роцин, руководитель группы Аркадий Сахнин, Василий Сухаревич. Во Владивостоке к ним присоединились молодые дальневосточные поэты — журналист Юрий Кашук и филолог Илья Фаликов — и сотрудник Дальневосточного научного центра Академии наук СССР кандидат экономических наук Валентина Артемова.

Были у нас, разумеется, и читательские конференции, и традиционные для таких поездок литературные встречи с моряками, рыбаками, студентами, строителями, с партийно-хозяйственным активом Владивостока и Находки. Мы пользуемся случаем, чтобы от имени редакции поблагодарить приморских товарищей, тепло и радушно встретивших бригаду писателей «Нового мира».

Итак, вот что мы увидели в колхозе.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

★

НАШЕ ОБЩЕЕ С ВАМИ ОТЕЧЕСТВО

Новомировцы — литераторы,
новомировцы — рыбаки
положили на стол бледноватые
и багровые кулаки.

Все высказываем по совести,
как товарищи, за столом,
и не пахнет надменной высокостью
договаривающихся сторон.

Говорим о деревне, о городе,
о политике, о семье,
об уловах, о книжном голоде
и немножечко — о себе.

Разделение наше — условное.
Мы ведь чуточку — рыбаки,
и бывает пора неуловная,
и в сетях ни рыбешки-строки.

И рутина, и вирши халтурные
нас щемят, как занозы в груди,
но путина литературная
еще видится впереди.

И о наших проблемах догадываются,
но тактично не трогают их
Маяковские вала девятого
и Есенины в робах морских.

В непоззии — столько поэзии!
Непоэты — поэты вдвойне.
Разделяют людей не профессии —
отношенье к эпохе, к стране.

Токарь голосом непоставленным
и буденновский командир
пели так: «Отречемся от старого...»
Отреклись. Значит, мы — новый мир.

Не от чьей-то зависит он милости —
от писателей, от рыбаков.
Он таков, как мы все — новомировцы, —
он не лучше, не хуже — таков.

Таковы, как шофер, как буфетчица,
как рыбак, по-мужицки кряжист,
наше общее с вами Отечество,
наша общая с вами жизнь.

И едины, как соль океанская
и просоленные суда, —
боль писательская гражданская
и рыбацкая ваша судьба.

Бой за новый мир продолжается.
Новомировец только тот,
кто не прячется, а сражается,
кто не плачется, не сдает.

Только что-то не надломилось бы
в нас — владыках штурвалов и лир...
Будем сильными. Мы — новомировцы.
Мы в ответе за новый мир.

Владивосток,
31 января 1971 года.

В ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

В море трудно обняться
рыбацким сетям —
позапутаются.
В море трудно прижаться
друг к другу судам —
расшибет,
если чуть позабудутся.

СРТ,
 по-особому родственный мне...
 Ты — «Свободный».
 Ты наш, новомировец.
 «Оптимист»,
 у Аляски ободран ты льдом.
 Невеселая, в общем, картина,
 и смущенно руками разводит старпом:
 «Неудачно вы к нам...
 Не путина...»
 Сварка, стук молотков,
 ну, а кок не ворчит:
 все, что следует,
 варится,
 жарится.
 Если что-то на камбузе, братцы,
 шкварчит,
 значит, все-таки жизнь продолжается.
 Эй, «Свободный»,
 а ну не журись, подтянись!
 С мачты скинь чей-то драный ботинок.
 Не хандри, «Оптимист»!
 Выше нос, «Оптимист»!
 Еще будет большая путина.
 Мы еще полоснем горизонт,
 как линем,
 эхом рынды,
 шалаво звонливым,
 и под флагом Отечества
 снова рванем
 по Бристольским
 и прочим заливам!
 Я в ремонте.
 Вокруг нефтяная бурда.
 Вот в какую попал передражку!
 Но, пускай перекрашиваю борта,
 свою душу —
 не перекрашу.
 Нет в ремонте таком никакого стыда.
 И, быть может,
 со ржавчиной споря,
 ремонтируют горы и звезды себя
 и себя ремонтирует море.
 Ну, так что ж ты, «Свободный»,
 поник,
 приумолк?
 Может, думаешь,
 что никчемушен?
 Страшно списанным быть.
 А текущий ремонт
 доказует лишь то,
 что ты нужен.
 И пока мы в ремонте
 и тишь-благодать,

можно все
 до больнички высказать.
 Прижимайся, браток,
 не бойсь выкладывать
 бортом — борту
 соленую исповедь.

Владивосток,
 24 января 1971 года.

НЕИЗВЕСТНАЯ

Дамам в море быть рисково,
 но, войдя в рыбацкий быт,
 с репродукции Крамского
 Неизвестная глядит.
 Дама в кубрике — явление,
 и тем более — одна,
 только, нам на удивленье,
 не смущается она.
 И глядит, не упрекая
 за раскаты храпака,
 из России той, какая,
 как Таити, далека.
 Дремлет муфта на коленях.
 Перед братией морской
 перья страуса колеблет
 козьеножечной махрой.
 И от яростного хряска
 домино или лото
 чуть качается коляска
 под названием — ландо.
 Как нарочно, чтобы мучить
 одиноких рыбаков,
 петербургский хитрый кучер
 не торопит рысаков.
 Неизвестная прекрасна —
 это ясно, кореша.
 Неизвестная опасна
 тем, что слишком хороша.
 И, конечно, не похожи
 наши жены на нее
 по одеже и по коже —
 стирки, штопки, ребятье.
 Но в любой российской бабе
 у корыта, чугуна,
 как звезда в туманной ряби,
 гордость тайная видна.
 Но в старухах и в девчонках
 что-то прячется в тени,
 и, ей-богу, тоже в чем-то
 Неизвестные они.
 А в любой Прекрасной Даме
 где-то — спрятанная мать,
 и ее, быть может, тянет
 нам тельняшки постирать.

И она кочует с нами
в чужедальние края
над волнами, сквозь цунами,
как рыбачка, как своя.
И когда мы у Камчатки
и во льдах идет аврал,
жаль, что тонкие перчатки
ей Крамской нарисовал.

Владивосток,
29 января 1971 года.

СОЛЕННЫЙ ГАМАК

Как вечности хитрый песок,
шуршит табачишко в кисете.
Ветшает вельбот из досок,
ветшают и люди и сети.

И слушают гомон детей,
которые жизни так рады,
ограды из старых сетей —
прозрачные эти ограды.

Они отловили свое,
но ловят еще по привычке
то дождичек, то лоскутье,
то выброшенные спички.

То в них попадает звезда,
то лепет любви изначальный,
то чей-нибудь мат иногда,
то чей-нибудь вздох невзначайный.

Все ловят — и ветра порыв,
и песню любую, и фразу,
и, пуговицу зацепив,
ее отдают, но не сразу.

И делает старый рыбак
(из крепеньких, смерть отложивших)
себе на утеху гамак
из старых сетей отслуживших.

И, пряча внутри свою боль,
обрывками сырими узлан,
зубами он чувствует соль
на серых узлах заскорузлых.

Качайся, соленый гамак,
в размеренном шуме еловом.
Любой отловивший рыбак
становится тоже уловом.

Мы в старости, как в полосе,
где мы за былое в ответе,
где мы попадаемся все
в свои же забытые сети.

Ты был из горланов, гуляк.
Сейчас не до драчки. Болячки.
Качайся, соленый гамак,
создай хоть подобие качки!

Но море не бьет о борта,
и небо предательски ясно.
Нарочная качка — не та:
уж слишком она безопасна.

И хочется шквалов и бурь —
на черта такая уютности!
Вернуть бы всю юную дурь!
Отдать бы всю лишнюю мудрости!

Но то, что несчастлив ты, — ложь.
Кто качек не знал — неудачник,
и как на тебя не похож
какой-нибудь дачник-гамачник.

Ты знал всех морей тумачи,
ты шел, не сдаваясь циклонам, —
пусть пресные все гамаки
завидуют этим — соленым!

Есть в качке особенный смак,
пусть даже приносит несчастья.
Качайся, соленый гамак,
качайся,
качайся,
качайся...

Владивосток,
30 января 1971 года.



АРКАДИЙ САХНИН

★

С ЧЕГО ЭТО НАЧАЛОСЬ...

Гамс — это фамилия. Это династия рыбаков. У Петра Гамса — четыре дочери и семь сыновей. Один из них, Карл, тоже имел семерых сыновей. Юхан — трех, Эдуард — четырех...

Почти все его дети и внуки родились в поселке Лифляндия на берегу Уссурийского залива, близ бухты Ханган. Когда Петр и его попутчики пришли в это место, Лифляндии здесь не было. Была уссурийская тайга. Название поселка они придумали сами. Спустя тридцать лет создали «Новый мир». Эти слова предложил взять из строчки «Интернационала» первый председатель колхоза Юган Ганслеп. Его поддержали Гамсы — Карл, Юлиус, Юхан, Эдуард... Поддержали Арсентий Мэрибу, Юган Тебак, Алексей и Яков Можяевы, Карл Пихель, Александр Армас, Егор Бытко... Рядом с ними надо поставить Вяги Приду, Ивана Армаса, Игната Можяева, Ёсана Пихеля, Семена Храпцова, Михаила Васке, Ивана Сурвели.

Не всех, кто здесь назван, нам удалось найти в живых. Но сейчас пусть имена их стоят рядом, как стояли сами они, молодые и сильные, стояли насмерть в боях против интервентов на заре революции. Пусть стоят вместе, как вместе боролись за восстановление края, как держались друг друга, строясь под знаменем «Нового мира», как, стоя рядом, слушали весть о гибели своих сыновей на фронтах Великой Отечественной войны.

Их тридцать шесть, не вернувшихся в маленький рыбацкий поселок Лифляндия, куда докатываются волны Тихого океана. В центре поселка, напротив двухэтажного здания правления «Нового мира», у скалистого берега разбит сквер, огражденный тяжелыми корабельными цепями. Перед входом — якоря, и асфальтированная дорожка ведет к монументу, у подножия которого в мраморе высечены их имена.

* * *

Во Владивостоке, куда мы приехали в середине января, было минус три. И весь путь до колхоза — сто двадцать километров на юг вдоль побережья Японского моря, образующего здесь несколько заливов, проехали в машине с открытым окном. Чистое, хорошее шоссе, слева по берегу Амурского залива — санатории, дома отдыха, пансионаты, только что построенные, многоэтажные, и старого образца, и строящиеся.

Пересекли полуостров Муравьева-Амурского, и залив оказался справа, уже не Амурский — Уссурийский, а вокруг сопки, сопки, то голые, то покрытые лесом с коричневыми листьями дуба, которые не отдает он никаким ветрам. Они лишь сжимаются в горсть, кудрявятся и только поздней весной уже без сопротивления уступают место новой жизни.

Не хотелось ни о чем говорить. Великое творение природы, совершенное и дикое, захватывало, вызывая сладостно-щемящее чувство. Терялось ощущение реальности и времени.

Машина выскочила на крутой подъем, и неожиданно нам открылся «Новый мир». Он лежал где-то внизу, окруженный горами, защищенный со всех сторон, с

двумя- и трехэтажными жилыми корпусами отличнейшей кирпичной кладки и деревянными домиками, подлежащими сносу, и строительным краном у будущего пятиэтажного, первого из генерального плана застройки. Только спустившись, увидели море, вернее, бухту, тоже хорошо защищенную, точно запахнувшуюся каменной грядой.

Мы узнали настоящее Лифляндии, в обширном кабинете председателя колхоза Ивана Шпарийчука увидели макет совсем недалекого ее будущего и не могли не обратиться к истории.

Почему Лифляндия?

* * *

Со времен Екатерины на Саареме, Хиуме и других островах Моонзундского архипелага поселились немецкие помещики, принявшие русское подданство. Вернее, помещиками они стали только на островах. Царствовавшая соотечественница щедро наделила их землями, рабочим и домашним скотом, предоставила кредиты. Коренные жители — эстонцы должны были стать у них батраками и издольщиками. Чтобы закрепить за собой крестьян, помещики сдавали им в аренду землю, ставя при этом условие: шесть дней в неделю один из взрослых членов семьи арендатора обязан работать на поле помещика. За это он бесплатно кормил работника все шесть дней и ежедневно еще доплачивал деньгами, которых вполне хватало на шкалик водки. За аренду земли, естественно, помещик тоже назначал цену и не настаивал, чтобы ему тут же платили. Сочувствуя крестьянам, соглашался ждать до осени, пока созреет урожай, и получал от сорока до семидесяти процентов сбора.

В день, когда Петру Гамсу исполнилось двадцать семь, он вместе с другими крестьянами молотил цепом зерно на помещичьем току. И кто-то сказал:

— Когда же ты женишься, Пет?

— А вот когда она подрастет, на ней и женюсь, — показал Петр на Лизу, девочку лет десяти. С тех пор ее никто в деревне иначе не называл, как невестой Пета. И когда люди говорили: «Эй, Пет, вон твоя невеста побежала», — он не злился, не обижался, а просто не обращал внимания на такие слова. Это был высокий, коренастый человек огромной силы, суровый и неразговорчивый. Никто, конечно, не принял всерьез слова Пета о женитьбе, но когда ей исполнилось двадцать лет, они и в самом деле поженились.

Когда было уже у них три сына, он решил, что настала пора брать в аренду землю и обзаводиться собственным хозяйством.

Он знал, что такое земля, и знал, как с ней обращаться, и знал, что с ней делать, чтобы она хорошо рожала. Поэтому решил расстаться с вольной жизнью, взять землю и обрабатывать за нее только у одного помещика, который ему эту землю даст. Решение было твердое, он объявил его жене и отправился в усадьбу Ганса-Иогана, которому сказал, что хочет взять в аренду двадцать пять соток, что платить будет исправно и, как положено по закону, шесть дней в неделю он или скорее всего жена будут обрабатывать на поле хозяина.

Ганс-Иоган хорошо знал Пета и был рад, что тот пришел. Он согласился дать двадцать пять соток самой лучшей земли, расположенной недалеко от ручья, чтобы Пет видел, как уважает его помещик. Но Пет отказался. Нет, нет, ему не нужна самая лучшая. И даже хорошая не нужна — это очень дорого обойдется. Он просит двадцать пять соток на косогоре, далеко от воды, в том месте, где стоит скала Шапка. За эту землю не придется отдавать три четверти урожая, как за хорошую, и цена ей не больше сорока процентов сбора, а обработать ее он сумеет, и через два-три года она станет такой же плодоносной, как и лучшие земли Ганса-Иогана. У него три сына и жена, которая тоже знает толк в земле, и они смогут хорошо обработать свой участок, и смогут наносить достаточно воды для полива помидоров и огурцов, когда придет время, а поливать картошку не надо.

Так и пришел этот день ранней весны, день новой жизни Пета. Он встал, когда было еще темно, и поднял сыновей, и сказал Лизе, хлопотавшей у очага, что

пора завтракать. Они поели и взяли с собой еду на весь день, чтобы потом уже не возиться с этим делом и не отвлекаться от работы. Они вышли все вместе, и она направилась на помещичий двор, а ее мужчины — на свой участок земли.

Еще лежал в ложбинах снег, еще не отогрелась земля и не была готова принять семя. Пет долго стоял у межи своего поля, оглядывал валуны, большие, как бочки, и острые камни, торчащие из земли, глубоко вросшие в нее, и сухие ветки дикого кустарника, колючего и упругого, как стальная проволока.

Камнями и кустарником было покрыто все его поле, и казалось, нет на нем и горстки земли, способной дать жизнь. Но Пет знал, что земля здесь есть, спрятанная под камнями, утрамбованная ими, слежавшаяся, спрессованная дождями, крепкая, как бетон, но живая. Надо только освободить ее от вековых камней, снять с нее каменное покрытие, взрыхлить, раскрыть ей поры, напоить влагой, и она вздохнет полной грудью, и останется только оплодотворить ее, чтобы ответила сторицею благодарная человеку земля.

Пет хорошо подготовился к этому дню. Раздобыл кувалду, лом и кайло, большую лопату, две маленькие и остро наточил топор. Младшему сыну Карлу сам смастерил заплетные носилки, какие видел когда-то в порту у грузчиков, но маленькие, легкие и удобные, из крепких, высушенных прутьев. Алексу и Юхану тоже сам сделал носилки, и тоже легкие и удобные, одни на двоих, чтобы можно было грузить на них побольше.

Пет поручил сыновьям собирать сначала камни, лежавшие сверху, которых не держит земля, и относить их на межу, но не сыпать как попало, а аккуратно складывать вдоль межи один слой на другой. Сам он взялся за лом.

Старшему сыну Алексу было десять лет, Юхану — девять, Карлу — семь. Он любил своих сыновей и не щадил их. Они не могут рассчитывать на наследство, за них не пойдут помещичьи дочки, поэтому должны знать, что такое труд. Если человек знает труд — значит, знает цену деньгам. Он бережлив, расчетлив и рассудителен, голова его не будет забита пустыми мечтаниями, и тело, привыкшее к труду, будет крепким и выносливым.

Пет будто и не наблюдал за работой сыновей, не обращал на них внимания, но если, увлекшись, двое старших перегружали носилки, он неожиданно подходил к ним, молча сбрасывал на землю самый большой камень, а то и два-три камня и также молча возвращался к своей кувалде или лому. Время от времени подзывал к себе Карла и говорил, чтобы тот сел на большой камень, покрытый курткой, и внимательно следил, когда из-за вон той скалы покажется пароход. Карл садился и ждал. И если судно появлялось тут же, отец велел ждать следующего, а если минут через десять — пятнадцать — всматривался в пароход, будто действительно ему интересно посмотреть туда, а потом говорил: «Ну, теперь продолжай работу». А если за это время не появлялось никакого судна, все равно говорил те же самые слова.

Каждое утро мать уходила на помещичий двор, а отец с сыновьями на свое поле. Только один день в неделю, в воскресенье, она тоже шла с ними, и на своем участке собиралась вся семья.

Ломом, кайлом или кувалдой отец крошил камень, выковыривал его из земли и тяжелые куски сам относил на межу, а легкие таскали сыновья. Навалившись на небольшие валуны, все вместе выкатывали их с поля. Так они работали почти всю весну, клочок за клочком освобождая от камней землю, пока не пришло время сева. Пет видел, что очистили они меньше, чем ему хотелось, но времени для того, чтобы закончить все, не оставалось. Надо ведь и эту, подготовленную, крепкую и неподатливую, взрыхлить, измельчить, а лопатой ее не возьмешь, и он решил часть участка пока не трогать, а спокойно и не торопясь взяться за нее после сева. Пусть останется на будущий год. Там, где была межа, теперь стала каменная ограда почти во весь рост Карла и толщиной в большой его шаг.

Пет радовался тому, что под первым слоем, хотя и твердым, земля была мягкая, особенно в тех местах, где лежали валуны. Конечно, хорошо бы вскопать

поглубже да перемешать эту мягкую землю с пересохшей, но он как-то упустил время, и откладывать сев не осталось никакой возможности. И тут на помощь пришел помещик. Уже вскрыт был первый слой земли, уже вполне ее могла взять соха, и он дал Пету и соху, и лошадь, и меньше чем за день удалось вспахать всю землю, очищенную от камней. А потом они рыхлили ее тяпками и граблями, а особенно крепкие комки разбивали каждый в отдельности.

Земля стала рыхлая и мягкая. Пет перетащил на свое поле навоз, который несколько месяцев собирали на дорогах его сыновья и его жена, когда он еще только мечтал о земле, и разбросал этот навоз равномерно по всему полю, и перемешал его с землей.

Помещик, как и договорились заранее, дал мелкой картошки для посадки и хорошую рассаду помидоров и огурцов. Каждый стебель Пет сажал сам, на одинаковом расстоянии друг от друга, прижимал землю пальцами вокруг стебля достаточно плотно, чтобы хорошо держала, но все-таки не накрепко, чтобы она не затвердела.

Пет с сыновьями каждый день поливали ростки, а когда наступала пора, полили картошку, и у него оставалось достаточно свободного времени, чтобы ходить на лов сельди с владельцем вельбота. За свою работу Пет получал каждую десятую селедку из всей добычи. Иногда он брал с собой Алекса, которому тоже кое-что перепало.

Лиза добросовестно работала у помещика. Если не успевала за день сделать все, что положено, приходила в воскресенье, только бы не накапливались за ней долги.

Ганс-Иоган видел, что семья Пета — люди честные, трудолюбивые, и во всем шел им навстречу. Когда начала созревать картошка, разрешил подкапывать ее, брать по одному котелку в день, ничего не внося за аренду. Причитающуюся ему долю согласился получить после сбора всего урожая. А урожай получился большой — восемьдесят ведер.

Когда собирали урожай, помещик никого не послал для проверки. Он верил Пету. Он только напомнил, сколько причитается ему, и Пет сразу отдал долг. Ничего лишнего Ганс-Иоган не требовал. Честно подсчитал только то, что причиталось по закону. За аренду земли по самой дешевой цене — сорок процентов, это тридцать два ведра. За семь ведер картошки, выданной взаймы, как и положено — десять ведер. За пользование лошастью, сохой и другим инвентарем — четыре ведра и два ведра за молодую картошку, выкопанную раньше, когда добровольно не брал свою долю. А всего — сорок восемь ведер.

Пет видел, что ничего лишнего помещик с него не брал, и тяжело вздыхал. Ганс-Иоган не заставил Пета перетаскивать картошку в поместье. Он прислал телегу. Пет сыпал в нее ведра одно за другим и с каждым ведром откладывал в сторону одну картофелину. Когда их набралось сорок восемь, сказал вознице: «Все». Он смотрел на телегу, когда лошадь тронулась, и грустно провожал ее глазами, пока она не исчезла.

Из оставшегося урожая отсыпал тринадцать ведер для будущего сева, и у него еще осталось девятнадцать ведер.

Он думал, как распорядиться своим богатством, но одно событие отвлекло его от этих мыслей. Прошел слух, взбудораживший всю деревню, и весь остров, и все деревни соседних островов. Прошел нелепый слух, будто далеко-далеко, на другом конце света, есть край сказочного богатства, и земли там жирные, урожайные, и луга нетронутые, и леса таежные, и каждой семье нарезают бесплатно по пятнадцать десятин этой жирной земли, и каждый сможет рубить себе бесплатно какие хочешь дома, даже пятистенные.

Пет, конечно, не поверил в сказки. Но слух не утихал, крестьяне только об этом и говорили, особенно после того, как появилось у колодца объявление. Теперь это уже был не слух, а официальное уведомление властей, подробное и ясное, от которого захватывало дух.

Уведомлению Пет тоже не поверил. Он представил себе пятнадцать десятин земли и зажмурился. Это в шестьдесят раз больше арендуемого им участка, и не

каменистой, а жирной, которую сразу можно брать лопатой, и все это только на одну семью, и не в аренду, а бесплатно, и лес бесплатно на пятистенный дом, и проезд бесплатно, и понял, что так не бывает.

Не знал Пет, что царскому правительству срочно надо заселять Дальний Восток, осваивать богатейший дикий край, что начался двадцатый век и все тревожнее становилось в этом крае, все больше поселялось там людей из других стран, не то рыбаков, не то шпионов, и хозяйничал там кто как хотел.

Эстонским рыбакам и крестьянам предложили переселиться не случайно. Было хорошо известно, как мертвой хваткой зажали их немецкие помещики, как невыносимо тяжело живет людям, что народ этот — неутомимый и талантливый труженик. Моряки и рыболовы — потомственные, мастера бондарного, плотничьего, кузнечного дела — непревзойденные, и женщины — мастерицы на все руки, вот и решили, что эти люди, загнанные нуждой, согласятся покинуть родной край и податься за тридевять земель за сытой жизнью. Обратного им уже не выбирать.

Ничего этого Пет не знал, в чудо не верил. Если столько земли дают бесплатно и везут бесплатно — значит, земля эта гиблая и погибнут на ней люди. Так и сказал он на сходке, которую собрали власти. А к слову его прислушивались, потому что всю жизнь он молчал. Молча трудился, как каторжный, молча терпел унижения, молча плакал.

Может, его слова так подействовали на людей, может, и другие так же думали, может, помещиков слушали, которые не хотели отпускать крестьян, но только ни один человек ехать не согласился. Решили послать ходоков. Пусть поедут налегке, без семей, пусть все хорошенько проверят, пусть посмотрят, что это за земли такие, что за леса и моря. И пусть найдут тех, кто нарезать землю будет, и послушают, действительно ли все бесплатно.

С трех островов отобрали трех самых смекалистых и хитрых. Пусть едут и все проверят. Таких не проведешь, не обманешь.

Больше года не было от них вестей. Уже стали понемногу забывать о ходоках, но они вернулись. И все рассказали. Они исходили пешком сотни и сотни верст по нехоженой земле, видели места, каких на свете не бывает, богатства там несметные и отдают их людям даром по велению самого царя.

Вот тогда и началось. Никто не хотел отстать. Как бы не потерять счастье, как бы успеть, чтобы другие не захватили лучшие куски земли, лучшие берега. Продавали скот, продавали скарб, бросали хибарки, только бы поскорее попасть на пароход до Одессы, а там всех заберет грузо-пассажирский до самого Владивостока...

Старый, заслуженный рыбак, около шестидесяти лет промышлявший в море, селькор с тех времен, когда занятие этим делом требовало героизма и отваги, коммунист Арсентий Михайлович Марибу рассказывал:

— Ехали в переполненных и грязных трюмах, голова на голове, задохались от тропической жары и вони. Нечем было дышать не только внизу, но и на маленькой нижней палубе, единственной, куда пускали переселенцев. Пройти по ней невозможно: тела лежали плотно друг к другу. Особенно натерпелись у экватора. Плакали, кричали, умирали дети. На всем пути кормили акул — бросали в воду трупы, главным образом детей. Загудит пароход трижды — и идет дальше. И опять гудит. Значит, снова бросают. Так шли почти четыре месяца.

Вот так же ехали до Владивостока и семьи Гамса, Тебака, Арона, Армаса... Они и выбрали место для поселка, хорошо защищенное, с закрытой, удобной бухтой, которое и назвали в честь своей родины Лифляндией.

Нет, ходоки их не обманули. Была здесь дремучая тайга, где вековые дубы, переплетенные орешником, виноградом, лимонником, точно стена, преграждали путь, и расчищать ее приходилось топором. Только и с топором уходить в тайгу не все рисковали. Водились там уссурийские тигры, пантеры, кабаны... И каждый, кто желал, у кого были деньги, мог получить берданку и двести пятьдесят патронов для защиты от зверя. Даже за дровами без оружия далеко не уйдешь.

Первое несчастье в семье Пета и произошло из-за ружья. Алексу к тому вре-

мни было двенадцать лет. Парень вполне самостоятельный. Вместе со сверстниками он собрался идти на фазанов. Было их здесь много, и в удачный день он убивал по пять-шесть штук.

К ружью выдавался штык. На всякий случай Алекс решил насадить его. Но штык не надевался. Алекс наживил его и ударил камнем по хомутику. Раздался выстрел, брызнуло порохом в лицо, в глаза.

Алекс не закричал, не позвал на помощь. Только прикрыл лицо руками. Он испугался: что скажет отец?

На выстрел не торопясь вышел из своего шалаша Пет. Молча отвел в стороны руки Алекса, посмотрел на опаленное лицо и закрытые глаза, спросил:

— Что, сынок?

«Это был его любимый сын, и, может быть, первый раз в жизни Пет обратился к нему ласково.

— Ничего не вижу.

Он отвел сына в шалаш, велел Лизе не голосить и отправился искать врача. А где найдешь его? На все сто двадцать верст от Лифляндии до Владивостока — три маленьких поселка: Шкотово, Романовка, Петровка. Ни в одном из них врача не оказалось. Добрался до Владивостока. Чудак человек, кто же поедет в такую даль! Да и на чем ехать?

Пет пошел обратно. Где-то на берегу у старого рыбака выпросил маленький парусник и приплыл домой. На все путешествие ушло лишь три дня, потому что он не давал себе отдыха ни днем, ни ночью.

Дома увидел, что положение Алекса не улучшилось. Он так и думал, что оно не улучшится. Посадил сына в лодку и отправился во Владивосток. Дотянул туда через десять часов. Врач сказал: «Медицина здесь бессильна». Парень ослеп.

Я встречался со многими Гамсами. С молодыми и старыми. Никто из них не мог умолчать об Алексее. Его племянник стармех сейнера Роберт Гамс сказал:

— Это был удивительный человек, и он прожил долгую и красивую жизнь. У него был настолько обостренный слух, что это порой вызывало религиозный страх. Еще мальчишками мы иногда пытались проверять его. И вдруг слышим: «Эй, Роберт, ты опять крдаешься? И Бернард с тобой?» Знаете, я до сих пор не пойму, как человеку удавалось все слышать. Ну, пусть, допускаю, услышал шорох издали. Но как мог узнать, что это я, что рядом Бернард? Или вдруг кричит: «Ты почему стоишь, Роберт? Разгоняй кур, не видишь, ястреб над ними!» Смотришь — и в самом деле ястреб. Знаете, это уже становилось страшно. Видимо, по тому, как тревожно кудахтали куры, он и узнавал о ястребе.

В разговор вмешалась мать Роберта — Софья:

— Ни один зрячий не мог так быстро втянуть нитку в игольное ушко, как он. Алекс сам пилил и колол дрова, топил печь, готовил обед.

— По работе двигателя он узнавал любой катер, — сказал капитан флота Вальдемар Гамс. — Слушая, как причалило судно, определял, кто у штурвала. Он видел все, будто в нем локатор, будто клетками тела ощущал на расстоянии, что делается вокруг. Как-то Пет остановился недалеко от Алекса, стиравшего на берегу свою рубашку, и долго смотрел на сына. А тот увлекся стиркой. Неожиданно поднял голову и растерянно сказал: «Что вы так смотрите на меня, отец?»

Этот эпизод был переломным для Пета. Он перестал делать какое бы то ни было различие между детьми. Заставлял Алекса работать больше других. Нередко можно было услышать: «Эй, Алекс, помоги Карлу! Или ты не старший брат?» Да, он старший и, как полноценный человек, должен работать больше младших. Алекс понимал отца и был ему благодарен.

Как ни странно, но не сельское хозяйство стало главным для Пета на новом месте, хотя действительно получил пятнадцать десятин земли. Прибыл он в эти края в конце июля, и сажать что-либо было поздно. А рыба — вот она, успевай только ловить.

Постепенно обстроились, жили рыбой. Много ли может сделать крестьянин без лошади, коровы, птицы? Да и рыбак без шлюпки и снастей — не рыбак. А тут пошли дети, почти каждый год по одному, а то и по двое. И получилось, что есть

земля, есть рыба, а жили трудно. Впрочем, земля была только один год. На следующий вышел указ: отобрать все неосвоенные земли. И отобрали. Оставляли маленькие участки только вокруг домиков крестьян. Оставалось и то, чего отобрать нельзя — рыба.

Постепенно все-таки смастерили шлюпку, связали сети. А продавать рыбу было некому. На маленькой шлюпке во Владивосток ее не повезешь: испортится. Правда, кое-кто из соседей пробовал солить, а потом отвозить, но из этого ничего не вышло. Владивостокские рыбопромышленники закупали большие партии товаров по договорам и не желали связываться с мелкими поставщиками. А продавать на рынке в розницу невыгодно было рыбакам. Пока посолишь, пока довезешь да распродашь и доберешься домой, уйдет неделя. Даже на лов времени не оставалось. А ведь дел в хозяйстве и без лова хватало. Вот это трудное положение переселенцев и учел кое-кто.

С островов Моонзундского архипелага в эти края переехало сто восемьдесят семей. Поселок Лифляндия, где они обосновались, растянулся на восемнадцать километров вдоль Уссурийского залива от бухты Суходол до Вампауша. Не все приехавшие осели на месте. Одни ушли во Владивосток на торговый флот, а их жены — в прислуги, другие нанялись к рыбопромышленникам. Сын Пета Юлиус тоже ушел на флот.

На 1 января 1915 года по переписи населения в поселке Лифляндия числились 141 двор, 10 коров и населения 681 человек. Все это были рыбаки, и каждый думал об одном: как продавать рыбу.

И вот тут-то появились перекупщики братья Волкогоновы. Они обосновались на берегу бухты Суходол. Построили два рыбокопильных сарая с огромными чанами, врытыми в землю, завезли сети и другие орудия лова, нагнали в бухту кунгасы и вельботы. С рыбаками разговаривали уважительно, вежливо, ни на кого не покрикивали, шли на уступки. У них был большой опыт, так как они скупали рыбу у берегов Камчатки, на Сахалине и в других местах. Продавали ее крупнейшим японским компаниям Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу и владивостокским рыбопромышленникам.

Братья Волкогоновы правильно поняли, что могут помочь сбыту рыбы и эстонским переселенцам. Предложили им в аренду почти новые вельботы, сети и любую снасть. Согласились принимать весь улов. Один из братьев, Иван, даже поселился на Суходоле, хотя имел большой дом во Владивостоке.

Иван Волкогонов постоянно заботился о рыбаках. Чтобы избавить их от поездок во Владивосток, сам закупал там ситец, конфеты и другие товары, которые лишь с небольшой наценкой продавал рыбакам. Да и то денег с них не требовал, а соглашался брать рыбой. Правда, кое-кто роптал, будто конфеты подмоченные или лежалые, да и ситец с брачком, будто сами Волкогоновы получают эти товары чуть не задаром, но мало ли кто что говорит. Людям и в самом деле было удобно не тратиться на поездки во Владивосток и не терять на это времени. А если конфеты оказывались и не совсем сухими или, напротив, пересохшими, конечно же, это не могло иметь значения.

Заклучили договор с братьями Волкогоновыми и Пет и четверо сыновей. Трое из них имели уже свои семьи и жили отдельно. Среди них — Карл, у которого появился первый из его сыновей. Гамсы взяли в аренду хороший вельбот и снасти. На ночь уходили в море к маленьким скалистым островкам, ставили сети, а утром выбирали улов и везли в Суходол к приемщикам Волкогоновых.

Сыновья Пета многое переняли от отца. Были это люди большого роста, плечистые, работающие, молчаливые. Труда своего не жалели, из-за мелочей не спорили с приемщиками, пусть лучше свое пропадет, чем вступать в спор. Не раз видели, что их обсчитывают, но совестно было говорить об этом. Каждый день сдавали рыбу на собственную пристань Волкогоновых, потом шли в контору с запиской приемщика, где отмечали, сколько сдано. Здесь, в конторе, велся полный учет. Один раз в месяц подводили итог. Им подробно объясняли, сколько заработано за месяц, сколько удержано за аренду вельбота, парусов, снастей, сколько за

утерянный якорь или поврежденную шелевку борта, сколько за товары, взятые в магазине.

Магазин Волкогиновых все время расширялся. Теперь здесь были и сапоги, и брезентовые плащи, и ватники. Чтобы рыбакам было удобнее, навезли и делю всех размеров, и они сами могли шить сети. Правда, находились неблагодарные, что роптали на дороговизну, на гнилье вместо кожи, на большие проценты за кредит. Это обижало Волкогиновых, особенно Ивана. «Бьешься, бьешься для людей,— говорил он,— а они вон чем отвечают». Он терпеливо и вежливо объяснял, какие убытки терпит в этом магазине и насколько выгодно рыбакам придуманная им система. Он должен платить рабочим, которые ездят за товаром, платить за транспорт, содержать магазин и склад при нем, и вообще одни сплошные расходы и заботы. А рыбакам что? Приходят на все готовое: не надо никуда ездить, не надо платить деньги и можно ни о чем не думать и спокойно жить, поскольку обо всем заботятся Волкогиновы. И если даже не хватает у человека улова полностью рассчитаться за аренду и все взятое в магазине, Волкогиновы в долг верят, никого за это не упрекнув и процентов за кредит не берут, как делают другие.

Обиды Ивана Волкогинова Гамсы выслушивали молча, молча уходили. А тем, кто вступал с ним в спор, кто доказывал, что люди сутками находятся в море, а к концу месяца получать нечего, он ставил в пример Гамсов, которые лучше других ловят и, если долги превышают у них заработок, стараются побольше работать, а не шумят попусту. Эти разговоры доходили до Гамсов и злили их, особенно Карла. При встречах с Волкогиновым он молчал, но недовольство накапливалось в нем, пока не разразился скандал.

В тот раз, как и обычно, в море ушли на ночь, чтобы к рассвету расставить сети. Выбрали подходящие места у двух островков и закрепили снасти. Тянуть сети стали часов в одиннадцать. Улов оказался богатым. На полных парусах пошли к пристани. По дороге решили: раз так удачно ловили, можно и повременить с отдыхом, отдохнуть всегда успеется, а поскорее сдать улов и вернуться на те же места. А Карл предложил вернуться тут же, поставить сети, а потом уже идти к пристани. Пока дойдут, пока разделаются с приемщиком, пока вернутся, можно будет уже и вытаскивать. Так и поступили. Карл лишь обратил внимание на то, что весь отсек, где находилась рыба, был полон, а приемщики насчитали всего одиннадцать корзин. Он хорошо помнит, что еще год назад при таком же улове получалось четырнадцать. Потом тринадцать, двенадцать, а вот теперь — одиннадцать. Чертовщина какая-то. Когда сдавали рыбу, Карл только подумал об этом, но ничего не сказал.

Второй заход дал тоже богатую добычу во всех шести ловушках. Все были рады, особенно Карл, хотя тело ныло. К работе ему не привыкать, но и то сказать — шестнадцать часов в море, и все на руках. И натянуть сеть, когда ставят, и вытащить, и рыбу выбрать, и паруса держать — передыху никакого. А теперь еще весь улов с пристани в рыбокопильню тащить. Когда-то сдавали прямо на пристани, а волкогиновские рабочие относили к чанам. Карл не мог вспомнить, как же получилось, что рыбаки сами теперь все делают. Как-то постепенно навалил на них это Волкогинов. Сначала просил, вроде одолжение ему, а потом узаконил. Спорить никто не стал, дело, конечно, пустяковое. Карл подумал, что вот таких пустяковых собралось не одно. Маленьких, незаметных, а все больше опутывают они и держат рыбака. Должно быть, от усталости он злился на то, что еще придется тащить корзины в рыбокопильню. В голову лезла всякая чепуха. Вспомнил почему-то спор, возникший на его глазах с рыбаком, у которого дней через десять после покупки сапог поползли подошвы. Может, и в самом деле Волкогинов тут не виноват, а может, рыбак прав, будто берет он в свой магазин только выбракованные на оптовых складах товары. Так и не обменял Волкогинов сапог, а рыбак разошелся и наговорил грубостей. Волкогинов не оскорбился, а только сказал: «Грех на твою душу ляжет, милый, молись богу».

Все-таки Карл подумал, что Волкогинов был не прав. И хотя человек он мягкий, обходительный, даже ласковый, нет-нет да и прижмет рыбаков. Увидит одну сельдь чуть помятую, так и знай— всю партию третьим сортом возьмет. А первого

у него вообще не бывает, будто счет у людей начинается с цифры два. Уж как ни стараются рыбаки, все хоть немного побитое для себя оставляют, привозят селедку одну в одну, а все равно выщип какую-нибудь, ласково улыбнется и скажет: «Видишь, жабры торчат. А ты вторым сортом хочешь. Нет, дорогуша, у меня ее и третьим не возьмут». И опять улыбнется. А как же не торчат жабрам, если она тяжело дышит!

Со второго захода они возвращались перед вечером. Поздновато, конечно, но Карл прикинул, что все-таки ничего. Успеют. Разгрузиться надо побыстрее, на Лифляндию ветерок попутный, доберутся за час, поспят немного и к рассвету все-таки успеют. Идти надо в то же самое место. Может, и завтра там улов будет удачным.

Обогнув островок, вельбот вошел в бухту Суходол. И Карл увидел множество шлюпок, кунгасов, вельботов. Они шли со всех сторон, точно исполинский ветер, и путь их лежал к одной точке — к пристани Волкогонова. Большие, средние, маленькие, они шли на веслах, на парусах и везли рыбу Волкогоновым. Такого скопления Карл еще не видел. Сколько же придется стоять, пока управятся приемщики?

На самом краю пристани стоял Иван Волкогонов. Задумавшись, он смотрел на море и флот, идущий к нему. Принимали рыбу мастера, конторщики, засольщики, все, кому он мог доверять. Принимали сельдь. Это лучшая дальневосточная сельдь. Она пойдет по высоким ценам на конвейеры рыбозаводов Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу, в лабазы владивостокских оптовиков. Ее обработают, красиво упакуют и отправят в Европу и Америку. Это деликатес. Мягкая, нежная, вкусная, она пойдет в фешенебельные рестораны и богатые дома.

И все это — Волкогоновы. Это они вместе с Березовским, Мейстерсоном и Погибелем снабжают мир лучшей дальневосточной рыбой. Волкогоновы хотят сделать ее еще лучше, еще вкуснее. Они знают, как это сделать. Они сами будут обрабатывать ее. Они уже начали строительство рыбоконсервного завода, они докажут, что сельдь в маленьких красивых бочонках собственного производства будет вкуснее, чем засоленная японцами. Они уже многое доказали. Всего десяток лет назад они взяли в свои руки дело отца. Он тоже скупал рыбу. Но делал это без размаха. Гонялся за мелким уловом одиноких рыбаков. Пусть этим занимаются другие. У братьев Волкогоновых есть на плечах голова. И они трудолюбивы. Они расширяют дело своим горбом. Даже на приемке стоят. Теперь в их руках почти все побережье, Камчатка, Сахалин. Они еще потеснят своих конкурентов. О, Волкогоновы еще себя покажут. У них широкие планы. Сто десятин земли, отобранные у переселенцев, достались им за гроши. Это потому, что они сами увидели: земли пустуют. Сами предложили изъять эти пустующие земли. Правда, кое-кому перепало от этой сделки, зато теперь они пустовать не будут...

Когда Гамсы причалили к стенке, Пет пересел на попутную шлюпку и отправился домой. Сдать улов можно и без него. Их очередь дошла быстро, раньше, чем думали. Карл решил внимательно следить за счетом корзин. Надо проследить, куда деваются две-три корзины с их уловом.

На приемку к ним встал сам Волкогонов. Он знал: с Гамсами спокойно. Эти люди привыкли работать, а не болтать. Из-за всяких мелочей придираются не будут.

Карл внимательно считал корзины. Он может поручиться, что не пропустил ни одной. Но опять получилось одиннадцать. Как же так? Вот уже последнюю наполняют, но это одиннадцатая. Он смотрел, как ее наполняют, и вдруг все понял. Он стоял на причале, стоял не шевелясь и смотрел, как его братья наполняют корзину, и ему становилось страшно. Когда-то корзины были новыми и прутья плотно прилегали друг к другу. Со временем растянулись. Теперь между ними легко мог пройти палец. Когда корзина наполнена, она похожа на сетку. С боков видна вся рыба. Значит, в ней не двести штук, как положено, а не меньше двухсот пятидесяти. Сколько же рыбы они отдали ни за что?

— Все, — сказал Волкогонов, улыбаясь, — огромный улов у вас, большие деньги.

— Корзины большие, господин Волкогонов, — хмуро заметил Карл.

— Верно, большие, — согласился тот. — Двести штук вот таких, третьего сорта.

— Да нет, побольше, — уже смелее сказал Карл, — давайте сосчитаем, — и он нагнулся к сельди.

Все, кто слушал молчаливого Карла, удивились: что это он разговорился?

А Волкогонов не удивился, спокойно и мягко ответил:

— А я уже считал, милый. Вместе с твоим отцом считал. Нехорошо не верить отцу.

— Так то когда было!

— А мне больше неинтересно. Я два раза одно и то же дело не делаю.

Он говорил, маленькими, аккуратными шажками приближаясь к корзине, ласково глядя на озлобленное лицо Карла, которому уже трудно было сдерживаться.

— Ты сам сосчитай, милый, — говорил он и неожиданно с огромной силой ударил каблуком по корзине.

Она опрокинулась, сельдь плюхнулась, растеклась во все стороны, забилась, скользнула в воду. Карл оторопел. А Волкогонов так же мягко продолжал:

— Считай хорошенько и сам вези во Владивосток продавать. Только вельбот у кого-нибудь возьми. А мой освободи. Да-да, освободи. Быстренько, милый, другие ждут.

Все, кто был у причала, видели эту сцену. И все молчали. Люди сжимали кулаки и молчали. Взять бы по рыбине, швырнуть бы ему в лицо, плюнуть и уйти. А куда? Куда пойдешь? К Березовскому? Говорят, еще хуже. Да и дальше он.

Волкогонов не принял рыбы Гамсов. Крикнул рабочего, и тот запер на замок вельбот у причала. Понимал: спусти один раз, дай этой голытьбе волю — на голову сядут. В зародыше надо глушить бунтарство.

Гамсы возвращались домой пешком по берегу. Шли молча. Но думали об одном: что скажет отец?

Уже давно они не дети, уже растут свои сыновья, а отец для них по-прежнему — главная сила. Слово его непререкаемо. Карл боялся, что отец рассердится, но рассказал ему честно все как было. Пет слушал не перебивая, не задавая вопросов, и по его лицу ничего нельзя было понять. Потом старик поднялся.

— Спать пора, — сказал он равнодушно. И как бы между прочим добавил: — К Березовскому пойдём. Больше некуда.

* * *

...Из уст в уста передается история дореволюционной жизни поселка Лифляндия. Она дошла до наших дней как печальный образец безысходной судьбы людей старой России. Впрочем, не только России. Я слушал историю Гамсов и не мог не вспомнить о жизни корейских крестьян до освобождения их от гнета японских помещиков на севере страны и сегодняшнюю их жизнь в Южной Корее. Я видел, как они живут. Точно отверженные, обрабатывают каменные сопки, чтобы львиную долю урожая отдать помещику.

Я знаю и силу рыбных магнатов Ниппон Юки, Ниппон Сейтецу и Чосен Юки. Еще в прошлом веке протянули они шупальца ко всем побережьям Японии, Кореи, многочисленных островов и русского Дальнего Востока. Только революция смогла обрубить эти кровавые присоски к нашим берегам.

* * *

Вальдемар ехал из Эстонии совершенно разбитым. Все было не ясно. Он не мог разобраться в собственных ощущениях. Что-то большое, грузное легло на сердце, и никак его не сбросить, ибо неизвестно было, что именно сбрасывать. Чертовщина какая-то.

Несколько лет назад после первой поездки в Эстонию он возвращался в свою Лифляндию с нетерпением и радостью, хотя принимали его как дорогого гостя. Он слушал чудесные эстонские песни, которые трогали душу, видел нацио-

нальные танцы, о которых знал только по рассказам стариков, изъездил всю республику и, конечно же, побывал у рыбаков. И все, что он видел — от чистеньких городков до чистеньких рыбацких поселков, — казалось ему дорогим и близким. Может быть, потому, что повсюду слышал родную речь, особенно в деревнях, и как-то странно было, что люди говорят только по-эстонски. Правда, его эстонский немного отличается от местного языка, тем не менее он охотно вступал в беседы и они доставляли ему радость.

А мысли все чаще уводили к берегам Тихого океана, к поселку Лифляндия. За два месяца путешествий он соскучился по дому, по своей бухте, на берегу которой стоял его дом, ему хотелось скорее узнать, как идет лов, где какие суда, ничего ли с ними не случилось.

Это было не просто любопытство, а зов долга, потому что он — капитан флота, капитан над всеми капитанами колхозных судов и чувствует на себе всю полноту ответственности за флотилию вне зависимости от того, где находится сам.

Этот флот ему был дорог. Любое судно в стране, как и любой завод или станок, принадлежит всем людям, значит, и каждому в отдельности. К этому достоинству и должны относиться как к собственному. А все-таки в колхозе чувство это ощущается острее.

Конечно, ему был дорог колхозный флот и не мог он не думать о состоянии судов. Но в его отношении к флоту было и нечто иное, чего не измерить только заработками. Он знал каждое из четырнадцати океанских судов колхоза, начиная от «Коммуниста Украины» с экипажем в сто пять человек до маленького сейнера «Счастье», не только как руководитель. На многих из них он плавал на всех широтах Тихого океана, и ни одно не подвело его ни в жестокие штормы, ни в страшные ночи, когда они обледеневали в тумане. И это были для него не просто сейнеры или морозильщики, а как бы боевые соратники в жизни, как бы сама история его жизни.

Он водил эти суда еще до того, как получил первый орден Ленина, на них же работал, когда получил второй орден Ленина и звезду Героя Социалистического Труда.

Нынешний колхозный флот был ему дорог еще и потому, что он помнит и гребные лодки и ветхие парусники — все, чем располагал колхоз больше сорока лет назад, когда впервые рыбаки объединились в артель. В тот год ему исполнилось десять лет.

Он был сыном Карла Гамса и внуком Пета Гамса и в свои десять лет хорошо знал, что такое труд, и уже внимательно присматривался к повадкам моря. Он уже знал все ветры и знал, что несет морось, умел натягивать парус, успел пережить и радость большой добычи, и горечь проловов. Ему трудно определить, когда впервые он вышел в море. В каком бы возрасте себя ни вспоминал, перед ним возникали картины рыбацкой жизни Лифляндии, где он родился и вырос. Вспоминались эпизоды из его детской жизни, и не где-нибудь на берегу, а в море. Может быть, было ему не больше пяти, когда уже вытаскивал из сетей застрявших в ячейках рыбешек.

Кто скажет, сколько лет из своих пятидесяти он провел на море. Но не он же один всю жизнь на море. А вот люди тянулись к нему. На какое угодно судно, на любую должность — только бы к Вальдемару Гамсу. Рыбаки знали: он околдовал море, оно любит его, нашептывает ему, где прячется рыба, выносит из штормов, спасает от бедствий.

...Из той первой поездки в Эстонию он торопился домой, и ему не терпелось узнать, как работает его флот и нет ли новостей. Ему не хотелось никаких новостей, потому что колхоз ведет свое хозяйство умело, живет богато и широко, заработки высокие, почет и уважение большие. И все это относится и к нему лично, ибо он — капитан флота и член правления колхоза. Возвращался он домой после той первой поездки в Эстонию с легким и радостным чувством.

Что же изменилось с тех пор? Почему теперь, побывав на родине отцов, возвращается с таким тяжелым осадком?

Собственно говоря, ничего не изменилось. Не будь этого случайного разговора, все более обострявшегося, он бы и до сих пор находился в отличнейшем настроении, с каким и приехал на Балтику в очередной отпуск. Как и в первый приезд, ему все нравилось в этих краях, где когда-то жил его дед Пет. И принимали его повсюду хорошо, и стол выставляли богатый, и он видел, что этот богатый стол не специально для него, а просто в достатке живут рыбаки, и это радовало его.

За столом и начался тот разговор. Вальдемар Гамс, как и его дед, и его отец, был молчаливым. И уж вовсе чуждо и отвратительно было для него хвастовство. Он не любил хвастливых людей, и никогда бы в голову ему не пришло хвастаться самому. Он и старался отвести все вопросы, касавшиеся не только его личных достижений, но и крупных успехов своего колхоза. Ну зачем хвастать, что средний заработок колхозника около 500 рублей в месяц. Отмалчивался, отшучивался, говорил о тяжелых предколхозных годах, которые и сам-то знал лишь по рассказам других. Люди с интересом слушали и понимали, почему рыбаки Лифляндии потянулись к артельному труду, когда сбежали Волкогоновы. Понимали, потому что и сами были рыбаками. В одиночку хорошо ходить на рыбалку с удочками ради удовольствия, да и то в компании веселее. А промысловый лов в одиночку невозможен. Если крестьяне, обрабатывающие землю, еще как-то могут одной семьей управиться, то рыбаку это неведомо. Сам процесс лова подсказывал необходимость объединения для артельного труда.

Еще в двадцать четвертом году все хозяйства поселка разделились на четыре артели: «Лифляндец-1», «Лифляндец-2», «Приморец» и «Эрингас», что означает «Селедка». В первую артель, получившую кличку «Волчья», входили рыбаки, имевшие орудия и средства лова. Вторая, прозванная «Босяцкой», состояла сплошь из бедняков, ничего не имевших. Третья — «Адская» — и «Эрингас» были кулацкими артелями, но принимали в них бедняков, если они послушны, безропотны и готовы получать за свой труд еще меньше, чем платили Волкогоновы.

В январе тридцатого коммунист Ганслеп организовал колхоз, и распались все «Волчьи», «Босяцкие», «Адские», «Эрингасы». Кое-кто сбежал из насиженных мест, кое-кто решил выждать, посмотреть, что получится из этого колхоза. Из ста восьмидесяти хозяйств рискнули вступить в него сорок два...

Пока Вальдемар, отвечая на вопросы, рассказывал о прошлом, все шло хорошо. Но его стали выпрашивать о нынешней жизни, о нем самом, о его должности, и, как ни вертелся Вальдемар, на прямые вопросы пришлось отвечать прямо. Особенно дожимал его, докапываясь до тонкостей, подвыпивший старый рыбак. Он был очень старый и, должно быть, очень крепкий, хотя морщины не пощадили его. Они походили на глубокие рубцы, а между ними была гладкая, потемневшая от ветров кожа. Шею сзади рубцы разбивали на квадраты и ромбы, и она напоминала слежавшуюся глину, потрескавшуюся от солнца.

За столом под яблоней сидели восемь рыбаков, а расспрашивал Гамса только старик. А потом и он умолк. Завязался новый разговор, но старик опять влез.

— Да, хорошо у нас теперь стало, — сказал он, растягивая слова. — Сколько русских, украинцев, молдаван поселилось у нас. Живут, на заработки не жалуются.

Вроде бы и не к месту и не к разговору были эти слова, и никто на них не откликнулся. А дед, выждав немного, добавил:

— А есть и эстонцы, что только на экскурсии к нам ездят, думают, у нас оренов не выдают.

Вальдемара резанули эти слова, но он смолчал. Дед же снова за свое взялся. Должно быть, водка его подталкивала.

— Вот ты, например, — обратился он к Вальдемару. — Видать, бывалый рыбак, что б тебе не вернуться в родные края? Мы б такого и председателем колхоза выбрали.

Хотелось Вальдемару сказать, что он и живет в родных краях, но не решился. Может, и в самом деле из уст эстонца прозвучит это обидным для местных жителей. Может, верно, что он должен жить здесь?

Вальдемар молчал, а дед смотрел на него не моргая, не отрывая глаз. И все приуменьшили и тоже смотрели на Гамса, ожидая, что он скажет. Может, и они думали так же, как старик, и теперь ждали ответа.

Если бы он мог сказать: «Да, живете вы хорошо, но у нас лучше. И природа богаче». И в самом деле, дальневосточная природа ему нравилась больше эстонской.

Если бы все это мог сказать Вальдемар. Но неловко, да и прозвучит плохо: что же, выходит, он, эстонец, уехал из Эстонии, чтобы найти место получше, природу покрасивее. Так он ведь не уезжал из Эстонии. Да и вовсе не в этом дело. Ведь есть природа куда богаче дальневосточной и города покрасивее Владивостока.

— Я не покидал Эстонию,— после долгого молчания начал оправдываться Вальдемар.— Я родился в поселке на Уссурийском заливе и прожил там всю жизнь. Привык, понимаете...

— Подожди,— прервал его старик.— Положим, ты не уезжал. Дед твой уехал. Почему уехал?.. Потому что жизнь невыносимая была. На издольщине подышал. А теперь помещика нет. И живем, как видишь, не хуже вашего. А думаю, и получше,— подмигнул он рыбакам.

И опять Вальдемар морщился от неприятного этого разговора и, как-то не подумав, сказал:

— Вот и отец мой не вернулся, хотя и на Волгогоновых было работать не легко. Да и после, пока аж колхоз на ноги не встал.

— А почему?—прищурившись и склонив набок голову, пытал его старик.— Почему не вернулся, скажи?.. А я тебе сам скажу. Ну на какие деньги он мог в такой дальний путь пуститься? А? На какие? Голь она и есть голь. А у тебя деньжата, видать, водятся. Вон аж куда на экскурсию летаешь. Только билет в два конца, говорят, почти три сотни отвали. Так почему бы тебе не вернуться совсем?

Невмоготу было Вальдемару вступать в долгий спор, хотя всем существом чувствовал свою правоту. И не стал больше спорить. Пусть говорит старик что хочет.

Люди увидели, что Гамс молчит, и, чтобы сгладить неловкость, все набросились на старика. В самом деле, человек в гости приехал, а его вон как...

Весь путь на Дальний Восток неприятный разговор не выходил из головы. Почему же русских, украинцев, молдаван, о которых говорил старик, он не упрекал в том, что они живут не у себя, а в Эстонии? Даже с гордостью говорил. Вот, мол, как у нас хорошо, даже из других республик люди поселились. Почему же к нему другая мерка? Живет же, например, в Курске Герой Советского Союза Михаил Диасамидзе, о котором он где-то читал, и вряд ли кто упрекнет его за это. Велика родина, и живет человек где хочет. Во всех республиках полно людей самых разных национальностей. Кто же им запретит жить, если понравилось людям место. Да и Гамсы, потомки издольщика Пета, по всей стране разъехались. Есть среди них врачи, архитекторы, руководители предприятий, преподаватели. Он со всеми поддерживает связь, время от времени собираются все Гамсы вместе, и что-то не слышал он, чтобы кого-либо упрекнули за место жительства. Ведь когда началась война, Гамсы не только за свой край стояли. Сам он, минометчик Вальдемар Гамс, и за Дальний Восток и за Эстонию — за всю страну сражался. И воевали Гамсы и гибли не за отдельные республики, а за новую жизнь, что и объединила их.

Вальдемар окончательно убедился в своей правоте. А настроение не улучшалось. Что-то мешало ему, словно царапало его, цеплялось что-то, и он злился на себя, на упрямого старика и никак не мог стряхнуть с себя этого наваждения. Ему было неловко перед этим стариком.

Ну, хорошо, разговор неприятен, остался тяжелый осадок, но ведь теперь он разобрался во всем. Вальдемар находил новые и новые доводы, и все они были в его пользу. А на душе легче не становилось.

...Самолет приземлился в Хабаровске. До Владивостока — меньше часа лету. Там его будет ждать машина. Он не первый раз возвращается домой из отпуска. Уже в Хабаровске охватывало радостное чувство и нарастало нетерпение, в голове проносились картины предстоящих встреч.

На этот раз никаких новых ощущений Хабаровск не вызвал. Самолет поднялся. Вальдемар думал о своем. Он не обратил внимания, что на него удивленно смотрят соседи. Да если бы и заметил, не мог бы понять, что случилось. Он не ощущал своей улыбки. Широкой, во все лицо улыбки. Какой хороший старик. Какое доброе, хорошее лицо. Он, должно быть, действительно очень стар. И никак не может отрешиться от старых границ. И мыслит в масштабах старой, беспомощной Эстонии. А ведь теперь она кусочек родины. Это ведь одна и та же страна — и Эстония, и Дальний Восток, и все республики. Одно целое, неразрывное. От Лифляндии на Балтике до Лифляндии на Тихом океане — все это его родина и повсюду для него равные с другими права. Именно этого не понимает старик. Не понимает, как расширились границы его Эстонии. И какое великое счастье, что так необъятна и едина родина, что не разделяют ее кордоны на общих границах республик, что в дни праздников, и в трудную минуту, и в обычной жизни это невиданное ранее объединение народов стоит несокрушимой силой и каждый, кто входит в него, носит гордое имя — советский человек.



ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

ИВАН ШПАРИЙЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Он выглядит много старше своих лет, и лишь когда улыбается — открыто и чуточку смущенно, — видишь, что он совсем еще молод.

Преждевременная седина — от трудной жизни рыбака. Первые серебряные нити появились после свирепого шторма, когда судно легло в крен почти на 45 градусов и, казалось, никакая сила не вернет его в нормальное положение; окончательно побелели виски в день, когда на глазах у него гибли товарищи и никто — хоть разбейся — не в силах был их спасти... В девятнадцать он получил права судоводителя, в двадцать четыре стал капитаном, в тридцать два принял «Новый мир» — один из крупнейших рыболовецких колхозов не только Приморья, но и Дальнего Востока.

Мы говорим с ним день за днем, пользуясь короткими паузами, когда к нему не звонят и не заходят люди, когда дела не призывают его на пирс, в радиорубку, в гараж или мехмастерские, говорим, перескакивая с одного на другое.

Он всего три года ходит в председателях и еще не привык к «атакам» журналистов, литераторов. Ему подчас трудно сразу сформулировать ответ, он старательно взвешивает каждую фразу. Иногда, вспомнив, что перед ним «представитель», он переходит на официальный тон, но чаще, увлекшись беседой, говорит просто и естественно.

Так, вопрос за вопросом, раскрывается сам Иван Шпарийчук со своими воззрениями, характером, маленькими человеческими слабостями, вырисовываются его товарищи по труду, весь колхоз с его успехами и пока нерешенными проблемами.

...Сколько лет со страниц наших книг не сходил образ молодого новатора, ставшего руководителем в результате борьбы со старым консерватором. Приходили на завод или в колхоз вчерашние студентики или пичуги с косичками и, как по волшебству, понимали и видели то, чего не видел и не понимал прежний директор или председатель.

А каков его, Шпарийчука, «путь наверх»?

Иван Алексеевич нерешительно потирает лоб.

— Мне попадались такие книжки... Не знаю, я не знаток литературы. Тем более не критик. Но, по-моему, процесс замены кадров в нашей стране это не обязательно борьба, а... как бы сказать? — естественная преемственность поколений. Младшие обогатились опытом своих предшественников, взяли от них все лучшее и с этим багажом да с молодой энергией на современном уровне знаний ведут дело дальше. Во всяком случае, у меня (и у моих товарищей) все происходило именно так. Корабль я принимал от опытного, знаменитого капитана Александра Максимовича Армаса. Его «Бристоль» не знал проловов, команда привыкла к постоянному успеху, и мне надо было еще доказать, что я достоин такого судна и такой команды.

Вот тут-то мне пригодились все, что я воспринял от первого моего капитана Уго Даниловича Тикку. Удивительный это человек! Штурманского образования у него не было, рыбу брал, что называется, чутьем, знал все ее повадки и все

особенности промысловых районов: течения, ветры, температуру воды и прочие рыбацкие «секреты». Как руководитель был требовательный, справедливый и душевный. Я тоже старался быть таким. Он не чурался никакого труда, когда шла рыба — вкалывал вместе со всеми, я тоже в такие часы не торчал на мостике, был со своей командой. Еще: был он очень выдержанный, даже в самые сложные моменты не позволял себе кричать на людей. У меня это, правда, не всегда получалось, да и сейчас, признаться, бывают срывы, но я тяжело их переживаю.

Колхоз я принял тоже от замечательного товарища — Петра Поликарповича Шкуренко, теперь, к сожалению, покойного. Это был человек неиссякаемой энергии, настойчивости, упорства, человек с большой мечтой и большим размахом. Я хочу подчеркнуть: с большим размахом в работе и скромными личными потребностями. Он очень много сделал для колхоза: его стараниями наш флот обогатился крупными судами, мы стали ловить рыбу за тысячи миль, в открытом океане, резко поднялись доходы, началось строительство нового благоустроенного поселка городского типа. Я считаю себя учеником Петра Поликарповича и как председатель придерживаюсь его стиля работы, стремлюсь продолжать задуманное им.

...На стене у председателя висит большая карта Тихого океана. На ней картонные флажки с наименованиями колхозных судов. Флажки, когда-то красные, потемнели, помялись, должно быть, их много раз переставляли, по мере того как сельдяная путина сменялась сайровой или с камбалы команды переключались на лов скумбрии.

Сегодня флажки сгруппировались кучками в Уссурийском заливе и далеко-далеко на северо-востоке, в Бристольском; два или три виднеются близ Магадана, один забрался аж в Сан-Франциско...

— Руководство таким разбросанным хозяйством, видимо, требует от руководителя каких-то особых качеств? Каких именно?

— Да, наши «поля» раскинулись почти по всему океану. К тому же лов часто ведется в суровых условиях, почти у самой кромки льдов. Скажем, в Беринговом море даже летом постоянная морось и в ней месяцами не видно солнца — так, проглядывает какой-то красноватый кружочек. А зимой почти все время шторма, снег, пурга.

Еще что характерно — так это быстрая смена обстановки. Верите ли, двух дней не бывает похожих. Сегодня получишь радиogramмы с судов — все нормально, ловят и сдают рыбу. Завтра читаешь: у одного косяки убежали, у второго морозилка вышла из строя, третий отстаивается в бухте, скрылся от шквального ветра, у четвертого сломалась мачта, пятый обледенел... Что в таких условиях требуется от руководителя? Наверное, как и везде, забота, забота и еще раз забота о людях. Ну, может быть, забота более детальная, что ли, учитывающая буквально все мелочи. Потому что нехватка на судне какого-нибудь пустяка может на несколько месяцев испортить команде настроение и помешать нормальной работе. Там ведь в лавочку, как на суше, не сбегашь... И еще — разворотливость. Если случится какое чепе — а от него в нашем деле нельзя быть застрахованным, — у руководителя должна быть молниеносная реакция. Тут уж ни с чем не приходится считаться — надо идти на все...

— Например?

— Как-то на нашем БМРТ перед выходом в море рентген обнаружил микротрещину в шестерне. Такие шестерни имеются только в одном-единственном месте — на заводе-поставщике. Мы по-быстрому связались с ними, тут же посадили своего представителя в самолет, он через два дня — тоже самолетом — отправил шестерню нам, и выход судна в море не задержался. В другой раз на среднем траулере, промышленном сельдь на траверзе Магадана, вышел из строя мотор силового блока. День простоя на сельди — это почти две тысячи рублей, представляете? Ну, запаковали мы мотор в чемодан, дали этот чемодан матросу, он — на самолет и назавтра был уже на месте.

...В часы, когда председатель был особенно занят, я бродила по конторским кабинетам, знакомилась со специалистами — с теми немногими, разумеется, кото-

рые не на промысле. А специалистов с высшим и средним образованием в этом колхозе почти сто сорок — не шутка! Конечно, каждый из них имеет что-то свое, неповторимое, но, должно быть, есть у них и общие, отличительные черты? Что об этом думает Шпарийчук?

Он отвечает с удовольствием:

— Вы знаете, какие у нас капитаны, штурмана, механики, добытчики? Думаю, редко на каком предприятии встретишь такие командные кадры. Нашему колхозу повезло: у нас с давних пор сложились династии прекрасных мореходов, таких, как Гамсы, Мяги, Васке. Они всегда приносили колхозу доход и славу, всему задавали тон, с ними считались все руководители, и это положение сохранилось до сих пор. Наши ветераны воспитали целый отряд молодых капитанов, таких, как Макшанцев, Смирнов, Сергеев, братья Стукаловы, и ученики не посрамили своих наставников.

Отличительные черты... Так сказать, специфика... Как бы это вернее определить? Первой я, пожалуй, назвал бы слитность с командой. На рыбе рангов не существует. Когда идет лов, обработка, выгрузка рыбы, все наши судовые командиры работают бок о бок с матросами, наравне с ними. Были случаи, когда вновь прибывшие специалисты пытались вести себя маленькими начальниками, — получалась нестыковка с командой и товарищам приходилось перестраиваться или уходить.

Вторая: они по многу лет плавают на одном и том же судне, преданы этому судну, берегут его. Иной раз на промысле складывается исключительно удачная обстановка, можно было бы задержаться, рвануть добычу, загрести кучу денег. Но если судну подошел срок ремонта, если задержка отразится на следующей путине, ни один капитан, ни один стармех не позволит себе остаться и добыть судно. Да что капитаны и стармехи! Очень многое зависит от радиста. Его дело не просто принять и передать радиogramмы. Настоящий радист все время прослушивает океан, он знает и подскажет капитану, в каких квадратах богатый ход рыбы, где находится какая плавбаза, много ли вокруг нее промысловых судов, куда лучше побежать, чтобы быстрее сдать улов. Вот таких людей мы и набираем на наши суда, каждого специалиста утверждаем на правлении колхоза.

Председатель по скромности или по рассеянности умолчал, на мой взгляд, о главном — о смелости, о мужестве, об умении переносить лишения и трудности долгих рейсов. Я напоминаю ему об этом. Он недоуменно смотрит на меня, потом, поняв, смеется:

— Ну, об этом что говорить? Это само собой разумеется. Без этих качеств нет моряка. А про рыбака вы, должно быть, слышали, говорят, что он дважды моряк...

Да, я много раз слышала эту фразу в Атлантике — ее с гордостью повторяли и капитаны, и штурманы, и рядовые матросы на маленьких, юрких сейнерах и величественных плавучих заводах — БМРТ.

Шпарийчука в моем ответе задевает слово «рядовые».

— Что значит «рядовые»? — недовольно переспрашивает он. — Лов рыбы — дело исключительно коллективное, тут каждый должен хорошо знать свое место и свой маневр. Оплошность или нерадивость одного человека может сказаться на улове, а если каждый член команды сделает хотя бы по одной маленькой ошибке — рыбы не будет. Скажем, идет замет. Капитан не вовремя скомандовал «отдать шлюпку» — уже часть косяка прошла мимо. Матрос с шуровкой лениво отгонял рыбу от борта — она не сбилась в кошелек. И так далее и так далее, до бесконечности. Вот почему «рядовым» работникам мы предъявляем такие же высокие требования и так же придирчиво зачисляем их в команду. Попасть на промысловое судно — это особая честь, это как вознаграждение за добросовестный труд на берегу. У нас установлен такой порядок: каждый, кто хочет пойти на промысел, должен шесть — восемь месяцев отработать на судоремонте, на изготовлении орудий лова, на строительстве, в поле или в саду. Поверьте, человек, который так долго добивался права на выход в море, будет дорожить своей работой и выполнять ее добросовестно, без понуканий.

...Мне не пришлось видеть, как комплектуют команды, но с каким разбором принимают людей в колхоз, это я наблюдала на заседании правления.

Слава о колхозе разнеслась далеко, сюда едут не только из районов Приморья, но и с Камчатки, с Курил, с Сахалина, даже из Сибири.

Вот стоит перед председательским столом худощавый, весь какой-то развинченный паренек с тонко пробритыми усиками и бачками «котлеткой». Береговая специальность — шофер, морская — моторист. Холост, на квартиру не претендует, готов жить в общежитии. Кажется, все в порядке...

— А какая у него трудовая книжка? — спрашивает Шпарийчук, наметанным глазом угадав «бывалого» человека.

— Весь Дальний Восток обошел... Нигде долго не задерживался, — дает справку заведующий кадрами.

— Неудачные были суда, проловистые, — оправдывается паренек.

— К нам тоже на гастроли? — интересуется капитан со звездочкой Героя на груди.

— Посмотрю...

— У нас принято не смотреть, а работать, — строго замечает Шпарийчук. — Ну, как, товарищи, какое будет суждение?

— Нам шоферы и мотористы не очень нужны. Был бы еще работник хороший — дело другое...

— Ценности для нас не представляет...

— Значит, отказать?

Паренек уходит, криво обронив на ходу:

— Очередная шутка жизни...

Его место занимает кудрявый крепыш с веселыми глазами. Прибыл из соседнего совхоза. Сварщик, газорезчик.

Члены правления переглядываются. Специальность острodefицитная, на ремонте судов таких не хватает.

— Вам говорили, что полгода придется поработать на берегу? — спрашивает Шпарийчук.

— Да, я уже приступил к работе.

— Дело знает, — рекомендует начальник судоремонта, — работает добросовестно.

Члены правления единогласно голосуют за.

Третий кандидат в колхозники — крупный, ладный, с открытым лицом, радист. Радистов, в общем-то, достаточно, можно взять, а можно и не брать.

Чувствуя колебания членов правления, человек бросает свой последний козырь:

— Если бы квартира, я бы жену привез. Она у меня специалист по научной организации труда...

— Вот как? — оживляется Шпарийчук. — Научная организация труда? Я думаю, товарищи, мы постараемся изыскать квартиру?

Этот тоже принят. А на очереди еще добрый десяток ожидает решения своей судьбы...

Плавают, однако, не все. Одни заняты на береговых работах, другие уже отплавались. А с ними, с отплававшими, интересно, как? Произнесли положенные речи, проводили и забыли?

— Ну что вы! Как можно? — обижается Шпарийчук. — Я уважаю и ценю молодых, здоровых работников — на них держится колхоз. Но особое доброе чувство почему-то питаю к старикам. То есть я понимаю почему: золотые у нас старики! Они столько вынесли на своих плечах, столько сил вложили в подъем нашего хозяйства! Как же не проявить к ним внимания? Вот на днях смотрю: идет Вильям Густович Арон. Когда-то превосходный был стармех. Подошел к нему, поздоровался, спрашиваю: не скучно на пенсии? «Скучно, — отвечает, — тоскуют руки по железкам...» Сейчас копается помаленьку — трактор разбирает, кузова ремонтирует. Другой судовой механик тяжело и долго болел, врачи не разрешили ему ходить в море. А до пенсии еще далеко. У нас в мастерской все должности

оказались занятыми. Предложили ему пойти в кладовщики, в сторожа — он отказался и даже обиделся. Пришлось под свою ответственность зачислить его сверхштатным слесарем. Человек ожил, делает любимое дело, не считает себя лишним.

Рыбачий труд, как известно, сопряжен с риском, бывают несчастные случаи, жертвы. Когда я ходил еще старпомом, у нас на судне один матрос сорвался с обледенелого трапа, и его смыло волной. Наша команда много лет опекала его жену и детей, каждый раз привозила им с промысла рыбу. Когда судно по старости списали, другие команды взяли шефство над семьей этого товарища. Недавно я с большим удовольствием переселил эту семью с хутора, где они жили, на центральную усадьбу, в хороший дом с садом. Построили специально дом со всеми удобствами для самых уважаемых пенсионеров: пусть знают, что их труд не пропал зря, что для всех для нас они — как отцы и матери...

Как-то так получилось, что целый день мы с ним проговорили о моральных, нравственных аспектах рыбацкого труда. Ну, например: находятся люди черт-те знает где, сами с собой, в замкнутом кругу. Что заставляет их держаться в определенных рамках, не распускаться?

— Прежде всего сама жизнь, условия плавания, — подумав, отвечает Шпарийчук. — Зависимость всех от одного и одного от всех... Недисциплинированного, «неконтактного» человека команда или перевоспитывает, или отторгнет — знаете, как при несовместимости тканей. Много значит также материальная заинтересованность. Судите сами: на берегу заработок, например, у строителя 170—180 рублей, у разнорабочего — 60—70, а в море он может заработать до 450 рублей в месяц. Ради такого заработка человек поостережется от опрометчивого шага. Он знает: за этим последует списание на берег на четыре-пять месяцев, в зависимости от проступка.

Материальная заинтересованность, как медаль, имеет обратную сторону — материальную ответственность. По нашему колхозному Уставу всякий ущерб, нанесенный хозяйству командой судна или отдельным лицом, возмещается полностью или частично, как решит общее собрание. Предположим, из-за кого-то судно своевременно не вышло из порта, или на лову простояло без уважительной причины, или потеряло кранцы, или завалило фальшборт — за все это конкретные виновники должны ответить рублем. Нам нечасто приходится прибегать к такой мере, но каждый капитан, каждый боцман и матрос помнят о своей материальной ответственности, и это подтягивает, дисциплинирует людей. Скажу не хвастаясь: наши суда содержатся в очень хорошем состоянии.

Мне показалось, что председатель рассуждает как узкий хозяйственник — ни слова не говорит о политико-массовой работе.

Шпарийчук улыбается моему упреку:

— Не подумайте, пожалуйста, что я недооцениваю эту работу. Она у нас проводится, и очень широко, — если нужно, секретарь парткома вам все подробно расскажет. Но всякая пропаганда и агитация непременно должна подкрепляться другими мерами воздействия, непременно! Это мое глубокое убеждение. А то ведь иногда бывает, как в басне Крылова: «Васька слушает да ест»...

Походив по кабинету, он останавливается против меня с каким-то странным, одновременно испытующим и виноватым выражением лица, будто хочет и стесняется в чем-то признаться. Наконец решившись, произносит:

— Может, неудобно и не стоит про себя такое рассказывать, но сейчас я вспомнил один случай. Когда я только заступил в должность председателя и люди приглядывались ко мне (не зелен ли? потянет ли?), на берегу, особенно среди шоферов, резко упала трудовая дисциплина: один явится пьяный, другой прогуляет, третий рванет с левым рейсом... Внушали мы им, внушали, зывали к их совести, призывали к сознательности — ничего не помогало! Как-то еду вечером из Большого Камня, из районного центра, смотрю: стоит в кювете наша полуторка и в ней шофер пьяный — положил голову на баранку, сладко спит. Я его будить — он от меня отмахивается. Я ему говорю: сойди, я сам отгону машину в гараж, — он шум поднял, всех моих родственников вспоминает по женской линии. Что делать? Схватил я его, выволок из кабины, встряхнул как сле-

дует... Потом, правда, пожалел, отвез домой. А сам целую ночь переживал: елки-палки, до чего ты, Шпарийчук, докатился?! Ну, думаю, утром вызову его, объяснюсь. А он сам является: «Виноват, Иван Алексеевич!» С тех пор мы с ним большие друзья, и я никогда больше не видел его на работе пьяным. Да и остальные водители подтянулись. Я рассказываю вам это не в порядке «передачи опыта», просто хочу, чтобы вы знали, к каким крайним мерам порой приходится прибегать, чтобы укрепить дисциплину.

— Рыбаки находятся в плавании не только далеко, но и долго — по шесть, восемь месяцев, а иногда и по году. На семейных устоях это как-нибудь отражается? Семья у них крепкие? — допытываюсь я.

Шпарийчук вздыхает понимающе, сочувственно:

— Я сам плавал и знаю: долгая разлука с семьей — нелегкая вещь. Такая иногда найдет тоска, такая тоска! Один раз, по молодости, я даже не выдержал — оставил судно на помощника, сорвался и полетел домой, к жене и дочери. В одиннадцать часов вечера, помню, прибыл, в восемь утра отправился обратно, схлопотал за это выговор от Петра Поликарповича, бывшего председателя, но успокоился и взялся за работу. С другой стороны, долгая разлука позволяет... как бы это тоньше выразить? Подскажите!

— Раскрыть сущность человека? Узнать его истинную цену? Испытать силу его любви? Вы это имели в виду?

— Вот-вот, именно! Вы бы только почитали радиogramмы, которые идут с берега в океан и обратно. В них столько тепла, нежности, заботы! Когда какое-нибудь судно уходит в экспедицию, женщины буквально забрасывают его посылками для своих мужей, находящихся на промысле. А сколько таких случаев: судно становится на перегрузку где-нибудь на Сахалине, на Камчатке или в Магадане — и жены прилетают туда, чтобы хоть несколько суток побыть вместе...

Семья у нас, как правило, крепкие. Особенно если в брак вступают местные жители: сказывается благотворное влияние стариков. Хотя живут молодые обычно своим домом, но сами понимаете: его родители, ее родители — женщина на виду, ничего лишнего себе не позволит...

С «привозными» женами, представьте, семьи частенько не складываются. Это не потому, что те женщины хуже, — просто, видимо, брак заключался скоропалительно. Люди не успели узнать друг друга. К тому же, мне кажется, женщины с материка психологически не подготовлены к долгому ожиданию так, как подготовлены наши, приморские женщины — у них ведь и мать, и бабушка, и прабабушка были рыбаками. Там у вас, на западе...

— На каком «западе»?

— Не удивляйтесь, у нас «западом» зовется все, что за Уральским хребтом... Там у вас, на западе, я знаю, бытует у некоторых представление, будто жены рыбаков и моряков бездельницы и, грубо говоря, с жиру бесятся. Неправда это! Они не работают там, где мы их не обеспечиваем работой. У нас одно время тоже так было. В последние годы мы открыли сетепосадочные мастерские (они, кстати, обслуживают все окрестные колхозы и дают нам значительный доход), построили столовую, деткомбинат, комбинат бытового обслуживания — для многих женщин нашлось дело по душе. Кое-кто пошел в маляры и штукатуры. Другие заняты на полевых работах, ухаживают за садом и ягодником. В конторском аппарате много женщин. В сущности, не работают сейчас только те, кто нездоров, и многодетные матери. А когда человек занят полезным делом, это уже почти стопроцентная гарантия от ненужных мыслей и дурных поступков. Так я думаю.

— Но длительное отсутствие отцов не может не сказаться на воспитании детей?

— Тут вы, что называется, попали не в бровь, а в глаз! — соглашается Шпарийчук. — Да, были у нас, к сожалению, случаи, когда подростки так отбивались от рук, что приходилось отзывать отцов с промысла. Мы приняли решение: семейным мужчинам, имеющим детей школьного возраста, не разрешать

пребывание на промысле свыше шести месяцев в году. Отцы стали больше бывать дома, больше влиять на своих детей...

— А еще что?

— Построили мы прекрасную, можно сказать, образцовую школу, в которой учащиеся занимаются в одну смену. Кажется, есть возможность развернуть спортивную, кружковую работу, увлечь ребят, чтобы они после уроков не болтались на улице. Так вот беда: по нашему количеству учеников нам не полагается пионервожатый. Не хватает часов преподавателям пения, рисования, физкультуры. Трех человек загрузить до полной ставки мы не в состоянии, а одного мастера на все руки тоже не найдем, да, пожалуй, и нет таких. Клубные работники? А мы и для клуба подобрать хороших специалистов не можем, там у нас самодеятельность хромает на обе ноги. Наш колхозный комсомол? Комсомол тоже в море, на рыбе. Все суда у нас шефствуют над школьными классами, делают своим подшефным богатые подарки, но это ведь не может заменить живого общения и непосредственного влияния, правда? И что тут придумать? Я, честно говоря, ума не приложу. С рыбой мне, по правде сказать, справляться легче...

Разговор о детях напомнил мне одну из больших проблем колхозов Центральной России, с которой не раз приходилось сталкиваться, — это почти поголовный уход выпускников школ в города, на большие стройки. А как у них? — спрашиваю Шпарийчука.

— Ну, этого у нас нет! — не без гордости отзывается он. — Да и куда, зачем уходить нашим ребятам? Романтика — вот она, в океане. Заработки — дай бог каждому. Природа — сами видите — красивая, щедрая, есть где время провести, когда ты на суше. Рядом вполне современный рабочий поселок, который в перспективе превратится в город со 125-тысячным населением. Город так разрастается, что мы со временем вольемся в него как микрорайон, станем городскими жителями. У наших ребят дорога прямая: кончил школу — иди в «мореходку», учись на штурмана, механика, радиста, рефрижераторного машиниста, мастера добычи. Девчат посылаем в техникумы или на курсы бухгалтеров, нормировщиков, плановиков, экономистов, учим на медиков, на продавцов, на портних и парикмахеров. Если они сначала поработают, а потом едут учиться, если у них к тому времени уже заведутся семьи — колхоз доплачивает им за все время учебы от 120 до 300 рублей в месяц. Мы не считаемся с тем, что это накладно, зато уверены: наши будут кадры, наш золотой фонд. Правда, раньше, когда у нас мало было флота и флот был в основном мелкий, часть наших ребят уходила на суда Гослота. Сейчас почти все они к нам вернулись. Несколько человек уезжали на запад, то есть в Центральную Россию, — искали там какую-то другую романтику. Ну, поболтаются, поболтаются год-другой, глядишь — просятся обратно. Видят же: колхоз растет, богатеет (в 1970 году наш доход перевалил за восемь с половиной миллионов рублей), строимся мы, даем квартиры не хуже городских... Молодому что важно? Перспектива!

...На том же заседании правления обсуждалось заявление «возвращенца» — молодого человека, поработавшего несколько лет в колхозе, а затем пожелавшего «повидать свет». Когда-то Шпарийчук — сам уроженец этих мест — долго уговаривал его не срываться, предлагал: если не хочешь быть матросом, отправим на какие-нибудь курсы. Ну, знаете, как это иногда бывает с молодыми: поеду — и все тут, не на одном колхозе свет клином сошелся...

Сейчас он стоит, понутив голову, нервно перебирает пальцами. Члены правления забрасывают его вопросами:

— Где ты был это время?

— В Сибири...

— Чем занимался?

— Да так... на разных работах...

— Не понравилось?

— А чему там нравиться? Подай — принеси... Специальности-то у меня нет...

— Мог бы учиться — голова на плечах.

— Да нет, домой потянуло...

— Надолго?

— Насовсем. К матери. Мать у меня одна...

— Но без специальности ты и ей плохой помощник!

— Я бы здесь учиться пошел, если можно... На тралмастера...

— Это еще заслужить нужно.

— Я заслужу...

— Ну как, товарищи?

— Из уважения к матери принять, — предлагает секретарь парткома. — Матери одной действительно трудно.

Я понимаю: этот длинный разговор с «возвращенцем» члены правления ведут не только ради него одного. В зале заседаний сидят еще несколько парней и девушек — дети колхозников, подавшие заявления в колхоз. Пусть они слушают, пусть делают выводы, пусть не повторяют чужих ошибок!

...Шпарийчук назвал, пожалуй, важнейшую причину, почему молодежь остается в колхозе, почему возвращается в него. Перспектива! Возможность интересной работы, личного роста и продвижения. Уверенность в завтрашнем дне колхоза, в его дальнейшем преуспевании.

Ну, а каков же он, завтрашний день «Нового мира»? Каким станет колхоз хотя бы в той пятилетке?

Председатель почему-то долго молчит, отрывисто постукивает кулаком по столу, будто морзянку отбивает.

— Вы что, еще не думали об этом?

— Как не думать? — с непонятной горечью восклицает он. — Конечно, думали! Прикидывали свои резервы, подсчитывали свои возможности. И получалось у нас, что мы вполне можем увеличить добычу более чем в три раза, дать за пятилетку 4,5 миллиона центнеров рыбы и рыбопродуктов. Так и записали в проекте. Для этого требовалось пополнить наш промысловый флот 24 новыми судами, в том числе четырьмя БМРТ. Но получилась осечка: Министерство рыбного хозяйства категорически отказалось давать нам большие траулеры.

— Почему?

— Ни я, ни мои товарищи никак не можем этого понять. Ведь работаем мы не хуже, чем предприятия Гослова, — на каждого рыбака годовой улов составляет 1025 центнеров против 690 плановых. И наш, пока единственный, БМРТ эксплуатируем не менее эффективно, чем, скажем, соседнее Находкинское управление активного морского рыболовства. У них добыча на один БМРТ колеблется от 53 тысяч центнеров до 102 тысяч, и наш «Коммунист Украины» — в тех же районах, на тех же породах рыбы — дает ежегодно 87—90 тысяч центнеров. У них годовая прибыль БМРТ составляет в среднем 1100 тысяч рублей, и мы от «Коммуниста Украины» имели бы не менее двух миллионов, если бы сдавали рыбу на равных с ними условиях, по ценам госпромышленности.

Я прямо скажу: решение министерства поставило нас в тупик. В каком же направлении дальше развиваться колхозу? Возвращаться к прибрежному лову? Это абсурд... Хозяйство не может стоять на месте, оно должно идти вперед. У нас есть деньги, чтобы покупать суда. У нас есть кадры, чтобы работать на этих судах, причем работать в любой точке океана — хоть у Австралии, хоть у Индии. У нас есть горячее стремление и реальные возможности приносить родине больше пользы. Мы надеемся, что министр товарищ А. А. Ишнов еще пересмотрит это решение.

— Будем надеяться... Но, как говорят, не хлебом единым, в данном случае не рыбой единой, жив человек...

— Жив-то человек, конечно, не одной рыбой, но на ней, на рыбе, все у нас держится. От нее все наши доходы и прибыли, от нее — возможность строиться и благоустраиваться.

Он подводит меня к стене, где висит рельефный план с синей бухтой, серыми сопками, желто-коричневыми зданиями, зелеными скверами.

— Вот посмотрите: это будущий микрорайон будущего города Большенекаменска. Так он должен выглядеть в 1980 году. По изгибу бухты, полукольцом, пойдут пятиэтажные дома, их будет 25 штук. На сопках поднимутся три девятиэтажных башни. Должны быть построены два деткомбината на 420 мест, кафе-столовая, вон там, на кругом спуске к морю, — ресторан, новая контора, стадион. Дворец культуры станет вдвое больше и намного красивее. И тут опять «но». По генеральному плану этот микрорайон рассчитан на 4,5 тысячи жителей. Эти 4,5 тысячи жителей в свою очередь планировались, исходя из роста добычи, из роста флота. Если нам «зарезут» флот, кто будет жить в этих домах? Теперь вам ясно, сколь многое зависит от товарища Ишкова?.. Вообще-то мы все-таки не сидим сложа руки, строим наш поселок. Правда, очень медленно и с большими трудностями. Пять лет ведется проектирование, а смета составлена пока на один только пятиэтажный дом. До нынешнего года не было у нас подрядчика, строили так называемым хозспособом. Вы имеете представление, что это такое?

Да, представляю, писала как-то об этом. И еще писала о председателях колхозов — честнейших, преданных партии людях, которые в интересах дела, ради развития артельного хозяйства вынуждены были идти на различные большие и малые нарушения установленного порядка и законности.

Осторожно, чтобы не обидеть, спрашиваю Шпарийчука: а ему не приходилось бывать в подобной ситуации?

Он ничуть не обижается. Он даже как будто удивляется наивности моего вопроса.

— Как не приходилось? И мне и другим специалистам колхоза! Очень часто и по самым разнообразным поводам! Вот самый свежий пример: видели наш трехэтажный дом, где гостиница и почта? Хороший дом, правда? А меня за него в партизанщине обвинили, я за него выговор получил. Потому что по проекту он двухэтажный. А нам позарез нужны были квартиры. И в ближайшее время еще одного дома не предвиделось. Мы со строителями все рассчитали: фундамент выдержит, перекрытия тоже. И добавили третий этаж. Ох и шуму было! Ох и таскали нас! А люди живут и говорят спасибо... Или вот, обратите внимание, башенный кран. Его надо было с площадки построенного трехэтажного дома перетаскать на площадку вновь строящегося пятиэтажного. Нам это, разумеется, не под силу — ни техника подходящей нет, ни умения. Организации, которая бы для колхозов выполняла такие работы, в природе не существует. Ну, наняли мы по договору монтажников из специализированного управления, сделали они нам эту работу в свое сверхурочное время... Результат — главный инженер получил выговор...

Он еще что-то хочет вспомнить, но передумывает и машет рукой:

— Честное слово, все это бьет по инициативе.

Да, как видно, бывали у молодого председателя довольно горькие дни! Но бывали ведь и радостные?

— Ну, какие радости? — переспрашивает он. — Вот вселили людей в новые квартиры — радость. За девятнадцать дней выполнили январский план — тоже радость. А чего-то большого, выдающегося пока не было. Ждем, будет еще впереди. Уверены — будет! Но печальный день — вы угадали — был. Может, причина вам покажется пустяковой, а я здорово переживал это — когда в мое отсутствие отправили на металлолом наш «Бристоль». Понимаете, как-то нам попала в газете заметка о том, что один колхоз, не помню уж какой области Российской Федерации, поставил на постамент свой первый трактор — тот, с которого началась для крестьянина новая жизнь. И мы решили снять с «Бристоля» ходовую рубку со всем оборудованием и тоже поставить возле клуба, так сказать, в назидание потомству. Не потому, что именно я на нем плавал — там и до меня и после меня были капитаны. А потому, что суда этого типа первые пошли в дальние моря. И потому, что это очень заслуженное судно: за пятнадцать лет жизни оно выловило 216 тысяч центнеров рыбы и дало колхозу более трех миллионов рублей дохода. Оно почти двадцать раз окупило свою стоимость. Мы думали: будущим рыбакам было бы полезно такое напоминание, такой пример.

...Из деликатности, не желая влезать в чужую сферу, в сферу деятельности секретаря парткома, председатель отказался говорить о политико-массовой работе. Но и он и другие члены правления много думают о том, как воспитывать у молодежи любовь к морю, уважение к труду рыбака, гордость за свой колхоз — частицу родины. На шкафу в кабинете Шпарийчука я видела искусно сделанные макеты судов, на которых за сорок лет существования довелось работать рыбакам «Нового мира». Они стоят как своеобразная диаграмма, начиная с крошечной четырехвесельной шлюпки, кончая океанским сейнером.

Сейчас колхозные умельцы делают макеты среднего рыболовного траулера-морозильщика и среднего рыболовного траулера-рефрижератора. Команда ВМРТ «Коммунист Украины» готовит точную копию своего красавца.

Все это — для будущего колхозного музея трудовой и боевой славы. Для него же собираются по сундукам и чердакам пожелтевшие от времени фотографии ветеранов колхоза и виды бывшей деревеньки Лифляндия, примитивные орудия прибрежного лова и старинные предметы домашнего обихода. Молодые должны знать, с чего начинали их отцы и деды, как они пришли к нынешнему процветанию.

А скоро на площади перед клубом поднимутся щиты с наименованиями всех колхозных судов, с их «биографическими данными» и «заслугами»: сколько лет плавают, сколько выловили рыбы. И все время, пока суда находятся на промысле, над щитами будут развеиваться алые стяги — пусть каждый, проходя мимо, вспомнит о тех, кто в море.

...Наш разговор затянулся. Председатель, как видно, устал от него. Надо заканчивать! Но мне не дает покоя один вопрос. Я бывала в океане на промысле рыбы. Я знаю, какой это тяжелый труд. Я считаю заслуженной и справедливой высокую оплату этого труда.

На судах Гослова мне попадались разные люди: и «голубые» романтики, влюбленные в океан, готовые плыть куда и куда угодно независимо от вознаграждения, и «торбохваты», поставившие перед собой цель урвать побольше, а там — «гори она огнем, эта чертова рыба...».

Рыбакам-колхозникам уходить некуда. В море — вся их жизнь, их прошлое, настоящее и будущее. А как они относятся к деньгам? Не превращается ли для них высокий заработок в фетиш, в единственный смысл жизни?

Шпарийчук надолго задумывается.

— Н-да, трудный вопрос!.. Я отвечаю на него так: нет, нет и нет! Не за одной «деньгой» идут люди в море. Бывают ведь неудачные, проловистые рейсы, даже неудачные годы, но из-за этого коренные рыбаки не разбегаются, не изменяют профессии.

Конечно, в рыбацких домах сейчас полный достаток. Единственное, в чем спрос пока не удовлетворен, это автомашины. Ну, что такое восемнадцать легковушек при наших-то возможностях?! Но я — откровенно говорю! — не замечал в своих товарищах тяги к стяжательству. Встанет молодая семья на ноги, приобретет все необходимое, и дальше думают уже о другом — о расширении кругозора, о приобретении духовных ценностей, что ли... Наши рыбаки все чаще выезжают на запад — в санатории или просто большие города, где есть театры, музеи, картинные галереи. Все больше людей отправляется в туристические поездки за границу. Наши специалисты стремятся побывать на рыбопромышленных предприятиях и в рыболовецких колхозах братских республик, перенять там что-то новое, полезное для нас. Я вот тоже был у рыбаков Эстонии, Латвии. Хорошо работают! Отлично строят! Нам у них учиться и учиться.

Я задаю Шпарийчуку последний, традиционный вопрос: ваши личные планы?

— А какие личные планы? Работать. Поднимать и дальше колхоз, чтобы оправдать оказанное доверие. Закончить институт, я сейчас учусь заочно на третьем курсе Дальрыбвтуза, на факультете экономики и организации производства. Ну и ездить, побольше ездить. Ездить и смотреть, узнавать и внедрять!

...Он выглядит много старше своих лет, и лишь когда улыбается — открыто и чуточку смущенно, — видишь, что он совсем еще молод. А когда начинает го-

ворить о будущем — не о своем, колхоза! — в нем неожиданно появляется что-то мальчишеское — то задор, то обида.

У него есть небольшой, растрепавшийся от времени блокнотик — специально «разъездной». Вперемежку с адресами «нужных» людей и просто новых добрых знакомых у него там наспех сделанные чертёжники каких-то деталей машин, элементов малой механизации, рецепты копчения рыбы, технология лова сельди на свет. А то вдруг — поразившая его форма цветочной клумбы (точно такую же он непременно разобьет у себя по весне!). А то — ажурная конструкция детских качелей (по его рисунку местные мастера уже установили такие качели возле нового трехэтажного дома). А то — «профиль» и «анфас» плетеного креслица (пробовали делать, но пока не получилось, надо изыскать материал для обтяжки).

Он жадно впитывает все, что видит, он все полезное хотел бы применить в своем производстве, все удобное и красивое иметь в своем колхозе.

Он всегда жил насыщенно, уплотнял время, торопился сделать как можно больше. Когда его послали в трехгодичную школу председателей рыболовецких колхозов, он попутно окончил бухгалтерские курсы и — тоже попутно! — сдал все экзамены на аттестат зрелости.

Сейчас все его мечты, все помыслы — в колхозе. Ему трудно мириться с тем, что кое-что из намеченного делается медленнее, чем хотелось бы, или откладывается на неопределенный срок.

Кое-кто считает, что это нетерпение проходящее, «от молодости». А оно — от большой любви к людям, от любви к своему краю, от желания превратить «Новый мир» в образцовое хозяйство, от глубокого убеждения, что сделать это возможно, и не в каком-то отдаленном будущем, а в ближайшие годы,



МИХАИЛ РОЩИН

★

ПОЧТИ ДНЕВНИК

ЗОЛОТОЙ РОГ — ЗАЛИВ «АМЕРИКА»

...]Н[у вот, мы снова во Владивостоке, живем в «олимпийской» гостинице, которую построили для спортсменов перед Олимпиадой в Токио, здание стоит высоко, над портом, и вид отсюда действительно олимпийский: знаменитая бухта Золотой Рог лежит чуть ниже, близко, и, кажется, к самому окну, словно деревья из сада, сошлись краны, мачты, широкие пароходные трубы с красными полосами — все их множество, их тесное скопление, окутанное дымами, солнечным морозным паром, утренним туманом над сопками.

Вон, обнятый черной коробкой дока, виден «Байконур», вон у причала «Смольный», чрево которого день и ночь клюют порталльные долговязые «ганцы», и день и ночь слышны радиокоманды, звонки, горят огни и прожектора.

Другой берег в легком тумане, туда сбило ледяное сало, но там, под сопками, уставленными кубиками новых домов, тоже скопление кораблей, мачт, труб, дымов. На этой стороне Золотого Рога торговый порт, порт моряков, а на той — рыбаки. Как здесь говорят: «Моряки — это интеллигенция моря, а рыбаки — его рабочий класс». И в этом есть правда, поскольку задачи, жизнь, быт тех и других, казался бы, одинаково связанных с морем, весьма разнятся.

Днем Золотой Рог красив, а ночью еще лучше: ночные огни украшают бухту, ее изгиб, берега, суда, причалы, корпуса — иллюминация! Днем бухта чиста, спокойна, ее звуки и ритмы обыденны, пароходно-замедленны, дела ее будничны. Но что-то есть в самой студеной воде с редкими плавающими льдинами, в морозной мгле над водой, в обилии кораблей, что заставляет подумать об особенностях этого места. Идешь по городу, по его крутым улицам, столь типичным для любого приморского города, и вдруг, неожиданно, в конце или в переломе улицы, среди трамваев, вывесок, толпы, машин увидишь даль горизонта, белый лед, простор неба, горловину пролива (Восточный Босфор) между сопками иобразишь: а ведь там уже Океан!.. Это золотой рог моря вонзился в сопки, это лизнул землю Океан, и это его воздух входит в твои легкие, его густая вода плещет в пирс, и это оттуда, с Океана, пришли суда, выдержав единоборство с ним, и это туда уходят, там несут службу молоденькие моряки в затянутых ремнями шинелях.

Владивосток современен, капитален, оживлен, многолюден, он выглядит символом победы человека над Океаном, но только эта победа не итог, а процесс, она завоевывается каждый день, в любом рейсе, и дается она, разумеется, не легко.

Все относительно, и не зря здесь, на Востоке, частенько говорят приезжим: «Это еще неизвестно, кто от кого далеко: мы от вас или вы от нас». В самом деле, колхоз, в который мы поехали, с нашей точки зрения, стоит на краю света, но мне бы хотелось, чтобы читатель ощутил (как и мы это ощутили), что его отдаленность и как бы затерянность кажущиеся, что ничего особенно экзотического здесь нет, и существование колхоза среди других приморских колхозов, поселков, городов, дорог, заводов вполне обыденно. Жизнь, быт, нравы, стремления, интересы приведены к общесоюзной. так сказать, норме. Разумеется, здесь есть

свои особенности, проблемы и чудеса, но опять-таки в той мере, в какой свои проблемы и чудеса есть в любом рязанском, полесском или полтавском колхозе.

Скажем, от Владивостока до нашего колхоза можно добраться за три часа автобусом или машиной по весьма приличному шоссе, или можно (летом) доплыть, или доехать электричкой и маленьким рабочим поездом, который идет столь живописными местами, среди мягких сопок, берегом, в виду залива, через мосточки, распадки, речушки, что так бы, кажется, ехал и ехал в нем, делая по двадцать километров в час, с доброй теткой-проводницей, с работягами в ватниках, с мальчишками, которые возвращаются с рыбалки, степенные, словно мужички, в отцовских плащах и рукавицах, пропахших морозом и рыбой.

Приморье вообще поражает приезжего человека (например, в сравнении с Восточной Сибирью или Севером) своею мягкой природой, густой заселенностью, обжитостью. Я впервые побывал здесь лет двенадцать назад и уже тогда увидел большие города и села, хорошие дороги, аккуратные и чистые, и дикий виноград в лесу, и пышные цветы и травы.

Русские люди пришли в этот край, как известно, давно. Но расцвет этих мест, их развитие, строительство произошли главным образом, конечно, в советское время. Достаточно вспомнить о Комсомольске. И еще лучше о Находке, с поездки в которую мне и хочется начать свои записи.

Короче говоря, тигры здесь по улицам не бегают, во владивостокском ГУМе такая же толчея, как и в московском ГУМе или ленинградском ДЛТ, в театре, как и во многих театрах страны, премьеры новой пьесы Арбузова, колхозники смотрят по телевизору то же, что смотрит Москва, Киев или Львов.

Я ехал в Находку и, естественно, вспоминал ее тою, какой увидел когда-то давно: с почти пустыми берегами, с деревянными избами, бараками, грязными улицами — на каком-то участке, помню, дежурил трактор, чтобы вытягивать засевище в грязь грузовики. Находка уже была портом, считалась городом, но все здесь лишь начиналось, и старый, списанный, превращенный в нефтебазу «Каяк», полувыващенный на берег, ржавый, на ладан дышащий, оставался самым крупным, кажется, портовым сооружением.

Находка вообще, как известно, была открыта не так давно: в 1859 году терпевший бедствие русский корвет «Америка» (отсюда и «американские» названия в Находке: залива, перевала) был спасен благодаря тому, что кто-то из молодых офицеров, бросив взгляд в сторону, увидел среди штормового моря вход в совершенно гладкую, спокойную бухту. Он-то и закричал: «Находка!..» Но свое совершеннолетие как города Находка отмечала совсем недавно и вообще из комсомольского возраста еще не вышла.

Едешь по Находке, идешь — и поражаешься ее разбросанности, протяженности, обилию новостроек, асфальту, корпусам и трубам заводов, которые выросли на месте заболоченных когда-то балок и берегов, ее стеклянным магазинам. Но самое красивое, самое замечательное в Находке все-таки бухта. Просторная, чистая, прикрытая со всех сторон, она может вместить целый флот. Я стоял наверху, на смотровой площадке, откуда принято показывать бухту, на закате, когда вода приобрела глубокий синий цвет, а берега, дома, корабли были окрашены красным, и не смог сосчитать судов на рейде.

Находка — международный порт с огромным объемом работы: сюда приходят японские, канадские, голландские, немецкие и прочих флагов корабли. Отсюда наши грузы идут в разные страны, а также на север, на Курилы, Камчатку. Но Находка и порт рыбаков, океанских рыбных флотилий, китобоев, краболовов.

...Вот Приморский завод, здесь ремонтируют корабли, в основном рыболовецкий флот, и сейчас, зимой, на заводе их скопилось особенно много. Большие, маленькие, средние, те, чьи мачты и корпуса чуть ли не возвышаются над цехами завода, и те, на которые надо не подниматься с причала по деревянному трапу, а спускаться. Солнечный, морозный, ветреный день, огромная площадка заводского слипа, корпуса, машины, движение, грохот, визг металла, ободранные борта, развороченные палубы, краска, мазут, электросварка и газорезка, сосульки,

пар, свирепый крик и ругань, крюки кранов, грязный, замусоренный лед между бортами, ватники, сапоги, промасленные рукавицы, запахи щей, шеллака, железа, свежих опилок, рыбного трюма, табачного дыма — битва, кутерьма, словом, ремонт!..

Но вот среди окалины корабельных коробок светится что-то аккуратное, свежеевыкрашенное, светло-серое, с нормальной надписью на корме, а не на куске доски или фанеры, что-то обретающее форму. хотя палуба еще завалена, ограждена канатом, перегорожена буквами «хода нет». И по тому, как спешно движутся люди, как их заметно много, как каждый чем-то занят — девушка ли, разводящая в ведре краску, парень ли во взмокшей на спине тельняшке, — понимаешь, что идет аврал, что до конца ремонта осталась неделя, не больше, а успеть надо еще много.

Это стоит здесь на ремонте колхозный траулер, морозильщик, которому действительно осталось несколько дней до конца ремонта, а затем он перейдет (ледокол проведет) в колхоз, где его заправят горючим, снабдят всем необходимым для похода, и еще недели через две он уйдет в море, к берегам Камчатки или Америки, чтобы присоединиться к другим судам колхозной флотилии.

...Мы сидим в тесной каюте с Евгением Ивановичем Юринским, который пойдет на траулере вторым механиком, разговариваем, курим, но разговор не очень клеится, потому что механик — это нетрудно почувствовать — весь там, за дверью, в машине, и ему не до того, чтобы давать интервью. Да и не очень он это умеет.

— Чего рассказывать? Работаем, плаваем... Я-то? С сорок восьмого года, с шестнадцати лет...

Лицо у Евгения Ивановича скуластое, красное, навсегда обожженное ветрами и морозами, выглядит он постарше своих лет. Он невысок, крепок, коренаст. Он кончил мореходку, работал на рыбозаводе, награжден «Знаком почета», в колхоз перешел не так давно. Почему? Главная причина, видимо, проста: рыбаки-колхозники зарабатывают за путину больше (почему так — подробнее этот вопрос разбирается в других материалах).

Но в связи с этим мне хочется привести слова одного капитана, с которым я познакомился во Владивостоке на борту его судна, — кстати, оно тоже только что вышло из ремонта. Когда мы разговаривали об этой проблеме, об этой разнице в оплате, о закупочных ценах на рыбу и тому подобном, то капитан сказал:

— Плохо вы считаете! Вы видите мою каюту? Видите меня? Я не скажу, что у меня жизнь сладкая, но у меня каюта как каюта, ванная, салон, я каждое утро побрит и в свежей рубашке. А знаете, что такое капитан колхозного СРТ? Он весь рейс в сапогах, он работает вместе со всеми, ему поспать некогда, у него в каюте не повернешься. Разве сравнить их условия и наши? Или, например, вам известно, что у нас бесплатное питание, а у них, разумеется, нет? Мы получаем все, что нам нужно, а им надо достать, купить, извернуться десять раз... Нет, не позавидую я им!

Дело, конечно, не только в этом, но я невольно вспомнил слова капитана.

— Евгений Иванович, — спрашивал я, — вот вы плаваете двадцать лет, даже больше, вы все свои суда помните?..

Евгений Иванович вздохнул, послушал, что там делается, в недрах корабля, и с принужденным видом стал перечислять:

— Значит, так. Сейнер 66, китобоец «Ураган», буксир 10... Потом, значит, ПТС-3, потом шхуна «Муксун», еще японская была, послевоенная, потом сейнер ДС-5, сейнер «Вилкой», сейнер «Бобер», сейнер «Дракон»... Это, значит, до колхоза... А колхозные тоже надо?..

— Да, пожалуйста.

— Тут поменьше пока. Сейнер «Бристоль», СРТ «Талику», СРТ «Феоктистов», сейнер «Гибкий», а теперь, значит, здесь...

Не знаю для кого как, но для меня этот список прозвучал целым романом, симфонией, потому что каждый, пусть маленький, пусть серийный, корабль — это нечто особое, индивидуальное, и один совершенно не похож на другой, и каж-

дый рейс не похож на предыдущий, хотя кажется, и похож, и в каждом рейсе разные люди, разные капитаны, отношения, истории, приключения, удачи и неудачи, разные моря, разный улов.

Евгений Иванович продолжал прислушиваться к корабельным звукам, но, однако, сам продолжил:

— В Беринговом, конечно, был, у Магадана; Курилы как пять пальцев знаем, Аляску, ну, Приморье, конечно, Японию, Америку. Где все были, там и я, ничего такого...

Я обрадовался, решил, что вот тут-то Евгений Иванович и разговорится, но он так же быстро умолк, как и выговорился, и, видимо, считая, что все сказал, привстал, собираясь идти.

— А когда в море, Евгений Иванович?..

— Да вот как управимся. Видишь, что делается, минуты нет!..

— А надолго вы теперь пойдете?..

— Да на восемь месяцев.

— Ого!..

Он взглянул на меня с недоумением.

— Много,— сказал я,— тяжело это.

Он уже поднялся, стоял, повернувшись к двери. Но тут придержал себя и неожиданно согласился:

— Вообще-то да. Четыре еще ничего, пять ничего, а потом тяжело. Психом делаешься.— Он подумал.— Да, четыре бы лучше. Или пять...

Я в это время мысленно умножал перечисленные им корабли на восемь, на семь, пусть даже на шесть месяцев...

— Ну, ничего,— сказал Евгений Иванович,— такая наша моряцкая жизнь... Я пошел...

На том мы и попрощались.

Я ходил после этого по траулеру, по заводу, по Находке, потом ехал из Находки, глядел на разные достопримечательности, слушал разные истории. А теперь красивая бухта и красивые корабли горят огнями за моим окном. Но как-то иначе глядится на эту красоту, как-то иначе думается о символике победы человека над Океаном. И потом человеческим пахнет Океан.

КАЧАЛКА 14-го ГОДА

О Юнмане рассказали мне еще в первый день. Вернее, лишь назвали его: что был некий Юнман Иосиф, плотник и корабельный мастер, что он делал такие вельботы и деревянные сейнера, которые даже буруна за собой на воде не оставляли. Но, правда, добавляли, что Юнман давно умер.

— Ну вот! — сказал я. — Как давно?

— Да уж лет двадцать...

— Зачем же о нем говорить?

— Мы всегда будем о нем говорить, — ответили мне.

Потом от разных людей я снова слышал: Юнман, Юнман... Выяснилось также, что живы его вдова, старуха Юнман, Мария Денизовна, и три его сына.

И вот как-то утром, по морозцу и солнышку, я отправился по деревне и легко нашел небольшой, старый, но крепкий, ухоженный, выкрашенный в охра дом Юнманов. По дороге я представлял себе рулоны желтых чертежей, которые найду на чердаке, модели шхун, красавицу старуху, ревниво и гордо хранящую память о Мастере, и самого Мастера, краснотелого, краснолицего, седого старика с трубкой-носогрейкой, в высоких рыбацких сапогах, со старинным циркулем в нагрудном кармане. Сами слова «плотник Иосиф» настраивали меня на возвышенный лад.

Было холодно, и мелкая собачонка потявкала, не вылезая из будки, приподняв мордой тряпку, которая, словно полог, закрывала воротца конуры. Металл

запора был истерт, как старая монета. Вокруг дома мерз низкий сад. Дворик выглядел подметенным и крыльцо чистым.

Дверь открыл высокого роста малый в сапогах и сером свитере с закатанными рукавами и с порога, приглашая в дом, стал говорить громко, возбужденно и нечленораздельно. Был он заспан и слегка с похмелья и потом несколько раз повторял в оправдание, что он в отпуске, что скоро опять уйдет в море, что день веселый, солнце и прочее.

Это и был один из сыновей Юнмана, Эндель, рыбак, колхозник, механик-дизелист, живущий в старом отцовском доме вдвоем с матерью, поскольку своей семьи он не завел. Он и в доме продолжал говорить громко, приглашая садиться, ухаживал, очень, видно, ему хотелось выпить, и сквозь него не сразу можно было пробиться к маленькой старушке, которая вязала у стола, под ярким солнечным светом.

На столе стояли рядом два будильника, красный и синий, и синий отставал от красного на полчаса. Собачонка проникла за нами в дом, села у горячего бока белой русской печи, занявшей полгорницы, и дрожала, отогреваясь. Комната была по-крестьянски заставлена, обжита, со своим запахом, с цветочными горшками на окошках, с цветным чехлом на старом, городского вида диване, с телевизором, покрытым салфеточкой, с банками яблочного компота — яблоки были свои, из своего сада, и Эндель угощал потом сладким компотом.

У старушки было белое, морщинистое, живое лицо, которое искажал глянцевый шрам над правым глазом, — от этого она казалась подслеповатой. Но как выяснилось и как можно было понять из ее вязания без очков, глаза у нее еще оставались зоркими.

— Э! Куды! — сказал Эндель. — Еще и сейчас дай ей сеть — так и пойдет! — И он показал руками проворность движения, с каким старуха сплела бы сеть.

Я обратил внимание: здешние эстонцы. потомки переселенцев, говорят с акцентом, но чисто по-русски, по-деревенски. Многие вовсе забыли эстонский язык, и как признался тот же Эндель, приехав в Эстонию, он бы ничего не понял. Эндель тоже говорил с акцентом, да еще с каким-то дикционным дефектом, и так и сыпал всякими «куды», «опосля» и т. п.

Старуха говорила много правильнее и вообще спокойнее, и весь последующий разговор превратился примерно в такую дуэль: Эндель прерывал мать, боясь, что слова ее не будут верно поняты, разъяснял их, старуха казалась ему малым дитем, и он даже слегка стеснялся, а мать, напротив, стеснялась громкого голоса сына, его многоречивости и поправляла его.

— Э! — кричал Эндель и смеялся. — Путает! Не помнит! Восемьдесят лет! Куды ей!

А старуха досадливо перебивала:

— Ай, Эндель! Что не помнит! Все помню! Откуда тебе знать!..

— Да вы опосля-то как ехали?..

— Ай, как ехали! Долго ехали, тяжело ехали...

Впрочем, разговор начался с другого. Над столом висела застекленная рама с фотографиями, и в центре рамы большая семейная карточка, хорошо сохранившаяся: молодые муж и жена торжественно сидят перед объективом, на фоне фогпейзажа, придуманного каким-нибудь предприимчивым владивостокским фотографом еще во времена царя Гороха, и у нее на колене — годовалый младенец, и у него на колене — чуть постарше. И он и она — оба красивые, молодые, он в высоком воротничке и галстукe, с усиками, она в длинном платье и широкой шляпе, лица чистые, славные. Да, плотник Иосиф и его Мария...

Пробиваясь через шумные комментарии Энделя, я спрашивал старуху о муже. Сначала она просто посмеивалась и говорила, что ж, мол, спрашивать, когда его нет.

— Уже приходили из газеты, — говорила она, — писали, брали карточку...

— Аппарата нет? — вступал Эндель. — Переснимок сделать, а? Хочу переснимок чтоб! — И он стучал пальцем по большому портрету.

— Ай, Эндель, сам сделай! — говорила старуха, досадуя, что сын докучает чужому человеку.

— Отец мой! Юнман! — кричал Эндель. — Я в Совгавань пришел один раз, смотрю, старая деревяшка стоит, списана уж! Называется как? «Юнман»! Отец! Мое имя стоит, а?..

Это действительно так и было. Эстонцы-переселенцы пришли на пустое место, в тайгу. Тайга кишела зверем, море — рыбой. Нужны были дома, лодки и, стало быть, в первую очередь плотники. Молодым Юнман плавал, а женившись, осев на земле, стал плотничать. Он строил лодки, и, говорят, лучших лодок не делал никто на всем побережье. Колхоз с первых дней основания создал свою судостроительную площадку и, как зафиксировано в документах, построил под руководством Юнмана четырнадцать гребных лодок, восемь кунгасов, двадцать шесть парусных вельботов, один моторный катер.

С каждым годом Юнман строил все более крупные суда: дрейфтер «Байкал», сейнер «Таллин», а перед самой войной спустили на воду еще один дрейфтер, которому правление решило присвоить имя Юнмана. Вот эту-то «деревяшку» Эндель и встретил в Совгавани.

Все эти вещи я знал заранее и даже, можно сказать, имел преимущество перед старухой и Эндем: они или не помнили, или не знали всего сделанного Иосифом Юнманом, а я уже познакомился с документами, поговорил кое с кем из стариков плотников. Мне хотелось узнать другое: как он строил, как им он был. Но наш разговор принимал все более полифонический характер.

Мария. Ай, каким он был! Хорошо посмотрит на какую-нибудь вещь и точно так сделает!

Эндель. Он лежал, умирал вот тут, за загородкой... Я приехал, шестнадцать лет было, на лошадях колхозных — эх, лечу!.. Отец говорит: Эндель, первое сентября, иди в школу. Да чаво я там не выдал-то? — говорю. Не хотел учиться...

Мария. Какой чертеж? Он без чертежа. Думает, думает, потом маленькую лодку станет делать, модель... Модель сделал, в корыто пускает. Потом на берег придет, землю чистой сделает, на земле рисует...

Эндель. Э! Скажешь! Он четыре класса эстонской школы имел!

Мария. Голова была хорошая, руки хорошие... Сапоги мог шить, одежду шить, дом строить. Холостой был — на гармошке играл, потом не мог, детей семь штук.

— Э! — кричал Эндель. — Три сына, четыре дочки!..

Выяснилось, что все дочери живут во Владивостоке, у всех семьи, старуха ездит туда в гости, но города не любит. Месяц назад тоже ездила, навещала дочерей и внуков. А в прежние времена вообще ходила во Владивосток пешком.

— Э! Она у нас такая, матушка! — снова шумел Эндель.

Еще выяснилось, кроме того, что никаких чертежей вовсе не было, что весь инструмент мужа старуха раздала, и модели, которые были, тоже кто-то у нее выпросил. Да и вообще почти ничего материального, кроме дома, от плотника Иосифа не осталось.

Тут Эндель встал и, легко доставая руками до низкого потолка, взялся за два здоровых крашенных гвоздя, которые торчали из потолочной балки.

— Вот! — сказал он. — Я сам помню: сделает модель, повесит сюды вот, нам, братьям-сестрам, трогать ни в жисть не велит. И она висит, висит, пока на берегу стройка идет...

Я встал и тоже подержался за эти гвозди.

— Сам деревья в лесу выбирал... — сказала старуха.

Да, об этом я тоже слышал. Юнман ходил в тайгу, иногда подолгу искал нужный ствол, делал зарубку, потом плотники приезжали на лошади, рубили дерево, везли на берег. Пилорамы в колхозе не было, распиливали бревно на высоких козлах: один пильщик наверху, другой внизу. Кроме пилы и топора, инструментов, собственно, тоже не было. На берегу Юнман построил парник: там дерево гнули, сушили, могли, говорят, сворачивать доски в колесо. Не выдержав дерева, Юнман не начинал постройки. А потом расставлял плотников по контуру

своего рисунка на земле, говорил каждому, кто что делает, и, как рассказывали старики, бывало так, что утром начинали, а к вечеру собирали каркас, и все выходило и получалось с необычайной точностью. Юнмановские суда были легки, прочны, долговечны — на этих «деревяшках» рыбаки уходили далеко к берегам Курил и Камчатки, одолевали бури и льды.

— А что ж ты не пошел по стопам отца? — спросил я у Энделя, потому что я подумал: будь у меня такой отец, я б непременно перенял его мастерство. — Разве неинтересно?..

— Э, мальчишка шалавый, говорю, был, учиться не хотел, потом спохватился...

— Ну и что?

— Да зачем? — сказал Эндель. — Деревяшки кому нужны теперь?

— Ну, делал бы лодки, вельботы...

— Ай, что Эндель! — сказала старуха.

— Эндель — механик-дизелист, вона! — выкрикнул Эндель.

Я снова смотрел на портрет Юнмана, на его высокий лоб, спокойное, умное лицо, на его опрятный и нарядный вид. Сколько сделал человек, сколько знал!

— А почему он уехал из Эстонии? — спросил я старуху Марию.

— Э! Такой человек был! — закричал Эндель. — Мы, Юнманы, такие!

— Ай, Эндель! — сказала старуха Энделю, как ребенку. — Не Юнманы, а земли мало, помещиков много, а тут сам себе хозяин, земля богатая... Я у немца-купца служанкой была, Иосиф боцманом ходил, потом сюда уехали, хутор строили, жизнь повели как нужно.

Пока мы говорили, Эндель взял банку с яблоками, чтобы меня угощать, но старуха встала, отобрала у него банку, сама по-хозяйски открывала ее, вытирала тряпочкой, распутывала леску, которой была замотана банка.

Эндель смеялся, говорил, что старуха никак не дает ему самому делать домашнюю работу, и глядел на мать ласково, и потом погладил ее по плечу.

А я только теперь увидел, что старуха сидела на небольшой качалке, аккуратной и крепенькой, тоже выкрашенной охрой. Спинка и подлокотники ее лавково блестящие, отполированные временем, была она небольшая, уютная, словно саночки. Я спросил о качалке.

— Э! — закричал Эндель. — Отец делал! Сам!

— Когда же? — спросил я, разглядывая качалку и не находя на ней следов ремонта, или рассохлости, или свежевбитого гвоздя. — Ведь он умер в сорок седьмом?..

— Э! Он же живой делал, давно! В войну, что лы!

И тут старуха снова с досадой на сына сказала:

— Ай, Эндель! Еще до той войны делал, в четырнадцатом году!..

— Когда?!

— В четырнадцатом, я помню...

Я не поверил и опять переспросил. Эндель смеялся, довольный, и махал руками. Ну и ну! Я подумал, что корабли — это ведь, в сущности, тоже качалки...

Искушение было велико, я спросил разрешения, сел в качалку и, ей-богу, ощутил, что она может прокатиться еще полвека...

ПАПА КАРЛО

В кабинете председателя на стене висит карта, которая непривычно для глаза развернута не по полушариям, не по Союзу или району Приморья, а развернута по Океану: синий круг Тихого океана, его чаша, его дремлющее око глядит со стены, обрамленное русскими, китайскими, американскими берегами, и разглядывать карту можно бесконечно.

Мы стояли перед ней с молодым, знаменитым, из знаменитой колхозной династии, высоким Робертом Гамсом и со стариком колхозником Пихелем по прозвищу Папа Карло. Оба водили по карте тяжелыми пальцами, оба роняли будничные слова, вернее, Роберт ронял с высоты своего роста, а Папа Карло тараторил; и для того и для другого карта не была просто раскрашенной бумагой: они говорили об Океане и в их тоне не было ни панибратства, ни снисходительности...

— Сейчас кажется — недалеко, — сказал Роберт, ведя линию от Курил до Берингова моря, — а когда пойдешь — эге!..

Там, повыше, на Севере, в карту были воткнуты красные флажки на булавках, и еще два флажка пониже, и еще три в районе Владивостока. На флажках чернели названия: «Седанка», «Космонавт Феоктистов», «Бийск» и так далее — местонахождение всех четырнадцати колхозных судов, всего флота, было точно обозначено.

— Какой флот! Какой! Путина! Рыба! — почти выкрикивал Папа Карло, а Роберт покачивался с пяток на носки и глядел сквозь карту, унесясь от нас в эту минуту далеко, туда, где океан качает корабли.

Днем раньше мы говорили с Папой Карло о том, что меньше и меньше в сравнении с прошлыми годами (или десятилетиями) становится рыбы, а сейчас он вдруг как бы обнял двумя руками всю синюю чашу Океана и сказал:

— Ай, рыбы, рыбы! Все суда на свете, все рыбаки — лови, лови, еще триста лет ловить будешь!

Я удивился и переспросил: почему триста? И разве не хватит рыбы навсегда?

— Все кончается когда-нибудь на свете, — сказал старый Пихель, — может, триста, может, четыреста...

А Роберт подумал и сказал:

— Двести пятьдесят...

Папа Карло стал с ним спорить и, противореча себе самому, доказывал, как, мол, ловили раньше и как теперь, какой стал флот хотя бы здесь, в колхозе, не говоря уже обо всех рыболовецких флотилиях.

Роберту было неинтересно слушать, он в конце концов повернулся и ушел от нас, а я подогрел старика еще двумя-тремя вопросами, и он унесся в воспоминания...

Он худ, подвижен, даже суетлив, всегда занят, торопится, быстро и много говорит с сильным эстонским акцентом, хотя родился и вырос здесь, в поселке, который и до сих пор еще называют Лифляндией, и на карте мыс, выступающий отсюда в залив, тоже называется Лифляндским.

Пихель — один из главных колхозных активистов, один из основателей, он живой, добрый, отзывчивый, говорливый, малость чудаковатый человек (отсюда и его прозвище), и, разумеется, он все знает о своем селе, о колхозе, о каждой семье, все помнит, и слушать его можно много вечеров подряд.

К сорокалетию колхоза, которое торжественно отметили в прошлом году, сделали памятные альбомы и в один из них собрали по селу фотографии, так или иначе относящиеся к становлению колхоза. Я взял этот альбом, попросил Пихеля сесть рядом и просто прокомментировать мне каждую фотографию.

Пихель еще более оживился, обрадовался, мне даже показалось, что он прежде не держал в руках этого альбома, — он едва не водил носом по каждой карточке, всматриваясь в туманные, подпорченные, треснутые или полуоборванные изображения.

Едва не на каждом коллективном снимке Пихель радостно находил самого себя: молодого, узколицего, красивого, в кепке с большим козырьком, какие носили в тридцатые годы. Я переворачивал страницы, а Папа Карло возбужденно кричал:

— Это Мирон, Степан Мирон, да! Молдаванин!.. Да, в нашем колхозе были все: молдаване, эстонцы, русские, корейцы, чехи — интернационал, новый мир! Мирон был хороший шкипер, бригадир, лицо немножко испортила оспа — ничего!

Он жив, жив, на пенсии, хороший старик, да!.. А этот мальчик, видите, он маленький, годика четыре, ай-яй-яй, какая старая карточка!.. Этот мальчик, сын Мирона, Мишенька, Миша, он погиб, пропал без вести на фронте, да... О, а это Йсак Пихель, мой брат, да-да, мой старший брат, о, он такой аккуратный, галстук, хороший костюм, а он был старый партизан, да, здесь, на Сучане, о нем я вам еще расскажу...

С каждой новой фотографией Папа Карло приходил все в большее возбуждение.

— Да, красавцы, красавцы! Все были красавцы! Это Вальтоны. Видите, их два брата, две сестры... Вот как сидят, как смотрят! Красавцы!.. Этот уже умер, этот на пенсии... А это теща председателя, Мария, ах какая была красавица! А дочь ее не красавица?..

— Это наш первый пасечник Наум Юдин, видите, какой бородатый старик!

— С гармошкой — это Пальпетру, молодой, мой приятель! Это был золотой парень! Он тоже погиб на войне...

— О, а это моя мать, да! Анна Пихель, из первых колхозниц, видите, они идут с покоса, поют песни. Мать любила колхоз, все бедные любили колхоз, все работали!..

— А это наш первый трактор, смешной трактор, да? Это мы стали уже богатые, купили трактор!.. Сейчас у нас восемь тракторов, тринадцать грузовиков, а тогда был один, а?..

— Да, это детский сад, ясли... Женщины уходили на работу — на отцепку рыбы, плели сети, у нас была большая бригада, одни женщины, целая мастерская, сами плели сети. Потом купили восемнадцать станков, женщины научились быстро — тук-тук-тук-тук, — другая работа!.. А детки в ясли...

— Это наш первый садовод Шоберг, да!.. О, сад уже не тот, на него напали червячки, он стал плох, а был такой сад! Яблоки, груши, ягоды! У каждого дома виноград!..

— А это бригада, да, после путины! Вот я! Да, это я, такой молодой!.. А это вся молодежь у старого клуба. Не сравнить с новым клубом, а? Но в старом было весело, ай как весело, в новом так не бывает, скажу вам точно! Вот они мы, да! Молодые!..

С последних фотографий глядели в большинстве юные, чистые лица парней и девушек, здоровых и веселых, одетых по-летнему в белое, светлое. Прически тех лет, моды, кепи, туфли с носочками, береты. Но, главное, выражение лиц: то выражение, которое мы видим теперь в хронике или на фотографиях начала тридцатых годов, — выражение энтузиазма и восторженности. Так и представляешь себе, с какой комсомольской страстью, с восторгом молодости и веры они пели: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»

Пихель растрогался, и мы просидели бы еще долго над старым альбомом, но тут пришли из мастерской, позвали Пихеля, и он спохватился, побежал, доставая из кармана кучу бумаг, накладных, требований и уже о чем-то споря, что-то доказывая пришедшей за ним женщине в ватнике, закутанной в теплый платок...

СОЧИНЕНИЕ

Пока ребята писали, я сидел в учительской, на первом этаже, и ждал, когда они закончат.

Это я им придумал такое сочинение: «Что я знаю о своем колхозе?» — и директор Михаил Иванович не возражал, и учительница литературы Рената Павловна тоже не возражала, тем более что по плану у нее как раз было сочинение — правда, по «Евгению Онегину».

Я ждал и думал, что эта учительская в деревенской школе на краю, так сказать, земли похожа тем не менее на все учительские, и сама школа, кирпичная, двухэтажная, с просторными коридорами и классами, тоже похожа на все

школы: и нянечка в синем халате, и стенгазета на стене, и раздевалка... Впрочем, нянечка, например, шла по коридору с медным большим колокольчиком, грясь его изо всей силы...

«Пять лет назад, — написала потом в своем сочинении Валя Юринская, — мы учились в маленькой деревянной школе, и хотя очень радостно было переходить в новую школу, но как-то грустно было расставаться со старой». Беленькая, задумчивая Валя мечтает стать учительницей, и поэтому она писала о школе и учителях. «Сейчас учителя учат нас по новой программе, ближе к духу прогресса, науки и техники. Но не только чтобы мы вышли грамотными, но и стойкими по духу». И еще она написала такую афористическую фразу: «Самый строгий учитель — история»... Впрочем, я забегая вперед.

Итак, я думал об этой маленькой школе с восемью классами, стопятьюдесятью учениками и одиннадцатью учителями, об учительнице, которая работает двадцать четыре года, и о молодой «англичанке», которая работает в школе совсем недавно. Я вспомнил, что, по данным ООН, через десять лет в связи с демографическим взрывом профессия учителя должна стать самой распространенной на земле.

Я уже знал, что ребята, учившиеся в этой школе, плавают теперь на судах, учатся в институтах или работают здесь же, на месте. Маленькая деревенская школа, а те же проблемы, требования, стремления, какие и повсюду... «Ближе к духу прогресса, науки и техники...» Да и как же не ближе? Вон на шкафу рядом с привычным глобусом Земли буднично соседствует коричневый лунный глобус. Дети незаметно узнают за пять-шесть лет то, чего не знали или не знают родители. Жизнь сложна, изменчива, быстротекуща, перенасыщена информацией, и дети совсем не такие, какими были дети двадцать или десять лет назад.

Когда я вошел в восьмой класс, на меня глядели милые лица, мальчики и девочки были хорошо одеты, аккуратны, держались с той скромностью и деликатностью, которой отличаются деревенские ребята. Говорить с ними было приятно, хотя почти все были скованы в первые минуты невероятной застенчивостью.

Мне помогала боевая, легкая, быстрая, немного резкая Рената Павловна, и класс понемногу расшевелился. Я объяснил им, что ищу в них помощников, что будет лучше, если сразу человек двадцать станут собирать информацию о колхозе, но хотелось мне, конечно, прежде всего узнать, какие они, дети «Нового мира», что они знают, что любят, чего хотят.

К сожалению, сочинения — когда Рената Павловна принесла листки, мы сели вместе читать их в учительской, и Рената Павловна, а заодно и другие учителя попутно рассказывали о каждом авторе сочинения, — к сожалению, повторю, большинство сочинений огорчило меня похожестью официально-дежурных фраз: «Наш колхоз развивается и растет... план добычи в прошлом году был значительно перевыполнен... наши колхозники достойно выполняют свой долг...» и т. п. Это было верно, правильно и хорошо, что ребята знали и хотели говорить об этом, но высказано было скучно, сухо и так не вязалось с лицами детей, с тем местом, где они живут, с прекрасным видом залива и сопков за окном!

Бог ты мой, сколько говорится, пишется, криком кричится о засорении русского языка, о штампах, о стандарте, об обезличке слова! Язык информации или язык лозунга хорош на своем месте, но нельзя делать эту стилистику общезыковой. Кому как не школе отстаивать чистоту языка от языка докладов и скучных лекций, стандартных радиопередач и пионерских монтажей-приветствий! Разве задача воспитания и образования — в нивелировке, а не в выявлении и развитии индивидуальности, самобытности? Сочинения крестьянских детей в яснополянской школе поражали Толстого своей непосредственностью. Представьте себе, в какой бы ужас пришел Лев Николаевич, прочитав подряд десять детских сочинений, написанных одинаковым газетным языком!..

В чем же дело? Что это за практика, когда ученику выгоднее отбарабанивать сочинение языком газеты или учебника и почти всегда о паснее раскрыть

заданную тему по-своему, что называется, своими словами? Зачем эта формалистика, которую, кстати, осознают и в душе презирают и ученики и учителя?..

Но слава богу, что те же самые дети способны на другой день, после того как поговоришь с ними по-человечески и объяснишь, в чем дело, написать другие вещи и другие слова!..

Мы так и сделали с Ренатой Павловной: поговорили с ребятами, выяснили, что бы хотелось каждому написать конкретно, у кого к чему больше душа лежит, и на следующий день я читал уже нечто иное...

Анджела Пятова: «Наш колхоз расположен на берегу залива, холодные ветры редко проникают сюда, и штормы бывают редко. Летом наше море сравнить, пожалуй, ни с чем нельзя. Особенно прекрасна в яркий солнечный день, на фоне зеленой природы голубая даль воды. Здесь так хорошо отдохнуть, искупаться, побродить по берегу: море никогда не испортит вам настроения. А больше всего на свете я люблю сидеть вечером где-нибудь у самой воды и вслушиваться в плавную речь волн. Каждый день волны рассказывают нам о своих секретах, и всегда это что-то новое, чего мы до этого времени не слышали...»

Анджела — миловидная, черненькая девочка, глаза у нее живые и умные. Отец ее — начальник радиостанции на самом большом судне колхозной флотилии. Но «Коммунист Украины» сейчас в рейсе, и рейс этот будет продолжаться год! Поэтому Анджела написала еще и о корабле и об отце, о том, как она побывала на борту морозильщика. «Утром мы с сестренкой встали раньше обычного и ждали, когда папа придет за нами. Но вдруг мама нам говорит, что нам придется самим добираться на корабль, так как у папы много работы. «Коммунист Украины» стоял на рейде, далеко в бухте, но к нему постоянно ходил маленький сейнер, поэтому добраться на корабль нам не составило никакого труда. Пока я не увидела корабля, меня не охватывало никакое чувство, а тут мне вдруг показалось, что я вступаю в колонный дворец... Папа сразу повел нас в рулевую рубку, там было много интересного. Особенно мне понравился локатор, в который во время лова наблюдают за косяками рыбы, но и без работы в него глядеть очень интересно. Затем папа показал нам свою радиорубку и трансляционный узел, в радиорубке было лучше, папа показывал радиопередатчики и как они работают... Мне очень понравилось у папы, и жаль было расставаться и с судном и с ним. Но ничего, через 12 месяцев он снова вернется к родным берегам...» (Как будничны эти «12 месяцев»!).

Да, а в прежнем своем сочинении Анджела написала о том же корабле вместо «колонного дворца» таким образом: «Одним из передовых судов нашего колхоза является БМРТ «Коммунист Украины», коллектив которого возглавляет опытный капитан М. А. Мокшанцев...» и т. д.

Но продолжим. Очень застенчивый, чистенький, беловолосый Валя Храмцов, отец которого погиб в море (Валя его не помнит), мечтает быть моряком. Оба его старших брата учатся — один в мореходном училище в Находке, другой в морской школе во Владивостоке. О чем написал Валя? О море? О морях? Нет. О своей матери. «Моей маме сорок три года. На ее долю выпала нелегкая жизнь. В детстве она лишилась самого дорогого на свете, осталась без матери, и с ранних лет познала тяготы жизни. Постоянные хлопоты и заботы не оставляют ее и теперь. Вот уже двенадцать лет она работает в колхозе почтальоном. Она знает всех, и ее все знают. Работа у нее нелегкая, но она ее любит. Она всегда с настроением выполняет доверенное ей дело. В любую погоду — и в дождь, и в снег, и в злой мороз она разносит колхозникам газеты, письма, журналы. В каждом доме мама желанная гостья. И мама сама обязательно читает все газеты и журналы и смотрит также все фильмы, хотя свободного времени у нее очень мало, так как она вырастила без мужа, одна, трех сыновей да хозяйство требует большого ухода. Я горжусь своей мамой...»

О своих родителях, о своей семье написала и Надя Луйк, полненькая веселая девочка с аккуратными косичками, в нарядной кофточке. Луйки — одна из самых многочисленных семей в колхозе, у них одиннадцать детей, и нетрудно

представить себе, как нелегко жилось этой семье. Теперь почти все дети выросли, стали взрослыми и, как написала Надя, «сами стали родителями».

Вот Надин рассказ: «Мои папа и мама участвовали в создании колхоза. Очень тяжело жилось им в те годы. Они остались неграмотными, потому что им тогда было не до учебы. А когда стала хорошесть колхозная жизнь, началась война. Правда, мой отец не был на фронте, он работал на своем судне, но они тоже вылавливали мины в нашем море, это было опасно. И вообще тогда был голод и холод, дети хотели есть, но есть было нечего, хорошо, спасала иногда рыба. В молодости мой отец плавал на колхозных судах мотористом, но их, конечно, не сравнить с нынешними, а мать и на полях, и на обработке рыбы, на отцепке. Тяжек был труд, но ничего не поделаешь... Также с самого детства в колхозе начинали работать мои старшие братья и сестры: выходили с отцом в море рыбачить, все мои братья — рыбаки. И сейчас один мой брат тоже на путине. Моему отцу более пятидесяти, в моря он уже не ходит, но работает в колхозе плотником, ремонтирует колхозные суда. А мать работала в молодые годы на судах, а также в колхозном саду, а теперь в колхозном комбинате бытового обслуживания. А некоторые поужезжали. Вот скоро из рядов Советской Армии вернется еще один сын, и мы думаем, что он тоже обязательно поступит в колхоз...»

У высокой красивой девочки Оли Дудкиной тоже большая семья: три сестры, два брата, отец рыбак, работает на сейнере засольщиком, и, видимо, со слов отца она написала целый рассказ о том, как попало в шторм колхозное судно «Таллин» у Курильских островов. Я не буду приводить его здесь, он довольно велик, но, во всяком случае, я снова порадовался, что девочка написала о конкретных вещах своими, безыскусными словами.

Маленькая, живая, темненькая Ира Кириенко неожиданно принесла стихи:

Счастье бывает разное,
Счастье есть у многих людей,
Счастье бывает большое и малое,
Но счастье и такое есть:
«Счастье» — это название траулера,
Который уходит в плаванье,
Расстается надолго с гаванью
И с родимой русской землей.

— И это все? — спросил я у Иры.

— Еще можно сказать, что ушел в октябре семидесятого года и еще не скоро вернется...

Еще одно сочинение, Валерика Кестера, тоже было посвящено родителям, вернее отцу — рыбаку, мотористу; Саша Ларьков написал о капитане СРТМ (средний рыболовный траулер-морозильщик) «Свободный»; еще двое-трое ребят писали о новостройках колхоза и о его десятилетнем плане строительства, по которому в колхозе должны быть построены пяти- и даже девятиэтажные дома.

Однако больше мне понравилось сочинение Наташи Уллы. Или, может быть, потому, что сама Наташа мне понравилась, ее милое лицо, застенчивость, ее тихое достоинство. Очень милая девочка! И учителя говорили про нее добрые слова, и родители, с которыми я потом познакомился, и ребята. Впрочем, и сочинение было хорошее, даже в первом своем варианте. Оно вышло у Наташи довольно длинным, и я приведу только отрывки: «Все мне нравится в нашем колхозе: и постройка новых домов, развернувшаяся в последние годы, и старые дома, утопающие летом в зелени, и колхозный сад, и сами колхозники. Но особенно мне нравится море с его тихой, редко бушующей гладью, с криком летающих над ним чаек. Наше море исключительно разнообразно рыбой: сельдью, скумбрией, анчоусом, камбалой, окунем, корюшкой, минтаем и многой другой.

Природа наша по своей красоте ни в чем не уступает морю, и поэтому я также ее очень люблю. Я люблю лес с его зверями и птицами, лес — это наше богат-

ство, его надо охранять, но не только потому, что он богатство, а потому, что в нем живут звери и птицы. У нас растут береза, осина, дуб, липа, ольха, дикие яблони и груши, слива, бархатное дерево, маньчжурский орех, черемуха, виноград. А из птиц у нас гнездятся фазаны, рябчики, ласточки, сороки, синицы, дятлы, снегири, кукушки и много других. Водятся у нас также и звери. Конечно, раньше их было больше, но из-за вырубки звери ушли в глубь тайги. Много в нашем лесу грибов, трав, диких ягод, цветов, а летом бабочек и всевозможных насекомых...

Еще я очень люблю читать книги. И я не представляю, как можно жить в наше время, если не читать книги. Все свободное время я читаю. Книги я чаще всего беру из библиотеки. Комната, отведенная в нашем колхозном клубе под библиотеку, небольшая, но выбор книг большой. Сначала это была просто читальня, уже давно, и она принадлежала государству, а потом читальня перешла в фонд колхоза и стала постепенно библиотекой, в которой сейчас насчитывается 7 тысяч томов, не считая журналов, а записано читателей 629, из которых 152 ученики — вся наша школа».

Дальше Наташа пишет о библиотекарке Екатерине Прокофьевне Вальдман, которая работает здесь уже почти двадцать лет и трудами которой, собственно, и была создана колхозная библиотека. Я, естественно, зашел в клуб, познакомился с Екатериной Прокофьевной и действительно был приятно удивлен и обилием книг, и интеллигентностью Екатерины Прокофьевны, и ее хлопотами, заботами: она хлопочет о специальном помещении для библиотеки, и председатель обещал, что такое здание будет построено. Кроме того, она комплекзует передвижки для уходящих в море судов, много работает со своими читателями, особенно юными. Тот недостаток книг, который существует у нас и который ощущается даже этой маленькой деревенской библиотекой (мы знаем, как много издается литературы в нашей стране, но спрос все-таки не удовлетворяется: у людей есть средства, есть огромная жажда купить нужную книгу, а трудно приобрести даже классику), Екатерина Прокофьевна старается восполнить обилием журналов: она выписывает на библиотеку 13 газет и 66 журналов!

Мы поговорили, конечно, и о журналах, и о новинках, в них напечатанных, и о том, как нелегко укомплектовать библиотеку, приобрести книги хотя бы для детей, дошкольников и школьников. Я, естественно, сказал о дефиците бумаги в стране, выступая почти в роли представителя Комитета по печати, но колхозный библиотекарь разумно возразила мне, что никаким дефицитом не объяснишь того, что те книги, которые читаются и имеют спрос, издаются маленькими тиражами, а иные из тех, которые не имеют широкого спроса, заполняют базы и магазины... Что я мог на это сказать?..

Но вернемся к Наташе. Она закончила свое сочинение такими словами: «Я очень люблю свой колхоз и его природу, и для меня нет места роднее».

— Рената Павловна, — спросил я потом учительницу русского языка и литературы, показывая ей эту фразу из сочинения Наташи, — неужели в этих словах недостаточно патриотизма, любви к людям, чистоты души? Неужели все эти понятия надо выражать только лозунгово, газетно?..

— Господи! — с резкостью и прямотой сказала Рената Павловна. — Как будто мне это надо?.. Я их, наоборот, учу человеческому!..

— Ну что вы, я вас не виню, я вам сочувствую...

— Сочувствовать мало, надо помогать...

Что ж, справедливо. Конечно, надо помогать, надо всем думать об этом, надо что-то делать. «Уж если нету чувства слова, — как сказал поэт, — то просто чувство быть должно...» История — строгий учитель, и как бы она не поставила нам двойку за то, что дети научаются столь скучно и официально излагать свои мысли и чувства, как это случилось с первым вариантом сочинений.

Но, слава богу, повторяю, что Анджела есть Анджела, Валя Храмцов — Валя Храмцов, Надя — Надя, что они хорошие, живые, настоящие дети...

Мы пошли потом домой к Наташе, она мне рассказала о своем доме, о своих родителях. Мы шли по пустой белой деревне, где заборы сделаны из старых сетей

и гамаки из сетей, где мало снега и только снежно блестит замерзший залив с двумя маленькими, вмерзшими в лед у причала сейнерами «Бийском» и «Глобусом» (они на ремонте).

Потом мы долго сидели с матерью и отцом Наташи, переговорив обо всей жизни. Их старшая дочь вышла недавно замуж; и хромой Улла, который плавал много лет и ловцом и радистом, а теперь работает кочегаром на отоплении новых больших домов, показывал мне дом, сад, хозяйство; и смотрели телевизор; и договорились о рыбалке, потому что Улла заядлый рыбак-подледник; и еще мы что-то делали и о чем-то говорили. И все это долгое время моя милая Наташа сидела в другой комнате, прикрыв дверь от шума, и читала.

— И все читает, читает! — говорил отец. — Гулять лучше не пойдет, а будет читать! Хотя бы вы ей сказали, вредно же!..

— Почему же вредно? Полезно. Пусть читает! — Я не мог скрыть улыбки.

Мне в самом деле было радостно и хорошо на душе оттого, что девочка читает, потому что ею уже оправдана и двухэтажная школа, стоившая много денег, и труд одиннадцати учителей, и работа еще тысяч людей, и само существование колхоза, и многое, многое другое...



ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВА

★

ГЛАЗАМИ ЭКОНОМИСТА

В отличие от литераторов экономисту, чтобы понять, чем живет колхоз «Новый мир», нужно не только узнать о труде рыбаков, увидеть ремонтные мастерские, новостройки поселка, но и познакомиться с толстыми томами годовых отчетов. За колонками цифр чувствуется пульс деловой жизни, выясняются тонкие нюансы хозяйственной деятельности, открываются достижения, угадываются проблемы, волнующие и руководство, и каждого отдельного колхозника.

Нашими гидами в нелегком пути по этим томам были председатель Иван Алексеевич Шпарийчук, начальник планово-экономического отдела Валентина Дмитриевна Стукалова, колхозные инженеры, экономисты и плановики. Цифры убедительно показывают, что «Новый мир» — один из крупнейших колхозов Дальнего Востока. Четвертая часть всей рыбы, выловленной колхозными флотилиями Приморского края, приходится на его долю.

Организованная в январе 1930 года, артель непрерывно растет численно и крепнет экономически. В год создания «Новый мир» насчитывал всего восемьдесят колхозников, сейчас их — около девяти сот.

Колхоз в основном специализируется на добыче и переработке рыбы. Из других направлений его деятельности можно выделить сельское хозяйство, культурно-бытовое и жилищное строительство, судоремонт. Их значение весьма велико. Однако на экономические показатели эти отрасли влияют незначительно. Например, товарная продукция сельского хозяйства составила в 1966 году 0,5 процента общего объема, а в 1969 году и того меньше — 0,07 процента.

В 1930 году рыболовный флот колхоза состоял из одного моторного катера мощностью 12 л. с., двадцати шести парусных вельботов, нескольких плоскодонных кунгасов и гребных лодок. С такими судами, конечно, далеко в море не уйдешь. Поэтому занимались только прибрежным ловом. В 1961 году «Новый мир» имел один океанский сейнер, шесть рыболовных сейнеров РС-300.

Сейчас в колхозе насчитывается четырнадцать океанских промысловых судов, оборудованных по последнему слову техники и приспособленных для активного поиска и добычи рыбы в весьма отдаленных районах океана. Общая стоимость флота превышает 9 миллионов рублей. Рыбаки ведут промысел у побережья Камчатки, Курил, в Беринговом море, Бристольском и Олюторском заливах.

В течение нескольких десятилетий в «Новом мире», как и в других рыболовецких колхозах, занимались исключительно промыслом рыбы, а ее переработку осуществляли государственные предприятия. В 1968 году колхозная флотилия пополнилась траулерами-морозильщиками. Теперь часть улова сдается в виде готовой продукции — потрошенной замороженной рыбы, филе, рыбьего жира и т. п. Флагман колхозного флота — большой морозильно-рыболовный траулер «Коммунист Украины» — настоящий плавучий завод, способный в условиях длительного автономного плавания добывать и перерабатывать значительное количество самой разнообразной рыбы. План добычи рыбы для БМРТ, который,

кстати сказать, колхозники перевыполняют, устанавливается в объеме 75 тысяч центнеров, что в восемь раз превышает общий план добычи колхоза 1930 года.

Всего в прошлом году колхозники «Нового мира» сдали государству около 420 тысяч центнеров рыбы, выполнив план на 124,3 процента.

Чтобы понять значение этой цифры, стоит провести любопытный подсчет. В настоящее время средний размер потребления рыбы в нашей стране на человека составляет примерно 16,7 кг в год. Следовательно, один только «Новый мир» накормил рыбой более 2,5 миллиона человек. Это все население Киева и Минска, вместе взятых!

Еще более грандиозны планы новомировцев. Они рассчитывают выловить за предстоящее пятилетие 4,5 миллиона центнеров рыбы и довести к 1975 году годовой улов до 1 218 тысяч центнеров.

Высоки и экономические показатели деятельности колхоза. Неделимые фонды за последнее десятилетие выросли в пятнадцать раз и составили в 1970 году около 10 миллионов рублей. Неуклонно повышается валовой доход колхоза. В 1930 году — 39 770 рублей (в новом денежном выражении), в 1939-м — 168 тысяч, а в 1969 году — около 7 миллионов рублей.

Средний заработок колхозников также весьма высок. У рыбаков он доходит до 450 рублей в месяц. Это способствует притоку кадров в «Новый мир» со стороны. Правление вынуждено ограничивать прием новых членов. Естественно, предпочтение отдается специалистам высокой квалификации.

Но среди цифр, извлеченных из отчетных документов, попались и такие, которые не могли не вызвать удивления. Понять, какие за ними стоят проблемы, оказалось не просто.

Разобраться в этом деле нам помогли председатель Крайрыбакколхозсоюза — объединения колхозных рыбаков Приморья — Л. С. Киселев, его заместитель Д. Г. Халецкий, заведующий отделом главного управления «Дальрыба» В. В. Киданов.

В первые годы существования артели, как уже отмечалось, рыбаки «Нового мира» ходили только на прибрежный лов. Соответствовала этому и система договорных отношений с государственными перерабатывающими предприятиями. Наполнив трюмы рыбой, колхозные суда направлялись к береговым рыбокомбинатам, с которыми у них были заключены договоры на сдачу улова.

В настоящее время положение дел коренным образом изменилось. Колхозные суда ведут промысел в открытом море бок о бок с судами государственного флота. Сейнеры и траулеры, на которых не оборудованы холодильные установки — а таких еще очень много, — должны сдавать свои уловы непосредственно в районе промысла прикрепленным к экспедиции плавбазам. Таким способом «Новый мир» сдает около двух третей добываемой рыбы. Казалось бы, эти отношения и должны быть оформлены договором между колхозом и управлением флота, которому подчиняются плавбазы. Но система договорных отношений осталась той же, что и несколько десятилетий назад. То есть колхозы заключают договоры с береговыми рыбокомбинатами. И уже от их имени сдают свой улов плавбазам, а договор на сдачу рыбы заключается между береговым комбинатом и управлением перерабатывающего флота. Получается весьма путаная и странная система отношений. Одно звено в ней — береговой комбинат — реально в деле не участвует, а в бумагах значится. В то же время колхозы, которые превратились в крупные предприятия, не только добывающие рыбу, но и выпускающие готовую продукцию, формально по-прежнему остаются как бы «цехами» береговых предприятий. Причем это не равноправные цеха, а цеха-пасынки.

Представим себе такую картину. Колхозное судно подходит к плавбазе, чтобы сдать улов. Вместе с ним подходит и государственный траулер. Кому в этих условиях отдается предпочтение? Разумеется, прежде всего «своему». А колхозники ждут. Три часа ожидания — и они имеют право потребовать штрафных санкций на основе договора с рыбокомбинатом. А через сутки улов можно выбросить за борт, так как рыба уже испорчена, а все убытки в соответствии с тем же догово-

ром должны быть возмещены. Колхозники обращаются в суд с иском на «Восток-рыбхолодфлот». Первый вопрос в суде:

- У вас есть договор с «Востокрыбхолодфлотом»?
- Нет, у нас договор с рыбокомбинатом.
- Так с него и нужно взыскивать убытки.

Подается иск на рыбокомбинат.

— Помилуйте, — говорят юристы рыбокомбината, — ведь не мы же принимали рыбу, не мы виной тому, что она испортилась! Почему же мы должны платить?

Круг замкнулся. Взыскивать не с кого. Судебное дело начисто проиграно.

Какой же выход нашли колхозные рыбаки из создавшегося положения? К сожалению, выход один — не ввязываться в судебные дела.

Юристы советуют колхозникам составлять акты о задержке приема рыбы прямо на месте, в море. Акт должны подписать обе стороны — и колхозники, и представители той организации, которая задержала прием. А им, конечно, подписывать акт не хочется. И тогда начинается примерно такой разговор.

Представители плавбазы. А вы кто такие?

Колхозники.

Представители плавбазы. Не знаем мы никаких колхозников. Мы имеем дело с рыбокомбинатом и будем разговаривать только с его представителем.

А где найдешь в открытом море представителя береговой организации? Чаще всего его на промысле нет. И вот результат: тонны испорченной рыбы выброшены в море, а колхозники остались у разбитого корыта...

Разумеется, такие вещи случаются далеко не каждый день, но они бывают и на них следует обратить самое серьезное внимание.

Настало время признать, что существующая система договорных отношений устарела. Очевидно, нужно разрешить рыболовецким колхозам заключать прямые договоры с теми предприятиями и организациями, которым они, согласно государственному плану, должны сдавать свою продукцию. Прямые договоры — мера, соответствующая направлению и духу разворачиваемой в нашей стране хозяйственной реформы. Они не только поставят колхозный добывающий флот в равные условия с государственным, но и усилят ответственность самих колхозников за выполнение принятых на себя договорных обязательств. Ведь при такой системе считываться колхозники будут не перед береговым дядей, сидящим за тысячи километров от них, а непосредственно перед организацией, которой они сдают свой улов.

Сама постановка вопроса о прямых договорах не нова. Однако его решение откладывается уже много лет. Дело в том, что одним из главных экономических показателей деятельности промышленных предприятий, в том числе и предприятий рыбной промышленности, является объем реализованной продукции. При нынешней системе по всем бухгалтерским документам выходит, что колхозный улов учитывается как реализованная продукция «Дальрыбы» по крайней мере дважды. Первый раз, когда береговые комбинаты «продают» его плавбазам, второй — когда плавбазы продают свою продукцию сбытовым организациям. А рыбы от этих бумажных операций больше не становится! Между тем такая система, напоминающая торговлю «мертвыми душами», существенно улучшает показатели работы многих государственных организаций. Потому-то они и против прямых договоров.

Конечно, можно встать в красивую позу и гневно осудить работников «Дальрыбы» за то, что они стараются улучшить показатели своих предприятий, даже если это идет в ущерб общегосударственным интересам. Но нам кажется, что вопрос должен стоять иначе. Руководитель того или иного подразделения обязан заботиться именно о частных интересах подведомственного ему объекта. А дело управляющих органов общесоюзного значения — создать такие условия хозяйствования для каждой ячейки социалистического общества, чтобы ее внутренние интересы совпадали с интересами общества в целом.

Другой вопрос, чрезвычайно важный для хозяйственной жизни колхоза, — закупочные цены на рыбу-сырец и на готовую продукцию. Цены эти значительно ниже тех, которые получают за свою продукцию государственные предприятия. Так, например, колхозы сдают сельдь — основной вид добываемой рыбы — по 26 рублей за центнер, а государственные предприятия — по 60 рублей. За центнер хека колхоз получает 25 рублей, а государственные предприятия — 34.

То же положение и с ценами на готовую продукцию. Например, центнер окуня потрошеного, без головы от рыболовецких колхозов принимается по 56 рублей, а от государственных предприятий — по 82 рубля, центнер хека такой же обработки стоит соответственно 45 рублей и 81 рубль.

По-видимому, первоначально эта разница выступала своего рода налогом, который колхоз косвенным образом — через рыбокомбинаты — вносил в бюджет. Одновременно более низкая цена на колхозную рыбу стимулировала комбинаты без задержки разгружать колхозные суда. Так это или нет — должно показать специальное исследование. Мы здесь затронем лишь существующее положение вещей.

В Приморском крайрыбакколхозсоюзе в ходу термин: стрижка купонов. Этой стрижкой занимаются в первую очередь рыбокомбинаты. Заключив договор с колхозом на рыбу, сдаваемую, например, судам «Востокрыболодфлота», комбинат автоматически кладет себе в карман кругленькую сумму. Дело в том, что в договоре рыбокомбината с колхозом фигурируют закупочные (колхозные) цены, а в договоре того же комбината с «Востокрыболодфлотом» — оптовые цены промышленности. Разница в ценах составляет немалую долю прибыли комбината. Часть этой прибыли, разумеется, идет в виде отчислений в бюджет государства, а другая часть направляется на премирование работников рыбокомбината за хорошие производственные показатели, достигнутые (хотя бы частично) с помощью этой «игры» на разнице.

Ясно, что положение дел здесь явно ненормальное. Цены на рыбу и рыбную продукцию следует унифицировать. А для того, чтобы колхозы не оказались в лучшем экономическом положении, чем государственные предприятия, вносящие отчисления от прибыли в бюджет государства, целесообразно предусмотреть аналогичные выплаты и от колхозов. Именно так ставит вопрос Иван Алексеевич Шпарийчук. Эти отчисления можно производить либо в виде подоходного налога¹, либо в виде рентных платежей. О последней форме отчислений в бюджет сейчас много пишут экономисты. Не стоит в короткой статье предрешать, каким способом эти средства будут направляться в бюджет. Главное в том, чтобы они шли прямо от колхоза, а не таким окольным путем, как ныне.

Эта мера может изменить и отношение центральных управляющих органов к колхозному рыболовству. В настоящее время Министерство финансов по существу не видит пользы от того же «Нового мира». Колхоз будто бы ничего и не дает в бюджет. Но ведь на самом деле это не так! В Крайрыбакколхозсоюзе сделали любопытный расчет. Один только БМРТ колхоза «Новый мир» в 1969 году дал государственным организациям за счет разницы в ценах ни много ни мало — миллион двести тысяч рублей. А в 1970 году — еще больше.

Таким образом, за два года колхоз по существу выплачивает государственным организациям почти полную стоимость своего БМРТ. Она составляла 2600 тысяч рублей. И это после того, как колхоз купил его у государства за полную стоимость!

Если бы эти средства прямо отчислялись в государственный бюджет, то и отношение к колхозу могло быть совсем другим. Возможно, назревший вопрос о покупке рыболовецкими колхозами новых больших траулеров (см. подробнее об этом в статье Е. Лопатиной «Иван Шпарийчук, председатель») решался бы более просто, если бы высшие плановые и финансовые органы увидели прямую экономическую выгоду от расширения колхозного производства.

¹ В настоящее время рыболовецкие колхозы в отличие от колхозов сельскохозяйственных не платят подоходного налога.

Не меньшее значение имеет совершенствование системы цен. Возьмем, к примеру, минтая — рыбу, имеющую сравнительно невысокую пищевую ценность. Закупочная цена на нее 5 рублей за центнер, а себестоимость около 8 рублей. Добыча ее для колхозов, как правило, прямой убыток.

Один из руководителей Крайрыбколхозсоюза остроумно заметил, что колхозам выгоднее не ловить минтая, а поставить суда на прикол и нанять сторожей для их охраны. Обойдется значительно дешевле. Значит, хозяйство вынуждено покрывать убытки от добычи минтая прибылями, полученными, скажем, на сельди.

Рыбаки «Нового мира» в прошлом году выловили 144,5 тысячи центнеров минтая — примерно треть всего годового улова. Вот и считайте, сколько потеряли на этом колхозники!

Руководители Рыбакколхозсоюза поставили вопрос следующим образом: цены нужно установить так, чтобы колхозу было (хотя бы примерно) равно выгодно ловить любую породу рыб. Тогда он с готовностью согласится выполнять плановые задания. А сейчас конфликты неизбежны. Колхозы любыми средствами пытаются изменить свои задания в пользу высоко rentабельных видов. Иногда им это удается. Дело в том, что в разное время года ловится рыба разных видов. Ремонт своих судов колхозы пытаются приурочить к тому времени, когда ловятся наименее rentабельные виды, например, тот же минтай. В результате ремонт судов начинает носить сезонный характер, что ломает ритм работы ремонтных заводов.

* * *

Знакомство с экономикой колхоза «Новый мир» заставляет задуматься о многом. Радостные итоги соседствуют с целым комплексом сложных проблем. И, пожалуй, все они упираются в одну — правильную оценку экономической эффективности колхозного рыболовства. А дать ее в нынешних условиях — дело отнюдь не легкое.

Рыба, уже взятая на борт колхозного сейнера, так долго «плавает» по слишком разветвленным каналам учета и отчетности, что подчас по документам трудно понять, кто и сколько труда внес в ее добычу и переработку. А отсюда целый клубок недоразумений, взаимных претензий, конфликтов. Клубок этот надо распутать. Необходимо построить такую систему отношений между рыболовецкими колхозами и государственными организациями, которая будет выгодна и каждой артели, и всему обществу в целом.



ВЛАДИМИР ПОПОВ

★

ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА

Мне довелось бывать в местах, где расположен рыболовецкий колхоз «Новый мир», ровно сорок лет назад, когда группа комсомольцев судостроительного «Дальзавода» совершала экскурсию вдоль побережья Уссурийского залива до бухты Линде. Навстречу нашему пароходу выходили суда колхозного флота — весельные лодки, кунгасы, парусные баркасы, едва вмещавшие шесть рыбаков. И когда в редакции журнала мне рассказали о колхозе, имеющем флот в составе четырнадцати современных кораблей, восемь из которых ходят на промысел до Бристольского залива, до Лос-Анджелеса, а до последнего — двадцать пять суток хода, я охотно примкнул к группе товарищей, отправляющихся в дальние края.

А впрочем, далеко ли до Владивостока? Раньше было одиннадцать суток поездом. Сейчас — девять летных часов. Ну, а полтора часа от аэропорта до колхоза по прекрасному шоссе, то огибающему сопки, то взбирающемуся на них! Пейзажи здесь настолько своеобразны и неповторимы, что становится жаль, когда дорога кончается.

Воображение разыгрывает порой злые шутки. Колхозная судоверфь представлялась мне солидным сооружением, схожим с теми судостроительными заводами страны, где мне пришлось побывать. Увидев небольшой и довольно бедно оборудованный пирс, я был весьма разочарован. Однако, когда меня познакомили с цифрами, разочарование сменилось удивлением. Оказалось, что именно около этого пирса колхозники ремонтируют суда на четыреста тысяч рублей в год.

У колхоза свой механический цех, производящий все необходимые токарные и слесарные работы, и радиомастерская, которая ремонтирует не только рации, но и сложнейшие навигационные приборы.

Мы застали у пирса два судна, так называемые РС. Команда у них всего шестнадцать человек, двигатели в 300 лошадиных сил, трюмы для рыбы рассчитаны на 50 тонн. Но кончится путина — и пришвартуются у пирса и СРТР — траулеры-рефрижераторы и СРТМ — в просторечии морозильщики. Команды у них побольше — двадцать пять и тридцать семь человек, и трюмы покрупнее — на 120 и 145 тонн.

И только флагман колхозного флота — большой морозильный рыболовецкий траулер БМРТ — не может подойти к причалу. У него большая осадка. Сто пять человек команды, двигатели — две тысячи лошадиных сил, и может он принять в свои трюмы около 700 тонн рыбы.

Два раза в году каждый корабль проходит профилактический ремонт, и, как правило, у своего пирса. Ремонт своими силами обходится дешевле и производится быстрее: сказывается хозяйский подход к делу. Отношение к колхозной собственности стало более радивым, чем к личной, по той простой причине, что за личную собственность ты только перед собой в ответе, а за общественную — перед товарищами, перед их семьями, перед всем коллективом. Материальная заинтересованность и чувство ответственности — две силы, которые действуют в одном направлении, и не всегда можно определить, какая из них более значима.

Колхозники «Нового мира» — это матросы, ловцы, электрики, сетевязальщики, слесари, мотористы — словом, рабочие, владеющие на общественных началах средствами производства. Отсюда и предельно бережливое отношение к средствам производства.

Люди всемерно берегут судно и его оборудование во время плавания, знают, что каждый день лишнего простоя на ремонте влечет за собой затрату средств на содержание судна и главное — потерю улова. Сроки профилактического ремонта — он ведется в предельно повышенном темпе — значительно сокращаются.

Хуже обстоит дело с текущим ремонтом. Производится он раз в году в строгом соответствии с предписаниями регистра — этого неумолимого «смотрителя» судов. В этом случае судно приходится извлекать из воды, чтобы осмотреть, а если нужно, то и отремонтировать подводную часть корпуса, заменить обшивку, а иногда выправить шпангоуты, помятые во льдах. У колхоза нет собственного слипа — устройства для извлечения судов из воды, и приходится отправлять их для ремонта на специализированные заводы — государственные или колхозные.

Государственные заводы особых забот колхозникам не доставляют. Они ремонтируют добротнo и, как правило, выдерживают сроки. Мы побывали в бухте Находка, где на Приморском судостроительном заводе готовят к выходу в море СРТМ «Свободный». Это крупный корабль с двигателем в 800 лошадиных сил, район плавания у него неограниченный. Судно выйдет из ремонта досрочно, и колхоз с радостью уплатит полагающуюся премию — 0,2 процента от стоимости ремонта за каждый сэкономленный день.

На Приморском заводе четкая организация работ. Заранее составлен технологический график, каждый день каждая бригада знает, что и в каком порядке она должна делать, за ремонт судна в целом отвечает один человек, так называемый строитель (на других заводах — прораб), и он координирует работу всех бригад, стремясь, чтобы ни одна из них не мешала другой, не портила только что сделанное. Здесь не приходится электрикам взламывать отремонтированную обшивку каюты, а плотникам вновь ее восстанавливать.

Но вот колхозный или, вернее, межколхозный завод в Подъяпольской бухте доставляет владельцам судов немало огорчений и хлопот. Он ремонтирует суда долго и дорого. Когда на заводе не хватает материалов, завод требует их с колхоза. Мало того, требует и рабочих. Колхоз не прочь отремонтировать различные объекты своими силами и за свой счет. Но в таком случае не весь объем ремонта будет засчитан в план заводу, и начинается торговля. «Переведите своих рабочих в наш штат», — требует руководство завода. И деваться некуда, приходится переводить и оплачивать произведенный по сути своими силами ремонт втридорога.

Но бывает и так, как это произошло с РС «Глобус». Его корпус отремонтировал завод на своем слипе и, спустив на воду, две недели не приступал к дальнейшему ремонту: не было ни материалов, ни рабочей силы. И тогда по решению правления колхоза «Новый мир» отбуксировали «Глобус» к колхозному пирсу, где, нагнав упущенное время, закончили сами и выпустили судно в море досрочно.

Точно такая же история повторилась с «Бийском».

Вот эти два судна мы и увидели у пирса, когда появились в колхозе.

Так получается со сроками. А со стоимостью ремонта? Тут тоже просматривается любопытная картина.

Переделка рефрижератора «Талину» на кошельковский лов силами колхоза стоила 49,2 тысячи рублей, однотипная переделка «Пертоминска» на заводе обошлась в 90 тысяч рублей.

Так почему же кустарный, по сути говоря, ремонт обходится дешевле и выполняется быстрее, чем ремонт на специализированном предприятии? На месте этого выяснить не удалось. Пришлось ехать на завод.

Подъяпольская бухта глубоко врезается в сушу, незамерзающая, самой природой она создана для стоянки и ремонта судов. Здесь на базе бывшей судоре-

монтной мастерской, купленной колхозами «Приморский», «Новый мир» и «Первое мая», строится межколхозный судоремонтный завод. Двадцать один колхоз Приморского и Хабаровского крайрыбколхозсоюзов вложил в него восемь миллионов рублей и вложит еще столько же.

А пока что работает старый. И вот как это выглядит. Видели ли вы когда-нибудь суда, взбирающиеся на гору? Уверен, что нигде, кроме как в Подъяпольской бухте, такого нет. Два слипа, на которых устанавливают суда, расположены не на горизонтальной плоскости, а поднимаются так круто, что одно судно возвышается над другим метров на двенадцать. Это «чудо техники» создано по необходимости. Не было средств производить земляные работы, и слипы установили в распадке между сопками в соответствии с рельефом местности. Так на них работали, так работают и сейчас. А отсюда все следствия. Никакой механизации здесь не придумаешь, никакого крана не установишь, потому что ни один кран не сможет стоять под углом — он неминуемо свалится. Поэтому приходится все делать вручную. Можно легко себе представить, какова здесь производительность труда. Кроме того, суда на слипах располагаются гуськом, один за другим, и если какое-либо из них закончит ранее, чем расположенные ниже него, ему придется стоять до тех пор, пока нижние не будут спущены на воду.

А новый завод задуман хорошо, с размахом. Современный слип, наземную часть которого уже заканчивают, вместит четырнадцать судов, и расположатся они так, что любое из них можно спустить на воду в любое время. Будут созданы большие механический и достроечный цеха, мощное компрессорное хозяйство и все службы, которые необходимы крупному предприятию.

Но есть большой разрыв между замыслом и проектом, а также между проектом и его исполнением.

Проект изобилует ошибками, мелкими, досадными, исправление которых потребует дополнительной затраты труда и средств. Вот несколько примеров.

Причалные тумбы, или пушки, как их называют, расположены на расстоянии пятидесяти метров друг от друга. Могучие тумбы залиты в могучий бетон. Но ведь суда швартуются кормой, и на этом расстоянии их станет по меньшей мере пять. За что же их швартовать?

Электрпроводка. Кто не знает, что по правилам техники безопасности во время ремонта надо пользоваться двенадцативольтными лампочками, потому что более высокое напряжение опасно. А где для них проводка? Забыта. Забыта теми, кто делал проект, кто проверял его, кто утверждал его.

Слип. Уже заложены рельсы для крана по всей длине. И кран выделен, но вся беда, что он по этим рельсам не пойдет. Расстояние между головками рельсов 6 метров, а крану нужна колея в 6,5.

Не будем множить эти примеры, им нет числа. Но автора проекта назовем. Это «Дальколхозрыбпроект». Колхозам оказалось под силу не только строить заводы, но и создать собственный институт для их проектирования. Четыре рыбколхозсоюза — Приморский, Хабаровский, Камчатский и Сахалинский — выделили средства для его организации. Они и руководят его работой. Несколько раз в году собирается совет уполномоченных, который рассматривает накопившиеся за это время вопросы. Не мешало бы этому совету заняться вплотную качеством проектирования, невзирая на молодость института.

Теперь посмотрим, как реализуется проект, как строится завод?

Механический цех начал пять лет тому назад и до сих пор не закончен. Остались пустяки по сравнению с общим объемом, здание уже отапливают, но станки устанавливать в нем нельзя, и они лежат в ящиках под открытым небом. Их около пятидесяти, и многие лежат уже три года.

Слесари, токари, фрезеровщики пока что ютятся в старом сарае, ветхая крыша которого подперта разными хитроумными приспособлениями. Натопить этот сарай невозможно, и здесь холодно, особенно когда дуют ветры.

Так соседствуют они рядом — старый, начиненный станками холодный сарай и пустое, но теплое, светлое здание с великолепными бытовыми помещениями.

— Интересно получается, когда чужие бывают роднее своих,— рассказывают рабочие.— Причальную стенку делала сторонняя организация — «Примор-трансстрой», и мы беды с ней не знали. Отмахали триста восемьдесят метров, такому причалу любой завод может позавидовать. А механический цех строят свои — «Спецрыбстрой», нашего министерства, а хоть плачь, хоть ругайся — и в ус не дуют: и цех и дома замариновали.

Оказывается, механический цех не единственный объект, не доведенный строителями до конца. На пригорке стоят пять многоквартирных домов. Вернее, это не дома — это коробки с зияющими провалами окон, два из них даже не имеют крыш. Так стоят они более двух лет, продувают их ветры, мочат дожди. И каждую зиму возникают опасения, что напитавшиеся влагой стены промерзнут и дадут трещины. Это уже не омертвление средств — это истребление их. Таков стиль строителей. Сделали наиболее объемную, выигрышную часть работы и ушли, а то, что люди ждут квартир, их не волнует.

Рабочие Подъяпольского завода — кадровые. Чудеса рассказывают о токарях, которые вытачивают с огромной точностью сложнейшие детали, о дипломированных сварщиках, чью работу можно и не проверять, о героических корпусниках, работающих в любую погоду. Уезжать отсюда они не собираются, но они давно заслужили право жить в современных благоустроенных квартирах.

А что думают о положении на заводе в Министерстве рыбного хозяйства СССР? Думают правильно, по-государственному.

«Расширение судоремонта силами рыболовецких колхозов даст возможность высвободить часть мощностей государственных судоремонтных предприятий для увеличения объема ремонта судов Гослова и содействует уменьшению существующего разрыва между потребностью в судоремонте и наличием производственных мощностей», — говорится в одном из документов министерства, а далее устанавливается, что Приморский завод в Подъяпольской бухте является одним из наиболее важных объектов строительства и подлежит первоочередному вводу в эксплуатацию.

Значимость этого постановления легко понять, если учесть, что улов колхозного флота составляет одну треть улова всего Дальнего Востока. Причем колхозные суда сдают рыбу по ценам более низким, чем суда Гослова. Рыбозаводы быстро поправляют свои финансовые дела, если «питаются» колхозной рыбой.

Но любое постановление такого рода — это начало большой работы, а не конец ее. И в первую очередь выполнять постановление обязана та организация, которая его издает. Иначе оно превращается в бездействующую бумажку.

Мы видели, как идут дела на Приморском заводе, и нас еще более озадачила перспектива его строительства на 1971 год. Министерство рыбного хозяйства установило план подведомственной организации, «Примспецрыбстрою», всего-навсего — 200 тысяч рублей, на жилищное строительство не предусмотрено ни копейки. Значит, по-прежнему будут разрушаться коробки домов, значит, и в нынешнем году, как и в прошлом, не будет сдано ни одного квадратного метра жилплощади. Очень досадно, что Министерство рыбного хозяйства не выделило для этого завода генерального подрядчика, который координировал бы работу трех разных организаций, строящих завод.

Колхоз «Новый мир» — самый крупный в Приморье, и его доленое участие в строительстве завода выразилось в сумме 1600 тысяч рублей. Остальную сумму — 5750 тысяч — внесли двадцать колхозов. Все они крайне заинтересованы в том, чтобы завод как можно скорее стал работать в полную силу.



ВАСИЛИЙ СУХАРЕВИЧ

★

О ДУХОВНОМ И ТЕЛЕСНОМ

(Разговоры)

В ДОМЕ СТАРОГО РЫБАКА

— Скрипки я не делал!

Юган Карлович Тебак возраста преклонного, за правду стоит твердо и во всем. Мне так и сказали, что он никого не боится, всем все говорит в глаза. Чтобы сразу вовлечь его в разговор, я решил немножко подольститься. Как только он посетовал на свой слух, я начал кричать. И не совестно жаловаться на слабость, на худой слух? Пусть проклянут старость те, кто ни черта на земле не сделал! Кто прожил трутнем! А он? Куда ни зайди — всюду славят столбового колхозника, рыбака и матроса, столяра и музыкального мастера, многолетнего хозяина всех сетей — старшего неводщика рыбоколхоза, жестянщика и кузнеца, дирижера и певца, человека, который в самом первом списке членов колхоза был восьмым! В правлении над столом председателя реют паруса кораблей, это модели всех судов — кавасаки и шаланды, вельботы и кунгасы, в которых ловили здесь рыбу последние семьдесят лет, — их сделал Юган Карлович. Оркестр новаторцев завоевал вторую премию на краевом смотре в 1937 году ведь не только потому, что он им достойно дирижировал, но и потому, что все инструменты оркестра сделал сам — и звучали они поразительно.

— Но про меня напрасно говорят, что я скрипку сделал. Это неверно. Положим руку на сердце и признаемся: тут нужно высшее мастерство. Я музыку понимаю. Она с нами из Эстонии приехала. Мы на многие голоса пели — дискант, тенор, бас, контрабас... А капелла. Не так, как сейчас — под пианино и одним сопрано... Семьдесят инструментов я сделал, самые разные... кантеле, домбры, гитары, мандолины.

Он показывает мне кантеле, которое уж не может настроить, и его звучания я не смог оценить. А гитара недавно была где-то в гостях, ее настроили, взял я два-три аккорда как мог — превосходно звучит гитара. И по форме, и по строгой отделке красавица.

— Мы пели русские, украинские, молдавские, эстонские песни и даже одну индийскую, откуда-то завезли. Дружба народов у нас еще до революции родилась. Это может быть вам интересно — слушайте... Вам понравилось то, что иолхоз, как и ваш журнал, тоже называется «Новый мир», и приехали. Но если говорить честно, когда мы так свой колхоз называли, никто вашего журнала не видал и не читал. Сама жизнь это название дала. Что было в самом начале? Нужда сорвала эстонцев с насиженных мест. Мои родители сели в 1900 году на пароход добровольного флота «Кострома» и подались сюда, на Тихий океан. Здесь через три года родился я. Места эти в мое детство были глухие, кругом тайга, одного человека из поселка унес тигр. Еще страшнее тигров были рыбопромышленники. В двенадцать лет пошел в море юнгой на парусной шаланде,

палубу мыл, паруса чинил, руль держал, когда ветер несильный. Подросток, стал сети чинить, платили мне двадцать пять копеек в день и давали обед, а день был у нас рабочий от зари до зари. Весь улов собирали Мейстерсон Иван Михайлович и второй рыбопромышленник — имени не помню, а фамилия Погибель. Рыбацкий труд всегда артельный, и против Погибелей мы всегда держались вместе. Наши идеи жизнь рождала. Помню, мать моя еще в первую империалистическую войну сказала: «Нет бога! В библии сказано «Не убий», и если есть бог, то как он терпит такое безобразие и смертоубийство? Нет бога, одни черти остались!» Мы ни бога, ни черта не признавали — и за революцию воевали все как один. А когда разгромили белых и интервентов, появился в наших местах большевик Юган Ганслеп — он на океанских пароходах ходил, пожил в Англии, в Америке, весь мир повидал — он знал, что надо делать, где наше спасение, — и начали мы уже в двадцать четвертом году артелями рыбу ловить.

Это были первые ступеньки в новый мир — в артели вошли природные мореходы: эстонцы, украинцы, молдаване, был один чех. Эх, как закипела работа! Сами лес рубили, сами сушили, сами суда строили, сами сети плели. А когда в 1930 году колхоз оформлялся, здесь уже был новый мир, живой интернационал. Две руки я поднимал, когда Ганслеп предложил так и назвать колхоз — «Новый мир». Дух вас интересует? Быт? Нравы? Веселые были нравы. Не так, как сейчас: стенгазета выходит два раза — к маю и ноябрю. Тогда стенгазета выходила каждый день. И больше всего критиковали правление. Раз, помню, задумали они решить что-то не по-нашему, а мы собрали козлы, стремянки, бочки и заложили дверь, да так, что никто даже не услышал. И пришлось правлению со смехом через окно выбираться. Очень ценилась шутка. А пьянства и хулиганства не было. Старики, конечно, и тогда выпивали, молодые никогда. Выпьет юноша, а ему ведь по деревне идти. Засмеют, себя и весь свой род опозорит. Я должен, я имею право всю правду говорить.

Юган Карлович показывает мне билет. В нем аккуратно тушью выведено: «Решением правления, парткома и месткома рыболовецкого колхоза «Новый мир» от 15 января 1970 года Вам присвоено звание почетный колхозник». Подписи. Печать.

— А мне не почет нужен — порядок. Иногда думаю: жизнь так быстро прошла, ничего не успел увидеть, оглянуться не успел. А если бы второй раз пришлось выбирать, опять бы в море ушел. Разве сейчас море? Курорт! Пароходы по всему Тихому океану ходят, сетку машины тянут, рыбу автоматы обрабатывают, краны грузят. А мы все только на своих горбах тянули. Парус зимой обмерзнет — бац по рукам, и нет кожи. Мне кажется, забываем это... Время сейчас такое, не одни рубли нужны — интерес нужен. Собрание идет — начальство говорит, мы говорим, а молодые по углам сидят. А мы прежде опирались на молодежь. Мне кажется, приходи председатель, поговори, обратись к парням и девушкам отдельно — они в своей среде сразу разговариваются. Возьмите тот же клуб. Мы прежде сами по очереди полы мыли, а сейчас штатные работники есть — в домино играют. У нас был совет клуба — в нем одна молодежь. Каждый день что-нибудь придумаем, был хор, был оркестр, инструментов не было, сами сделали. А сейчас посмотрите протоколы правления — когда вопрос о клубе стоял? Недавно построили ограду вокруг клуба и тут же снесли, железную поставили, а разве в ограде дело? Клуб построили — уже тесен, хотят второй этаж надстраивать. Гараж построили зигзагом — каждый год одну-две секции пристраивают, — а почему не построить сразу на тридцать машин гараж, на пятьсот человек клуб? Думаете, не говорил я это — говорил! И считаю: критика, который за дело болеет, уважать надо, у него глаз зорче, чем у других, видит. А мне говорят: неуживчивый у тебя характер, Юган Карлович. А я отвечаю: характер советский, из «Нового мира». Не я один такой — поэтому, может, и дело идет у нас неплохо.

Что рассказывали? С помощью кантеле водку добывал? Брехня. Но один случай был. Из-за него, наверно, и пошли легенды. Давно это было, в 1937 году. Ехали мы из Владивостока, взяли на смотре премию. Остановились в Шкотове.

Надо было бы отметить победу. Да денег нет. Зашли мы с товарищем в ресторан, взяли по кружке пива, и кантеле со мной. А там банкет идет! Кто-то просит: «Сыграй!» Пробежал я по струнам — весь зал затих. Подбегает молоденький военный и говорит: «Если ты мне исполнишь венгерский танец Брамса номер пять, я тебе любое угощение выставлю». Я сыграл. Подходит другой: «Под крышами Парижа». Тоже сыграл. Тут уже гром аплодисментов. «Ревела буря, гром гремел!» — кричит кто-то. Еще заказы. А я говорю: «Не могу, простите меня, в автобусе семнадцать товарищей ждут». «Всех давай сюда!» — говорят мне. Вошли мы все и начали пировать. Угощение было очень щедрое. Но разве это разгул был? Тут победило людей искусство! Вот я и жду не дождусь, когда оно снова вернется в наш колхоз! Тогда будет и жизнь интересная, и не придется о выпивке говорить, сами бросят пить без выговоров и взысканий.

Юган Карлович показывал мне свои статьи в районной газете и читал стихи. Они посвящены то Новому году, то концу путины. Он их переписал и принес мне. Они уже были опубликованы в стенгазете, и второй раз их, может, и не стоит печатать. Но одно, которое он мне почему-то не читал, но написал и вручил, процитировать стоит. Посвящено — «Одной рыбачке»:

Не страшны ни заботы, ни горе —
За штурвалом ты встала сама,
И сама ты, как буря на море,
Весела, сурова, сильна!

Ниже я прочел такое примечание автора: «Эта рыбачка много пережила, потеряла мужа, одна вырастила детей и на самом деле была хорошей рыбачкой. Она первая пошла спасать рыбацкие суда, которым угрожала опасность разбиться о скалы во время шторма тогда, когда некоторые мужчины отказались выходить в море».

Очень многое таится за этим примечанием. Слова «и на самом деле была хорошей рыбачкой» явно подчеркивают, что не личное увлечение продиктовало этот гимн ветерану-колхознику, совести колхоза, старому коммунисту, а только преклонение перед героизмом «одной рыбачки».

— Это посвящение — еще одно доказательство вечной молодости замечательных ветеранов «Нового мира», — сказал я Югану Карловичу.

В КЛУБЕ

— Как же так? Почему же в таком, как ваш, колхозе нет самостоятельности?

Я рассчитывал, что буду вести разговор только с Раисой Петровной Силицкой, заведующей клубом. Но с ней рядом сидела и секретарь парткома Галина Дмитриевна Морозова.

— Руководителя нет, — ответила Раиса Петровна.

— Это у нас самый трудный участок, — сказала Галина Дмитриевна. — Шляются из колхоза в колхоз под видом деятелей культуры всякие бичи, пьяницы, проходимцы. Совсем недавно был у нас такой — Аккуратов Валентин Иванович. Дело вроде знал, подготовил концерт к сорокалетию колхоза. В хор сразу записалось тридцать пять человек: женщины из сетеповивочного цеха, продавцы, рыбачки, учительницы. Голоса у нас есть замечательные: воспитательница из детского сада Тамара Кухарук, няня Нелли Лобанцева, инженер по технике безопасности Валентина Субботина и учительница Антонина Хмелевская — дивное сопрано. А двое из сетеповивочного — Зинаида Саукова и Валентина Мрыхина, замечательный дуэт, — всегда плетут сети и поют. И народные песни, и частушки, и песни о родине. Спелись. Бригадир строительной бригады Нина Сидорова — бесподобный чтец. Есть силы, но это уже такие силы, которым режиссура нужна, художественный руководитель. А где его взять? Я была до избрания в партком заместителем председателя колхоза по оргвопросам, так не только в район — в крайсовпроф ездила. А там заявляют: у нас во всем Приморском крае больше половины клубов без руководителей.

— Я сегодня была у председателя, — вставляет Раиса Петровна. — Сказала: возьмем опять по совместительству Георгия Александровича Мартыненко, директора районного Дворца культуры. А Шпарийчук сказал: «Хоть министра культуры берите, лишь бы самодеятельность была».

— Я по образованию филолог, — говорит Галина Дмитриевна. — И хоть это не моя специальность, но я сама становлюсь иногда затейником; каждое торжество требует ведь не только политической части, но и художественной. И вот я в клубе, а муж — он у меня водитель автобуса — возьмет детей из детского сада — двое у нас — и возит в автобусе. А мать в клубе поет. Все силы, все время отдаем клубу, а толку мало.

— Десять лет я здесь живу, — говорит заведующая клубом, — а хорошей самодеятельности ни разу не повидала. (Замечу в скобках: ключи от клуба у Раисы Петровны уже не первый год, а говорит она почему-то как человек сторонний.) Видимо, все-таки нам не везет. В позапрошлом, например, взяли пианистку Стеллу Моисеевну, фамилию забыла. Дело пошло, детский хор создали. Подруга она свою выписала Люду — та на баяне играла. И вот влюбилась наша Стелла в рыбака, перестала на работу выходить и вскоре уехала. И с Людой то же самое. Разве против наших рыбаков устоишь! Выходит, и сами музыкантши уехали, и рыбаков сманули.

Тут и секретарь парткома заговорила как истая рыбацка:

— На берегу каждый работает как может или кого куда пошлют. А уехал в море — у него уже роль героическая. Непогоды, штормы, счастье рыбацкое трудное и переменчивое. Как они работают, что переживают — и говорить не приходится. Вернется домой — другой человек. И требовательность повышенная, и подозрительность обостренная: не так прошла, не так взглянула, не так накормила — все два-три месяца на берегу подавай ему каждый день праздник... А у жены тоже дела. Нам ведь тоже хочется и заботы и ласки. Надо их всех в общественную жизнь включить, духовную пищу предоставить, а где ее возьмешь? Два раза в неделю только кино крутится.

— А дела нужно делать, — говорит заведующая клубом. — Женщины у нас — главная сила. Коров редко кто держит, и не у всех есть куры или чушки. И рыбацка — мужа в море, детей в детский сад, а сама идет в столовую обедать. И в том, что они в кружки не идут, видно, мы сами виноваты. Только если вы будете писать, нас сильно не критикуйте. А то в следующий раз приедете — сама на контроль встану и в клуб не пушу...

Дорогие женщины! Зачем мне вас критиковать? Разговор был откровенный, и вы сами все рассказали без прикрас. Были в ваших словах и самокритика и самоотверженность, и так хочется верить, что наконец появится и самодеятельность.

В БИБЛИОТЕКЕ

— Это слишком громко сказано — «героическая женщина», но судьба у меня действительно была нелегкая.

У мужа заведующей библиотекой Екатерины Прокофьевны Вальдман в руках взорвался мотор. Стали немать руки, затем ноги отнялись из-за ушиба позвоночника. Двое детей, и муж много лет инвалид.

— Когда я смотрю сейчас на ребятшек, которые в нейлоновых куртках щеголяют, я радуюсь. Мои в латках выросли. И все-таки мой сын Эдуард уже старший помощник капитана, второй еще учится. Да, трудно жилось... Здесь вот вся моя радость — тут больше семи тысяч томов, а приняла я в 1953 году совсем немного. Создать библиотеку — это как мир сотворить.

— Поэтому даже в выходной вы здесь?

— А у меня выходных почти не бывает: годовой отчет пишу, триста пять читателей у меня здесь на берегу, да и на рыбе не менее четырехсот. Я ведь и

для судов в море библиотеки комплектую. Читатели у меня просто ненасытные: есть библиотеки на всех судах и в каждый рейс новинки добавляем. На что спрос? Парни предпочитают фантастику и приключения, девушки — про любовь, политическую литературу берут те, кто учится. Юган Карлович, например, читает только научно-популярные журналы: «Наука и жизнь», «Наука и техника», «Вокруг света», даже «Юный натуралист», несмотря на то, что ему скоро семьдесят. У многих свои хорошие библиотеки: у Германа Васильева, второго помощника капитана; у шофера Дмитрия Куценко собрано, кажется, все о спорте. А есть интересы просто необъятные. Вот посмотрите карточку моториста Перепичко Ивана Кузьмича.

Я взял увесистый абонемент Ивана Кузьмича — и поразился. Нет, не только число прочитанных книг меня удивило. Он читал все, что не может не знать самый просвещенный человек нашего времени. «Жан-Кристоф» Роллана, Мопассан, Золя, оба Манна, Федин... И главное, возвращаясь из рейса, он берет все толстые журналы комплектами — видимо, чтобы быть в курсе самых последних событий литературы.

— Он в море?

— Нет, в котельной. Сейчас он на берегу и должность сантехника исполняет. Заведует отоплением, освещением, водопроводом и прочими удобствами...

В КОТЕЛЬНОЙ

У Ивана Кузьмича — им оказался тридцатилетний, очень молодежавый парень — радость. В котельной, куда я зашел, на ходу подключается новый насос.

— Мерзнете небось в нашей гостинице? — прокричал он. — Скоро будет полный порядок. Домов с отоплением стало много, а насосы слабые. Теперь этот ставим, он сильнее всех четырех, что сейчас работают. Восьмиступенчатый центробежный насос МПС. — Он проследил, чтобы я правильно записал название. — Зверь, а не насос!

Потом мы закрылись в душной комнате при котельной, и Иван Кузьмич высказывал свои взгляды на литературу, искусство и даже поведал историю своей любви к книгам.

— У меня была злая мачеха, я за книгу, а она рычит: «Ни дров не поколет, ни воды не принесет — паразит!» Читал я, помню, «Васек Трубачев и его товарищи», а она схватила книжку — и в печку под дрова. И глаз с меня не сводит. Все-таки я ее сына подговорил — за ним она не следила, — выкрали мы книжку из печки — спасли. Представляете, как она мне стала дорога, эта книжка. Черт его знает, может, с этого и началось мое увлечение литературой. Прощел я и детские дома, и колонии, у Пантелеева есть книжка — там как будто моя жизнь описана. Вообще для меня лучшая литература — жизненная. Да, я серьезной увлекаюсь! У меня есть друг Герман Васильев — у него библиотека дай бог всякому. Но он больше фантастикой увлекается. Мы часто спорим. Я ему говорю: только за последние два века на земле столько фантастического случилось, что читать фантастику выдуманную — только время терять. За интересной книжкой я куда угодно пойду. Пытался я как-то записаться в районную библиотеку в Большом Камне — не записывают: не живу в райцентре. Так я до райкома партии дошел. Заметку в газету написал — и напрасно шум поднял, — беру теперь там нужные книжки, но по абонементу товарища, который в райцентре живет.

Здесь я все же меньше читаю, чем на море. Там в каждую свободную минуту — за книжку. И многие так. В морского козла на море не играют — домино у нас не принято. А вот книги, фильмы, шахматы, есть еще такая остроумная игра «шабло» — долго ее объяснять, — этим увлекаются все. Встречаются суда в море — и в любой шторм идет обмен духовными ценностями, фильмами, книгами, пластинками. Наверно, литераторам интересно, какие книги мы не меняем, какие остаются у нас навсегда. На СРТП «Пертоминск», на котором я плаваю,

я всегда отвечаю за библиотеку. Спрашиваешь рыбаков и моряков, что менять, что оставлять? «Судьба человека» Шолохова прописалась у нас навсегда — эту книгу все по многу раз читали, обсуждали, вспоминали слова, сцены и оставили ее на судне навсегда. Что еще понравилось и прижилось за последние рейсы? Самое разное. Жоржи Амаду «Земля золотых плодов», Пруса «Фараон», перевод с болгарского «Под игом» — не помню автора. «Деревенский детектив» Виля Липатова, Проскурина «Глубокие раны», французская — опять забыл автора — «Пушки Новаррона» и, конечно, детективы вроде «Конец осиног гнезда» Брянцева. Меня удивляет, когда писатели спорят, о чем писать. Говорили бы лучше, как писать. Тут ответить нетрудно: хорошо надо писать, интересно, а помотришь иную книгу — идей в ней много, а жизни нет. Хороших книг всегда не хватает.

И потом читателю помогать надо. Если его интересуют вопросы, проблемы, он «Комсомольскую правду» выписывает; хочет знать, что в родном крае творится, — краевую выписывает, «Красное знамя» — неплохая, считаю, газета. А как с литературой быть? Вот, скажем, журнал «Иностранная литература». У него всегда в конце хроника, интересные подробности, какие фильмы поставлены за рубежом в разных странах, какая книжка где вышла. И мы уже ждем, когда она выйдет у нас. А в «Новом мире» в конце номера — три-четыре рецензии с литературными спорами, а потом список что где вышло. А что он дает? Очень мало таких рецензий, чтобы читатель понял, почему эту книгу прочитать нужно, чем она хороша. Сделайте что-нибудь в таком роде — и все наши книголюбы будут вам благодарны.

Было время, когда от литературы, от искусства все были далеки. А я вспоминаю хотя бы только один концерт в море, в прошлую годовщину Октября. Как перл наш повар! Как плясал механик, какую «барыню» изобразил в девичьем сарафане, а как есенинский «Клен» звенел над Тихим океаном! Напрасно Юган Карлович, как вы говорили, жаловался на молодых — они теперь, и особенно во время отпуска, самостоятельностью свою духовную жажду не насыщают, а едут в большие города, идут в театры, музеи, консерватории, хотят все лучше знать и видеть. А у кого интереса нет — в того эту жажду насосом не накачаешь...

Тут я вынужден был вступить за Югана Карловича. Вспомнил: не о всех молодых он так говорил, очень он хвалил, например, Роберта Гамса, молодого старшего механика, — в отпуск он и в Таллин съездил, и в Ленинграде побывал, а вот сосед — тут Юган Карлович взмахнул рукой в неопределенном направлении. — полтора месяца назад привез тысячи и за полтора месяца спустил неизвестно куда. Разные в колхозе люди, очень разные!

В САЛОНАХ

В двухэтажном доме КБО (комбинат бытового обслуживания) за огромными окнами несколько салонов — парикмахерской, пошивочной мастерской и еще чего-то. Мне сказали, что здесь кассиршей работает Нина Вознюк — секретарь комитета комсомола и выдающийся резерв самостоятельности, парикмахеры Таня и Нина. С Ниной Вознюк беседа у меня была краткая.

— Комсомольцев у нас сорок пять человек, а на берегу сейчас пять-шесть человек, не больше.

— Делаете что-нибудь, если говорить честно?

— Нет. Наша молодежь разъезжается, а к нам больше с запада приезжают. В 1965 году вместе со мной восьмилетку окончили семь девочек и восемь парней. Из всей нашей группы только я осталась, Надя Тычкова и Таня Иванова, но и они обе в Большом Камне на заводе работают. Неинтересно у нас...

— А почему?

И тут заговорили, будто начали брить и стричь, парикмахеры. Таня Потапова и Нина Родионова учились в Уссурийске. Сейчас работы мало, заработки скудные, а они должны отработать здесь два года.

— Какая тут работа?— говорит Нина.— Перед возвращением корабля — трещит салон. Все рыбачки идут. Той укладку сделай, той шиньон, все маникюрятся, все причесываются. Встретят мужей причесанные. А потом опять к нам не ходят...

— Современные прически здесь не любят,— сокрушается Таня,— за модой следят не многие. Зачем же мы учились?

— Уезжать собираетесь?

— Да нет.

Обе почему-то краснеют.

— Рыбаки нравятся?

— Да чего в них хорошего,— отмахивается Таня.— А я в училище лучшим чтением была: стихи читала с эстрады, рассказы. А здесь я вроде не у дел.

— А я танцами увлекаюсь,— говорит Нина.— Но мне нужен постановщик. (Оказывается, режиссурой тут уже не обойдешься — балетмейстеры нужны.) А мы соберемся в клубе, ждем, ждем руководителя, а за ним забыли машину послать. Вот мы и расходимся ни с чем. Наша завклубом Раиса Петровна очень хорошая женщина, очень симпатичная, за порядком следит. А что она может? Открыть да закрыть клуб, электрولو запустить.

— Девушки, а не слишком ли мрачную картину вы рисуете? Неужто здесь интересных людей нет?

— Нет, почему же. Есть. Стихами многие увлекаются. Я, например, знаю одну девушку,— Таня метнула взгляд на Нину,— которая парня одного полностью перевоспитала.

— Как?

И тогда свою педагогическую поэму рассказала Нина:

— Есть тут один, Толя Симонов. Интересный малый, умный, а часто был выпивши. Стал ко мне в кино подсаживаться, домой провожать. Спрашивает: «Будем дружить?» Я говорю: «А зачем? Ты же всегда под «газом». Мне с тобой неинтересно». А он все ходит и ходит. Товарищи реплики бросают, насмешки. Но смотрю — все реже и реже к собутыльникам тянется. Гудеть всегда: «Не пей, не пей» — тоже не дело! Момент надо выбрать, когда слово сказать. И вот поехал он в Большой Камень, и я просила его взять билеты в кино. Оделась и жду. А его нет. Час нету, два, три. Смотрю — является. Я как заплачу: «Ты опять пьяный!» Он говорит: товарища встретил, как не отметить. «Кто же тебе дороже — я или эти алкаши несчастные? О том, что я тебя жду, ты подумал?» И тут он мне в первый раз сказал: «Прости! Больше этого не будет». Толик мужчина настоящий: сказал — как отрезал. Бросил пить.

— Выходит, Ниночка, вы из колхоза теперь не уедете?

— Не знаю. Нам с Толей тоже поездить хочется, разные города посмотреть...

Кажется, и эта художественно одаренная натура, танцовщица-парикмахер, уведет из колхоза рыбака. А может, и не уведет...

Тут появилась Валентина Павловна Иваница — закройщица, колхозная законодательница мод.

— Я слышала, как девушка вам говорила, что у нас за модой не следят. Это не совсем верно. Конечно, у нас борьба между мини и макси не так уж резко ощущается. Но я думаю, что макси, как более скромная мода, у нас скоро победит. На макси, с юбками ниже колен, уже есть семь-восемь заказов. Не знаю как за чем другим, а уж за модами наши женщины следят. Журналы выписывают, одеваются очень хорошо. Завезем дорогой материал — отбою нет от заказчиков, а дешевка сейчас мало кого интересуется. Всем подавай шерсть, лавсан, дорогие новые ткани. В феврале год как мы открылись, а без работы не сидели. Заказы на легкое платье и на верхнюю одежду, особенно перед праздниками или перед приходом судов, просто не успеваем выполнять. Вы к нам в промтоварный магазин зайдите, вам и там кое-что интересное расскажут.

Иду в промтоварный.

В ПРОМТОВАРНОМ МАГАЗИНЕ

— Как дела? Не жалуемся.— Заведующая промтоварным магазином Евгения Дмитриевна Еремеева обводит рукой небольшой, до тесноты переполненный торговый зал.— Прежде из-за телевизоров была драка, а сейчас вот видите,— такие, как «Рубин-106», и то стоят. Недавно трикотаж был нарасхват, а сейчас вон висят кофточка... Спрос не только растет — он, я бы сказала, злей становится. То не так, это не так, и главное, дешевки никто брать не желает — у меня таких неликвидов тысяч на десять лежит. А сейчас знаете, что заказывают?

Не знаю. Поэтому изучаю книгу заказов. Записи здесь крайне лаконичны. «Свитер — 48 размер, цена не менее 40 руб., расцветка голубая. Л. Н. Струков». «И мне то же. Ревенко». «Магнитофон «Романтик». Т. Кухарук». «Телевизор «Горизонт», магнитофон «Весна», Тухленкова». Холмаковой Р. П. нужен телевизор «Рубин-106» на ножках, а Дорожайкиной — теплые зимние сапожки — размер 38—39, цена от 40 до 70 рублей. Струкова заказала детский комбинезон на меху — размер 24, цвет голубой, и две шелковые комбинации без отделки...

Заметив, что я переписал последнюю фразу, Евгения Дмитриевна говорит:

— Никаких оборок, никаких отделок не нужно! Все охотятся за дорогой, простой, очень хорошей редкой вещью. Кажется, совсем недавно были в моде болоньевые плащи, а сейчас висят: никто не берет. Пронесся слух — не модно, и все! Можно товар списывать. Впрочем, не думайте, что нет своего вкуса у каждого из наших. У нас, например, ботинки мужские модные, с тупым носом не пользуются успехом. Видимо, потому, что рыбаки в плавании носят тупоносые, а здесь подавай им остроносые и самые дорогие, чтоб хоть месяц-два на берегу посверкать. Берут обувь на тонюсенькой подошве, с хорошей отделкой. Женщины от «шпилек» охотно отказались: по нашим камням на плотном, утолщенном каблуке удобней ходить. А макси у нас, я думаю, не приживется: и некрасиво, и расход большой.

Впрочем, расходы теперь никого не останавливают. Мужчины у нас перборчивее женщин стали. Попробуй продать им брюки, чтобы низ был шире двадцати двух сантиметров, — никто не возьмет. Появились в городах в модных журналах пиджаки без воротников — подавай им тоже такие!

Самое интересное в нашей торговле — спрос на дорогие товары. Верите, их уже приходится распределять. Недавно нам забросили штук десять дорогих меховых дамских шапок — норка, песец, лиса, — и как раз подошли четыре судна с лова. Так среди команд пришлось лотерею устраивать. Знаем, знаем, некоторые горожанки, желая свою подружку поддеть, говорят: «Одета, как колхозница!» И хочется сказать: «Эх, милая, если бы ты видела, как сейчас почти все наши колхозницы одеваются, — ты бы слегла от зависти!»

Не могу не добавить: лютые прибрежные ветры дули в эти дни с Японского моря. Одежда на всех была теплая, и в глаза бросалось удивительное ее разнообразие: куртки и шубы, дубленки и пальто, пыжиковые шапки и шляпы — и все это разноцветное, веселое, самых причудливых фасонов и форм.

В КАЮТЕ СТАРПОМА И КАМБУЗЕ

— Как питаются в море, «на рыбе», как здесь говорят, что едят?

В порту Находка, где стоял на ремонте средний рыболовный траулер-морозильщик «Свободный», принадлежащий колхозу «Новый мир», я вел об этом разговор со старшим помощником капитана Петром Николаевичем Редечкиным. Он не столько отвечал на мои вопросы, сколько сам их задавал и следил, чтобы я записывал его ответы правильно.

— Снабжение у нас нормальное! Но вы знаете, что значит составить меню на год вперед? Вот перед отходом мы и стараемся захватить все что нужно. А как определить, что нужно? Собираемся все — от повара до капитана — и на-

чинаем мозговать, что брать, где что добывать, чтобы всю путину кормить людей разнообразно и вкусно. Но скажите: почему нет специальных транспортных судов для доставки продуктов рыбакам? Вы думаете, любое судно может захватить с собой и доставить нам что-нибудь свеженькое? Ошибаетесь! Там каждому надо рыбу ловить, а не стоять под разгрузкой три—пять дней. Эх, если б были специальные суда — как бы было хорошо! А вообще условия для хранения продуктов у нас отличные: два больших холодильника, склад для хранения продуктов в корме. И на повара не жалуемся, не «повторяется».

Самодеятельность? Искусство? Нам плясать некогда — мы вокруг рыбы пляшем. Но образуется просвет — начинается шахматная горячка, кино крутим. В обороте двадцать фильмов — смотрим каждый не по одному разу. Но если меняемся фильмами при встрече с любым судном в море и какую-нибудь картину не сдаем, оставляем еще на один срок — значит, фильм понравился. В предыдущий рейс у нас были оставлены в необменном фонде «Приключения Шурика», «Волга-Волга», «Каждый вечер в одиннадцать» и «Сокровища пылающего острова». Значит ли это, что указанные фильмы для рыбаков эталон? Отнюдь. Но они прошли ходовые, штормовые испытания на интересность. Вот все, что я коротко хочу сказать о пище духовной. Когда на судне ремонт, у старпома дел больше, чем в море. Если хотите, сходите к нашему коку.

С поваром Александром Васильевичем Виркевым мы говорили в камбузе. Он мне показал, как крепятся котлы во время шторма, и поведал, как ему удастся не «повторяться» с меню в любых условиях.

— Я же с Одессы, — сказал кок, — я же учился и проходил стажировку в Красной гостинице, санаториях и домах отдыха жемчужины Черноморья. Моим учителем был Антон Иванович Аятонов. Не слышали? Великий кулинар! Его вызывают в Москву готовить, когда надо кого-либо из президентов или королей принять. Я уже с 1968 года член колхоза, и многие наши колхозники с Юга. Это нетрудно узнать — борщи едят с удовольствием, щи не уважают. Теперь представьте: на борту тридцать три человека и каждый желает кушать то, что он любит. Думаете, так легко каждому угодить! Но на судне надо угождать — именно каждому, иначе человек заскучает. Я не хочу, чтобы у меня была такая доля, как у одного кока с одного корабля. Он сломал ногу, ему слова сочувствия никто не сказал, и, конечно, грубости не было — рыбаки народ деликатный, — но на всех лицах было написано: слава тебе господи!

Взгляните сейчас — стоим на ремонте. Свои моряки работают и рабочие с ремзавода. Вместе какие-то дыры заваривают. Вы думаете, в обеденный перерыв разойдутся каждый в свою точку питания? Ничего подобного! Каждый рыбак обязательно позвет своего напарника обедать в кают-компанию, и я обязан человека накормить — таков морской обычай. И не думайте, что повар на судне маленький человек. Капитан — это мозг, а я — желудок, одно без другого не действует. Но мне тоже надо мозгой шевелить, надо не повторяться. И вот я тот же борщ сначала красный делаю, потом белый, потом фасоль в него запущу... Возьмем ту же рыбу. Любят ее рыбаки. Казалось бы, все просто — вышел на палубу, схватил ее животрепещущую, раз-два и зажарил! Но даже такая свежая, она скоро в горло не полезет. Приходится вертеться так же, как рыбе на сковородке. Сегодня рыбные котлеты, завтра рулет, послезавтра тефтели, а потом биточки. С разнообразными острыми соусами.

Да, всего труднее иметь авторитет на судне повару. А если тебя в свои приняли — ты как за каменной стеной. Тут недавно у одного нашего товарища отец умер, а ему в рейс уходить. Выехать он не мог, все равно бы не поспел. Можно было только сочувствие выразить и товарищу, и его семье. А рыбаки немедленно сбросились и отбили солидный перевод. Это более веско, чем слова, не правда ли? Чудная вещь — такая сплоченность, но и от нее можно пострадать. Вот сейчас стоим на берегу, хлеб можно с хлебозавода брать. Раз привезли, два, и тут мой дружный коллектив заявил: пошел к черту — мы привозного хлеба есть не будем, пеки сам, твой лучше. И пеку. И не знаю, радоваться мне или плакать?

В КАФЕ «КОЛОСОК»

Мы тихо беседовали с Тamarой Ивановной Юринской — заведующей кафе «Колосок». Кафе здесь занимает только половину небольшого стеклянного клуба, в остальной части — булочная, лежит на полках хлеб — подходи бери сколько нужно, а деньги иные обещают только завтра занести. Столовая открывается поздно, а работы — ремонт судов, плетение сетей, действия службы быта, техники, транспорта — начинаются чуть свет. Поэтому с утра открыто кафе в булочной. Проходит здесь до сотни стаканов чая, кофе, молока, продаются пирожные, варенье, яйца, жареные котлеты... Зашла Прасковья Фоминична Вирийская, уборщица ремонтного цеха, и разворчалась:

— Опять черного нет! Да что они все с ума посходили там, в Большом Камне?

— Знаем, бабка, зачем тебе черный! — сказала Тамара Ивановна. — Скотину кормить!

— Какую скотину! У меня семья — три мужика, и все черный любят. У меня пес — чай, хозяин в доме, — надо же и ему кусок бросить...

Тут к «Колоску» подъехала крытая машина, из нее выпрыгнула целая семья: шофер Алексей Леонтьевич Бузырев, его жена экспедитор Светлана Федоровна и их малолетний сыннишка, видимо увязавшийся за родителями в рейс. Начали разгружать: белые хлеба, ослепительно яркой расцветки пирожные. А Прасковья Фоминична тут же начала предъявлять претензии:

— Опять черного не привезли! Стыда-совести у вас нету.

— А у вас есть? Сколько ни вези, все чушкам скормите, — отрезала Светлана Федоровна.

— Да и белый у вас стал похуже.

— Это верно, — согласился мягкий и очень симпатичный Алексей Леонтьевич. — Видимо, черной муки добавляют — вот он и не имеет товарного вида...

— А вы за буханку все равно двадцать восемь копеек берете!

Тут взорвалась Светлана Федоровна:

— Мы по всему району ездим, и по городам и по селам, и нет, я всем скажу, более привередливых потребителей, чем колхозники! И то им не так, и это. То белый не белый, то корочка не та! Что, вы сами хлеб печете лучше нашего?

— Милая, да где же это ты видела, чтоб колхозники нынче хлеб пекли! — всплеснула руками Прасковья Фоминична. — Да обойди весь наш поселок — ни в одном, почитай, уже доме русской печки нет. А в духовке что же это за хлебы! Нет, ты мне лучше ответь: почему повара на кораблях такой вкусный хлеб пекут? Ко мне невестка с самого Владивостока приезжала, попробовала и говорит: «В самом Владивостоке такого хлеба нет». Вот до чего вкусный!

— Ну и пойдй, бабка, матросом или рыбаком — будешь хорошим хлебом питаться.

— Где мне! Мои мужики и те затомились — по году очереди ждут, чтоб в море пойти...

— Граждане, все ваши претензии мы безусловно передадим директору, — сказал Алексей Леонтьевич, — он у нас новый, входит в курс. Однако вы должны признать при корреспонденте, который все записывает, что никаких перебоев с доставкой хлеба у вас не бывало...

— Это да. Не бывало, — не унималась Прасковья Фоминична, — А если бывало — мы не теряемся: печенье едим...

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ МАГАЗИНЕ

С Александрой Ионовной Дмитриевой, заведующей продовольственным магазином, мы беседовали в подсобке, меня сдавливал белый халат, накинутый поверх пальто, и давило удивительное изобилие — ящики, лари, штабеля консервных банок и, главное, ограда моего кавказского сердца — всюду стояли банки с помидорами.

— Что, не берут помидоры?

— Еще как берут! Поэтому и завозим такими партиями. Здесь во вкусах уклон южный, украинский. Без томату ни шагу... Что ж вам рассказать? Я приехала сюда в 1959 году, когда в колхозе магазином была избушка пять метров на пять. Появился у колхоза флот, стали приезжать моряки — и стало неудобно: на прилавке одна сельдь, а за прилавком одна продавщица, и та грубиянка. А потребители здесь прекрасные, я бы сказала, взаимно благодарные: ты с ними хорош, и они с тобой. Вот сколько я ни стояла за прилавком, одно правило всегда соблюдала: что бы перед прилавком ни случилось — сдержись. Бывает, нагнешься к товару после иных слов покупателя и такой крик в себе держишь — ноги дрожат. Тут важно глаза не поднять — сразу прочтет в них покупатель, что ты сейчас об нем думаешь. Победишь себя, сдержишься, и покупатель, будь у него хоть железяка вместо сердца, поймет, что ты из-за его несправедливости пережил. Вот была у нас продавщица Марья Федоровна, неплохая женщина, но заводная. И ей было плохо и потребителям! Вечно какие-то стычки, вечно воркотня. Пришлось расстаться. Пошла я в сетепшивочный цех — там много женщин работает — и говорю: «Позвольте мне, товарищи, продавщицу выбрать и по лицу и по характеру. Чтоб приветливость в ней была». Ходила-ходила и выбрала Любовь Романовну Долидович. Если заметили, она на штучных товарах стоит. — Александра Ионовна прислушалась к разговору за стеной и сказала: — Минуточку!

Она вызвала Любу, о чем-то с ней пошепталась и снова подошла к моему столику.

— Лицо у нее действительно доброе.

— Да я не за тем ее звала, чтоб ее лицо вам демонстрировать. Сейчас магазин закрывается на обед, и в это же время у учителей уроки кончаются. Пришла учительница, а она ей: «Магазин закрывается!» Да разве так можно? Очереди нет, одного человека за минуту можно обслужить. И время еще есть — семь минут. Вот так идет у нас семинар на ходу. Возьмется мясо рубить — топор в мясо не вlepляется: сноровки нет. Приходится все показывать.

— А в чем уменье продавца?

— В чем? Да вот случай был — прислали нам десять ящиков калины в сахар. Вкус интересный, но непривычный, с горчинкой. И покупала у нас эту калину только одна древняя бабушка и объясняла нам, что калина от простуды хороша. Мы шутили: «Помрет бабушка, кто еще калину будет есть?» И напрасно так глупо шутили. Именно благодаря этой бабушке мы калину продали. Как только она зайдет, мы громко через весь зал спрашиваем: «Ну как, помогает калина?» И тут как заведется бабушка и пойдет расписывать, где у нее уже не болит и где не ломит, а все внимательно слушают. Ведь у нас в колхозе зимой многие на ремонте судов на холоду работают. Смотрим — один взял, другой. Глядим — вся калина разошлась! И что ж вы думаете? Развернула как-то «Работницу» или какой-то другой журнал, читаю: калина, оказывается, потогонная! Или заслали портулак — грузинскую зелень, очень острая еда и для многих непривычная. Прибегли мы к проверенному способу, заправили лучком, маслицем и давали покупателям пробовать. Зацепит вилкой этот салат какой-нибудь рыбак и обязательно скажет: «Ой, какая закуска!» Теперь этот портулак многие спрашивают, а его уже нет.

Короче говоря, контакт должен быть с потребителями: не любишь людей — иди лучше в ночные сторожа. Им беседовать не с кем. Я вам хочу для примера и даже для принятия мер одну историю рассказать. Поехала я на курорт через Москву. А я большая любительница горячего чая. Прилетела в столицу рано утром — дай, думаю, чайку попить. Подошла к прилавку, стоит у самовара женщина, пирожные раскладывает. «Дайте, говорю, чаю». Молчит. А я ведь одна стою. Снова прошу. Молчит. А потом как рявкнет: «Видите — занята!» Так я и ушла ни с чем. Выходит, пролетела всю Азию и пол-Европы, а чаю так и не напилась. И так я обиделась, что даже к брату — он у меня в Москве живет — не заехала. Вот какую тень может положить на весь город один человек, если он не на своем месте стоит. Попробовала бы эта женщина так пого-

ворить с нашими — хотя бы с тем же Иваном Сушко, — да он бы весь аэропорт разнес. А у нас даже он как шелковый. И почему? Да потому же — наши потребители взаимно благодарные.

НА ПОЧТЕ

Почтовое отделение — поселок Лифляндия, где расположен колхоз «Новый мир», — открылось только в конце прошлого года. Пока я здесь сидел, пришло человек пять рыбаков и рыбачек. Посылали главным образом рыбу, соленую и копченую, — в Барнаул, в Винницу, еще куда-то. Это хотя и нарушало наш очень интимный разговор, но безусловно доказывало, как нужна в колхозе эта новая почтовая точка.

Галина Кирилловна Ветрова, заведующая почтой, вот что мне рассказала в перерывах между почтовыми операциями.

— Мы с моим мужем Валерием приехали сюда давно, потому что работа рыбацкая и прибыльная и очень интересная. Одно плохо — ушел рыбак в море, и тоскует рыбацка одна. А на расстоянии не каждый может свои чувства высказать. Мой Валера, например, телеграмму дает: «Пиши чаще, бумаги не жалей». А разве в бумаге дело? Верность надо хранить. Вот что главное. У меня сердце кровью обливается, когда идет такая телеграмма: «Прекрати доверенность по приходе все узнаешь». Рыбаки оставляют своим женам доверенности, и они, бывает, все их деньги получают. Представляете, возвращается рыбак — и ни жены, ни денег. А есть еще такие подлые женщины. В прошлый рейс, где Валерий плавал, четыре таких случая было. А мы живем замечательно. Дочка у нас растет. И стал мой бомбить меня телеграммами: бросай работу. Ведь я, пока здесь отделение не открылось, в Большом Камне работала, тоже по связи, и частенько шесть километров туда и шесть обратно пешком ходила. Приехал он — опять зудит: бросай работу. Я ему говорю: «Эх, Валера, любовники, они от скуки заводятся. Чем больше у женщины времени, тем скорее ее на подвиги потянет!» Гляжу, задумался мой благоверный. Молчит, не настаивает. А потом сказал: «Да, ты права, лучше работай!»

Я и работаю. А знаете, сколько здесь дела? Только у вас на глазах сколько писем, посылок и бандеролей отправлено. Только подписка на краевую газету «Красное знамя» — двести семьдесят экземпляров. А сколько журналов выписывают! «Огонек», «Смену», «Здоровье», газеты украинские, эстонские, латвийские: ведь у нас тут все народности есть. У меня один почтальон — хорошая, трудолюбивая женщина, а заболела она или получим срочную телеграмму о встрече кого-нибудь — я сама бегу. Очень я люблю свою работу. Конечно, сердце не на месте — я все прогнозы погоды слушаю: про штормы, про циклоны. И всегда думаю, как он там. И вы думаете, это не вознаграждается? В юбилей нашей свадьбы я получила телеграмму: «Поздравляю с юбилеем. Люблю, крепко целую. Валерий». Встрите — у меня слезы брызнули из глаз.

Разговоры идут, разговоры...



ЮРИЙ КАШУК

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Быстро в море мелькают дни.
Этих дней промелькнули сотни.
По всему горизонту огни,
будто город на горизонте.

О, плавучие города,
миражи ночного тепла,
как вода под вами светла,
как безбрежна эта вода!

По текучим улицам этим
не ходить никому на свете,
не бродить у окошек ничьих,
не гасить огоньков ночных...

По всему горизонту в ряд,
что ни ночь, города горят.
А до города столько дней,
сколько в море ночных огней.

КРАЙ СВЕТА

Край света.
Так мыс называется в этих краях.
Край света.
Так местный на картах отмечен маяк.
Край света.
Край синего света от сайровых ламп,
и света надежд,
поломавших беду пополам,
и тех полнолуний,
молочных, проловных, когда,
как ртуть, тяжелеет открытого моря вода.
Край света.
Край тьмы непроглядных ловецких ночей,
край света
всегда ожидающих женских очей,
и свет по окошкам — бытуют людские дома,
и воронов неторопливых над бухтою тьма...

Край света.
 Над мысом, над скопищем счастья и бед —
 маяк —
 проблесковый, прерывистый, все же не гаснущий
 свет.

СВЕЧА

Отбили склянки. Трубы отдымили.
 Я очутился ночью в «Новом мире».
 Слипались от усталости глаза,
 но спать мне не давали голоса...

То силу голос наберет, то потеряет,
 о переборки голос бьется, голос мечется.
 Девчонка за стеною повторяет:
 «Я верю в разум человечества!»

Откуда у нее высокий штиль?
 Сегодня мы вернулись, ели, пили,
 трепались что почем и где купили
 и женщинам в глаза пускали пыль —

нас вывалило рыбою из трала
 на этот берег... Но в который раз
 девчонка за стеною повторяла
 о разуме трех миллиардов — нас.

Меж болтовни соседской и моей,
 пацанка в мире посреди морей,
 тут, за стеною, к небу воспаряла,
 кричала, заклинала, повторяла:
 «Я верю в разум человечества!»

...Когда мне говорят семь раз на дню
 про зреющую рядышком войну,
 про сломанные кисти Лю Ши-куня,
 про тюрьмы парагвайских городков,
 про далласские, мемфисские пули —
 я не составлю миру гороскоп.
 Все горизонты чересчур гористы.
 Пророки переходят в программисты.

Но голоса трепещутся, звуча,
 как свечи на ветру в середине ночи,
 но этот мир, пока горит свеча,
 не просто три миллиарда одиночеств.

ЗАЛИВ АЛЯСКА

Аляска. Скал чугунных колоннады.
 По всей шнале, от Чили до Канады,
 в радиорубке плачет материк.
 Тралмейстер зашивает крылья трала,
 искромсанные в клочья о кораллы,

по-русски и английски костерит:
тралмейстер — образованный старик...

В радиорубке трубы ритмы рубят,
и сивучи, собравшись у кормы,
внимают благодарнее, чем мы,
певичке из шантана Джека Руби.
Как за стеной — то пляшет, то поет
и каблучками в сцену, как о стену,
сама ли бьется, или — током бьет,
но только слышно — в такт не попадает,
над океаном пляшет, как рыдает, —
жизнь пропадает...

В радиорубке плачет материк,
и крики высоки, как Аппалачи, —
невыносимо, словно дом горит,
а в нем оставленный ребенок плачет!

...«Кончай концерт», — тралмейстер говорит.

Мы не бросаемся в горящий дом.
Мы просто бросим тралы в эту воду,
кораллы нам опять дадут работу,
но тралы мы починим. А потом
пойдем на самом полном в порт приписки.
И увидав в толпе тебя на пирсе,
я позабуду насовсем о том,
как материк рыдал в радиорубке.
Мои истосковавшиеся руки
лицо твое ночами разглядят...

А здесь, у линий перемены дат,
над океаном будут плачи плавать.
О, сколько же еще гореть и плакать
живущему вчера материку?..



ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

★

ПОИСКОВИК

В Охотском море хрипли мотоботы,
и я, покинув дедовский причал,
загадочнее демона охоты
сквозь семь ветров по рации кричал.

Я поминал его недобрым словом,
поскольку был удачей обнесен.
Владычила на судне поисковом
бессонница, похожая на сон.

И все-таки удача мне светила,
и демон мчал на мой докучный зов,
сядась на волны, словно на могилы
стихией поглощенных рыбаков.

Да, все-таки светила мне удача,
и рыба перла густо, косяком.
Найти, найти ее — моя задача,
а ваша — брать. Быстрее. Целиком.



ПУБЛИЦИСТИКА

Н. МОЛЧАНОВ

★

В ДНИ КОММУНЫ

1871—1971

Парижская коммуна — величайшая революция XIX века. Она выдвинула плеяду замечательных революционеров и социалистов. Среди них выделяется фигура рабочего-переплетчика Эжена Варлена. Еще в последние годы империи Луи Бонапарта он стал виднейшим деятелем французской секции Интернационала. В октябре 1869 года Поль Лафарг писал Марксу, что во Франции «создается социалистическая партия» и что в этом деле Варлен «пользуется наибольшим влиянием». Поразительная самоотверженность, огромные способности, железная воля, личное обаяние снискали ему любовь и уважение парижских рабочих. Варлен стал одним из активнейших руководителей революции 18 марта 1871 года. Как никто другой, он способствовал тому, что Коммуна стала духовным детищем Интернационала или, как писал Маркс, «славнейшим подвигом нашей партии».

Публикуемый отрывок из документальной биографии Эжена Варлена, написанной Н. Молчановым, показывает деятельность этого замечательного представителя парижского пролетариата в период Коммуны, вместе с которой он героически погиб в возрасте тридцати одного года. В эти незабываемые семьдесят два дня Варлен остро осознал то, что явилось основной причиной поражения Коммуны — неподготовленность пролетариата, отсутствие у него единой, сильной политической партии. Но мучительное сознание обреченности Коммуны не поколебало решимости героя бороться до конца за рабочую революцию. Варлен — ярчайшая личность среди бессмертных мучеников Коммуны, которые, по словам Маркса, «навечно запечатлены в великом сердце рабочего класса».

I

28 марта 1871 года Варлен вместе с другими членами только что избранной Коммуны стоит на трибуне, сооруженной перед главным входом в ратушу. Он видит людское море, заполнившее Гревскую площадь и прилегающие улицы. Множество красных флагов символизируют давно и страстно желанную им социальную революцию. Коммуна провозглашена под восторженные крики толпы и гром пушечного салюта. Всеобщий энтузиазм и пылкая радость в глазах восставшего народа поражают и захватывают воображение. Это поистине лучезарный день для всех революционеров и социалистов!

Но Варлен и сегодня сохраняет свою сдержанность. Он даже, пожалуй, еще более задумчив, чем обычно, и как-то выделяется среди окружающих его старых друзей по Интернационалу, также избранных в Коммуну. На их лицах столько восторга и надежды! Здесь переплетчик Клеманс, который некогда привел Варлена на улицу Гравилье, где был штаб парижской секции, резчик Тейс, учившийся вместе с ним на вечерних рабочих курсах. Немного позже, после дополнительных выборов в апреле, членом Коммуны станет и Жюль Андрие, когда-то обучавший молодого Варлена древним языкам. Бенуа Малон, вместе с которым Варлен так успешно боролся в последние годы Империи за расширение влияния Интернационала, тоже на трибуне перед ратушей, как и Лео Франкель. Этот иностранец, уроженец Венгрии, завоевал доверие и уважение парижских рабочих горячей преданностью идеям социализма. Своим присутствием он как бы олицетворяет интернациональный характер Коммуны. Еще не так давно, вплоть до 23

марта, он с недоверием относился к движению, породившему Коммуну. Но теперь этот двадцатисемилетний энергичный и страстный человек, потрясенный величественной церемонией провозглашения Коммуны, полон оптимизма.

— Мы должны осуществить коренное преобразование социальных отношений, — взволнованно говорит Франкель со своим характерным немецким акцентом, — мы должны любой ценой достичь этой цели. Необходимо торопиться, так как прежде всего надо заложить фундамент социальной республики!

Для Франкеля, как и для подавляющего большинства тех, кто присутствовал при волнующей церемонии провозглашения Коммуны, этот день был не только днем величайшего торжества, но и величайших иллюзий. Однако не для Варлена. Он, конечно, всей душой разделял замыслы и надежды своего друга. Разве не он сам твердил недавно об этом же, убеждая руководителей Интернационала, и прежде всего Франкеля, участвовать в ЦК Национальной гвардии и не уклоняться от революции? Но — странное дело — Варлен теперь не говорит о социальной революции. За все время Коммуны он не произносит социалистических деклараций, не выступает со статьями, подобными тем, которые он писал много раз, призывая к социализму.

В отличие от многих социалистов Варлен — прежде всего человек трезвого ума. Он намного раньше Франкеля и других деятелей Интернационала почувствовал стихийную социалистическую природу движения, которое завершилось созданием Коммуны. Ведь поднялся рабочий класс, само существование которого служит отрицанием буржуазного общества. Но он видел теперь и многое другое. Конечно, в Коммуне около трех десятков рабочих. Однако она оказалась менее революционной по сравнению с Центральным комитетом Национальной гвардии, столь поспешно отказавшимся от власти.

В Коммуну избрано пятнадцать буржуа, заведомых противников социализма. Некоторые из них присутствуют здесь, рядом, на всенародном празднике провозглашения Коммуны. Даже среди представителей Интернационала в Коммуне далеко не все столь же смело выступают за социальные преобразования, как Франкель. Например, старик Беле, весь пронизанный добрыми намерениями, является лишь фабрикантом, увлекшимся из филантропических побуждений идеями Прудона. Для него социализм сводится к некоторому улучшению участи рабочих, но ни в коем случае не к ликвидации класса буржуазии.

В Коммуну попали многие сторонники Огюста Бланки, честные и смелые революционеры. Но у них нет никакой социальной программы. К тому же они обескуражены отсутствием своего учителя. Он тоже избран в Коммуну, но Тьер успел еще 17 марта арестовать его в провинции. Кроме бланкистов, в Коммуне немало якобинцев, искренних республиканцев с разными оттенками социалистических симпатий. Среди них есть благородные люди, такие, как Делеклюз, но есть и политические шарлатаны вроде Феликса Пиа. Этот известный драматург воспринимает и Коммуну в качестве театрального представления.

Якобинцы и бланкисты пытаются копировать Великую французскую революцию конца XVIII века. Словом, в Коммуне встретились революционеры позавчерашнего дня с революционерами завтрашнего дня — социалистами, подобными Варлену или Франкелю. Причем последние оказались в меньшинстве.

Пестрый, противоречивый состав Коммуны как в зеркале отражал сложность, неоднородность всего движения, породившего революцию 18 марта. Даже среди рабочих — боевого, наиболее решительного ядра революции — было много таких, кто просто не представлял себе возможность полного преобразования общества и ликвидации частной собственности. Ведь только часть из них была промышленными рабочими, а большинство являлось ремесленниками. И они зачастую действовали, исходя из патриотической гордости, оскорбленной позорным миром, из ненависти к монархистам и стремления защитить республику. Нечего и говорить о массе мелкой буржуазии, о всех этих лавочниках, владельцах бесчисленных кустарных мастерских и мелких подрядчиках. Любое посягательство на частную собственность представлялось им чудовищным святотатством.

Вот почему Варлен воздерживается сейчас от социалистических деклараций и так скуп на слова. Он говорит только о тех задачах Коммуны, вокруг которых может объединиться подавляющее большинство ее членов. В самый разгар манифестации на площади у ратуши, в пять часов вечера 28 марта 1871 года, Варлену передали записку: командир 35-го батальона Национальной гвардии просил срочно объяснить ему смысл событий. Он тут же пишет ответ: «Мы можем вас заверить, что мы стоим на страже муниципальных вольностей повсюду, как в маленьких, так и в больших городах, и что мы твердо убеждены в том, что раз будет установлена муниципальная автономия коммуны, то вытекающие из этого свободы обеспечат порядок и взаимное доверие, то есть новую эру мира и всеобщего благоденствия. Привет и братство. Э. Варлен».

Эта ограниченная программа серьезно отличается от его недавних решительных социалистических планов. В чем же смысл политики Варлена? Его интересно определил русский революционер, очевидец и участник Коммуны Петр Лавров: «Дело шло об автономном городе, где вооруженная сила находилась бы в руках пролетариата и его избранников. Это было продолжение той политики, при помощи которой Варлен и его товарищи хотели в промежуток 3—18 марта организовать сначала Национальную гвардию Парижа, а потом всю Национальную гвардию Франции, как вооруженную силу социалистического пролетариата. Пользуясь раздражением республиканской и патриотической буржуазии Парижа против явно монархической тенденции версальского собрания и постыдного мира, им заключенного, социалисты Парижа хотели вместе с буржуазией совершить сперва политическую революцию, которая создала бы повсюду единственную вооруженную силу, находящуюся в их руках, и затем уже, с помощью этой вооруженной силы, они совершили бы революцию экономическую».

Таким образом, целью Варлена неизменно остается «экономическая революция», то есть социализм. Но Варлен прекрасно учитывает всю сложность, даже запутанность положения и стремится проводить максимально реалистическую политику. Ведь в Коммуну попало немало людей, которые никак не могли быть истинными представителями революции. Как и во всякой революции, здесь оказались и деятели иного покроя — слепые поклонники прежних революций или самовлюбленные болтуны, способные лишь на стереотипную декламацию. Но они неизбежное зло, и от них можно постепенно освободиться. Для этого нужно лишь время и выдержка. Словом, все побуждало Варлена бороться за существование и укрепление Коммуны. Нельзя ждать от нее чудес и немедленного воплощения в жизнь абстрактных утопий. Полное социальное преобразование общества — сложный исторический процесс. Варлен сознавал это и без всяких иллюзий пошел под знаменем Коммуны.

Между тем торжественная манифестация приближалась к концу. Члены Коммуны решили, что пора им приступить к делу, и направились в здание ратуши на свое первое заседание. И сразу начались затруднения, правда, вначале довольно комического свойства. Часовые остановили членов нового правительства, поскольку у них не оказалось пропусков. После выяснения дела они вступили в ратушу. Но здесь их никто не встретил, и они долго бродили по коридорам в поисках свободного помещения, натываясь на лежащих вповалку или стоявших группами национальных гвардейцев. Вокруг царила обстановка боевого походного лагеря. Наконец вспомнили о зале заседаний муниципального совета, который, впрочем, оказался запертым. Пришлось искать слесаря, но когда двери распахнулись, все увидели, что в зале темно: нет ламп. Ждали, пока их принесут. В конце концов около десяти часов вечера все же настал момент, когда семидесятишестилетний Беле, старейший из всех, объявил заседание открытым.

Сразу же было внесено предложение об избрании Бланки почетным председателем... Завязался спор о том, должны ли заседания быть закрытыми или публичными, о том, чем же должна быть Коммуна. Прозвучали формулы такого рода: «Это — революционное собрание», «Военный совет, а не Коммуна»... Вносится предложение об отмене смертной казни.. Какому-нибудь парламенту для

обсуждения идей, высказанных на одном заседании Коммуны, потребовалось бы несколько месяцев методических прений. Тут же произошел и первый серьезный политический конфликт. Избранный членом Коммуны торговец ювелирными изделиями Тирар требует слова.

— Мои полномочия чисто муниципальные, и так как здесь заговорили об отмене законов и о Коммуне как о военном совете, я не имею права оставаться...

Он подает в отставку, сопровождая свое заявление ироническим замечанием:

— Мои искренние пожелания полного успеха вашим предприятиям!

Наглое выступление агента Тьера вызывает возмущение, но его отпускают. С первого мгновения Коммуна проявляет необычайное добродушие...

Уход Тирара послужил сигналом. Люди буржуазных кварталов, оказавшись в непривычном обществе и к тому же в меньшинстве, сразу поняли, что им здесь делать нечего. Одни из них сразу, другие спустя два-три дня ушли из Коммуны, сократившейся сразу на двадцать человек. Теперь еще яснее определилось, что возник не просто муниципальный совет Парижа, а революционное правительство из представителей народа — рабочего класса и городской мелкой буржуазии. Но сможет ли действовать это никогда не виданное правительство? Его участники, казалось, явно не подготовлены к этому. Никто из них не предполагал, что все они окажутся у власти, которая потребует от них единства мысли и действия и скрепит их общей судьбой. Конечно, их объединяла ненависть к Версалю и Тьеру, к Национальному собранию «деревенщины»; они все единодушно выступали за Республику; наконец, большинство их испытывало сильное, хотя и очень смутное тяготение к идеалу социальной справедливости.

Но зато сколько здесь различий, противоречий, взаимного непонимания и недоверия! Не случайно первая прокламация Коммуны обещала лишь решить вопросы об отсрочке оплаты векселей и внесении квартплаты, а также защищать Республику от монархического собрания. Никто в Коммуне не предложил конкретной политической и тем более социальной программы. Не было ее и у десятка видных членов Интернационала, которые вошли в Коммуну. Ее не было и у Варлена. Он, как никто другой, остро сознавал трагическую неподготовленность социалистов. Ведь именно он затратил необычайно много усилий для такой подготовки. Но события роковым образом опережали его планы. Еще не так давно Варлен говорил, что для подготовки Интернационала к революции надо два года. Жизнь дала лишь несколько месяцев. В начале марта Варлен хотел иметь три недели для установления влияния Интернационала в Центральном комитете Национальной гвардии. Но революция началась через семь дней...

Варлен не произнес ни слова на первом заседании Коммуны. Он молча слушал, наблюдал и думал. Видимо, самое правильное — не выдвигать пока открыто социалистическую программу: противоречивый состав Коммуны обещал слишком мало шансов на ее принятие. Крайне опасно было бы вызывать раскол в самом начале...

Между тем часы на здании ратуши бьют полночь, заседание закрывается в атмосфере оптимизма и энтузиазма под возгласы: «Да здравствует Республика! Да здравствует Коммуна!» Депутаты расходятся, и национальные гвардейцы почтительно расступаются, давая им дорогу. Варлен чувствует взгляды этих людей, старых и молодых, сжимающих ружья в мозолистых руках и с надеждой смотрящих на своих избранников. Замученные каторжным трудом, они прониклись верой в идеи социализма, загорелись мечтой и героически пошли в бой. Ведь в конце концов Коммуна оказалась духовным детищем Интернационала! Нет, нельзя, невозможно обмануть доверие этих бойцов революции. Такие люди, как Варлен, ныне вознесенные к власти волей народа, не могли не почувствовать огромной ответственности за победу или поражение, за жизнь или смерть парижского пролетариата. Возможность гибели, ссылки, любые опасности — ничто по сравнению с необходимостью оправдать доверие народа. И Варлен видел перед собой только один путь — победить или умереть за дело рабочего класса. Он предвидел еще до 18 марта ужасные трудности, смертельные опасности предстоящей борь-

бы. Теперь они представлялись в еще более ярком и грозном свете и побуждали Варлена к наивысшей ответственности в словах и поступках, к осмотрительности и осторожности.

Между тем Коммуна, ставшая у власти в результате революции и по воле народа, должна была практически начать управлять великим городом. Никаких четких планов, программы деятельности и политики у коммунаров не было. Спасло дело то, что Коммуна руководствовалась тем гениальным чутьем проснувшихся масс, которое Ленин считал источником всего самого славного, что она сделала за семьдесят два дня своего существования. Коммуна решительно приступила к созданию государства совершенно нового типа. 29 марта на своем втором заседании она выбирает десять специальных комиссий, своего рода министерств. Варлен был избран в комиссию финансов, которыми он уже занимался до этого по поручению Центрального комитета Национальной гвардии. Вместе с ним в эту комиссию вошли Журд, Беле, Виктор Клеман и Режер. Правда, одновременно Варлен был выдвинут в центральную исполнительную комиссию, но получил недостаточное количество голосов и не прошел. В Коммуне уже зарождались различные группировки, причем более сплоченные, чем группа членов Интернационала. И уже начали отдавать предпочтение «своим» людям.

Впрочем, в тот момент, когда военная угроза еще не предстала во всей своей грозной реальности, комиссия финансов имела наиболее жизненно важное значение из всех десяти комиссий. Все понимали, что без денег жизнь огромного города, покинутого прежними администраторами, могла остановиться, что в любой момент жизненные функции перестанут действовать и воцарятся разруха, голод, всеобщий хаос. В этом состояла главная опасность первых дней Коммуны.

Но, при всей важности финансовой комиссии, многим все же казалось странным, что Варлен, входивший в число пяти-шести лиц, которые давно уже считались крупными руководителями революционного движения, сразу не выдвинулся на первый план, на столь естественную для него роль вождя французского пролетариата. И это объясняется не только необычайной личной скромностью Варлена. Революционеры того времени, особенно члены Интернационала, решительно отвергали принцип единоличного руководства и какое-либо возвышение отдельных лиц. Они считали это проявлением реакционного и монархического начала. Ведь не случайно же в Коммуне вообще не было поста председателя или генерального секретаря. Коммуна, выполнявшая одновременно законодательные и исполнительные функции, была коллегиальным органом. Конечно, в критические, напряженные моменты, требовавшие немедленных решений, это создавало затруднения, хотя и свидетельствовало о глубоком демократизме революционного народного правительства, каким была Коммуна. Сам Варлен, называвший себя «антиавторитарным коммунистом», испытывал отвращение к любой единоличной власти. Вообще по своему характеру Варлен не индивидуалист, не одиночка — он человек партии, коллектива. В данном случае Интернационала.

Якобинцы и бланкисты подчас с явным предубеждением относились к Интернационалу, виднейшим представителем которого и был Варлен. Право на роль вождя признавали, да и то далеко не все, лишь за Бланки. Но он, запертый в тюремной камере, даже и не знал о происходящем в Париже. Словом, Коммуна не имела признанного всеми вождя. Во главе революции не оказалось человека гениальных способностей, который был так нужен.

Получилось так, что важнейшие военные и политические посты оказались занятыми представителями большинства Коммуны — якобинцами и бланкистами. Они вносили в дело много шума, энтузиазма, даже героизма, но слишком мало трезвого расчета, предусмотрительности и осторожности. Не придавая особого значения социальным и экономическим делам, они охотно уступили их представителям Интернационала. И это было неоценимым благодеянием для Коммуны. Именно благодаря французским интернационалистам Коммуна смогла продержаться так долго. Именно они своим деловым подходом, своей крайней добросовестностью, пониманием всей важности экономических и социальных проблем смогли в неимоверно трудных условиях обеспечить успешное функционирование

сложной машины городского управления, сознательно дезорганизованной Тьером, отдавшим строжайший приказ всем чиновникам не подчиняться указаниям Коммуны и бросить свои посты. Только четвертая часть чиновников продолжала работать. Интернационалисты, в основном бывшие рабочие, обеспечили деятельность муниципальных служб, используя всего 10 тысяч сотрудников, тогда как прежде их было 60 тысяч. Варлен и Журд в финансовой комиссии, Тейс в Управлении почт, Авриаль в Управлении военного снаряжения, Камелина на Монетном дворе, Файе и Комбо в Управлении прямых налогов, Алавуан в Национальной типографии, наконец, Лео Франкель в комиссии обмена и труда — повсюду члены Интернационала вносили дух беспредельной честности и бескорыстия, организованности и трудолюбия, глубокого сознания важности административных и социальных задач Коммуны. Десятилетиями чиновники административных служб прежних режимов осваивали искусство управления и организации. Охваченные энтузиазмом, вдохновляемые идеями социализма, члены Интернационала овладевали им в считанные часы. Управленческий аппарат Коммуны и результаты его деятельности — гордость Коммуны.

А в каких невероятно сложных условиях приходилось действовать социалистам! Когда рабочий Тейс явился в Управление почт, чтобы возглавить его, он увидел картину полного хаоса. Касса, все документы, почтовые марки были увезены в Версаль. На стенах он обнаружил повсюду расклеенные приказы чиновникам немедленно отправиться туда же под страхом отставки и лишения пенсии. Тейс немедленно собрал оставшихся, приказал сопровождавшему его отряду Национальной гвардии закрыть все двери и провел собрание, на котором убедил многих служащих оставаться на своих постах. За несколько часов он реорганизовал сложный механизм управления и на второй день пустил его в ход. Письма доходили не только в пределах Парижа, но и, вопреки версальской блокаде, до остальных городов Франции, и не только Франции, но и за границу. Уже после поражения Коммуны даже буржуазные газеты признавали, что никогда почта не работала так хорошо, как в то время, когда она действовала под руководством простого рабочего.

Одну из самых интереснейших страниц в историю Коммуны вписала деятельность комиссии труда и обмена, в которую входили только члены Интернационала: Лео Франкель, Бенуа Малон, уже упоминавшийся Тейс, а затем Лонге и Серрайе. Лео Франкель исключительно ярко выразил те социалистические тенденции, которые были подспудной сущностью Коммуны.

— Мы не должны забывать, — сказал Франкель 12 мая, — что революция 18 марта совершена исключительно рабочим классом. Если мы, чей принцип «социальное равенство», ничего не сделаем для этого класса, то я не вижу смысла в существовании Коммуны.

Франкель создал подкомиссию из рабочих, изучавшую практические меры по улучшению положения рабочего класса. По ее предложению Коммуна приняла декрет, запрещающий штрафы и вычеты из зарплат, в округах были созданы бюро для приискания работы. Франкель и его помощники занялись изучением возможностей повышения зарплаты рабочих. По его инициативе Коммуна приняла 16 апреля знаменитый декрет о предприятиях, покинутых их владельцами. Он предусматривал учреждение комиссии, которая должна была взять на учет брошенные хозяевами мастерские и представить доклад о мерах, которые надо принять, чтобы с помощью рабочих кооперативов пустить в ход эти мастерские. В декрете говорилось также об учреждении третейского суда, призванного определять условия окончательной передачи мастерских рабочим обществам и размер компенсации, которую эти общества должны заплатить хозяевам. Конечно, речь еще не шла здесь о подлинной экспроприации экспроприаторов. Но тенденция к этому, несомненно, в декрете проявилась.

Финансовую политику Коммуны обычно связывают прежде всего с именем Франсуа Журда, поскольку он работал в комиссии финансов с самого начала и до конца, тогда как Варлен входил в нее лишь до 20 апреля. Этот бывший банковский служащий, обладавший ясным умом и спокойным характером профессио-

нального бухгалтера, во время Коммуны был еще очень молод, ему исполнилось всего двадцать восемь лет. Сначала член ЦК Национальной гвардии, а затем и член Коммуны, Журд выражал в своей деятельности правомерно-прудонистские взгляды. Его поэтому трудно назвать революционером. Журд впоследствии, после поражения Коммуны, рассказывал: «Варлену было поручено занять министерство финансов, а мои познания в финансовой области обязали меня разделить с ним ответственность за самое трудное дело в парижской администрации. Когда мы прибыли в министерство финансов, мы нашли там только несколько чиновников и одного солдата, охранявшего вход...»

Крупную роль в комиссии финансов играл также уже упоминавшийся Шарль Беле, человек преклонного возраста, имевший большой жизненный опыт. За его плечами политическая деятельность при реставрации и Июльской монархии, во время революции 1848 года, когда он поддерживал июньские репрессии Кавеньяка против парижских рабочих. Став личным другом и верным учеником Прудона, он тщетно старался осуществить идеи своего учителя на принадлежавшем ему заводе паровых машин. Крахом завершилась и его затея с созданием учетного банка, призванного осуществить прудонистские химеры. Но это не излечило Беле от слепого преклонения перед учением Прудона, перед его наиболее антиреволюционными и утопическими теориями.

Вот с этими-то людьми и пришлось Варлену заниматься сложнейшими финансовыми делами Коммуны. Революционные убеждения Варлена далеки от прудонистских взглядов Журда, от насквозь буржуазного образа мыслей Беле. Но тем не менее он лояльно сотрудничал с ними. Более того, глубокая порядочность, исключительная честность и работоспособность Журда ему очень импонировали. С Журдом у Варлена установились дружеские отношения.

Как же могло случиться, что несомненный революционер Эжен Варлен проводил по существу ту же самую финансовую политику, что и люди совсем не революционного направления? Почему он, уже признанный в последние годы Империи крупнейший руководитель революционного крыла французских организаций Интернационала, не оказал на эту политику решающего влияния?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует прежде всего вспомнить об общей линии Варлена в Коммуне. Самым главным он считал ее сохранение в качестве рабочего правительства. А для этого надо было, по его мнению, ничем не осложнять ее и без того сложное, даже отчаянное положение, не отталкивать хотя бы временных союзников пролетариата, не вносить в Коммуну, в которой не оказалось социалистического большинства, дополнительных факторов раскола и внутренних конфликтов.

Может быть, Варлен просто занял пассивную позицию, предоставляя решать все дела Журду и Беле? Нет, это не так. Он работал, пожалуй, больше всех. Когда в мае, уже после ухода Варлена из комиссии финансов, Журд делал доклад Коммуне, горячо одобрявшей его деятельность, он специально подчеркнул, что успех дела был бы немислим без участия Варлена.

Однако посмотрим, как все это происходило на практике. Коммуна возложила на свою финансовую комиссию полномочия министерства финансов. Перечислять эти полномочия было бы слишком утомительно — так они многочисленны. Достаточно сказать, что все, начиная с ведения войны и кончая содержанием больниц и школ, требовало денег. Без них невозможно было бы даже обеспечить подметание и освещение улиц. И если бы речь шла о жизни города в обычной обстановке! Но война с Версалем поглощала более 90 процентов всех денег Коммуны. События требовали множества чрезвычайных расходов. В городе оказалось свыше 300 тысяч безработных, которых надо было кормить. При условии жесточайшей экономии, при тщательном учете каждого сантима на все это за девять недель существования Коммуны потребовалось 46 миллионов франков.

Финансовая комиссия обязана была достать эти огромные деньги, разумно распределить на многочисленные нужды и проследить за тем, как они расходуются. Когда Варлен и Журд 30 марта явились в министерство финансов, они обнаружили в кассах всего лишь немногим более 4 миллионов франков. Кроме

того, во Французском банке было девять с половиной миллионов городских денег. И это все. Предстояло прежде всего наладить поступление обычных доходов от прямых налогов, рыночных, табачных, акцизных и других сборов. Задача была труднейшая, ибо здесь, как и во всем городском хозяйстве, по приказу Тьера все было дезорганизовано, запутано, а чиновники, ведавшие финансами, бежали. Именно на долю Варлена и выпало решать эту фантастически сложную проблему даже для самого опытного финансиста. И она была решена.

Но эти источники дали лишь 30 миллионов франков. Недостающие 16 миллионов выдал авансом после долгих препирательств и переговоров Французский банк. Всего этого хватило, чтобы кое-как свести концы с концами ценой сверхчеловеческих усилий Варлена, Журда и их помощников.

Финансовая комиссия Варлена и Журда решала неотложные задачи социального характера. Правительство Тьера в своей слепой ненависти к Парижу незадолго до Коммуны отменило отсрочку внесения квартплаты и погашения долгов по векселям. Взрыв возмущения ускорил приход Коммуны. Финансовая комиссия способствовала быстрому решению вопроса с квартирной платой. Десятки тысяч рабочих семей сохранили крышу над головой. Комиссия подготовила также декрет об отсрочке погашения долгов. 12 апреля Коммуна по предложению Варлена постановила отложить все судебные преследования за просрочку платежей. Много забот комиссии доставила проблема ломбарда, в котором бедняки получили ссуды под залог своих вещей. Война, осада, революция сопровождалась безработицей, и почти никто не в состоянии был вернуть ссуду и получить свои жалкие пожитки. Нередко это были орудия труда, инструменты, швейные машинки. Сначала Коммуна приостановила распродажу вещей, а затем залоги ценой меньше 20 франков стали возвращать. Финансовая комиссия взялась изыскать средства для компенсации потерь ломбарда. Множество других мер вроде установления пенсий вдовам и сиротам погибших национальных гвардейцев, устройства детских приютов и убежищ для стариков провела финансовая комиссия.

И все же сделано было мало по сравнению с огромными возможностями, которых не мог не видеть Варлен, о которых он так много говорил и писал за несколько лет до Коммуны!

Прежде всего оставили нетронутой прежнюю налоговую систему, всей своей тяжестью ложившуюся на бедняков. А ведь можно было заставить платить богатых! В Париже в руках кучки буржуа находились огромные средства. В кассах частных банков и предприятий хранились многие миллионы. Но финансовая комиссия Коммуны не посягнула ни на один франк. Затронув привилегии богатых, нетрудно было резко и быстро улучшить жизнь бедняков. Но даже нищенскую плату в 30 су в день национальным гвардейцам не удалось повысить. Коммуна не заставила раскошиться богатых, и Журд спокойно и даже с какой-то гордостью докладывал Коммуне: «Мы никогда не посягали на собственности!» А Коммуна одобряла этот курс! Быть может, недоставало инициативы, и стоило лишь, к примеру, Варлену предложить декрет об обложении богачей чрезвычайным налогом — и все было бы в порядке. Увы, дело обстояло гораздо сложнее. Франкель два раза пытался добиться значительно менее революционного решения об установлении восьмичасового рабочего дня. Тщетно! Дважды Коммуна отказалась решать этот вопрос. Дело в том, что подавляющее большинство ее членов считало недопустимым посягательство на частную собственность. Даже социалисты, примыкавшие к Интернационалу, считали это опасным. Более того, они стремились не разжигать классовые противоречия, словно забывая о том, что Коммуна вела классовую борьбу в самой ожесточенной форме, с помощью ружей и пушек.

Итак, несмотря на самое активное участие Варлена, этого несомненного революционера, чуждого всяких иллюзий в определении и проведении финансовой политики Коммуны, эта политика не стала орудием и средством социального преобразования. Более того, она далеко не в полной мере способствовала тому, что в тот момент Варлен считал единственно своевременным и необходимым: мобилизации всех сил и средств для спасения Коммуны в смертельной борьбе с

Версале. И здесь речь идет об одной из самых злополучных ошибок Коммуны, об ее отношении к Французскому банку. Началось это еще при власти Центрального комитета, не решившегося сделать то, с чего начинаются обычно революции — с нанесения удара по самому уязвимому месту противника, по его ресурсам, его кассе. В первые дни революции надеялись на компромисс, причем надеялись наивно. После избрания Коммуны снова встал вопрос о банке, где хранились огромные деньги, с помощью которых Коммуна не только быстро решила бы множество своих проблем, но и нанесла бы очень болезненный удар Тьеру, который, как он сам говорил, был тогда нищ, как церковная мышь. Не захватив банка, Тьеру дали возможность получить из него в десятки раз больше денег, чем брала Коммуна, денег, предназначенных для ее подавления! Ситуация невероятная, чудовищная, абсурдная и для Коммуны гибельная! Как же это могло произойти?

Вести дела с банком Коммуна поручила члену финансовой комиссии Шарлю Беле, этому буржуа с прудонистской, то есть псевдосоциалистической, окраской. Он 29 марта отправился в банк, где его встретил вице-директор де Плек. Ломая руки, этот версальский агент взволнованно запричитал:

— О, господин Беле, помогите мне спасти это: это состояние нашей страны, это состояние Франции!

Старика, помешанного на буржуазной «законности», на идее святости частной собственности, не пришлось долго упрашивать. Вернувшись в ратушу, он заявил исполнительной комиссии Коммуны:

— Необходимо уважать банк со всеми его привилегиями и преимуществами; надо, чтобы он стоял высоко с его безупречным кредитом и с его билетами, обмениваемыми на звонкую монету франк за франк. В этом заинтересована вся Франция...

Коммуна согласилась со всеми этими невероятными аргументами! Да, банк был достоянием Франции, в нем она была заинтересована, но какая Франция — вот в чем вопрос. Французский банк с его тремя миллиардами франков был достоянием буржуазии, и только буржуазная Франция была заинтересована в том, чтобы Коммуна не посягала на него. И, напротив, пролетариат Франции должен был и мог овладеть его богатствами, накопленными его же трудом. Увы, в Коммуне не нашлось никого, кто решительно потребовал бы этого.

Что касается Варлена, то он в отличие от Беле и Журда не защищал столь ретиво золото буржуазии. Однако он не предлагал и захватить его. Вместе с Журдом он тщательно экономил каждый сантиметр, чтобы Коммуна хотя бы не умерла с голоду, когда рядом лежали колоссальные деньги, притом деньги врага, которые если и не спасли бы Коммуну, то хотя бы как-то облегчили ее положение. За массивными стенами Французского банка спокойно хранились груды золотых слитков, а мимо этих стен проходили одетые в лохмотья голодные батальоны Национальной гвардии. Они шли на смерть в битве против хозяев этого золота...

Разумеется, не сомнительные аргументы Беле побуждали Варлена хранить нейтралитет в этом деле. Были соображения и посерьезнее. Прежде всего захват банка, конечно, задел бы интересы не только кучки его богатейших хозяев, но и массы мелких держателей акций, которых насчитывалось до 15 тысяч. В банке учитывались векселя и на небольшие суммы, начиная со 100 франков. Их многочисленные владельцы, то есть мелкая буржуазия, были бы болезненно затронуты. Поэтому Коммуна и вела себя так осторожно.

Наконец, считали, что богатства банка служат своеобразным залогом того, что Франция выплатит Пруссии пятимиллиардную контрибуцию по мирному договору. Опасались, что захват банка вызовет прямое вмешательство прусских войск, по-прежнему стоявших по восточной окружности Парижа.

Нейтральную позицию Варлена по отношению к Французскому банку можно понять только в связи со всей его политической линией. А ее суть заключалась в том, что он в отличие от некоторых своих восторженно оптимистических товарищей с самого начала видел положение в его истинном свете. До 18 марта у него был продуманный план постепенного пробуждения Интернационала к

активной политической деятельности и превращения Национальной гвардии в орудие пролетарской революции. Для этого лишь нужно было время. Внезапный поворот событий 18 марта перечеркнул этот план. Варлен не считал, что мартовская революция позволяет сразу осуществить коренное социальное преобразование общества. Он видел, что условий для этого пока нет. Еще неразвитый, неорганизованный, в основном ремесленный пролетариат, почти не отделившийся от основной массы мелкобуржуазного населения, хотя и не хотел уже жить по-старому, но еще не готов был к коренному социальному перевороту. Вся социально-экономическая структура Франции не созрела для этого. Главное же, у пролетариата не было своей политической организации — партии. Зачатки ее, созданные Варленом и его друзьями в последние годы Империи, секции Интернационала и профессиональные рабочие общества не выдержали императорских преследований, испытаний войны и последовавших за ней событий и фактически распались. Варлен считал, что в этих условиях Коммуна в лучшем случае непосредственно даст возможность лишь максимально демократизировать республиканский строй и достичь определенных социальных завоеваний для рабочих. Этот успех и будет исходной позицией для дальнейшей, требующей немало времени борьбы за социализм. Но и такие тоже весьма смутные замыслы, как вскоре понял Варлен, оказались нереальными. В начале апреля, после неудачи стихийной массовой вылазки коммунаров, завершившейся отступлением и гибелью ее героических, но неопытных полководцев Флуранса и Дюваля, после новых военных поражений, Варлен понял, что половинчатый исход ожесточенной борьбы невозможен, что Коммуна обречена. Теперь Варлен уже не видел иной перспективы, кроме поражения столь неподготовленного и плохо руководимого пролетарского восстания. Охваченный глубокой тоской, он осознавал, что и сам он, быть может и не в той степени, как другие деятели Интернационала, тоже оказался не готов к великим испытаниям, грозно и властно втянувшим его в свой фатальный водоворот.

Отныне вся деятельность Варлена в Коммуне направлялась чувством бесконечной преданности делу пролетариата, чувством социалистического долга, но отнюдь не какой-либо последовательной программой или планом. Варлен видел, что события опередили, захлестнули его прежние замыслы, что обстановка невероятно осложнилась. Он испытывал мучительные сомнения, колебания и неуверенность в правильности многого из того, что делала Коммуна.

Каким он был в последние годы Империи, когда его энергичные, целеустремленные действия так способствовали расширению влияния Интернационала! Теперь же перед нами словно другой человек. Даже внешне он изменился, стал необычайно замкнутым, молчаливым, говорили даже — скрытным. Выражение какой-то меланхолии не сходило с его лица. Но это был тот же Варлен, но в других объективных условиях. Таких, которые сильнее любой, самой выдающейся личности.

К счастью, напряженная, изнурительная работа оставляла Варлену мало времени для мучительных и тяжелых раздумий. С раннего утра он в министерстве финансов. Если Журд занимается вопросами квартплаты, ломбарда, сроками платежей по векселям, работой благотворительных организаций и городским бюджетом, то в обязанности Варлена входит организация сбора налогов и расходование собранных денег. Это сборы с торговли табаком, вином, почтовые и гербовые налоги, сборы с рынков и лавочников, таможенные обложения и, наконец, прямые налоги. Это была сложнейшая и крайне запутанная система, приведенная к тому же в полное расстройство прежней администрацией. Варлен должен был просматривать горы бумаг, реестров, балансов, отчетов. Более нудную, изнуряющую работу трудно вообразить. Надо было вести борьбу со множеством злоупотреблений, ликвидировать излишества и беспорядок и, конечно, подавлять саботаж многочисленных тайных сторонников Версаля. Каждый день Варлен обнаруживает и закрывает каналы утечки денег. Так, он вводит строгий порядок учета квитанционных книжек, организует новую четкую систему раздачи жалованья национальным гвардейцам и многое другое. Однаж-

ды выяснилось, что сборы «октруа» передаются во Французский банк, а не в Коммуну. Варлен немедленно наводит порядок. Приходится заниматься самыми неожиданными вещами вроде организации доставки газет, посылки людей в провинцию для пропаганды дела Коммуны. Финансовая комиссия так или иначе контролировала работу всех остальных комиссий, и поскольку в них было очень мало порядка, Варлен превратился в неофициального, но методического организатора, вносящего элементы дисциплины в хаос и путаницу, царившие во многих учреждениях Коммуны.

В полдень в кабинет к Варлену обычно заходит Журд, и они обсуждают дела, советуются, решают. Между ними почти не возникало разногласий. Правда, речь шла в основном о конкретных технических вопросах. О том, что больше всего волновало и тревожило Варлена, он почти не говорил. Честнейший и добросовестнейший Журд не обладал политическим кругозором Варлена, его творческим, революционным мировоззрением; единомышленниками они не были, ибо четкий и прямолинейный ум Журда, усвоив идеи Прудона, на этом и остановился.

После полудня Варлен и Журд выходят и пешком идут по улице Бургонь обедать. Неподалеку от военного министерства они заходят в скромный ресторанчик. Обед обходится им по 25 су с каждого. Варлен, через руки которого проходят миллионы, по-прежнему ведет спартанский образ жизни. Одет он, как всегда, аккуратно, но очень скромно; он напоминает по виду учителя, и только его бледное и выразительное лицо, обрамленное седеющими волосами, привлекает внимание своей одухотворенностью, а в эти дни какой-то скорбной задумчивостью.

Журд моложе Варлена, у него пышные светлые волосы и сдержанное благородство в словах и движениях. Он столь же скромен в своих потребностях и расходах, как и Варлен. Оба получают жалованье, не превышающее заработок рабочего. Впрочем, такой порядок декретировала Коммуна, мудро решив, что выдвижение на любой пост ни в коем случае не должно сопровождаться повышением доходов. История не знала еще столь бедного и столь безусловно честного правительства. В самом деле, супругу его министра финансов гражданина Журда можно увидеть в эти дни на берегу Сены: она обычно полоскала там белье...

II

После обеда Варлен отправляется в ратушу на заседания Коммуны. О, эти заседания! Они порой вызывали у Варлена больше досады, чем даже известия о военных поражениях Национальной гвардии. Заседания продолжались часа по четыре. Нередко в один день было два, а то и три заседания. Окна зала выходили во внутренний двор ратуши, где всегда толпились национальные гвардейцы, и шум, доносившийся оттуда, часто заглушал сами по себе шумные и беспорядочные прения. Заседания проводились без твердой и согласованной повестки дня, вопросы заранее не готовились, и иной раз важнейшие решения оказывались плодом неожиданной импровизации. Сказывалась, конечно, традиционная для французов любовь к фразе и парламентскому краснобайству, излишек оптимизма, личные амбиции. Пускаясь в споры по второстепенным вопросам, часто забывали, что в десяти километрах находится злобный и беспощадный враг, угрожающий им всем гибелью.

В Коммуну затесалось, что бывает при всех революциях, немало случайных людей. Они-то и шумели больше всех. Значительная часть членов Коммуны, около трети, как правило, отсутствовала. Это были как раз те, кто действительно делал дело: самые энергичные, умные и преданные революции люди находились либо на боевых позициях, либо в городских учреждениях Коммуны. А заседали и разглагольствовали больше всех неспособные и бестолковые. И от них-то подчас зависели важнейшие решения. Не удивительно, что Коммуна принимала какое-либо решение — и на следующем заседании вдруг голосовала за нечто прямо противоположное. На обсуждение мелких вопросов иногда уходили часы,

а важнейшие решения принимались без всякого обсуждения. Так, например, был принят программный Манифест Коммуны.

Особенно скандальную роль играл знаменитый красноречивый Феликс Пиа. Он непрерывно плел интриги и затевал склоки. Лицемерие его не знало предела. На заседаниях он говорил одно, а в своей газете «Ванжер» на другой день писал совсем другое. Его справедливо называли «злым гением Коммуны» и говорили, что он принес ей больше вреда, чем несколько дивизий версальских войск. И как ни странно, ему все сходило с рук.

Варлен редко выступал на заседаниях Коммуны, хотя и старался, насколько ему это удавалось, посещать их все. Если он и вмешивался в дебаты, то исключительно по конкретным, сугубо деловым вопросам. Насколько возможно, Варлен всегда стремился затушить разногласия. Короткими репликами он направлял споры в русло делового, серьезного обсуждения. Это особенно проявилось в ходе заседания 21 апреля, на котором Варлен был председателем. Но и в этот день обсуждение шло настолько сумбурно, что даже обычно столь невозмутимый Варлен не выдержал и резко заявил:

— Я считаю, что мы тратим здесь, пожалуй, слишком много времени. Однако те, кто кричит громче всех, не делают больше всех!

Но не только изматывающие нервы заседания в Коммуне, не только кропотливая и чудовищно напряженная работа в министерстве финансов поглощали силы Варлена. На его ответственности еще VI округ Парижа, район Люксембурга на левом берегу Сены, который он представлял в Коммуне. И здесь у Варлена хватает по горло забот и тревог. Жители этих кварталов считали Варлена своим вождем и свято верили каждому его слову. Не менее горячо жаждут встреч с ним и его старые друзья в Батиньоле, которые тоже выбирали его в Коммуну. Во всех взорах, обращенных к нему, Варлен читает тревожные вопросы. Обстановка ухудшается, коммунары терпят новые поражения, и все хотят знать, что ждет их впереди. Варлен очень скуп на слова. И что он может им сказать? Предвидя в душе неизбежность катастрофы, он ничем не может ободрить их. Разве только своим хладнокровием, железной выдержкой и просто своим присутствием. Он чувствует, как это необходимо, и урывает хоть час в день, чтобы побывать среди тех, кому он столько лет внушал веру в социалистический идеал.

Чтобы реально представить себе, что же практически представляла собой жизнь Варлена как члена Коммуны, обратимся к воспоминаниям одного из его товарищей, Артура Арну. Свой рассказ об ошибках Коммуны он заключает так:

«Да позволят мне теперь изложить смягчающие обстоятельства. Их было много.

Прежде всего мы были обременены работой, изнемогали от усталости, не имея ни минуты покоя, ни одного мгновения, когда спокойное размышление могло бы оказать свое спасительное воздействие. Имеют ли представление о том, каково было наше существование в течение этих семидесяти двух дней? Какая изматывающая работа сушила и разрушала наш мозг?

В качестве членов Коммуны мы обыкновенно заседали два раза в день. В два часа и вечером до глубокой ночи. Эти два заседания прерывались лишь настолько, чтобы слегка закусить.

Кроме того, каждый из нас принимал участие в одной из комиссий, исполняющих работу разных министерств и обязанных управлять одним из следующих дел: народным образованием, военным, продовольствием, внешними сношениями, полицией и т. д., заведование которыми было достаточно, чтобы поглотить все силы человека.

С другой стороны, мы были мэрами, обязанными управлять своими округами. Многие из нас были командирами Национальной гвардии, и между нами не было, может быть, ни одного, кто не должен был каждую минуту бежать на аванпосты, идти в форты, чтобы ободрять сражающихся, выслушивать их требования, удовлетворять их или самому обсуждать военное положение.

Каждый из нас в этих ужасных условиях, где малейшая ошибка, малейшее

неверное движение могли все погубить, должен был брать на себя и благополучно вести тысячи разнообразных работ, достаточных, чтобы занять восемь или десять человек.

Мы не спали. Что касается меня, то я не помню, чтобы я в течение этих двух месяцев раздевался и ложился десять раз. Кресло, стул, скамья на несколько мгновений, часто прерываемых, служили нам постелью...

Ни одно заседание, добавим, не проходило без неожиданных происшествий, которые отвлекали ум от разумного и зрелого обсуждения и будили наши страсти...»

Что касается Варлена, то все сказанное Арну о тяготах, лежавших на плечах членов Коммуны, надо увеличить по крайней мере в два раза, ибо речь идет о человеке необычайной добросовестности, самоотверженности, доходящей до самоотречения, и к тому же мучительно сознававшего в те дни неотвратимость близкой катастрофы. Он не обладал состоянием блаженной самоуверенности и поверхностного оптимизма, облегчавшего жизнь тех, кто продолжал с жаром твердить, что Тьер никогда не войдет в Париж, что буржуазия — верная опора Коммуны и что победа близка.

Между тем события продолжают подтверждать самые тревожные опасения Варлена. После неудачной вылазки 3 апреля военное положение, несмотря на успехи мощных контратак генерала Домбровского, все более ухудшается. В то время как армия Тьера увеличивается день ото дня за счет военнопленных, которых ему возвращает Бисмарк, армия Коммуны слабеет. Неустойчивые, колеблющиеся люди после шока 3 апреля бегут из Национальной гвардии. Коммуна окончательно отказывается от наступательной тактики и остается в пассивной обороне. Военный делегат генерал Клюзере либо бездействует, либо нелепыми приказами ослабляет Национальную гвардию. По выражению одного из членов Коммуны, военная комиссия превращается в «организованную дезорганизацию».

17 апреля версальцы захватывают замок Бекон, на другой день — вокзал в Аньере и деревню Буа-Коломб. На северо-западном участке фронта коммунарам пришлось отступить на правый берег Сены. Кольцо осады сжимается все теснее, город наводняют шпионы и диверсанты Тьера.

А раздоры в Коммуне усиливаются. Неорганизованность перерастает в хаос. Паническая боязнь единоличного руководства, доведенная до абсурда, дала свои плоды. Никто конкретно ни за что не отвечал. Все зависело лишь от доброй воли каждого. Не было председателя Коммуны, не было председателей комиссий, не было главнокомандующего, не было мэра Парижа. По злой иронии судьбы, на самых ответственных постах оказывались наиболее безответственные люди. Исполнительная комиссия не смогла превратиться в руководящий центр. 20 и 21 апреля Коммуна наконец попыталась реорганизовать и укрепить свою власть. Теперь каждую комиссию возглавил делегат, входивший одновременно в исполнительную комиссию. Состав всех комиссий переизбрали. Варлен стал членом продовольственной комиссии. Один из видных историков Коммуны, П. М. Керженцев, пишет: «Новая система значительно улучшила организованность Коммуны, но она имела и ряд существенных недостатков. Система выборов делегатов и комиссий привела к тому, что некоторые члены комиссий были более влиятельными, чем делегаты. Например, один из наиболее авторитетных членов Коммуны — Варлен — был только членом комиссии, а делегатом был гораздо менее авторитетный человек — Виар. Делекюз был только членом военной комиссии и, таким образом, не участвовал в исполнительной комиссии. В таком же положении был виднейший бланкист Тридон».

Варлен приступил к выполнению своих новых обязанностей в комиссии продовольствия. Она приобрела в этот момент очень важное значение, ибо Тьер приказал своим войскам перерезать все пути доставки продовольствия в Париж. Ну, а новая исполнительная комиссия оказалась столь же беспомощной, как и первая. 22 и 23 апреля Коммуна узнала о фактах поразительной безответственности и халатности генерала Клюзере. Однако обсуждение привело лишь к тому, что он вообще перестал информировать Коммуну о ходе военных действий, которые раз-

вивались все более неблагополучно. 26 апреля версальцы заняли селение Мулино и приблизили свои траншеи к важнейшим опорным пунктам на юге Парижа, фортам Исси и Ванв. А в ночь на 30 апреля гарнизон Исси, не получая не только подкреплений и боеприпасов, но даже и приказов от командования, оставил его. К счастью, версальцы не решились занять форт, и на другой день отряды коммунаров вернулись. Но известие о сдаче Исси вызвало в Коммуне подобие паники, открывшей новый акт грозной трагедии. Наконец-то догадались сместить бездарного шарлатана Ключере и отправить его в тюрьму. Теперь уже самым беспечным стало ясно, что необходимо предпринять какие-то решительные меры. Еще за два дня до этого был поставлен вопрос о создании Комитета общественного спасения. Идею подали те, кто в ходе Коммуны пытался слепо копировать Великую французскую революцию. Не понимали коренного отличия революционных событий конца XVIII века от революции 1871 года, а это непонимание восполняли поверхностным, чисто словесным подражанием, не имевшим ровно никакого смысла. Усилить свою власть и организацию Коммуна могла бы, конечно, и сама по себе, не создавая новую, на этот раз совершенно бутафорскую организацию.

Коммуна раскололась на два лагеря. Большинство — бланкисты и неоякобиццы — было за создание Комитета общественного спасения. Если бы они действительно создали орган, способный твердо руководить, включили бы в него энергичных и авторитетных людей, то, возможно, это укрепило бы Коммуну. Но зачем было облекать весьма разумную, даже необходимую меру в ветхие одежды давно прошедшей эпохи?

Члены Интернационала — противники малейших посягательств на неограниченную демократию — решительно выступили против создания нового комитета. Они закричали об опасности диктатуры.

Варлен также проголосовал против создания Комитета общественного спасения вместе с «меньшинством». Он испытывал недоверие к замыслам авторов идеи комитета и видел, что «большинство», как показал опыт его политического и военного руководства Коммуной, не способно создать энергично действующий революционный орган, который не поставил бы под угрозу революцию вместо ее спасения.

И все же, выступив с «меньшинством» против усиления власти Коммуны, Варлен вместе с другими социалистами совершил серьезную ошибку. Раскол в Коммуне доставил немало злорадного удовольствия версальцам и болезненно отозвался в рядах героических защитников Коммуны.

«Меньшинство», а вместе с ним и Варлен, отказалось участвовать в выборах членов Комитета общественного спасения. Голосовало только 37 человек из 80 членов Коммуны. Это само по себе заранее компрометировало орган, на который наивные люди возлагали особые надежды. Когда же стал известен состав комитета, то приуныли даже многие сторонники его учреждения. В комитет избрали злобного шута Феликса Пиа, что уже не сулило ничего хорошего. В него вошли Лео Мелье, человек смутных политических взглядов, отнюдь не блиставший способностями, Шарль Жерарден, вскоре ставший дезертиром. Только два бланкиста, Ранвье и Арно, что-то собой представляли: первый был, в общем, сильной личностью, но его пылкая, увлекающаяся натура могла завести его куда угодно, второй — тоже человек темпераментный, но явно не созданный для роли вождя с железной волей.

Комитет начал действовать, внося еще больше путаницы в существовавший до этого хаос. Лишь в отношении Интендантства были приняты правильные меры. С самого начала борьбы работа Интендантства вызвала множество жалоб. Бойцы, находившиеся в самом огне, порой не получали необходимого. Им постоянно не хватало продовольствия, обмундирования, боеприпасов. Многочисленные тыловые органы и штабы имели все в изобилии. Рассказывали, что версальские офицеры говорили своим солдатам, указывая на оборванных коммунаров: «Это же уголовники. Посмотрите, как они одеты!» В довершение всего пошли слухи, что ведавшие Интендантством братья Мэ разворовывают имущество Коммуны. 2 мая

Комитет общественного спасения смещает братьев Мэ и назначает главным начальником Управления по снабжению Национальной гвардии Эжена Варлена. Это назначение имело весьма многозначительный характер. Ведь назначение последовало после раскола на «большинство» и «меньшинство», и обе фракции стали относиться с нескрываемой враждебностью друг к другу. Комитет общественного спасения, представлявший исключительно «большинство», тем не менее назначил на очень важный пост Варлена, представителя враждебного Комитету «меньшинства». Так велик был его авторитет и вера в его способности организатора!

5 мая на заседании Коммуны зачитывается заявление: «Гражданин Варлен, временно делегированный в Интендантство, просит о переводе его из комиссии продовольствия в военную комиссию. Э. Варлен». Коммуна единогласно подтверждает новое назначение и удовлетворяет просьбу Варлена. А он развертывает в Интендантстве исключительно активную деятельность. Никогда еще он не работал так напряженно. К тому же его работа здесь совпала с периодом крайнего обострения положения Коммуны во всех отношениях: военном, внутривластном и моральном. Варлен проводит ряд радикальных мер, помогающих предотвратить полный развал дела снабжения героических бойцов Коммуны, получающих в эти тяжелые дни все необходимое. Он упрощает структуру Интендантства, вводит строгий контроль и жесткую экономию во всех звеньях снабжения. Для него не существовало мелочей: он все считал в этот момент важным. Характерный эпизод. Один из генералов Коммуны прислал счет на оплату сшитого им у бывшего императорского портного мундира из роскошного драпа. Варлен отказал в оплате и написал на счете: «У Коммуны нет денег для дорогих нарядов».

Хотя положение становится все серьезнее, распри в Коммуне усиливаются. Варлену, как и другим руководителям, приходится тратить много времени не на организацию борьбы против версальцев, а на ликвидацию затруднений, вызванных враждой разных группировок. В начале мая возник серьезный кризис из-за притязаний Центрального комитета Национальной гвардии. Этот комитет, так поспешно передавший власть Коммуне в марте, потом словно пожалел об этом и сразу начал соперничать с Коммуной. В течение всего апреля ЦК продолжал притязать на власть, и Коммуна терпела это. В начале мая его притязания особенно усилились. Только что созданный Комитет общественного спасения и здесь сыграл пагубную роль. Он разделил все военные дела (а делить их было практически невозможно) на две части: ведением войны должен был заниматься новый военный делегат Россель, а военной администрацией — Центральный комитет. Это сразу дезорганизовало и без того очень напряженную работу военных органов. 6 мая к Варлену явились совершенно неизвестные люди, расшитые галунами, в сверкающих сапогах, заявив, что ЦК прислал их заменить его. Варлен с двух слов понял, что его гости не имеют никакого представления о сложных делах Интендантства. Примерно в том же положении оказался и Журд, которому ЦК объявил, что отныне он сам будет распоряжаться расходом денежных средств. Решение Комитета общественного спасения грозило парализовать и окончательно расстроить всю систему обеспечения военных действий. Только в результате категорических выступлений Варлена и Журда на заседании Коммуны 8 мая удалось устранить пагубные последствия вредных действий Комитета общественного спасения и ограничить притязания ЦК Национальной гвардии.

Вред, нанесенный Коммуне бессмысленными и просто опасными приказами Комитета общественного спасения, особенно сильно проявился в связи с трагедией Мулен-Саке. Так называлась пригородная ферма, расположенная на юго-восточном участке обороны Парижа, которую укрепили и превратили в редут, занятый сильным отрядом коммунаров. 3 мая генерал Врублевский получил приказ Комитета общественного спасения отправиться на помощь форту Исси. В ночь с 3-го на 4-е версальцы внезапно напали на Мулен-Саке. Было убито 50 и взято в плен 200 национальных гвардейцев. Когда на другой день Коммуна потребовала от Росселя объяснений, он сослался на приказ Комитета общественного спасения Врублевокому, отданный без его ведома. Феликс Пиа с присущим ему наг-

лым апломбом категорически отрицал, что он отдавал такой приказ. На другой день Коммуне представили оригинал приказа с подписью Пиа. Этот шарлатан сослался на свою «забывчивость». Почти одновременно Пиа выступил в своей газете «Ванжер» с капитулянтской статьей, в которой предлагал Тьеру мир без всяких требований сохранить политические или социальные завоевания Коммуны. Несмотря на всеобщее возмущение, Комитет общественного спасения даже не отмежевался от предательского шага Феликса Пиа. Обстановка в Коммуне и борьба между «большинством» и «меньшинством» накалилась до предела. 7 мая заседание Коммуны вообще было сорвано, поскольку явилось очень мало людей. Оказалось, что «большинство» в этот день проводило сепаратное совещание в мэрии I округа. 8 мая заседание состоялось, но его содержанием явился новый ожесточенный спор двух фракций.

В ночь на 9 мая коммунары оставили форт Исси, важнейшую стратегическую позицию, превращенную уже в груды развалин. Новый удар, полученный Коммуной, был усугублен предательскими действиями полковника Росселя. Он, не советуясь ни с кем, приказал расклеить в огромном количестве по всему Парижу такое сообщение, удивительное по своему торжественно-злорадному тону: «Трехцветное знамя развеивается над фортом Исси, оставленное вчера вечером его гарнизоном. Военный делегат Россель».

Не довольствуясь этим, он составил пространное заявление об отставке, в котором возложил ответственность за военные неудачи на Коммуну. Этот документ он послал в газеты, которые и опубликовали его, к великому ликованию версальцев. Одновременно поползли слухи о тайных встречах Росселя с некоторыми бланкистами, где обсуждался план свержения Коммуны и установления диктатуры Росселя. За установление этой диктатуры открыто высказался ЦК Национальной гвардии.

9 мая состоялось драматическое заседание Коммуны. Когда Делеклюз с волнением сообщил собранию о сеющей панику прокламации Росселя и о других событиях, оцепенение вскоре сменилось гневом. Делеклюз в заключение своей страстной речи решительно осудил Комитет общественного спасения. Варлен немедленно пишет на листке бумаги: «Так как Комитет общественного спасения поставил под угрозу общественное спасение, вместо того чтобы обеспечить его, мы предлагаем упразднить его». Варлен поставил свою подпись и передал записку Арнольду, тоже члену военной комиссии. Тот подписал и передал дальше. На листке появились еще одиннадцать подписей, главным образом представителей «меньшинства».

Разгорелись ожесточенные прения, которые показали, что новые несчастья не объединили Коммуну. Напротив, Феликс Пиа выступил с ожесточенными нападками на «меньшинство», обвиняя его в трусости и потворстве изменникам. Понимались требования ареста сторонников «меньшинства». После перерыва «большинство» удалилось на сепаратное совещание. Затем общее заседание возобновилось и был избран новый Комитет общественного спасения. В него вошли только сторонники бланкистско-якобинского «большинства» — Делеклюз, Ранвье, Гамбон, Эд. А. Арно. 10 мая происходили выборы гражданского делегата при военном министерстве. После плачевного опыта с двумя профессиональными офицерами (Клюзере и Россель) решили выбрать штатского человека. Выдвинули две кандидатуры: Делеклюза и Варлена. Это действительно были самые достойные и авторитетные люди в Коммуне. Однако раскол между «большинством» и «меньшинством», противоречия внутри самого «меньшинства» привели к тому, что кандидатуру Варлена после обсуждения сняли. Избрали больного и старого Делеклюза.

На следующем заседании возник вопрос о замещении места Делеклюза в Комитете общественного спасения. Выдвигается две кандидатуры: Варлен и бланкист Бийорэ. Теперь, когда «большинство» объявило открытую войну «меньшинству», голосовали только в соответствии с принадлежностью кандидатур к тому или иному клану. Поэтому Бийорэ получил 27 голосов, а Варлен — 16.

Выборы нового состава Комитета общественного спасения, делегата при

военном министерстве и замещение места Делеклюза в комитете, явившиеся успехами «большинства», еще более углубили разделившие две фракции разногласия. 11 мая «большинство» на сепаратном совещании решило усилить борьбу против «меньшинства». 13 мая из состава комиссии общественной безопасности вывели Вермореля, а Лонге сместили с поста главного редактора «Журналь офисьель». Но это было только начало. 15 мая обновляется весь состав военной комиссии. Из нее исключают Варлена, Авриала, Арнольда и Тридона. Среди сторонников «меньшинства» враждебность к «большинству» тоже усиливалась, особенно после того, как, явившись на заседание Коммуны 14 мая, они увидели лишь нескольких человек из группы «большинства». Заседание было сорвано. Тут же решают провести, подобно «большинству», свое отдельное заседание. Договорились собраться в здании Управления почт. Там обсудили и приняли декларацию «меньшинства», которую решили огласить на следующем заседании Коммуны. Однако 15 мая заседание опять срывается из-за отсутствия «большинства». Окончательно раздраженные члены «меньшинства» тут же решили опубликовать декларацию в газетах, и 16 мая она была напечатана. Под декларацией стояло 22 подписи, из них 18 подписей членов Интернационала, в том числе и Варлена.

В декларации говорилось, что Коммуна «отреклась от своей власти, передав ее диктатуре, которую она назвала Комитетом общественного спасения». Декларация содержала немало спорных и даже совершенно неверных утверждений. Ее авторы совершали грубую ошибку, отрицая необходимость сильной власти в том отчаянном положении, в котором оказалась Коммуна. Многие, подобно Варлену, с горечью сознавали, что раскол не делает чести ни «большинству», ни «меньшинству». Да, Коммуна забыла о своей великой ответственности, она оказалась ниже тех требований, которые предъявили ей грозные события. Совет Коммуны не только не смог организовать героически поднявшиеся массы пролетариата, он не смог организовать сам себя.

Обстановку этой грустной истории Лиссагарэ передает так: «...Разногласия перешли в личную вражду. Зал заседаний был маленький, плохо проветриваемый, плохо изолированный от шума и криков, которые раздавались в ратуше... В этой душной, нагретой комнате быстро создавалось напряженное, лихорадочное настроение и загорался раздор — мать поражения. Он, однако, затихал — пусть народ знает это так же хорошо, как и их ошибки, — когда они задумывались о народе и когда их душа подымалась выше жалких личных споров... Все социальные декреты проходили единогласно, потому что хотя они и любили выдумывать разделявшие их разногласия, они все были социалисты... И никто, даже в момент величайшей опасности, не осмелился заговорить о капитуляции».

III

Момент крайней опасности наступил. В три часа дня в воскресенье 21 мая версальские войска вошли в Париж. Они не взяли его штурмом, они не бросались на приступ укреплений, ибо на них никого не было. Уже несколько дней, как ворота Сен-Клу и другие проходы в город никем не охраняются. Массированный артиллерийский обстрел из нескольких сотен орудий, а главное — развал военной организации Коммуны сделали свое дело.

В семь часов вечера в зал заседаний входит бледный Бийорэ, член Комитета общественного спасения, и зачитывает сообщение генерала Домбровского:

— «Версальцы вступили через ворота Сен-Клу. Я принимаю меры, чтобы их прогнать...» Батальоны отправились, — добавляет Бийорэ, — Комитет общественного спасения на страже.

После этого никто не видел Бийорэ: он сбежал, вскоре исчез и пресловутый Комитет общественного спасения — так, что никто этого не заметил.

На другой день утром человек двадцать членов Коммуны собираются в ратуше. Решено разойтись по своим округам и каждому руководить у себя обороной. Никакого общего плана. Только теперь наконец загремели барабаны и

загудел набат. Патетическую речь с призывом взяться за оружие произнес Феликс Пиа и после этого скрылся. Он уже все предусмотрел. В одном из богатых особняков на Елисейских полях для него приготовлено убежище. Там, замаскировавшись под садовника, он спокойно переживает опасное время, чтобы потом уехать за границу...

Настало время для всех показать, кто чего стоит.

Варлен давно предвидел наступление конца: и он готов. Довольно мучительных сомнений, тоскливых раздумий; теперь нужно умереть! Варлен опоясывает себя пурпурным шарфом с золотыми кистями. Этот отличительный знак члена Коммуны раньше он почти никогда не надевал. Он немедленно отправляется на левый берег, в свой округ, в район Люксембурга. Здесь, в Латинском квартале, около Сорбонны ему многое памятно и все знакомо. Неподалеку от мэрии VI округа на площади Сен-Сюльпис, где Варлен немедленно приступил к организации обороны, улица Дофин. Там юный Эжен некогда переплетал книги, а больше читал их; там определил свою судьбу.

Версальцы уже близко, они захватили вокзал Монпарнас. Варлен распределяет отряды 67-го, 135-го, 147-го батальонов Национальной гвардии. Центром обороны будет площадь Круа-Руж, подступы к которой на расходящихся от нее улицах покрываются баррикадами. Улицы Вавен, Ренн, Гренель должны стать звеньями линии обороны, чтобы преградить врагу путь к Люксембургскому дворцу и Пантеону. Разбираются мостовые, и брусчатка укладывается камень к камню в стены выше человеческого роста. А потом сюда тащат мебель, матрасы, кипажи, бочки, идет в ход все. И каждая баррикада хочет иметь пушку, а лучше две. Коммунары яростно спорят из-за них, из-за снарядов, из-за «шаспо» — винтовок новейшего образца, которых хватает далеко не всем. На каждой баррикаде водружается красное знамя. Варлен руководит постройкой баррикад, начатой еще в ночь с 21 на 22 мая, распределяет людей, назначает командиров. Все надо делать на ходу, заранее никакого плана обороны не приготовили.

В этих кварталах среди жителей многие с нетерпением ждут версальцев. Коммунары подозрительны, но твердая решимость отражается на лицах. Они уже надеются только на себя и не доверяют никому. Здесь оказался журналист и член Коммуны Жюль Валлес: он хочет найти себе применение и то снимает, то надевает свой красный пояс члена Коммуны. Коммунары останавливают его, требуют снарядов, патронов, хлеба и объяснений. Но он сам ничего не знает и ничего не имеет. Ему угрожают.

— И после этого Коммуна смеет еще поднимать голос!

Но Коммуну здесь представляет не только Валлес. Как всегда, деловой Журд с сундуком денег, аккуратно раздающий жалованье гвардейцам. Здесь член Комитета общественного спасения бланкист Эмиль Эд помогает Варлену организовать оборону левого берега. Растерявшийся Валлес вызывает снова подозрения. Ему приказывают стать к стенке... Валлес вспоминает: «Но вот является Варлен — идол квартала, — и перед ним внезапно все смолкает. Я свободен!»

Уже днем 22 мая версальцы начали штурм баррикад на улице Ренн. Их много, гораздо больше, чем защитников баррикад: на каждого по десять человек. Но зато каждый из коммунаров знает, за что он сражается, и готов к смерти. Все сознают, что они обречены, что трудовой Париж не объединен никаким единым стратегическим планом, что он раскололся на множество маленьких Коммун, каждая из которых дерется на свой страх и риск. Это вселяет в людей какую-то отчаянную гордую смелость. Никто не ждет помощи и не рассчитывает на других, и никто не хочет отступать. Но слишком неравны силы. И вот уже появляются отряды, оставившие дворец Почетного Легиона и отступившие от горящего здания сюда, на площадь Круа-Руж.

Натиск усиливается и с юга, версальцы наступают от Монпарнасского вокзала. Их напор удерживает мощная баррикада во главе с полковником Лисбоном. Этот бывший драматический актер в тирольской шляпе никогда еще не играл так великолепно и такую благородную роль! Красное знамя на баррикаде то и дело сбивают снаряды, но его снова водружают на место. Кругом уже де-

сятки трупов, соседние кафе и магазины наполнены ранеными. Но баррикада держится. А Варлен в центре всей системы баррикад, он стоит у фонтана Сен-Сюльпис, окруженный группой гвардейцев. В нескольких метрах разрываются снаряды. Вот когда пригодилось хладнокровие Варлена! Он действует спокойно, методично, как будто у него в запасе огромные резервные силы, которые он вот-вот пустит в ход и обратит в бегство врага. Но никаких резервов нет и помощь не придет. Тем больше оснований держаться до конца!

Сегодня, 23 мая, прекрасный, солнечный, совсем летний день, прелесть которого нарушают клубы порохового дыма, грохот снарядов, свист пуль и крики сражающихся. В Париже несколько районов сопротивляются особенно мужественно. К северу, за Сеной, в Батиньоле, упорно держатся отряды, руководимые другом Варлена по Интернационалу Бенуа Маломом. Южнее от него бывший офицер Поль Брюнель умело превратил площадь Согласия в западню для версальских войск. Расставленные Брюнелем пушки усеивают огромную площадь трупами врагов. А к востоку от района, где дерется Варлен, по направлению к Орлеанскому вокзалу, раздается ожесточенная канонада битвы, которую великолепно ведет генерал Врублевский, не только сдерживая натиск превосходящих сил, но и предпринимая успешные контратаки.

«Такое же энергичное сопротивление, — пишет историк Коммуны Луи Дюбрейль, — оказал и Варлен, храбрец из храбрецов, воодушевлявший своей непоколебимой верой сражавшихся в VI округе на баррикадах перекрестка Круа-Руж, Ренн и Вавен».

Почти весь день 23 мая Варлен находится на баррикадах, защищающих перекресток Круа-Руж. Бой становится все ожесточеннее. Чтобы помешать версальцам стрелять с крыш и из окон домов, коммунары поджигают здания. Кончатся снаряды. Уже сотни трупов лежат позади баррикад. Некому их убрать. Артиллерия врага разбивает баррикады. Их восстанавливают под огнем, но ненадолго. К вечеру почти все здания квартала уже разрушены снарядами или сожжены. Держаться дальше невозможно. Варлен вместе с Лисбоном и тридцатью бойцами уходят на улицу Вавен. Здесь они ведут бой с наступающими моряками дивизии генерала Брюа. Затем мимо Люксембургского сада они отходят к Пантеону. Вокруг него последний центр сопротивления Латинского квартала. Три баррикады защищают подходы к Пантеону. На одной из них Варлен с горсткой своих людей вступает в бой. Вместе с Лисбоном и Жаком Аллеманом, рабочим-печатником, Варлен пытается собрать в один батальон скопившихся здесь гвардейцев из разных мест левого берега. Но они уже превратились в толпу, не поддающуюся организации. Версальцы идут к Пантеону сразу с трех сторон. В четыре часа дня 24 мая Варлен, Лисбон и остатки их отрядов отходят к Сене. Сзади и особенно слева, там, где они сражались вчера, сплошное море огня. Это мешает версальцам преградить им путь, и они вступают на Аустерлицкий мост. За островом Сите встают огромные столбы дыма: горят ратуша, префектура полиции, Тюнльри. По пути к ним присоединяются уцелевшие бойцы из других отрядов и рассказывают, что версальцы расстреливают всех пленных. Варлен узнает об убийстве Рауля Риго, прокурора и самого молодого члена Коммуны. Если в глубине сердца кое у кого еще и таилась надежда на спасение, то теперь всем ясно, что только чудо может избавить их от смерти. Варлен и его отряд направляются в Сент-Антуанское предместье. Здесь на бульваре Вольтера собираются остатки батальонов Коммуны. Теперь центр Коммуны в мэрии XI округа. Люди, повозки, пушки, лошади загромождают все вокруг. На широкой лестнице женщины, сидя на ступеньках, торопливо шьют мешки для баррикад. Повсюду прямо на земле спят измученные коммунары, у костров жарят конину, рассказывают друг другу об ужасных расправах версальцев с пленными, о настоящей охоте на коммунарок, которым приписывают поджоги. Ночь на 25 мая проходит тревожно. Пушечная канонада не стихает. Все вокруг озарено отблесками гигантского зарева, охватившего западную сторону парижского неба.

На другой день, 25 мая, в мэрии XI округа собрались двадцать два члена Коммуны и Центрального комитета Национальной гвардии. Обсуждают положение

ние, которое становится все более безнадежным. Коммуна зажата теперь на небольшом куске восточной части Парижа, в рабочих кварталах города. Площади Бастилии и Шато д'О становятся важнейшими опорными пунктами борьбы. Обсуждается вопрос о подозрительном посредничестве посольства Соединенных Штатов с целью заключения «перемирия». Некоторые готовы согласиться на это предложение. На деле речь шла о том, чтобы побудить коммунаров сдать немцам, которые передали бы их версальцам. Но, к счастью, благодаря бдительности простых коммунаров удалось избежать опасной западни.

А в это самое время яростный, еще небывало ожесточенный бой идет на площади Шато д'О. Вокруг шквал огня, снарядов и пуль. Тяжело ранен отважный Брюнель. Полковнику Лисбону снаряд раздробил обе ноги. Было около семи вечера, когда здесь показался Делеклюз. Старый революционер, больной и слабый, понял, что конец близок. Будучи не в состоянии сражаться, он все же решил выполнить свой долг и умереть. Худой старик с седой головой, опоясанный красным шарфом члена Коммуны, идет в самый огонь, и множество пуль пронзают его тело...

В начале этого рокового дня Делеклюз обратился к тем, кто еще остался из руководителей Коммуны, с просьбой передать обязанности военного делегата другому. Сразу прозвучало имя Эжена Варлена. Если у некоторых и мелькнуло выражение изумления, то это было связано с пронзившей их мыслью: а почему же они раньше не догадались сделать это, не заметили такого очевидно необходимого решения, которое теперь, увы, не могло быть ничем иным, кроме достойного финала трагедии Коммуны.

Не сказав ни слова, Варлен немедленно берется за дело. Территория Коммуны так мала, так немного у нее теперь защитников и так мало времени осталось ей существовать! Но забот от этого не меньше. Программа деятельности нового военного делегата проста: драться до конца! Все требуют подкреплений, снарядов, патронов, а их нет. Варлену нечего дать последним защитникам Коммуны, кроме своего мужества...

В мэрии невообразимый шум, непрерывно приходят люди и требуют невозможного — подкреплений. С трудом удавалось установить расположение батальонов и баррикад. Варлен, уже несколько суток не смыкавший глаз, даже в этих немислимых условиях остается олицетворением порядка и выдержки. Ему, во всяком случае, удается предотвратить возникновение паники и хаоса. А главное, бойцы на баррикадах знают, что командует Варлен, а они верят ему.

Приводят котуженного Лео Франкеля. Ему помогла добраться сюда член Интернационала, руководительница парижских коммунарок, молодая русская женщина Елизавета Дмитриева, знаменитая своей смелостью и необыкновенной красотой. Приносят тяжело раненного Вермореля. Этот талантливый журналист, неутомимый пропагандист социалистических идей, никогда раньше не походил на человека, способного воевать. Его внешность семинариста, неловкость, его смешная фигура не вязались с понятием воинской доблести. Но именно он в последние дни Коммуны проявил поразительную смелость и предприимчивость. Он лежит на диване и вдруг, открыв глаза, видит перед собой Ферре, активного деятеля «большинства» Коммуны, с которым он, представитель социалистического «меньшинства», так яростно спорил, отвергая обвинение в трусости.

— Вы видите, — говорит Верморель, — меньшинство умеет умирать за революцию...

Ферре бросается к Верморелю и обнимает его. А ведь в самом деле, здесь вместе с Варленом немало людей из «меньшинства», из Интернационала, таких, как Журд, Франкель, Тейс, Камелина. Все, впрочем, как будто забыли недавние споры и разногласия.

К вечеру 25 мая защитники площади Шато д'О почти все уже перебиты. На каждого коммунара приходится по двадцать пять — тридцать версальских солдат. Особенно тяжело стало горстке защитников легендарной площади (сейчас это площадь Республики) после того, как был тяжело ранен их командир Брюнель. Вскоре площадь Шато д'О занимают версальцы. Они появились и на площади

Вольтера, где бронзовый мыслитель, во многих местах пробитый пулями, встретил их своей неизменной и загадочной сардонической улыбкой.

В ночь на 26 мая Варлен и все остальные покидают мэрию XI округа. Штаб Коммуны перемещается на улицу Аксо в дом 81 на самой восточной границе Парижа, в Венсенском предместье, в садах которого в эти дни цветет вишня. С утра небо покрывают тучи. Полил дождь. Говорят, что это результат чудовищной пушечной канонады. Но пожары не прекращаются, теперь огонь охватывает еще и доки Ла-Виллет.

Варлен видел смерть вокруг, видел неопишуемые жестокости версальцев, понимал, что ждет его и всех, кто еще не попал в руки палачей. Как жесток человек и как жестоко время! Обращаясь к Валлесу, Варлен сказал:

— Да, нас заживо изрубят в куски. Наши трупы будут волочить в грязи. Тех из нас, кто сражался, убили, раненых прикончат. А если кто-нибудь и уцелеет и его пощадят, то отправят гнить на каторгу. Да, но история в конце концов увидит все в более ясном свете и скажет, что мы спасли Республику!

Ночью с 26 на 27 мая бои немного стихают, но ружейная перестрелка и артиллерийский обстрел не прекращаются. Многие дома Бельвиля горят, подожженные зажигательными снарядами версальцев. Генералы Тьера хотят «выкурить» коммунаров. В смрадном тумане мелькают фигуры коммунаров; Варлен обходит еще оставшиеся баррикады между бульваром Бельвиль и улицей Труа-Борн; надо использовать ночь для ремонта баррикад, послать людей туда, где осталось всего по несколько человек. Но о каком-либо планомерном руководстве уже не может быть и речи. С рассветом бои возобновляются с новой яростью. По всем стратегическим и политическим расчетам Тьера, Коммуна уже мертва, но она еще борется. Ожесточенные схватки завязываются на этих клочках Парижа в Менильмонтане и Бельвиле, на кладбище Пер-Лашез, на холмах Бют-Шомон. Коммунары дерутся с небывалым ожесточением, сражаются отчаянно, хотя и безуспешно. Теперь им не улыбается ни земля, ни небо. Оно хмуро и плачет проливным дождем.

Как должное воспринимаются подвиги, совершаемые на каждом шагу. Героизм последних бойцов Коммуны стал уже привычным. Расстреляв все патроны, люди грудью бросаются на штыки. Женщины, старики, дети творят чудеса. С какой-то гордостью они идут на смерть. Ненависть и презрение к врагу вытесняют страх. Необычайная насмешливая дерзость коммунаров поражает врагов, с ужасом взирающих на яростные улыбки коммунаров. И всегда, умирая, они восклицают: «Да здравствует Коммуна!» Обреченные на смерть, они идут к ней навстречу, приветствуя свой идеал!

На одной из баррикад Варлен видит такую сцену. Молодой коммунарь стоит на груде камней с красным знаменем в руках вызывающе, не обращая внимания на свистящие вокруг пули. Вот он стал как-то втискивать свое тело между огромной бочкой и стеной дома, к которому она прислонена.

— Эй, стой как следует, ты, лентяй! — кричит ему снизу товарищ.

— Да нет, — бросает тот с улыбкой, — я прислонился, чтобы не упасть, когда меня убьют!

К вечеру, истратив все снаряды, отходят защитники Бют-Шомон. Сломлено и отчаянное сопротивление на кладбище Пер-Лашез. Но оттуда еще слышны выстрелы: у стены расстреливают взятых в плен коммунаров.

Во второй половине дня в одном из домов на улице Аксо состоялось последнее собрание оставшихся членов Коммуны и ЦК. Все сознавали, что наступил последний час. Бланкист Эдуард Вайян предложил послать к ближайшему прусскому офицеру парламентаря с просьбой быть посредником и сообщить версальцам, что оставшиеся члены Коммуны сдадутся на их волю при одном условии — что будет прекращена резня и гарантирована свобода защитникам Коммуны. Валлес поддержал это предложение. Однако, посоветовавшись, решили, что капитуляция была бы ошибкой, что величие Коммуны состоит и будет состоять в будущем в том, чтобы погибнуть в бою.

Эжен Варлен, не спавший несколько суток, совершенно разбитый усталостью,

измученный лихорадочной деятельностью, попросил подполковника Парана взять пока на себя военное руководство. На несколько часов Варлен забылся в тяжелом сне. Он проснулся, когда уже наступила ночь.

Вместе с Камелина, членом Интернационала, который при Коммуне был директором Монетного двора, и Луи Пиа, членом ЦК, Варлен вышел на улицу. Они прошли по улице Бельвиль до улицы Пиренеев. Камелина предложил подняться по узкой улочке, представлявшей собой крутую лестницу, на вершину холма, откуда виден как на ладони весь Париж. Грандиозное и трагическое зрелище представало перед ними. Париж был в огне. Театр у ворот Сен-Мартен и хлебные склады походили на два гигантских костра. Столбы пламени, колеблясь и мерцая, поднимались в темное небо. Огромные снопы искр взвивались к звездам. Тут и там рвались снаряды. Вдали трещали выстрелы. Облака дыма покрывали плотной завесой целые кварталы. Взволнованные, они молча спустились и пошли по улице Курон. Дойдя до бульвара Бельвиль, они пожали друг другу руки и разошлись. Варлен направился к баррикаде на углу улиц Сен-Мор и Фонтен-о-Руа. Здесь, рядом с домом, в котором юный Эжен жил после ухода из мастерской своего дяди Дюрю, Варлен сражался до полудня 28 мая. Но вот держаться стало невозможно. Версальцы, проникая через дворы и соседние улицы, начали окружать баррикаду. Ее командир Луи Пиа и около пятидесяти гвардейцев решили поднять белый флаг. Но Варлен отказался присоединиться к ним и побежал на другую баррикаду, пересекавшую улицу Рампоно. Здесь вместе с Шарлем Гамбоном Варлен стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Тогда Гамбон бросился в одну сторону, Варлен — в другую. Все было кончено. Теперь только залпы карательных взводов нарушали тишину.

Варлен, совершенно не скрываясь, шел как во сне. Наконец, когда было около трех часов дня, он машинально опустился на скамейку в сквере на углу улиц Лафайет и Каде. Варлен и не думал скрываться, он не пытался изменить свою внешность, как делали многие. Он совершенно забыл о себе. Просто чудо, что его до сих пор не схватили. Варлен давно видел неизбежность поражения Коммуны. Но чудовищность катастрофы превзошла самые мрачные предчувствия. Он думал о том, что вся его жизнь, смыслом которой было социальное освобождение рабочих, перечеркнута, исковеркана. Пятнадцать лет напряженных усилий, когда удавалось порой достичь немало, пошли прахом. Сможет ли возродиться социалистическое движение? Неужели ему предстоит увидеть торжество военной диктатуры, возможно, восстановление монархии? Погруженный в свои мысли, Варлен не замечал ничего вокруг.

А в это время его пристально разглядывал священник, сидевший за столиком на террасе кафе. Он узнал Варлена и указал на него проходившему мимо версальскому офицеру. С помощью нескольких солдат лейтенант Сикр схватил Варлена. Ему связали ремнями руки за спиной и повели под конвоем по улице Рошешуар, потом по шоссе Клиньянкюр к Монмартру.

Имя Варлена, хорошо известное еще задолго до Коммуны, прохожие передавали из уст в уста. Постепенно образовалась огромная толпа, которая следовала вместе с конвоем. Здесь было немало просто любопытных людей, но много оказалось таких, для кого поражение Коммуны явилось праздником, кто вылез теперь из подвалов и торжествовал. Вслед за войсками Тьера в Париж вернулись многие, бежавшие отсюда в Версаль. Словно подтверждая старую истину, что у каждой, даже бешеной собаки бывает свой праздник, они радовались, видя связанного и окруженного штыками Варлена. Из толпы раздались злобные крики и оскорбления. Когда шествие вступило на узкие улочки Монмартра, движение замедлилось и солдаты с большим трудом прокладывали себе путь в толпе. И тут в Варлена полетели камни и комья грязи. Наиболее яростные прорывались через цепь солдат и рвали волосы, одежду Варлена, впивались ногтями в его лицо. Солдаты, зараженные бешенством толпы, стали бить Варлена прикладами, колоть штыками. А он спокойно и твердо шел вперед, даже его обычная сутулость исчезла, он не опускал голову, не уклонялся от сыпавшихся на него

ударов и смотрел куда-то вдаль сквозь беснующуюся и ревущую толпу. Его лицо совершенно разбито, он весь покрыт кровью, какой-то негодяй, изловчившись, выколол ему глаз. Его спина, грудь стали мишенью, в которую бросали булыжники. Почти два часа продолжался этот крестный путь к вершине Монмартра. Обливаясь кровью. Варлен начал спотыкаться и падать. Солдаты стали подталкивать его ударами штыков и прикладов. Вскоре он уже не мог двигаться и его пришлось нести. А толпа словно опьянела от крови, и избивание продолжалось.

Его тащили на улицу Розье. Там 18 марта солдаты, перешедшие на сторону народа, расстреляли двух ненавистных им бонапартистских генералов Леконта и Тома. Вину за это Тьер приписывал Коммуне. На этом месте с 23 мая, когда версальцы захватили Монмартр, уже происходили массовые казни сотен ни в чем не повинных жителей соседних домов.

Здесь и притащили наконец Варлена, к генералу Лавокупо. Варлен назвал свое имя, но не стал отвечать на вопросы. Последовал короткий приказ, и его поволокли в небольшой сад, чтобы поставить к стене. Но ноги его не держали. Тогда Варлена усадили на садовую скамейку. Лейтенант Сикр отдал приказ, и солдаты, стоя в трех шагах от Варлена, подняли свои шаспо. Внезапно, как от какого-то внутреннего толчка, окровавленные, разбитые губы Варлена зашевелились и раздался его громкий и внятный голос:

— Да здравствует Коммуна! Да здравствует Республика!

Слова прозвучали как команда, и загремели выстрелы. Варлен повалился на бок. Солдаты бросились добивать его прикладами, но лейтенант остановил их:

— Оставьте, он мертв!

Потом убийцы обокрали мертвого Варлена. Они вытащили из его кармана бумажник, в котором оказалось 248 франков 15 сантимов. Лейтенант Сикр разделил деньги между солдатами. Себе он взял его серебряные часы, на которых было четко выгравировано: «Эжену Варлену от признательных рабочих-переплетчиков».

Никто не знает, где похоронили Варлена.

* * *

Пусть рассказ об одном из самых замечательных героев и мучеников Коммуны завершат его товарищи-коммунары. Все они отдавали ему дань восхищения и любви.

«Варлен весь принадлежит воинствующему социализму, — писал Артур Арну, — образ его всегда останется одним из самых светлых, самых благородных. Нельзя забыть его молодой прекрасной головы, покрытой уже седыми волосами, этого глубокого взгляда черных глаз, этого задушевного и ровного голоса и исполненного достоинства обращения. Он говорил мало, не выходил из себя никогда. В нем соединилось великодушие героя и меланхолия мыслителя».

«Вся его жизнь была примером, — пишет Лиссагарэ, — упорным напряжением воли, отдавая учебе то короткое вечернее время, которое оставляла ему мастерская, он создал сам себя. Он стал душой рабочих ассоциаций конца Империи. Неутомимый, скромный, говорящий мало, но всегда к стати и освещавший тогда одним словом запутанный вопрос, он сохранил революционное чувство, которое часто притупляется у интеллигентных рабочих. Один из первых 18 марта, лучший работник в продолжение всей Коммуны, он стоял до конца на баррикадах, отдал всего себя для освобождения рабочих».

Уже сто лет Варлен остается гордостью французского рабочего класса. Его имя навечно вписано в славную историю мирового освободительного движения пролетариата.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО,
член-корреспондент Академии наук УССР

★

К НОВОМУ УРОВНЮ

ИН а вопрос о состоянии и перспективах современного литературоведения я попробую ответить, приземляя свои соображения к более привычным для меня «местным» — то есть в данном случае украинским — условиям и масштабам. Впрочем, при всех конкретных различиях, главные проблемы и задачи, стоящие перед всеми нами — в Москве, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Риге, Кишиневе и других местах, — в целом одни и те же.

Как известно, литературная наука ныне занимает — увы! — достаточно скромное место в ряду других наук, и как-то неловко хвалиться ее достижениями перед лицом таких «цариц» современного знания, как физика, химия, биология, да и перед лицом кровных ее сестер из числа наук общественных (если вспомнить, скажем, интенсивное развитие ряда разделов марксистско-ленинской философии или гражданской истории). И все же очень значительные шаги, сделанные ею в наше время, — факт несомненный.

Вот, к примеру, в Киеве завершается издание восьмитомной «Истории украинской литературы», охватывающей многие века, начиная со времен Киевской Руси, чье наследие является общим достоянием трех братских восточнославянских народов, и кончая нашими днями. Создание такого капитального труда — явление достаточно знаменательное и типичное для сегодняшней жизни многонациональной советской литературы, потому что подобные обстоятельные исторические курсы пишутся и.ти уже написаны почти во всех союзных республиках. Разумеется, читательская, общественная оценка нашего украинского восьмитомника еще впереди. Но уже сейчас, не упреждая

ее, можно сказать, что для создания «Истории» требовалось вдумчивое, подлинно современное решение многих вопросов не только «фактографического», но и методологического характера — и по крайней мере в значительной части этого коллективного труда такое решение было найдено. Едва ли не впервые здесь подробно раскрыт и объяснен — с учетом всей его сложности и своеобразия — процесс исторического развития большой национальной литературы и вместе с тем дано свежее прочтение многих отдельных писательских «историй», органически в него входящих. Понятно, что мера успеха тех или иных авторов восьмитомника определялась прежде всего степенью проявленного ими марксистско-ленинского историзма, глубиной проникновения в общественное и эстетическое содержание исследуемого предмета.

Перебирая в памяти наиболее заметные книги, вышедшие за последние годы, — главным образом по истории литературы, дореволюционной и советской, — видишь за ними многое. И рост уважения к объективной реальности исторического процесса, уважения, несовместимого с предвзятой «подгонкой» материала ко всяческим упрощенным схемам. И более широкий круг межнациональных литературных связей, обнаруживаемых при углублении в живую историю. И безусловно повысившуюся культуру анализа, позволяющую преодолевать довольно нередкий в прошлом разрыв между «идейностью» и «художественностью». И очевидное (можно сказать: огромное) расширение фактической базы исследований — результат упрочения подлинно научного подхода к изучению литературы,

требующего анализировать и осмыслять не отдельные факты, а «всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов» (Ленин).

Правда, в связи с последним обстоятельством возникает необходимость и в одном трезвом предупреждении, вполне, кажется, своевременном. Сейчас «открывается» — в смысле введения в современный научный оборот, в смысле нового истолкования после более или менее длительного забвения — много имен: от, скажем, М. Драгоманова и до целого ряда советских писателей двадцатых и тридцатых годов. Процесс закономерный, характерный для современного этапа развития нашей историко-литературной науки и наблюдающийся, очевидно, во всех братских литературах. Но пафос «открывательства» иногда — волюно или невольюно — переходит в пафос идеализации, в стремление «поадвокатствовать» перед историей за избранного автором деятеля. Примеры этого можно подчас обнаружить в украинском литературоведении: взять хотя бы фигуры М. Зерова или Б. Антонича, непомерно превозносимые одними и оставляемые по крайней мере без четкой идейной характеристики другими.

Тенденции подобного рода надо преодолеть тем настойчивее, чем более расширяется поле исследований и чем конкретнее анализ явлений, находящихся на сложных исторических перепутьях или же на исторической периферии. А ведь немало было, кроме них, и прямо реакционных, антинародных направлений, течений, фигур, о которых советский историк литературы тоже обязан говорить полным голосом, ничего не смягчая и не затушевывая!

Литературоведение — наука общественная. В профессиональных задачах историка и теоретика литературы всегда есть «сверхзадача» большого идеологического, культурного значения. Понимание общенародной важности своего труда — далеко не последний стимул, движущий деятельностью литературоведа.

Разве может не вдохновлять нас тот неоспоримый факт, что лишь победа марксистско-ленинской концепции истории украинской литературы помогла раскрыть ценности, созданные корифеями украинского художественного слова, в их непреходящем национальном и интернациональном значении? Если взять хотя бы некоторые, наиболее крупные имена — Котляревский, Шевченко, Панас Мирный, Франко, Коцюбин-

ский, Леся Украинка, Стефаник, Тычина, Рыльский, Довженко, — то никогда раньше, мне кажется, не осознавалась так отчетливо связь их творчества с жизнью народа, общества, неувыдающая прогрессивная сущность их идейно-эстетического наследия, самостоятельность и оригинальность их художественного вклада в отечественную и мировую литературу. С волнением вспоминаются наиболее крупные юбилеи классиков родной литературы, прошедшие за последние годы и ставшие памятными событиями в жизни страны. «О таких масштабах и о такой подлинной народности чествования памяти великих поэтов мы даже представления не имеем» — этот мотив прошел через многие печатные отклики иностранных гостей, принимавших участие, например, в Шевченковских торжествах шестидесятых годов.

Последний штрих, может быть, и не имеет строго научного характера, но и он в конечном счете говорит «в пользу» советского литературоведения: ведь есть и его заслуга в этом глубоком и творческом восприятии народом своего великого литературного наследия. И для этого наука должна была, помимо всего прочего, осуществить огромнейшую работу по разоблачению идеалистических, буржуазно-националистических мифов и псевдонаучных концепций, в ложном свете представлявших прошлое и настоящее украинской литературы. Впрочем, многие из этих мифов — в более или менее «модернизированном» виде — и сейчас еще находятся на вооружении зарубежных извратителей истории нашей литературы из числа буржуазных «советологов» всяческого, в том числе и украинского, происхождения, — здесь единственным ответом с нашей стороны может быть лишь бескомпромиссная идейная борьба.

Одним из главнейших итогов изучения предоктябрьской украинской литературы мне представляется всестороннее обоснование чрезвычайно важного вывода о благотворном влиянии идей марксизма-ленинизма — пусть нередко в сложно опосредованной форме — на творчество передовых писателей конца XIX — начала XX столетия.

«Благодаря идеям марксизма-ленинизма, — заключает свои соображения П. Колесник, один из авторов сборника статей «Революционное обновление литературы», специально посвященного этой проблеме, — преодолевая противоречия, сомнения и творческие поражения, без которых не

происходит никакое развитие, украинская прогрессивная литература решительно пошла навстречу освободительным устремлениям народных масс и вместе с ними пережила процесс своего великого революционного обновления.

Она создала такие качественно новые эстетические ценности, которые с победой Великой Октябрьской социалистической революции стали живой, действенной традицией в развитии советской литературы как литературы социалистического реализма¹.

Речь идет в конечном счете о том, что возникновение украинской советской литературы, литературы социалистического реализма как исторически новой идейно-художественной системы было не «нарушением» и тем более не «обрывом» (на этот счет особенно охотно распространяются буржуазные националисты), а закономерным революционным продолжением передовых национальных традиций. Вывод — если, разумеется, принимать его не схематически и, не дай бог, без всяческих нарочитых «исправлений» истории, — имеющий принципиальное значение для правильного понимания ряда актуальных вопросов не только прошлого, но и современной литературной эпохи.

Здесь завязываются и многие теоретические «узлы», далеко не безразличные для сегодняшней литературной практики. Жаркие споры о традициях и новаторстве и, в несколько иной модификации, о «провинциализме» и «выходе на мировые пути» проходят через всю украинскую литературную жизнь начала XX века (это была жизнь литературы, испытывавшей все последствия не только социального, но и национального угнетения своего народа). В советскую эпоху, в двадцатые годы, эти проблемы становятся плацдармом, на котором разыгрываются ожесточенные бои с мелкобуржуазной националистической и ревизионистской идеологией. С отголосками этих боев, точнее, высказанных в них ложных взглядов, иной раз можно встретиться и в наше время. Позитивное решение этих вопросов, происходящее в украинской советской литературе на совершенно новой жизненной основе, во многом связано с живыми — и во всех отношениях ближайши-

ми к нам — традициями таких больших революционных художников, как Франко, Леся Украинка Кошубинский, — и в осмыслении первостепенного эстетического значения их наследия для современности еще многое, мне кажется, предстоит сделать нашей литературной науке. Потому что перед нами — знаменательные примеры того истинного «выхода на мировые пути», который был осуществлен на основе передовой революционной идейности и верности реалистической эстетике, творчески обогащаемой на новом историческом этапе. По сравнению с опытом этих замечательных художников, прекрасно знавших наряду с русской культурой подлинные и мнимые новации современной им западноевропейской литературы и отнюдь не глухих к ее передовым творческим устремлениям, — действительным провинциализмом и мелкомыслием выглядит самоуверенная эстетская ориентация, которая провозглашалась, кстати, уже после революции: «...Оце твоя, Україно, дорога: Леконт де Ліль, Хозе Ередія» (строки из сонета М. Зерова «Молодая Украина», 1921 год).

Представляю себе работу об эстетических, в том числе стилевых, линиях развития украинской литературы (одного только, скажем, XX века) в широком контексте ее связей и типологических «созвучий» с русской, другими славянскими и всей мировой литературой, — какой актуальной она оказалась бы и сегодня и завтра!

Но труды такого синтетического, обобщающего характера, требующие оригинальной и достаточно емкой концепции с прочным теоретическим основанием, пока что редкость во всем нашем всеоюзном литературоведении.

Если говорить о том, чего не хватает ему сегодня, то речь должна идти прежде всего о теоретической насыщенности, о концептуальности исследований, о смелом выдвижении новых научных идей, о более решительном приступе к решению значительных и сложных вопросов, выдвигаемых современным развитием литературы, эстетики, общественной жизни.

Б. Сучков в статье «Некоторые актуальные проблемы» («Новый мир», 1970, № 10) справедливо говорит, например, о назревшей задаче изучения советской литературы как самостоятельной и новаторской художественной системы, рассматриваемой на мировом литературном фоне. Несомнен-

¹ «Революційне оновлення літератури (Проникнення ідей марксизму-ленінізму в українську літературу кінця XIX — поч. XX ст.)». К. «Наукова думка», 1970, стр. 370—371.

но, необходимо более свежо, более точно и глубоко решать вопросы о природе стиливого многообразия, свойственного литературе социалистического реализма, о видах художественного обобщения, о взаимоотношении таких категорий, как мировоззрение, метод, стиль, а также общественное самосознание, общественное настроение и т. д. Бедность нашей ходовой терминологии, сводящей все стиливые цвета и оттенки к некой «бинарной» схеме — «более реалистично» и «более романтично», — тоже отражает в конечном счете все еще невысокую степень разработанности этой большой проблемы как в теоретическом, так и в историческом (применительно к опыту советской литературы) аспектах. Время от времени вспыхивают споры по поводу того или иного понимания места романтизма и романтики в искусстве наших дней, но думается, что разговор о современном реализме, о его новых художественных чертах, а также о несомненной его синтетичности по отношению ко всему прогрессивному опыту мирового искусства мог бы быть, вероятно, более интересным и актуальным.

Советская литература утверждает своими образами — прежде всего образом своего основного, ведущего героя — целый мир новых духовных и нравственных ценностей, новых отношений человека к действительности. Крупных, обобщающих исследований на эти темы у нас мало, и они редко выходят за рамки привычного, уже установленного и проверенного. Иногда мы пренебрегаем и теми проблемами, изучение которых имеет уже солидную традицию.

Нет нужды говорить, например, о том, в какие сложные, подчас драматические отношения вступило нынешнее человечество с природой и какой жгучий интерес — социальный, философский, нравственный — вызывает сегодня эта тема, находя все более широкое отражение в литературе и в искусстве. Да и всегда «чувство природы» в искусстве представляло удивительно емкий комплекс, часто выражавший самые интимные стороны мирозерцания человека и настроений эпохи. В XX веке — и уже с самого его начала, в преддверии и в пору великих революционных бурь и переворотов, — это чувство становится предельно насыщенным философскими и сложно преображенными социальными мотивами, вмещающая в себя целую гамму предчувствий, прозрений, порывов: здесь — каждый со своей особой «музыкой» — и Тагор, и Верхарн, и

Гамсун, и Леся Украинка с «Лесной песней», и Блок, и Есенин, и Тычина с «Солнечными кларнетами» и «Космическим оркестром», и Шолохов, и Довженко...

Старое, буржуазное литературоведение, особенно на Западе, уделяло указанной проблематике серьезное внимание (другое дело, как оно ее решало): переведенная, скажем, у нас в конце прошлого столетия монография Альфреда Бизе «Историческое развитие чувства природы» пестрит ссылками на многочисленные работы немецких, французских, частично английских, итальянских авторов, посвященные теме «Литература и природа». Пора бы по-настоящему заинтересоваться ею и нам — здесь таится содержание, приобретающее все большее значение для характеристики эмоционально-философского «состояния духа» современников и его образных отражений в искусстве слова. Ведь именно в нашу эпоху с полной силой ощущается пророческий смысл известных слов Ф. Энгельса о том, что чем сознательнее становится вмешательство человека в «естественный ход» природы, «тем в большей мере люди снова будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой»¹ — со всеми философскими и психологическими последствиями данного факта.

Разумеется, это лишь один из примеров той разнообразной, нередко новой, а главное — значительно более усложненной и обобщенной (по сравнению с привычными уровнями) проблематики, которая сегодня стучится в дверь нашего литературоведения.

И особенно настоятельная задача — дальнейшее совершенствование конкретных методов литературного исследования, базирующихся на незыблемой общей основе марксистско-ленинской методологии. Об этом сегодня, видимо, думают почти все. Марксистское литературоведение никогда не было и не могло быть узко специализированной, «закрытой» наукой в смысле изолированного, самодовлеющего изучения своего предмета как явления имманентного, — это совершенно ясно. Однако самостоятельное и вдумчивое обращение к видам «братских» наук, и прежде всего социологии, социальной психологии, общей теории и истории культуры, все еще мало ощущается в работах специалистов-литературоведов, что приводит к неминуемому

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 496.

обеднению и схематизации анализа. Для зрелого осмысления процессов развития советской литературы, где, казалось, бы, жизненная основа художественных явлений всего ближе и «нагляднее», уверенная опора, скажем, на точные социологические данные так же важна, как и в любой другой сфере,— это практически показал, между прочим, Ю. Кузьменко в своей интересной работе «Человек творящий», недавно опубликованной в «Новом мире» (1970, №№ 9, 10).

Детальный разговор о взаимосвязи литературного анализа и материалов, даваемых социальной психологией, в частности, о методологическом аспекте такой взаимосвязи в работе литературоведа, еще должен, мне кажется, когда-нибудь произойти. С проблемами социальной психологии — той, которая «выражается» в произведении, и той, которой оно адресовано,— исследователь литературы, естественно, сталкивается на каждом шагу, и не только в широких мировоззренческих сферах анализа, но очень

часто и при рассмотрении таких специальных вопросов, как, скажем, тропика или ритмомелодика стиха. Крупный писатель (в поэзии это проявляется нагляднее) всегда более или менее сознательно держит в поле своего зрения также сложнейшую, нелегко уловимую проблематику национальной психологии, стремясь революционизировать эту последнюю, внести в нее новые начала, подсказываемые ходом действительности. Учет всех этих проблем и их реального движения в жизни и литературе, несомненно, положительно скажется и на методике анализа, и на общих выводах. Как не вспомнить при этом, что именно категории социальной психологии были наряду со всем другим блистательно использованы В. И. Лениным для его гениальных выводов о творчестве Л. Толстого, сделавших целую эпоху в литературоведении.

Одним словом — предстоит задуматься над многими новыми и большими вопросами, перед которыми вплотную стало сегодня развитие советской литературной науки.



АЛЕКСАНДР ЯНОВ

★

РАБОЧАЯ ТЕМА

Социологические заметки о литературной критике

Если бы мы даже сочли литературу не только отражением действительности, но и некой самостоятельной, как полагают иные теоретики, реальностью — особой действительностью, в которой волнуются свои моря, сияет свое небо и высятся свои специально-литературные вершины, то и при этом условии работа моя носила бы вторичный характер.

Ибо это — критика критики.

Я прошу читательского снисхождения: мне придется необычно много цитировать. Пусть же читатель объяснит это не стремлением укрыть свою позицию за авторитетными спинами, но просто своеобразием жанра.

Впрочем, просить снисхождения заставляет меня и более возвышенная, что ли, причина — сама специфика трехслойного анализа, требующая установления жесткого и синхронного соответствия различных жизненных сфер: непосредственного бытия и разнородных его отражений — в науке, в литературе, в критике. Проблемы истории советской индустрии по необходимости переплетаются тут с проблемами истории литературной критики, «социология литературы» — с результатами конкретных социальных исследований в промышленности, критика сопоставляется не только с литературой, но и с наукой, с действительностью. Обширность этой задачи вынуждает меня сосредоточиться лишь на одной из сторон рабочей темы в литературе — на ее познавательной функции, на ее, так сказать, исследовательской службе в обществе, почти не касаясь сферы эстетической. Это попытка судить о рабочей теме в литературе

под углом зрения ее истории и средствами социологического анализа.

Мне хотелось бы выделить в этом кратком прологе слово по попыткам...

I

Выступая на одной из многочисленных дискуссий о рабочей теме в литературе, дискуссий, разросшихся за последние годы в единую, можно сказать, всесоюзную Дискуссию, А. Мухтар предварил свою речь за «круглым столом» журнала «Дружба народов» (1970, № 3) рассказом, как проводжали его в Москву двое друзей. Один заметил, что спор о рабочей литературе — это правильно, злободневно, а другой возразил, что ему вообще непонятно, о чем тут может быть спор и какая может быть рабочая литература, если предмет литературы — не просто рабочий, крестьянин или интеллигент, а человек...

Здесь точно схвачен главный дискуссионный момент во всех выступлениях по рабочей теме — момент самой правомерности такой дискуссии. Ибо по существу в ней ничего собственно дискуссионного нет. Выступают писатели, критики, социологи, рабочие, делятся своими наблюдениями и результатами исследований, порою яркими и глубокими — но никто ни с кем не спорит. Никто никого не опровергает, не ломает полемических копий.

Д. Гранин за тем же «круглым столом» даже воскликнул в сердцах: «Жаль, что обсуждение пока сводится к монологам, а не превращается в живой разговор и спор».

Те, кто не согласен с правомерностью та-

ких монологов, участия в дискуссии не принимают.

Те же, кто принимает, вполне мирно, согласно и единодушно... завидуют «деревенщикам». «Мы помним В. Овечкина,— пишет в «Дружбе народов» В. Моев,— прекрасный пример, когда именно литератор поставил перед обществом и помог осмыслить многие актуальные проблемы деревенской жизни. Рискнет ли кто-нибудь сказать, что у нас есть «промышленный», «городской» Овечкин?»

Эта откровенная ревность к деревенской литературе, к сложности ее нравственной проблематики, к остроте и органичности, «невыдуманности» обнаруженных ею коллизий пронизывает большинство выступлений. Б. Анащенко, выступая в «Вопросах литературы» (1970, № 6), вообще обратил эту ревность в ось своей позиции. Проанализировав опыт развития деревенской прозы, он пытается даже сконструировать модель-прогноз будущего развития прозы индустриальной. При этом критик не страшился сакраментального вопроса, о который спотыкаются многие участники Дискуссии: можно ли расчленять литературу «по тематическому признаку»?

Можно или нельзя, но критика наша давно уже это делает. И не случайно. Решится ли кто-нибудь отрицать существование могучего отряда «деревенщиков», то есть писателей, которые поставили главные социальные и нравственные проблемы времени именно на деревенской тематике? Решится ли кто-нибудь отрицать глубокую и мощную традицию индустриального романа, ставившую подобные проблемы именно на материале жизни рабочего коллектива?

Это реальные факты жизни и литературы, утвердившиеся как нечто закономерное в общественном сознании. И потому следовало бы, очевидно, осмыслить их и интерпретировать литературоведческой науке в целом, а не отдельным отважным «эмпирикам», на свой страх и риск прокладывающим паргизанские тропы в теоретической чащобе. В ожидании же грядущих интерпретаций приходится покуда исходить лишь из упомянутого «паргизанского опыта».

Итак, индустриальная проза как литературный жанр — со своими специфическими признаками, со своими типами конфликтов, со своими героями и своей эволюцией.

Путь ее адекватен пути нашей индустрии — от донэповских руин до глобальной научно-технической революции. Уже выри-

совываются общие контуры этого большого и трудного, полного проблем и терний пути первооткрывателей. Литературной критике представляется возможность охватить в единой концепции фундаментальные пласты времени, обнажить драматические подземные ходы «крота истории», который, как сказал Маркс, хорошо роет, исследовать отражение этих «ходов» в литературе и их интерпретацию в литературоведении.

Есть, однако, и оборотная сторона у пронизывающей нынешнюю Дискуссию ревности к «деревенщикам». Это общее беспокойство за судьбу индустриальной прозы, за ее неадекватность значению рабочего класса в обществе, за ее, прямо скажем, сегодняшнюю слабость. Об этом говорят Д. Гранин в «Дружбе народов» (1970, № 3), В. Гейдеко в «Вопросах литературы» (1970, № 6), В. Синенко в «Урале» (1966, № 3). «Сегодня проблема влияния рабочего класса на жизнь нашего общества сужена литературой,— отмечает В. Синенко,— сведена к воздействию рабочего коллектива на людей мещанской психологии».

«Наша литература о рабочем человеке,— говорит Д. Гранин,— нуждается в типах, характерах. Таких у нас в последнее время не появилось... В литературе о деревне, в детской литературе они есть, а в литературе, посвященной рабочему человеку, таких достижений, таких характеров, типов мы не имеем».

«Какое место занимают произведения о труде в текущей прозе? — спрашивает В. Гейдеко и отвечает: — Количественно заметное... Но ведь количественная сторона дела никогда не являлась в литературе решающей. Истинный, фактический вес произведений о труде в сегодняшней прозе значительно скромнее. Наиболее яркие книги последних лет (и наиболее примечательные дебюты), как правило, не связаны с этой темой».

О рабочем классе пишут много, говорят участники дискуссий, но часто пишут плохо. Сегодняшняя индустриальная проза незначительна — по масштабам, по коллизиям, по ассоциациям, по характерам — вот же в чем суть общей тревоги. Как точно сказал В. Берце, «пишутся книги о рабочем классе, но они не оказываются такими, через которые раскрылась бы жизнь всего общества».

А между тем читатель, общество, великая индустриальная держава семидесятых

годов, проторяющая свой исторический путь в условиях мировой научно-технической революции, требуют позитивного исследования тех сложных и сверхсложных проблем, которые встают перед нами на каждом новом этапе развития. Требуют целостного и глубокого потока «художественной информации» о новых характерах, ведущих типах времени. Требуют анализа многообразных стимулов нашего исторического движения. По словам газеты «Правда», «нынешнее молодое поколение наследует от своих отцов гигантски усложнившийся производственный, научно-технический и общественный организм». «Каждое новое поколение решает новые исторические задачи и находит для этого соответствующие методы, свой стиль борьбы и жизни».

Общество требует «информации», которую не может дать ему никто, кроме литературы.

Бесспорная заслуга Дискуссии — в четкой и нелицеприятной постановке вопроса, в том, что она обнажила резкий контраст между титанической сложностью новых исторических задач, включающих в себя выработку новых методов и стиля борьбы и жизни, новых образцов поведения, новой прозы и новой героинки — и незначительностью многих книг, посвященных индустриальной проблематике.

Послушайте московского публициста В. Моева: «Производственники зовут психолога — без него все труднее. И вот я спрашиваю: не оттого ли, в частности, мы зовем этого психолога по должности, этого штатного специалиста... что психолог общественный — писатель — стал давать нам слишком мало пищи для углубленного видения современного человека, современного рабочего?» («Дружба народов», 1970, № 3).

Послушайте Н. К. Николаева, — будучи первым секретарем Свердловского обкома КПСС, он в 1969 году выступил на зональном совещании писателей Урала, обсуждавшем важную для нашего разговора тему «Писатель и рабочий класс». Попробую пересказать его мысль, опираясь на стенограмму совещания. Н. К. Николаев спрашивает: какую струну нужно затронуть у нашего инженера, чтобы он помог рабочему более производительно трудиться? Мы нашли НОТ, а может быть, есть и что-то другое, что-то лежащее в сфере психологии, а не только в организации труда? Или такой вопрос: у нас на предприятиях

непрекращающаяся текучесть кадров, Вы скажете — что же для писателей такой вопрос. Но вы должны знать об этом... За три года мы построили отличные дома, однако текучесть осталась старой. Была другая причина — отсутствие детучреждений. Мы проблему детучреждений решили блестяще... А текучесть осталась старой. Мы устраняем причину за причиной, а текучесть кадров рабочих не уменьшается. Может быть, своим глазом писатели помогут установить истинную причину?

Нижнетагильский рабочий Э. Потоскуев, участник дискуссии в журнале «Урал», обращается к писателям: «Где тот герой, равнясь на которого, человеку легче выйти на правильный путь? Герой, которому бы я верил, которого понимал... Такой герой необходим. Необходим, как воздух и вода. Мы его ждем...»

2

Если попробовать хоть самым черновым образом проанализировать Дискуссию как некое целостное явление сегодняшней критики, то, кроме ревности к «деревенщикам» и упомянутой общей тревоги, обнаружится еще несколько очень важных и актуальных позиций и проблем, поставленных за минувшее пятилетие как в «Литературной России» (1965) и «Урале» (1966), так и в самых последних, еще, можно сказать, горячих дискуссиях прошлого года — на выездном заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР в Архангельске, где интересно выступили С. Залыгин, С. Орлов, А. Алексин, Г. Коновалов, А. Ананьев, О. Шестинский, В. Астафьев, В. Липатов, В. Гура и другие; на VI расширенном пленуме Правления Союза писателей Украины, посвященном теме «Человек труда в современной украинской литературе», в котором приняли участие В. Козаченко, И. Муратов, О. Гынчар, М. Стельмах, А. Корнейчук, Л. Дмитерко, Е. Твердохлеб, Ю. Збанацкий и другие; наконец, уже в нынешнем году — на страницах «Вопросов литературы», в обсуждении на тему «Экономика — жизнь — литература» (Ю. Кузьменко, А. Авдеенко, Е. Мальцев, В. Липатов, Г. Бровман, Г. Гурунц и работники Магнитогорского металлургического комбината А. Филатова, А. Семенов, М. Лысенко, В. Завандаев и другие).

Первую позицию я пытался уже описать словами Э. Потоскуева: рабочий класс

ждет нового героя — современного рабочего, носителя новых образцов поведения, нового стиля жизни и борьбы. Эту же позицию защищал газетчик М. Лысенко в «Вопросах литературы» (1971, № 1): «К сожалению, в художественной литературе облик рабочего крупным планом не показывается, рабочая масса составляет лишь общий фон. Подчас такой способ изображения искажает сам тип современного рабочего». Как именно искажает, рассказал на уральском зональном совещании писателей разливщик В. Закандаев, который прямо заявил писателям: пусть не в обиду вам будет сказано, но, видимо, не лежит у вас душа к рабочему шестидесятих годов, все больше у вас в произведениях фигурируют герои предыдущих десятилетий, и в романах и в поэмах воспеваются энтузиазм, мускулы и лопата... Я не за то ратую, чтобы об этом не писать, но где же произведения о современном рабочем, управляющем сложной техникой и автоматическим процессом производства, рабочем, который по своему образованию, интеллектуальному уровню стал значительно выше?

Вторую позицию высказали А. Лупан и — особенно четко — В. Берце: «В иных произведениях у нас стало появляться некоторое противопоставление рабочего класса интеллигенции. Никак не могу ни согласиться, ни примириться с ним. Оно антиисторично и вредно» («Дружба народов»).

Третья позиция, которую защищал, открывая свердловскую дискуссию, доктор философских наук Л. Коган, продиктована тем, что гигантский рост индустрии вызывает адекватное усложнение структуры рабочего класса. Современная социология уже не представляет его себе некой аморфной массой, не знающей никаких внутренних подразделений. Напротив, он представляется ныне сложной и дифференцированной системой, состоящей из множества элементов, из ряда групп, взаимоотношения между которыми и являются предметом изучения индустриальной социологии.

«Не слишком ли много «вкальвания»? — в такой форме заявил четвертую дискуссионную позицию Б. Анашенков в «Вопросах литературы». — Работа — это не только «вкальвань» и зарплата... Нам важно и то, насколько осмыслен, насколько одухотворен трудовой процесс». Тем более что, как добавляет В. Синенко в «Ураде»: «Труд

сам по себе не спасенье. Труд может воспитывать, но может и развращать человека плохой организацией, приписками, очковничеством, поощрением рваческих настроений».

Пятая позиция, которую так или иначе затронули все участники Дискуссии, связана с объективными трудностями современного этапа развития индустрии. О ней с большой тревогой говорили за «круглым столом» в журнале «Дружба народов» — доктор философских наук Н. Лапин: «Проблема проблем — недостаток рабочей силы»; писатель А. Медников: «Сейчас на заводах почти всюду не хватает рабочих. Зайдите на любой московский завод, и вы увидите объявления: предприятие приглашает на работу пенсионеров с полным сохранением пенсии»; Д. Гранин: «Рабочих не хватает. Из-за этого изменились нравственные взаимоотношения и права внутри предприятия. С одной стороны, появляются неприятные явления, связанные с недостатком рабочей силы, а с другой стороны, повышается требовательность к руководству».

Итак, идет большой разговор. Разговор об острейших проблемах сегодняшней индустрии и, соответственно, индустриальной прозы. Разговор на всех уровнях — от рабочего-станочника до ученого-социолога, до писателя. Разговор людей, мыслящих широко, государственно, напряженно и страстно ищущих позитивного решения этих проблем.

К сожалению, в нем далеко не всегда принимают участие наши литературные критики. И, что особенно печально, как раз те критики, которые, можно сказать, профессионально занимаются рабочей темой, во всяком случае, постоянно трактуют об этом предмете в своих книгах. Может быть, вследствие этого прискорбного обстоятельства нам ничего не известно о том, что думают они о выдвинутых в Дискуссию и основополагающих для современной индустриальной прозы социальных и нравственных проблемах индустрии.

Одним из последствий молчания этой части критики, которой и надлежало бы, собственно, исполнять в индустриальной прозе функцию «обратной связи», поверять социальной алгеброй ее художественную гармонию, явилось то обстоятельство, что в цепи факторов, связывающих литературу с жизнью, ослаблено существенное звено.

Это, может быть, и определило в известной мере недостатки Дискуссии в целом.

Один по крайней мере существенный ее недостаток очевиден: невыясненность генезиса тех проблем, которые тревожат сегодня участников Дискуссии,— стало быть, недостаток историзма. В. И. Ленин говорил, что если рассматривать какое угодно общественное явление в процессе его развития, то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. И анализируя индустриальную прозу, накопившую богатые, славные и разнообразные традиции, большое хозяйство, в котором давно уже пора профессионально разобраться, можно сказать, что лишь в рамках какой-то единой, интегральной критической концепции возникает в принципе возможность объективного определения, что в этом хозяйстве относится к «остаткам прошлого», а что к «зачаткам будущего». Такой интегральной концепции в Дискуссии, к сожалению, не заметно.

В самом деле, как связаны между собой, скажем, усложнение структуры рабочего класса и отдельные факты противопоставления в книгах рабочего класса и интеллигенции? Как связана моральная проблематика труда с требованием нового, современного героя индустриальной прозы? Чем обусловлена художественная и социальная незначительность многих современных ее образцов? Каков социально-исторический генезис современных ее героев?

И еще. Имеем ли мы дело с единым комплексом проблем, с цельной и взаимосвязанной их системой, где рассмотрение отдельных вопросов невозможно без осмысления их в общей интегральной концепции? Или, может, все это хоть и важные, но не связанные между собой вопросы, вытасченные на свет божий более или менее произвольно?

На эти вопросы нет пока ответа в Дискуссии.

А ответ нужен. Постараюсь показать это хотя бы на одном примере. Совершенно, скажем, не освещена в Дискуссии проблема источников формирования рабочего класса. А это важная, между прочим, проблема. Именно тем важная, что художественный и социальный ее анализ мог бы пролить свет и на фундаментальный вопрос о дефиците рабочей силы, так волнующий участников Дискуссии, и — заодно — на многие иные вопросы. Ведь на поверку оказывается, что сам дефицит, сама эта «пробле-

ма проблем» коренится в еще более глубоком явлении, а именно в том, что на протяжении десятилетия процесс социальной мобильности у нас — в обществе централизованном и плановом — оставался в известной мере стихийным. Вопреки известному положению о том, что «крестьянин стал оседать в деревне, и у нас не стало больше ни бегства мужика из деревни, ни самотека рабочей силы», миграция была. И весьма интенсивная: за 1927—1969 годы в города ушло 60 миллионов крестьян, по существу весь прирост сельского населения. И суть дела вовсе не в самом исторически закономерном факте миграции и даже не в ее интенсивности, но в том, что подобные метафизические стереотипы не давали порою возможности глубоко проанализировать ситуацию. Даже Госплан на протяжении многих лет испытывал затруднения, планируя перспективную численность рабочих и служащих. Наиболее яркий пример — расхождение запланированной на конец семилетки их численности (65—66 миллионов человек) с фактической (около 77 миллионов). О том, к чему это приводило, мне уже приходилось писать. В Смоленской, например, области в 1966 году были деревни, где, как выразился тогдашний первый секретарь обкома КПСС Н. И. Калмык, годами и вовсе не было слышно ребячьего голоса. Миграция молодежи из смоленского села отрезает во многих случаях самую возможную даже простого воспроизводства сельского населения. В 1965 году в селах родилось детей в 4,5 раза меньше, чем двадцать пять лет назад, а естественный прирост сельского населения Смоленщины сократился за семнадцать лет почти в семнадцать раз¹.

Разве отсюда не следует, что одной из причин сегодняшнего дефицита рабочей силы в промышленности является то обстоятельство, что приток мигрантов из ряда наиболее мобильных районов страны исчерпан? Увы, без всякого плана, естественным образом...

Но парадоксальная сложность проблемы в том, что в ряде других районов поток мигрантов не только не исчерпан, но даже еще, можно сказать, непочат. Более того, мы сталкиваемся в них с огромным перенаселением деревни, с опасной консерва-

¹ Статья Г. Шинаковой и А. Янова «Тревоги Смоленщины». «Литературная газета», 23 и 26 июля 1966 года.

цией трудовых ресурсов, в такой же степени угрожающей индустриализации сельского труда, как и оголение села нечерноземного!

Именно неравномерность эта ставит перед нашей социологией (и, естественно, литературой) задачу объяснить, почему уходит в города почти поголовно смоленская или вологодская молодежь и почему не уходит в города молодежь, допустим, Западной Украины или Таджикистана.

Это вопросы, на которые, сколько мне известно, никто еще не дал ответа.

Но и это еще не все источники дефицита рабочей силы. Как свидетельствует опыт Щекинского комбината, перенаселенность характерна не только для южного села, но и для самой индустрии. Уменьшение наличного состава работников привело, как известно, у щекинцев не только к росту производительности труда, но и к увеличению выпускаемой продукции. Или аналогичный эксперимент И. Н. Худенко в Казахстане, доказавший, что с переходом на новую, звеньевую организацию труда в сельском производстве можно не только в десять раз уменьшить количество работников, но и втрое увеличить при этом выпуск продукции. Иначе говоря, причина дефицита таится и в недостатках самой организационной и технологической структуры производства.

Вот почему все, кто говорит нынче о дефиците рабочей силы, должны понимать, что под этим псевдонимом соединены две принципиально различные проблемы: абсолютная проблема трудовых ресурсов и относительная — наличной рабочей силы. Так вот, дефицита трудовых ресурсов в стране нет. И парадокс заключен как раз в том, что острый и жестокий дефицит рабочей силы разворачивается на фоне абсолютного благополучия трудовых ресурсов. Разве эти «ножницы» — не широчайшее, не благодарное поле для исследования их соединенными усилиями деревенской и индустриальной прозы?

И разве не функция критики, не ее гражданский долг — поставить перед писателями эти проблемы во всей их глубине и сложности? И разве не очевидно, что та критика, что благодушно игнорирует сложную проблематику Дискуссии, все ее святое беспокойство, просто не сможет исполнить свою позитивную функцию в развитии литературы?

3

Поговорим немного об этой «благодушной критике». Вот перед нами книги А. Власенко, много пишущего о литературе на рабочую тему.

Если бы исчезли вдруг со страниц печатных изданий напряженная жажда нового, зыскующий истины взгляд на литературу, свойственный нашей Дискуссии, и о действительном состоянии дел мы должны были бы судить по книгам А. Власенко, то мы, увы, неизбежно пришли бы к заключению, что усыпляющие тишь и благодать царят в нашем мире и в человеках благоволение, что нет в нем никаких серьезных проблем, кроме тех, что выдуманы отдельными несознательными литераторами. И пожалуй, единственная наша забота: чему больше радоваться? Так А. Власенко и пишет: «Когда появляется новая интересная книга о современности, то не знаешь, чему больше радоваться: успеху нашего искусства, одаренности автора или богатству и многогранности социалистической действительности...»¹. Об одном авторе он сообщает нам, что рассказ его героя «звучит, как вдохновенная песня», о другом писателе мы узнаем, что в его книгах «звенит могучая поступь»... И так далее, и нет этому конца. Сменяются лишь фамилии писателей и персонажей, но «гимны», но «вдохновенные песни», но «звонящая поступь» и ее «романтический ответ» растут и ширятся от страницы к странице, заполняют сознание читателя, погружают его в состояние полной удовлетворенности и глубокого покоя.

И если участники Дискуссии Э. Потоскуев, М. Лысенко, В. Зakanдаев напряженно ждут, зовут своего героя, то «вдохновенные песни» А. Власенко подразумевают обратное: какого вам еще героя надо, когда и без того кругом одни герои! Звонящей поступью уводит он читателя в странный иллюзорный мир риторической метафизики, который ничего общего не имеет с жизнью, бурлящей в Дискуссии, но который он считает как раз «действительностью»...

В этой метафизической «действительности» нет места противоречиям, коллизиям и конфликтам. И стало быть, не должно им быть места в литературе. Это ясно А. Власенко как божий день. Коли же они, эти бытийные коллизии, все-таки в литературе появляются, то, естественно, их выдумали,

¹ А. Власенко. Герой и современность. М. «Советская Россия». 1964, стр. 10.

сочинили отдельные малосознательные литераторы, попросту не знающие законов власенковской «действительности». В произведениях одних, оказывается, просто «слабо врывается радостная и кипучая действительность», а другие и вовсе сочиняют своих «ищущих» героев «в ущерб подлинно содержательным и цельным натурам». И за эти беззаконные сочинения авторы должны быть сурово наказаны.

Конечно, плохо, когда жизнь «слабо врывается». Но для того, чтобы доказать это, следовало бы по меньшей мере рассмотреть аналогичные конфликты в жизни и в литературе, сравнить их между собою и, лишь обнаружив несоответствие, критиковать авторов за, так сказать, «слабую врываемость» и «сочинение в ущерб» (конкретно в книге речь идет о рассказе В. Аксенова «Папа, сложи!» и о пьесах В. Розова).

К сожалению, А. Власенко этот скромный критический прием не подходит. Ведь в том-то и дело, что в реестре его «действительности» действительные противоречия не значатся. Вот почему он вынужден противопоставлять конфликтам в литературе вовсе не их аналоги в реальном бытии, а некое заклинание, общую фразу, некую умозрительную конструкцию, выступающую под грозным псевдонимом «жизнь».

И что сказать при этом о заявлении на Уральском совещании начальника цеха Челябинского завода Н. А. Чудинова: мы ждем героя сложного, интересного и, может быть, кое в чем противоречивого. Явно же не знаком товарищ с новым, открытым А. Власенко законом литературы, который гласит: «Противоречивость характера героя в большинстве случаев является следствием слабого знания и понимания художником основных закономерностей жизни»¹.

Обратите внимание, как категорически постулируются эти, скажем мягко, спорные суждения. Выходит, благодушие А. Власенко все-таки относительное. Более того — воинствующее, когда обращается против «резонерствующих», «ищущих», смеющихся, как А. Еремеев в журнале «Урал», утверждать относительно рабочего класса: «Да, в нем есть подлинные герои, составляющие передовые ряды партии и всего нашего общества... но есть среди рабочих и обыватели, рвачи, а то и люди просто незрелые, малосознательные, живущие инстинктами и

пережитками. И это — разные рабочие. И они играют разную роль в обществе. И не все они — авангард». А ведь, между прочим, это голос именно из самой жизни.

Заметим, что книга «Герой и современность» увидела свет накануне принятия экономической реформы, когда страна жила трудными раздумьями о путях преодоления реальных коллизий, возникших в ее производственном, социально-экономическом механизме. Почти одновременно с этой книгой вышла работа нескольких советских экономистов «Производство, накопление, потребление» («Экономика», 1965), обращавшая внимание на серьезность возникших коллизий. В ней был жизненный, опирающийся на факты анализ. Были серьезные, тревожные цифры. Общество учло их, осуществив гигантскую экономическую реформу. Общество преодолело возникшие коллизии.

Но статьи типа тех, что мы только что цитировали, участия в этом не приняли. Ибо изображенная в них иллюзорная «действительность» и так была хороша, ни в каких реформах она решительно не нуждалась.

Теперь мы видим, что напрасно сокрушался Д. Гранин: все-таки спор идет. И копыя ломаются. Но это спор более глубокий, чем можно было поначалу себе представить, спор не только о рабочей теме, которая служит его ареной, но о самих основах бытия и отношении к нему литературы, о том, свойственны ли противоречия бытию или только сознанию. И в этом споре иные критики (А. Власенко, например), отрицая реальные коллизии нашего развития, по существу, представляют как бы негативную сторону Дискуссии.

Спор этот не сегодня начался и не вчера, у него есть свои корни, своя родословная, свое логическое и историческое оправдание.

4

Не сегодня...

И тут самое время вспомнить «модель» Б. Ашаненкова, прогнозирующего развитие индустриальной прозы по образцу деревенской. Теперь, когда эта деревенская проза во всей своей славе, когда с нее уже в пору модели копировать, трудно представить себе, что было время, когда сама она находилась в положении далеко не блестящем.

В апрельской книжке «Октября» за 1948 год найдем статью «Люди сороковых годов», начинающуюся следующим пасса-

¹ А. Власенко. Герой и современность, стр. 42.

жем: «Уступая требованиям некоторых маститых критиков, ратующих за показ и раскрытие острых жизненных коллизий, противоречий, конфликтов и т. д. и т. п., молодые литераторы иногда уснащают свои произведения такой «сложностью», которая вступает в противоречие с действительностью»¹. Принадлежит статья, однако, не перу А. Власенко, как опрометчиво можно было предположить, судя по такому началу, но И. Рябову. Статья посвящена делам литературным, в частности критике вступившего в противоречие с действительностью К. Буковского, который осмелился высказать крамольную мысль, что в отдельных колхозах не все еще достаточно хорошо обстоит дело с урожаями пшеницы.

Это было в то самое время, когда, по данным учебника экономики, урожайность зерновых в стране равнялась 7,7 центнера с гектара, когда «почти не увеличивались валовые сборы и заготовки зерна, производство молока, а среднегодовое производство мяса было даже ниже довоенного уровня»². Тем не менее И. Рябов обвинил К. Буковского в клевете на колхозную действительность. «Читателю ясно,— писал он,— что в очерке «Власть над землей» нет ни типичных характеров, ни типичных обстоятельств... Конфликты и коллизии К. Буковского не характерны для колхозной деревни. Его «сложность» является ложной, мнимой. Прибегает он к этой сложности потому, что по-настоящему не знает (разрядка моя.— А. Я.) ни современной колхозной жизни, ни колхозников. Не зная жизни, не зная людей, автор сочинил их».

Совпадение критических концепций, согласитесь, поразительно: одинаковые упреки в «незнании жизни», в «сочинении конфликтов», одинаковая лексика, одинаковый диагноз. И, естественно, одинаковые рецепты: для разрешения жизненных коллизий достаточно искоренить их из писаний «отдельных литераторов». Иначе говоря, конфликты в нашем обществе возможны не в сфере бытия, но исключительно в сфере писательского сознания. Право, трудно отделаться от мысли, что в основе этой концепции лежит, мягко говоря, отнюдь не материалистическое мировоззрение...

По уверению И. Рябова, в колхозной деревне 1948 года «не возникает ни острых

драматических коллизий, ни разрыва мечты с действительностью, ни столкновения поэтической идеи с прозой жизни — этих вещей действительно нет в повести (речь идет о «Кавалере Золотой Звезды» С. Бабаевского.— А. Я.), которую мы разбираем. Беллетристу пришлось бы выдумывать их. Он этого не делает. И правильно поступает». Цитированный пассаж относится к тому самому году, о котором рассказывается в фильме «Председатель»...

«Мы искренне благодарны этому летописцу,— продолжает И. Рябов,— за его знание жизни и людей колхозной деревни, за правду жизни, за ясность и простоту изображения этой жизни... Мы оцениваем повесть с позиций жизни, находя в ней самое главное — соответствие этой жизни».

Обратите внимание, как пестрит здесь слово «жизнь». «Жизнь» — кнут, которым хлещут одного автора, «жизнь» — пряник, которым угощают другого. «Жизнь», где «нет острых драматических коллизий», и беллетристу приходится их просто выдумывать. Как, надо полагать, выдумали их Овечкин и Буковский, Тендряков и Дорош, Абрамов и Нагибин, то есть сочинять «в ущерб». Чем, скажите, эта «жизнь» отличается от того, что называется «действительностью» А. Власенко?

Стало быть, А. Власенко, с которым сегодня спорит наша Дискуссия, вовсе не только автор книг о нынешней индустриальной прозе, он представляет некую литературно-критическую концепцию, уводящую литературу от реальных жизненных коллизий. Стало быть, приглядевшись к истокам деревенской прозы, мы и у ее колыбели обнаружим критиков, бдительно стороживших свою иллюзорную «действительность» от беспокойных, по-партийному взыскательных и деловых представителей действительности реальной, от их позитивной критики, от их попыток помочь обществу осмыслить и решить новые исторические задачи.

И если бы мы, тогдашние, поверили на слово этим критикам, не с кого было бы сегодня копировать свои «модели» Б. Анашенкову. И не мог бы взывать сегодня В. Моев к «промышленному», «городскому» Овечкину...

Любопытно, что у статьи И. Рябова, направленной против прозы деревенской, был не менее яркий аналог в области прозы индустриальной. Я имею в виду критический

¹ «Октябрь», 1948, № 4, стр. 185.

² «Экономика социалистического сельского хозяйства». М. 1962, стр. 58.

залп в «Неве» В. Архипова (1958, № 1) и А. Хватова (1959, № 7) по «Битве в пути» Г. Николаевой, ставшей ныне заметной вехой индустриальной прозы.

Прежде всего А. Хватов, как и А. Влащенко, уверяет, что лично он «не боится больших слов»: «Задача подлинного искусства — показать советского человека, нашего современника во всем блеске и благородстве его мыслей и чувств, изобразить его ярко и сильную натуру, не оскорбить его красоты крохоборческим фиксированием мелких изъянчиков, которые якобы призваны сообщить ему черты неповторимого своеобразия».

Нетрудно угадать в этой фразе признаки критической концепции И. Рябова и А. Влащенко — здесь нет ни слова о задаче и следования действиями действительной жизни. Она практически приравнивается к «крохоборческому фиксированию мелких изъянчиков» (соответствующему «регистрации фактов фельетонного звучания» у Влащенко и «уснащению» характеров «мнимой сложностью» у Рябова). Любая сложность жизни объясняется кознями, непонятливостью или неумением литераторов. Причем как А. Хватов, так и В. Архипов склонны интерпретировать бесспорную, с их точки зрения, неудачу Николаевой скорее все-таки как «козни», нежели как неумение.

«Г. Николаева осталась верна своей методологии: показать характер в причудливом сочетании самых разнообразных свойств», — говорит А. Хватов. У В. Архипова находим как бы развитие этого взгляда на фигуру Бахирева: «Образ, созданный по новой методе, расплзается по всем швам, пафос его подтачивается, плесень хибары начинает покрывать самого героя. Как же все это получилось? Очень просто: Галина Николаева шла не от живого, наблюдаемого ею явления, а от «проблемы» — она ставила «смелый» лабораторный опыт создания осложненного положительного героя. Экспериментировала, соединяя качества передового советского человека с чертами рыцаря адюльтера. Прививка не удалась и не могла удаться».

Сегодня задумываешься: почему же иные критики, призывая «во всем блеске» воплотить «смелость творческого дерзания» в индустриальной прозе, так дружно и яростно отвергли ее действительного героя? Почему, с другой стороны, сосредоточив огонь на герое положительном, они отделались лишь несколькими пренебрежительными словами

в адрес отрицательного, оставив по сути в тени вторую ключевую фигуру романа, Вальгана? Нет ли между этими явлениями глубокой и закономерной связи?

Можно сказать, что проблема отрицательного героя есть своего рода теодицея любой идеологической концепции, оправдание ее «бога», ее идеала. Концепция, которая не в состоянии объяснить происхождение зла, не сможет объяснить и добро. Так вот, вопрос состоит в том, откуда среди «звенящей», полной одних «вдохновенных песен» действительности берутся Вальганы? И Тонковы («Искатели»)? И Денисовы («Иду на грозу»)? Как вписываются они в эту риторическую систему? Ведь сам факт возникновения в жизни этих фигур, имеющих возможность встать поперек прогресса, на пути новаторов и героев нашего общества, сам факт существования носителей социального зла требует какого-то объяснения. И не риторического, а логического и исторического. Объяснения, которого у наших критиков нет. Просто неоткуда взяться в их «действительности» этим мрачным фигурам, как неоткуда было взяться Борзову в иллюзорной «жизни» И. Рябова: ведь и она, как мы помним, чужда была «крохоборческому фиксированию мелких изъянчиков». И в ней могущественный Борзов мог быть лишь «мелким изъянчиком», само упоминание о котором способно было только «оскорбить красоту». Что ж, лукавого Борзова вполне устраивала такая критическая концепция. И Вальгана тоже. Но если все эти воинствующие враги прогресса лишь «мелкие изъянчики», то из-за чего же подняла такой шум Николаева? В чем смысл борьбы Бахирева? Ведь тогда и впрямь воюет он с ветряными мельницами!

Теперь понятно, почему не приглянулся нашим критикам Бахирев — один из главных героев индустриальной прозы. Вне его противостояния с Вальганом, отброшенным критиками как некая несущественная деталь картины, вне его жестокой и непримиримой борьбы за свержение этого идола хозяйственной иррациональности, вне духа и мощи этой борьбы, составляющей смысл книги Николаевой, Бахирева действительно нет. Тут на прямой вопрос необходимо дать прямой ответ. Либо и впрямь не было и нет острых драматических коллизий в жизни общества первооткрывателей, либо и впрямь не существует в нашей жизни Вальганов и Бахиревых, Мартыновых и Борзовых, Лобановых и Тонковых — героев, выдуманных

в ходе неудачных «лабораторных экспериментов» Николаевой, Овечкиным, Граниным, Проскуриным, В. Поповым. Либо, напротив, не существует того идиллического мира, который по недоразумению называют «жизнью» некоторые из наших критиков. «Жизнь», где прогресс произрастает как некий метафизический цветок под метафизическим солнцем. Компромисс здесь исключен: либо прав был Рябов, либо правы Салтыков и Нагибин. Либо «знает жизнь» Хватов, либо знала ее Николаева. Потому что две эти «жизни» несовместны — как несовместны «звонящая поступь» А. Власенко и деловая, рабочая Дискуссия.

Попробуем же хоть вчерне разобраться во внутреннем механизме критики, которую иначе и не назовешь как «метафизическая». При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что критика этого толка вовсе не стоит на месте, даже схематический ее анализ свидетельствует о некоей гибкости, если угодно, артистизме, с которым трансформирует она черты своей «действительности». Если в тридцатые — сороковые годы она вдохновенно отстаивала «бесконфликтность», а в пятидесятые «идеального героя», то в последнее десятилетие — как показывает хотя бы эволюция А. Власенко от «Героя и современности» к новой его книге «В борьбе и созидании» (М. 1968) — критика эта все чаще говорит о «коллизиях» и «конфликтах».

Показателен, однако, сам принцип отбора этих конфликтов. Как вы думаете, какой конфликт подчеркнул А. Власенко в 1964 году в «Битве в пути», в романе, исполненном духа грозной и непримиримой социальной борьбы, борьбы, в которой решаются судьбы прогресса?

Героиня Даша полюбила героя Сережу, а Сережа полюбил Дашу. Все вроде бы хорошо. Но (внимание, сейчас речь пойдет о конфликте!) «Даша уверена, что их любовь будет трудной: в часы раздумий, увлеченный новой рационализаторской идеей, он способен забыть обо всем на свете, и даже о ней, но...» (а сейчас — разрешение конфликта) «...но это опасение исчезает, как только она представляет, какое огромное дело совершает ее любимый»¹...

Зато в новой книге А. Власенко решительно доминируют конфликты, связанные со всевозможными авариями, катастрофами,

бурями, «штурмами», стихийными бедствиями. Именно в этих кризисных ситуациях и проявляются, по А. Власенко, героические черты характера советского человека. Проявляется тот самый «энтузиазм кирки и лопаты», что ведут, по мнению участников Дискуссии М. Лысенко и В. Закандаева, к «искажению самого типа современного рабочего». У А. Власенко это — критерий героизма современного рабочего. Выходит, не будь аварий и «штурмов», никакого бы героизма и не было? Но ведь на производстве, рационально организованном, все эти аварии и катастрофы — ЧП! Задача как раз и заключается в их устранении, в создании условий, исключающих подобные кризисные ситуации! Выходит, если верить А. Власенко, героизм и нормальные условия производства несовместны?

На эту сторону дела участники Дискуссии обратили внимание еще несколько лет назад. «Проблема качества личности... — писал в 1965 году в «Литературной России» В. Гусев, — сведена к борьбе с различными стихийными силами... Стремление к проверке героя в исключительных обстоятельствах, к эксперименту над героем вместо наблюдения за ним — не самая сильная черта в нашем искусстве»¹. Тогда же поддержал его и Ф. Левин, недоумевавший, почему «молодой инженер... вынужден все время искать какой-то выход из аварийных ситуаций», почему он «выкручивается и изворачивается вместо того, чтобы работать в полную силу»². Но еще глубже и точнее, с истинной социологической пронительностью объяснил самый механизм всех этих воспетых А. Власенко ЧП другой участник Дискуссии, ленинградский слесарь А. Солипатров: «Есть в коллективе люди, которые плавают в штурмовщине, как рыба в воде. Аврал выгоден халтурщикам, которые могут рвануть в конце месяца, когда хватит любую бракованную деталь и тащи на сборку... Аврал выгоден рабочим со старой психологией... Как воздух, нужна штурмовщина тем мастерам и начальникам, которые не держали в руках учебников или давно забыли их. Крепкая глотка, прижимистость, пробойная сила создают им репутацию незаменимых администраторов... На нормаль-

¹ «Литературная Россия», 11 июня 1965 года, № 24, стр. 10.

² «Литературная Россия», 24 сентября 1965 года, № 39, стр. 2.

¹ А. В л а с е н к о. Герой и современность, стр. 8.

но действующем заводе... такие люди окажутся сразу не у дел!»¹.

Выходит, что вся эта штурмовщина, весь этот любезный сердцу иных критиков «энтузиазм кирки и лопаты» объясняется не просто «чьей-то безответственностью», как думал Ф. Левин, но существуют люди, которым выгодны эти ЧП (штурмовщина, аварийное состояние производства), люди, которые в них заинтересованы. И борьба с этими ЧП требует, следовательно, не только устранения «безответственности» в планировании и управлении, но и борьбы с этими элементами, стало быть, серьезной борьбы внутри производственных коллективов.

Надо полагать, А. Власенко и не подозревает, от кого отводит он удар, воспевая «стихийный героизм» и «героизм стихии». Он вынужден это делать, будучи в плену своей общей критической концепции: ибо, произвольно устраняя из индустриальной прозы конкретных носителей социального зла, действительные драматические конфликты, конфликты характеров и интересов, он вынужден чем-то заполнить пустое место. Вот откуда идут анекдотические «конфликты» Даши с Сережей. Вот откуда все стихийные напасти, призванные заменить отрицательного героя.

«Метафизическая критика» явилась результатом своеобразного шока, пережитого индустриальной прозой после исчезновения традиционного отрицательного героя — классового врага, враждебное поведение которого было жестко запрограммировано его социальной установкой и нравственной ориентацией. С той поры и присутствует в иных критических работах литературный парадокс: положительному герою есть за что воевать, но... не с кем.

Эту мысль обосновал в своих недавних статьях в «Новом мире» не впервые выступающий в Дискуссии Ю. Кузьменко. «Бедой послевоенного производственного романа, — пишет он, — было ослабление или даже исчезновение реалистической мотивировки конфликтов и характеров, неумение писателей показать истинные социально-психологические причины борьбы нового и старого на производстве. Консерватизм противников нового рассматривался как самопроизвольная «болезнь» сознания либо как порождение самой «натуры» отдельных работников.

Отсюда и непоправимый урон, наносимый образу борца за новое. Он воюет с картонными противниками, заведомо обреченными на поражение, он действует в условном мире, где нет никаких объективных обстоятельств, с которыми он не был бы в состоянии незамедлительно справиться»¹.

Отсюда проистекают стереотипы «метафизической критики», здесь корень всего «стихийного героизма».

На протяжении десятилетий «метафизическая критика» даже не попыталась хотя бы поставить вопрос о генезисе отрицательного героя индустриальной прозы. А между тем он, герой этот, в жизни был, и бороться с ним было не так-то просто. В непролетарском происхождении не заподозришь ни генерала Вальгана, ни профессора Тонкова, не устыдишь пылкой речью профессора Хлебникова («Разорванный круг» В. Попова).

Вспомните, это очень поучительно, как разделяется Чумалов с противниками нэповских времен, с «чистоплотными спецами» из заводоуправления, когда они прекратили восстановление завода. «Какая это дрянь, скажите мне, учинила это подлое дело?... Я хари всем побью за это предательство... Я сейчас всех мерзавцев отправлю в ЧК за саботаж и контрреволюцию. Чертовы куклы, я вас всех посажу на аркан!..» И когда директор объясняет ему, что «все склады опечатаны совнархозом», как ответил Чумалов? «Вы мне, пожалуйста, не заливайте ерунды... Вы узнаете на своей шкуре, как стреляют прохвостов... я вам буду ломать башки и ребра».

А теперь вспомните, как сталкиваются в романе «Иду на грозу» генерал Южин и профессор Голицын с беспощадной логикой консерватора Лагунова. Хороши были бы они, если бы в ответ на аргументы, без глубокого исследования выглядящие непроверяемыми, стали бы кричать ему: «Мы харию тебе побьем, чертова кукла, мы переломаем тебе башку и ребра!» Кто бы на этом проиграл и кто выиграл? Ведь на скандал Лагунов их и провоцирует. Нет уж, если бы сегодняшний герой вышел против своих противников, оснащенный лишь арсеналом чумаловского поколения, он был бы практически безоружен. Его взяли бы голыми руками...

Для того, чтобы сладить с этими грозными противниками, мало уже «энтузиазма

¹ «Литературная газета», 11 июня 1969 года, № 24, стр. 10.

¹ «Новый мир», 1970, № 10, стр. 231.

кирки и лопаты», мало «стихийного героизма», ибо новому положительному герою индустриальной прозы противостоят вовсе не стихии, а живые, мощные, властные люди. И победа героя вовсе не запрограммирована в каждом конкретном случае автоматически. И для того, чтобы победить своих противников, от него требуется теперь совсем новое, неизвестное Чумалову качество: компетентность. Он должен превзойти своих противников не только в энтузиазме и преданности революции, но и в знаниях, но и в умении мыслить, но, если угодно, и в одаренности. Потому что там, где раньше сверкали шашки, нынче сверкают мысли...

Что делает Чумалов, чтобы одолеть «чистоплотных спецов», бесконечно превосходящих его в компетентности? Переступает через собственное самолюбие, заключая союз с честным и интеллигентным «спецом» Клейстом. Так вот — новый герой носит своего «спеца», своего Клейста в себе, он — Чумалов и Клейст одновременно. Он предан социализму, как Чумалов, и образован, как Клейст. Таков Бахирев, таков Лобанов, таков Крылов. Таковы все новые герои индустриальной прозы, которых отвергает «метафизическая критика», игнорируя их действительную сложность и выдавая их интеллигентность за «мнимую сложность».

Здесь первый стереотип «метафизической критики».

Но изменились не только герои. Изменился тип индустриального конфликта, изменился конфликтный механизм, о котором говорил в Дискуссии Н. Лапин, изменился сам критерий оценки человеческой деятельности в индустриальной сфере, критерий, в зависимости от которого человек причисляется к подвижникам или врагам.

Один из ключевых эпизодов книги Н. Островского «Как закалялась сталь» — строительство узкоколейки. От бойцов требуется свершить физически невозможное, требуется чудо. Как говорит начальник стройки Токарев: «Только нас двое тут... знают, что построить при таких собачьих условиях невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить — нельзя». Бегут не вынесшие нечеловеческого напряжения дезертиры. Лишь железное ядро истинных представителей рабочего класса держится. Держится, хотя косят людей мороз, голод, вшивый тиф и бандитские пули. Город, спасая себя от холодной смерти, приносит

в жертву самых доблестных своих сынов, достойных античной легенды. Так может ли быть здесь какой-нибудь разноречивой в оценке людей, отказывающихся идти «на штурм»? Они, не вытерпевшие, не сумевшие положить свое «я» на алтарь революции, они — выродки, они — отбросы рода человеческого, кто не бросит в них камень!

И вот вам тот же конфликт между личностью и коллективом в радикально иной ситуации шестидесятых, описанной в очерке В. Аграновского «Мой друг Юра Новиков». Молодой рабочий Юра Новиков, вдобавок еще член комсомольского бюро, восстает против норм и практики своего коллектива, против самих «правил игры», то есть намеревается по существу дезертировать. «Первой решительной акцией Новикова был отказ работать сверхурочно. Из принципиальных соображений. «В самом деле, — рассуждал Новиков в присутствии мастера дяди Миши, — не могу же я в одно и то же время орать по поводу неритмичности на всех перекрестках, а потом оставаться на вторую смену. Получается, что де-юре я против, а де-факто я за»¹.

Кто сегодня осудит подобный бунт «я» против коллектива? Кто бросит камень в этого «дезертира»? Отрицательный герой бросит. Тот, который «де-юре» будет декламировать большие слова о «стихийном героизме», чтобы под их прикрытием «де-факто» положить предел порыву героя к элементарной рациональности производства.

Мы видим и здесь картину борьбы достаточно драматичной, ибо за нею — разные жизненные устои, разные психологические установки, разные нравственные нормы, разные интересы. Но это уже вовсе не та однозначная борьба индивида с категорическим императивом общества, которую мы видели на узкоколейке. Нет, это борьба различных элементов коллектива между собой. В ней тоже нужна самоотверженность. Но чья самоотверженность нужнее теперь обществу — тех, кто безропотно пошел «вкалывать» сверхурочно и «штурмовать», или тех, кто, как Юра Новиков, отважно вышел в бой против штурмовщины? В кого бросить камень?

Этот вопрос не возникал в условиях двадцатых годов. Те самые люди, которые «плавают в штурмовщине, как рыба в воде», и которых обличил рабочий

¹ «Юность», 1969, № 1, стр. 82.

А. Солипатров, вот кто кровно заинтересован, чтобы он не возникал и сегодня. Участники же сегодняшней Дискуссии упрекают Новикова вовсе не в том, что он «не страдает за коллектив», а в том, что он не довел конфликт до конца. «Обстановка накалилась, как нам того и хотелось,— пишет Б. Анашенков.— Но.. То ли герой оказался жидковат, то ли замах подвел, то ли сам автор не потянул — ничего, кроме конфуза, из этого столь естественного движения ума и сердца героя не получилось».

Вот видите — словно бы одна и та же акция: отказ работать сверхурочно. Но на узкоколейке — это дезертирство, а на современном гиганте индустрии — «естественное движение ума и сердца», борьба за культуру производства! Вот сколь различную интерпретацию получает один и тот же конфликт на разных этапах развития индустриальной прозы. Что ж, новое время выдвигает и новые критерии..

И те, кто настаивает сегодня на «стихийном героизме», отводя внимание от Борзова и Вальгана, не дают нам возможности зарегистрировать кардинальные изменения в конфликтах индустриальной прозы, даже просто заметить эволюцию ее критериев. Они механически переносят старые оценки, старые критерии, даже старую лексику — на новую литературу.

Здесь — второй стереотип «метафизической критики».

Но оба эти стереотипа получают свое «высшее оправдание» и «освящение» в третьем ее стереотипе — в том, как она извращает воспитательную функцию литературы, отрывая ее от исследовательской. В том, как она, резонно настаивая, что, «став объектом художественного изображения, герой нашего времени вырастает в тот огромный, обобщающий силы положительный пример, на котором надо воспитывать людей»¹, при этом ничего не говорит о реальной борьбе, в ходе которой герой только и становится героем...

Потребность литературы в эстетическом идеале, в положительном герое, воплощающем стремления нашего общества, неоспорима. Она предполагает углубленную аналитическую, исследовательскую службу литературы, вскрывающую жизненные проблемы и эволюцию конфликтных механизмов, мобилизующую общественную мысль

¹ А. Власенко. В борьбе и созидании. М. «Советская Россия», 1968, стр. 19.

для делового позитивного разрешения новых исторических задач, указывающую конкретных носителей социального зла, в борьбе с которыми мужают и формируются ее герои. Без такой тщательной исследовательской работы литература, как свидетельствует весь опыт индустриальной прозы, просто не может исполнить свою воспитательную функцию. Что было бы, если б Гладков показал Чумалова героем голубиной чистоты и архангельской храбрости, игнорируя его реальные недостатки, его некомпетентность, его неспособность примириться с новой сложностью Дашиной души, напряженность его отношений с Бадьным, его «слабость» к Поле Меховой, то есть все реальные, зримые черты рабочего человека, только начинающего свой трудный путь к вершинам индустриализации? Если бы он не показал во имя «обобщающего силы положительного примера» колебания предокружка Жидкого и возвышение в итоге явного карьериста Бадьна — самого раннего предка Вальгана в индустриальной прозе? Что воспитывал бы «Цемент» в читателях?

И что было бы, если бы сегодняшняя индустриальная проза поверила, что кругом одни герои, живущие «красивой жизнью», что все проблемы уже решены и нам осталось лишь петь «вдохновенные песни»? Эта проза только дезориентировала бы и сбивала с толку читателя, «воспитывала» из него скептика или циника, уверенного в том, что в жизни одно, а в книгах — другое. Иначе говоря, результат был бы прямо противоположен декларируемой цели. Ибо лишь в единстве воспитательной, эстетической и исследовательской функций может литература быть эффективна, может она вообще быть литературой.

Вот почему отрыв воспитательной функции от функции исследовательской, этот третий стереотип «метафизической критики», освящающий первые два, — особенно бесплоден и вреден.

И если нам в Дискуссии не удастся опровергнуть эти стереотипы, не удастся показать, как тормозят они развитие индустриальной прозы, то не удастся нам и ответить на кардинальные вопросы, поставленные в ходе широкого обсуждения рабочей темы. Не удастся рассмотреть их в комплексе как единую и взаимосвязанную проблематику современной индустриальной прозы. Не удастся предложить иную,

альтернативную «метафизической критике» концепцию, в рамках которой возможно было бы связанное и рациональное объяснение всех этих вопросов.

Читатель, полагаю, догадался уже, что ему предстоит выслушать еще одно выступление в Дискуссии.

5

Ключевым для этой альтернативной концепции моментом представляется не отмеченная, сколько мне известно, критикой двойственность конфликта в гладковском «Цементе», этой самой яркой книге первого этапа индустриальной прозы. Внимание акцентировалось на очевидном конфликте Чумалова с классовым врагом Шраммом, конфликт же Чумалова с предокрисполкома Бадьным скрывался в тени этой генеральной коллизии. Отчасти потому, что был темен и неясен еще самому Гладкову. Однако спустя несколько лет в катаевской хронике «Время, вперед!» конфликты эти уже явно поменялись местами: классовый враг играет в ней третьестепенную роль, тогда как конфликт Маргулиеса с заместителем начальника строительства Налбандовым вырастает в центральное ядро повествования. Но и Катаеву вовсе не ясна еще природа этого конфликта. Ведь консерватор Налбандов, в отличие от консерватора Шрамма,— человек наш, честный, проверенный, борец. По каким-то загадочным причинам он оказывается вдруг завистником, ретроградом.

Трудно винить за это Гладкова и Катаева, если и тогдашняя критика уверена была, что всякая производственная драма вполне исчерпывается социалистическим соревнованием. «Гегель учил, что существенным пунктом драмы является противоположность и враждебность сталкивающихся друг с другом интересов,— писал в 1934 году один из талантливых наших критиков Ю. Юзовский.— Оказывается, что эти интересы общие. Что же делать?.. Но если мы уничтожаем жестокие антагонистические противоречия собственников, то наступают замечательные противоречия, не конкуренция собственников, а, например, социалистическое соревнование... Тут, так сказать, выигрывают оба, хотя будет страдать один из них, но это не есть страдание от вражды другого, а я бы сказал, от дружбы»¹.

Странно, согласитесь, нам с вами читать сейчас об «общности интересов» Чумалова и Бадьина, Маргулиеса и Налбандова, Бахирева и Вальгана, Мартынова и Борзова, об их «страдании от дружбы». Мы уже достаточно хорошо знаем, что Борзов и Вальган разваливали хозяйство и наносили неисчислимым социальный и нравственный урон обществу, а Бахирев и Мартынов исполняли функцию противоположную. И Юзовский, вероятно, ужаснулся бы, если бы ему сказали, что его критическими устами говорили тогдашние Налбандовы и Вальганы, которые защищались от наступающих Маргулиесов и Бахиревых любыми средствами, в том числе и литературно-критическими. Между прочим, и тем, что вкладывали в уста Юзовского чувствительные речи о сентиментальной «общности интересов» и трогательном «страдании от дружбы».

Это явление «метафизической критики», этот отказ от исследования драматического конфликта между героями индустриализации, которому предстояло стать центральным в индустриальной прозе последующих лет, конечно, дезориентировали писателей. И все же, как мы видели, индустриальная проза раннего этапа дает нам возможность судить о таком конфликте с самого его зарождения. Любопытно, что Гладков, заметив это «расщепление» героя, попытался как бы преодолеть его, попробовал примирить Чумалова с Бадьным в образе Мирона Ватагина — главного героя другого своего романа «Энергия».

Сегодняшний читатель, внимательно и неспешно перечитывая «Энергию», легко увидит, как борются в Ватагине две души в душе одной, как поминутно перебивает в нем подлинного борца индустриализации тот социально статичный и нравственно глухой псевдоборец, который наравне с Чумаловыми и Маргулиесами пытается занять в новом, только формирующемся руководстве производственным коллективом лидирующие позиции. Читатель увидит, как приносит с собою этот псевдоборец привычки и методы управления, ничего общего с подлинными задачами индустриализации не имеющие. Увидит, как не желает он уступить свое место без борьбы. Стоит присмотреться к этому как бы «теневому» конфликту «Энергии», и многое станет нам ясно во всем дальнейшем развитии индустриальной прозы.

Горькое ощущение неисполненного, упущенного за текущими делами материнского долга становится на всю жизнь крестом и

¹ «Литературный критик», 1934, № 10, стр. 124.

проклятием Ольги Ватагиной. И непонимание этого Мироном Ватагиным, чуждым психологических тонкостей, оказывается пробным камнем для суждения о нем как о муже, как о человеке. Вспомним ключевую, очень важную для раскрытия характера Мирона сцену, когда он «злбно кричит», что его подчиненного, Цезаря, следует «арестовать, а не только гнать из партии». Цезарь мучится тем, что убил при выполнении задания человека, может быть невинного. Вспомним, как взрывается при этом Ольга: «Чтобы решительно казнить других, имей мужество честно карать себя. Разве мы с тобой не скрывали от партии нашу позорную жизнь, жертвой которой явился наш ребенок?» Она еще не знает, бедная Ольга, что Мирон тоже убил человека, и тоже невинного. И отличие его от Цезаря лишь в том, что он этим убийством не мучится. Более того, рассказав дочери убитого, Фенечке, об этом пятне на своей совести, он тут же пытается ее соблазнить... Но послушаем Ольгу дальше: «Ты остался таким же, каким был раньше, — делягой, глухим и слепым к людям: к ним ты подходишь со своим трафаретом. Мне стало страшно: из таких, как ты, делаются жуткие люди». Неожиданная, не правда ли, аттестация для того, кто считает себя борцом за новый мир. Здесь, в этической сфере, прорывается вдруг в характере Мирона этот антипод подлинного борца, прорывается характер «псевдоборца», противостоящего героям индустриализации.

Проходит десятилетие — срок исторически небольшой, но вмещающий две пятилетки, эпоху индустриальной революции. И вот перед нами следующая ипостась псевдоборца, очередной этап развития на пути к Вальгану — Григорий Емчинов в «Инженере» Ю. Крамова. Пророчество Ольги Ватагиной сбылось. Этическая глухота выбросила свои зловещие ростки. Нет, Емчинов не пустомеля, и если он говорит: «Я работаю, как вол, как двужильный черт», — это правда. Но вот парадокс новой эпохи — эта «двужильность» его, эта «борьба» — как он ее понимает — бесплодны. На первый план выдвигается другой критерий: компетентность. Самоотверженной некомпетентности цена теперь грош.

Слабости Ватагина проявлялись ясно в сфере эмоциональной, нравственной, не нанося еще ощутимого урона самому его обществу служению. На гигантской стройке первой пятилетки, где преобладает

ручной труд, где основная рабочая сила — неквалифицированные сезонники, где воля, находчивость, энтузиазм и впрямь решают дело, — «общее руководство» еще функционально. Иное теперь.

Трезвые, простые вещи говорит Емчинову мастер Шеин: трубы надо чтобы были небракованные, с раствором вольнка. Проза, думает разочарованный Емчинов. Шеин толкует об элементарной рациональности производства, о том, что мы «научились считать се-кун-ды! А у нас крадут целые часы!».

Да, и здесь идет борьба, но не просто за разрушение в огне и дыму старого мира, а за строительство нового, стало быть, за се-кун-ды. Такие масштабы «борьбы» тесны Емчинову, они не устраивают его, потому что в них он невежда и нуль и ничего дельного сказать не может. А того, в чем он действительно орел, того не надобно мастеру Шеину. Он рабочий лидер новой формации. У него своя голова на плечах. И компетентная голова, не чета емчиновской. И его понимание борьбы за новое соответствует новому этапу развития индустрии. Оттого оно правильно, партийно.

Помимо всего прочего, емчиновская «борьба» мешает Шеину бороться за нужные стране секунды. Да, новый тип конфликта уже развернулся, и ядро его в том, что псевдоборец Емчинов просто мешает работать!

Любопытно и другое. Не увидев в Шеине ничего «захватывающего», Емчинов тотчас же пытается объяснить его поведение с помощью своих привычных понятий и норм. «Может быть, Шеин добивается контроля над цехами? Или он хочет выжить начальника трубной базы?»

Такова оборотная сторона некомпетентности. Отсутствие реальной функции в производстве компенсируется интриганством. И даже когда Емчинова изгоняют, он все равно не может самому себе объяснить это иначе как тем, что «у Сережки Стамова — сильная рука в обкоме... Я эту механику слишком поздно раскусил». Вот вам и «страдание от дружбы»...

Индустриализация привела к гигантскому росту так называемого органического строения национального капитала — отношение между живым и овеществленным трудом изменилось до неузнаваемости. Резко обозначилось общественное разделение труда, требующее безусловной точности и четкости функционирования различных подразделений производства Колоссально возрос

объем информации, необходимой для управления. В рационально организованном индустриальном коллективе вырастает тип работника, тип, так сказать, «человека рационалистического». Противником нового положительного героя чаще всего выступает именно псевдоборец. Вот где семя, зародыш принципиально нового конфликта индустриальной прозы! Конфликта, положительным героем которого становится такой же выходец из массы, но уже прошедший через вуз, уже компетентный и социально развитый.

Что ж, у жизни своя логика. И параллельно с обличением одного социального типа она формирует другой, необходимый обществу в новых обстоятельствах характер. Индустриальная проза понемногу, ощупью фиксирует эту перемену критерия, преломляя сквозь призму художественного видения мира этот новый тип селекции человеческих свойств героя. Первые, смутные еще очертания нового героя видны уже в катаевском Маргулиесе, в Вакире и Татьяне Братцевой («Энергия»), в Шеине, Стамове и Басове («Танкер «Дербент» и «Инженер» Ю. Крымова), этих отдаленных предшественниках Бахирева.

6

Попробуем здесь предложить социологическое обоснование для определения важнейших этапов в развитии индустриальной прозы.

В самом деле, если мы снова обратимся в этой связи к процессу формирования рабочего класса, нам не может не броситься в глаза одно существеннейшее (но пока не ставшее хрестоматийным) обстоятельство. А именно, за четверть века (1924—1950) численность рабочего класса выросла десятикратно. Темп его роста на протяжении последующего двадцатилетия (2—2,5 раза) совершенно несопоставим с темпом роста на этом первоэтапе, в эпоху могучего становления советского рабочего класса.

Полагаю, уже одно это обстоятельство дает нам право рассматривать первые тридцать советских лет как особый, специфический, отличный от последующих этап развития советской индустрии.

Еще резче специфика первого этапа выявится, если рассмотреть его со стороны источника формирования кадров, со стороны их «качества». В подавляющем большинстве это были люди, которые, по-

добно малышкинскому Ивану Журкину, шли в индустрию временно, с одной целью: «Нам бы только до лета на кусок заработать да ребят окопировать. Набедовались мы больно...» Бригадир Ищенко у Катаева приехал «сезонником, землекопом, денгью сколотить»...

Вообще в хронике «Время, вперед!» содержится очень четкая социологическая характеристика кадров первой пятилетки. «Были среди них новички, совсем еще «серые» — всего месяц как завербованные из деревни. Были «старики» — шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были «средние» — с двухмесячным, с трехмесячным производственным стажем».

«Старики-шестимесячники» — достаточно яркий образ, не правда ли? Что ж удивительного, если в «Соти» задачей Увадьева представляется инженеру Фаворову «дробить и мять людскую глину».

С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформирующейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулиесам предстояло совершить величайший технический переворот, по существу, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первоэпохи советской индустрии. Вот где открывается нам подлинная суть и задача вопиющего с формально экономической точки зрения рекордсменства, этой легендарной «штурмовщины». Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой «сезонной» массы, в интеграции однородного социального слоя из разнородных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное оструктурное социальное тело — в систему!

В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21 процент. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один, новый рабочий класс, по численности равный старому! Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил, без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки — компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществен-

ным? Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки, гигантская социальная акция. Вероятны ли были при таком «внеэкономическом» критерии реальные экономические ошибки? В высшей степени! В упоминавшейся уже книге «Производство, накопление, потребление» их приводится предостаточно. Однако общество платило эту огромную цену за интеграцию своего рабочего класса. Этой ценой оплачено и появление псевдоборца со всеми чертами его знаменательного характера, представляющегося сегодняшним героям индустрии странным, необъяснимым, порою просто нелепым.

Да, Емчиновы были антиподами Чумалова и Маргулиеса, доблестных и отважных рыцарей индустриализации. Да, Емчиновы были характерами социально статичными, неспособными к позитивному развитию. Это были люди «революционной фразы», а не революционного дела, энтузиасты кирки и лопаты, по сути — отходы гигантской борьбы, накипь на живом теле индустрии, маскировавшиеся под ее подлинных деятелей и борцов. Но для того, чтобы разглядеть этот социальный феномен, нужен был не только острый художнический глаз, нужна была и вдумчивая, отнюдь не «метафизическая» критика, которая бы правильно ориентировала писателя. Нужна была, если угодно, литературная Дискуссия, подобная нынешней, способная широко видеть жизнь, анализировать человеческие типы на фоне гигантской стройки первой пятилетки, где приходилось «мять и давить людскую глину», где «фраза», так же как кирка и лопата, была еще функциональна, а слово «хозрасчет» произносилось, как в катаевской хронике, с издевкой, почти как брань. Отличить Емчинова от Чумалова тогда было невероятно трудно. И уж по крайней мере это не по плечу было критикам «метафизического» толка, для которых еще и сегодня Вальган никакой не социальный тип, а просто нехороший человек, как любил говаривать гражданин Гигиенишвили. А ведь, что греха таить, и тогда, как сейчас, были критики, которые дезориентировали писателей, борясь с «мнимой сложностью» положительного героя, вместо того, чтобы бороться с конкретными носителями социального зла, с живыми тормозами индустриального развития, и тогда им хотелось действительные конфликты подменить безличными, абстрактными стихиями...

Вернемся, однако, к типу псевдоборца тех лет.

— Они не умеют работать.

— Они умеют бороться, товарищ Кряжич...

Мыслим ли сейчас подобный диалог о рабочих, состоявшийся тридцать лет назад между героями «Энергии», подобное противопоставление самоотверженности («борьба») рациональным нормам труда («работа»)? Современник с удивлением спросит: каким образом умение бороться могло заменить умение работать? А ведь именно Ватагин, не вызвав решительно никакого недоумения у тогдашних своих литературных рецензентов, декларирует, что «темпы строительства должны подниматься беспредельно». И, наоборот, скрытый враг «предельщик» Стрижевский возражает, что «всякие планы создаются не по капризу людей, а продуманно, на основе целого ряда технических и экономических возможностей. Мы же не спортом занимаемся». Право, через тридцать лет препирательство это звучит как пародия. Если бы такой разговор состоялся сейчас, современный Ватагин выглядел бы элементарным демагогом. Так стремительно идет, так далеко уже зашла эволюция критериев индустриальной прозы!

Но вот индустрия создана, фундамент ее дальнейшего, неэкстраординарного развития заложен, кадры рабочего класса интегрированы, «буйно взвихренная действительность» предшествующей поры, — как недавно писал в «Новом мире» (1970, № 10) Ю. Кузьменко, — уложилась в определенную систему отношений». Перед индустриальной прозой встали принципиально новые проблемы. В основе начавшегося второго ее этапа, занявшего пятидесятые и первую половину шестидесятых годов, лежало другое, по-своему замечательное социальное явление, которое можно было бы охарактеризовать как «образовательную революцию».

Трудно даже представить себе, что еще совсем недавно, на нашей памяти, в 1950 году, лишь 8 процентов молодежи вступало в самостоятельную жизнь с десятилетним образованием, а 86 процентов — с образованием ниже восьмилетнего. К 1970 году это соотношение изменилось неузнаваемо. Первая категория молодежи, по расчетам руководителя Лаборатории трудовых ресурсов МГУ В. С. Немченко, выросла до 55 процентов, вторая уменьшилась до 12.

Семикратный за двадцать лет рост обра-

зованности молодежи имеет, очевидно, не менее радикальное значение для второго этапа, нежели десятикратный рост рабочего класса—для первого. Ибо это исторический факт, определяющий все будущее страны, в том числе и лицо ее индустрии. Прежде всего он создает такой социальный парадокс. Если до сих пор индустрия предъявляла свои требования и претензии к кадрам, формировала их по себе, под себя, то новейший образовательный «бум», на глазах переформирующий современный человеческий материал промышленности, приводит к явлению прогивоположному. Теперь человек предъявляет претензии к производственной машине, требует перекройки ее «по себе». Не человек для Дела, а дело для Человека. Из платонической моральной заповеди, которой можно было сколько угодно заклинать мир в литературных журналах, не изменяя в нем даже малости, эта пропись становится вполне материальным, осязаемым и объективным фактом индустрии. С нею возвращаемся мы к тому самому дефициту рабочей силы, который привлек внимание нынешней литературной Дискуссии на рабочую тему.

В самом деле, разве не хватает «рабочих вообще»? Не хватает станочников! В малых городах «недобор» станочников в пять раз превосходил в 1966 году общий «недобор» рабочих, в городах-миллионерах — в четыре. Иными словами, не хватает людей именно на тех рабочих местах, которые не удовлетворяют молодежь. Специалисты единодушны: современная проблема текучести кадров есть, по существу, проблема молодежная. По данным Г. И. Шинаковой, опубликованным в журнале «Советские профсоюзы» (1970, № 15), текучесть эта среди рабочих до тридцати лет в два с половиной раза выше, чем у других производственников. Причем текучесть рабочих 1—2 разрядов с общеобразовательной подготовкой 9—10 классов в два раза выше, чем у рабочих той же квалификации, но с 4—6-летним образованием.

Это означает, между прочим, что изменился сам интеллектуальный потенциал рабочего класса, и существенно. Придя «из захолустья», Иван Журкин, замордованный одиночеством, чуждой ему барачной жизнью, только-только приобщался к мироощущению, к психологии рабочего коллектива, к авторитетной, постоянной и квалифицированной работе.

Можно ли сравнить его с Юрой Новико-

вым или, например, со сварщиком Харламовым из повести М. Колесникова «Право выбора»? И дело тут вовсе не в том, что «такой библиотеки, как у Харламова, наверное, нет и у Скурлатовой», то есть у начальника участка, и не в том, что он «настоящему глубоко изучил теорию сварки, передовой зарубежный опыт». Важно, что в споре с комиссией из почтенных специалистов он оказался прав. То есть в конечном счете не менее компетентен и авторитетен в своем деле, нежели эти специалисты. Мыслима ли такая ситуация для Ивана Журкина, которому обычный мастер казался полубогом, представителем непонятного инженерского олимпа? Теперь рабочий сам становится богом. И не просто становится, но и сознает себя богом — вот что важно.

А проще говоря, одно дело как источник формирования рабочего класса — крестьянство двадцатых годов, с низким уровнем образования и соответственным уровнем социальных претензий, для которого сам переход в ряды городского рабочего класса был своего рода привилегией, и совсем иное — образованная молодежь с неслыханно высоким уровнем претензий.

Индустрия, избалованная десятилетиями бурного притока непритязательной рабочей силы, не могла, естественно, не только быстро и радикально адаптироваться к новым требованиям и претензиям, она, как мастер дядя Миша, пока еще достаточно четко не осознала, что все эти «де-факты» и «де-юре» не случайная и не временная неприятность, но ее собственное будущее. Во всяком случае, вот как отвечают, по данным той же Г. И. Шинаковой, начальники цехов некоторых московских предприятий на вопрос, какое образование предпочитают для работы на вашем участке: 7 процентов назвали 10 классов, 30 процентов — 8 классов, а 63 процента — 7 классов. Практически многие из них ориентируются даже на рабочего с 5—6 классами.

Но для нас сейчас важна другая сторона дела. Все эти принципиально новые процессы, вся эта сложнейшая проблематика, связанная с переходом промышленности на новую, неэкстраординарную основу, все эти коллизии и противоречия, связанные с переходом от «индустриальной революции» к «образовательной» (и соответственно с новыми отношениями разных социальных групп в производстве), не свалились с неба. Они медленно и неуклонно назревали в

индустрии сороковых—пятидесятых годов. Но индустриальная проза этого переходного периода — в отличие от своей предшественницы — не почувствовала, не зарегистрировала, не осмыслила их.

В жизни конфликты существовали, «в производственном романе» — нет. В результате — жизнь оставалась драматичной, «производственный роман» — не жизненным. «Метафизическая критика» торжествовала, объявив литературную практику нормой социальной жизни. Сама драматичность жизни оказалась у нее под подозрением как незаконная выдумка «отдельных литераторов».

И если с точки зрения современной творческой дискуссии на рабочую тему «Битва в пути» Николаевой в целом была литературным открытием нового мощного героя, человека со своими идеями, отважно выступившего против косности, нерациональности норм своего микроколлектива, предприятия, то в аспекте типологическом главным здесь было открытие не только положительного Бахирева, но и нового отрицательного героя второго этапа индустриальной прозы (Вальгана).

7

Дмитрий Бахирев — обыкновенный инженер, работяга, коренник, человек без претензий. Кроме одной. Чтобы понять ее, нужно вспомнить, что он пришел к Вальгану с танкостроительного завода, где жесткая рациональность была законом производства, где обмануть означало убить. И что находит он у Вальгана? «Автоматическая линия и... кувалда. Virtuoz из модельного и бесшабашная карусель на опоках... Великолепный сборочный цех и чудовищный чугунолитейный... ощущение болезненности виденного не покидало его...»

Вальган — очередная ипостась Бадьина, Налбандова, Емчинова. Это наш старый знакомый, псевдоборец. Но в отличие от своих прямолинейных собратьев, он гибок и артистически пластичен. Он уже не проповедует «бесконфликтность» и «страдание от дружбы», но зато не отказался бы выдвинуть свою кандидатуру на роль «идеального героя». Он многому научился на ошибках своих предшественников, учел все колебания и микрооттенки ситуации. Уж он-то, в отличие от Емчинова, «всю эту механику» раскусил своевременно. Вальган — гений аппаратной интриги, и вообще он видит

сквозь землю. Будем справедливы: он свое дело знает. Тракторы нужны стране — и завод выполняет план. Для этого надо выколачивать фонды, обеспечивать материальное снабжение, держать в ежовых рукавицах своих инженеров, помнить по имени-отчеству старых рабочих, демократически пожимать им руки, проходя по цехам, растить, похлопывая по плечу, молодых энтузиастов-рекордсменов, завоевывать переходящие знамена и в результате добиваться премий и регалий — пожинать заслуженные лавры. Для этого раз заведенный механизм должен функционировать безотказно, каждый час с конвейера должен сходить трактор — вот и вся премудрость.

Бахиреву это кажется противоестественным. Тракторы сходят каждый час с конвейера, но со скрытым дефектом, который начинается с качества металла и кончается принципиальными погрешностями в конструкции. Они расползаются по стране как проказа, обнаруживая свои дефекты в эксплуатации, ломаясь, срывая посевные, снижая урожай, разоряя хозяйства, сея сотни и тысячи конфликтов в деревнях страны. Мыслимо было бы такое в танковом производстве, где за каждой машиной стоит жизнь или смерть?

Критерий Вальгана — статичность производственного механизма, критерий Бахирева — рациональность. Та самая рациональность, которую лихо громят иные современные критики как нечто внешнее, головное, чуждое русской душе, органически склонной к «буйному половодью чувств». Рационализм Бахирева — живое опровержение этих критических эмоциональных всплесков. Прежде всего потому, что он — элемент его духовного строя, его мирочувствования. И потому нерациональность в производстве Бахирев переживает как страдание, как беду, как болезнь. Ради торжества рациональности он готов даже идти на нечто в высшей степени иррациональное, на жертву всем, чего он достиг, — положением, престижем, окладом, самую жизнь, если понадобится. Разве не продемонстрировали эту готовность к жертве не только сам Бахирев, но и все позднейшие его собратья — и гранинские Крылов и Лобанов, и Губанов из «Твоего современника»?

Так же как для Корчагина дезертировать со стройки было бы концом жизни, практически самоубийством, так и для Бахирева самоубийством было бы смириться с нерациональностью, с ханжеством, с потреби-

тельским критерием Вальгана: он перестал бы себя уважать.

С Бахиревым пришла в индустриальную прозу драматичность самой жизни. Перед нами принципиально новый и сложнейший «престижный механизм». Единственная ошибка Вальгана, оказавшаяся роковой, заключается в том, что он не сумел вовремя разобраться в сложности этого механизма. Впрочем, он заслуживает снисхождения: ему просто не встречались такие люди в жизни и в «производственном романе», он, трезвый политик, привык смеяться над донкихотством и меньше всего ожидал встретить Дон-Кихота в промышленности пятидесятых годов, да еще в соседнем кабинете.

И заслуга Николаевой в том, что она лучше, тоньше, зорче Вальгана, а заодно и «метафизической критики», сумела разглядеть в тогдашней жизни этот еще редкий, только еще зарождающийся характер, этого Чумалова современной эпохи, за которым было будущее, которому мы обязаны осуществлением экономической реформы шестидесятых годов.

Разумеется, борьба его не закончена. Она лишь начинает по-настоящему разворачиваться. Она еще упирается в ряд объективных трудностей и неразрешенных задач. Далеко еще не всюду выбиты из седла Вальгана. И это убедительно продемонстрировал нам В. Попов в недавних романах «Разорванный круг» и «Обретешь в бою». Это постоянно демонстрирует и наша творческая Дискуссия. Но можно не сомневаться, что руководители Щекинского эксперимента — Бахиревы, и фанатик рациональности сельского производства И. Н. Худенко — тоже Бахирев. Мало того, и Лобанов, и Крылов, и Целин, и другие положительные герои индустриальной прозы — Бахиревы. То есть люди, для которых рациональность производства не пожелание, не функция должности, а душевная потребность. Именно они, эти люди, — реальный залог того, что гигантские задачи завтрашнего дня будут решены. И честь литературе, открывшей нам этих действительных героев. Именно они обнажили и слабость «псевдоробота». Именно Бахирев нащупал его ахиллесову пяту. Даже две пяты.

Помните, как А. Солипатров раскрыл нам социальную подоплеку штурмовщины, объяснив, какие именно элементы производственного коллектива могут быть в ней

заинтересованы? За двенадцать лет до него Бахирев сделал открытие еще более поразительное. Он открыл, что в нерациональности может быть заинтересован сам руководитель коллектива. Двенадцать лет — это очень много. Двенадцать лет — это срок, отделяющий первый спутник от первого лунохода. Я называю открытие Николаевой поразительным не только потому, что «метафизическая критика», упивавшаяся покорностью картонных персонажей «производственного романа», решительно не поняла его, но и потому, что в 1957 году разглядеть консерватизм Вальгана с его идеалом статичного производства было действительно очень трудно. Это сейчас, когда многократное ускорение индустрии стало так же обычно, как спутники и луноходы, когда перманентная корректировка стала ее законом, ее логикой и поэзией, сейчас он очевиден. Но тогда...

Для Вальгана завод, на котором он время от времени устраивает демократические спектакли с пожиманием рук старым рабочим и похлопыванием по плечу молодых энтузиастов, со всеми своими станками, тракторами и противовесами, — что для него этот завод, как не обыкновенная стартовая площадка, с которой можно взлететь куда-нибудь повыше, в трест, в главк, в министерство? Бесперебойное функционирование завода — топливо для взлета, не более. Центр тяжести интересов Вальгана — далеко за пределами завода и вообще производства. Он на взлете, он, так сказать, заряжен вверх. И завод — лишь ресурс вальгановской карьеры, он — лишь деталь другого, личного и бесконечно более важного для него плана. Для постоянных корректировок, для коренной переориентации производства у Вальгана нет ни времени, ни сил. Голова его — в других сферах, он занят своими делами.

Для этого нужен такой человек, как Бахирев, для которого проблема противовесов — проблема жизни. Для Вальгана завод средство, для Бахирева — цель. Сейчас, в эпоху неслыханной динамичности индустрии, вальгановский критерий статичного производства, не выходящий за пределы выполнения плана, практически равен нерациональности производственного механизма. Вот почему Вальган — консерватор.

Но Бахирев, как мы помним, сделал еще одно открытие, и еще более глубокое: во всем, кроме аппаратных интриг, кроме, с позволения сказать, «человеческих отноше-

ний», Вальган бездарен. Он рутинер, он человек стандарта, функционер, он не способен к самостоятельному анализу и концептуальному мышлению, он консерватор не только по функции, но и по самому существу своего характера. Он боится нового как опасности своему положению и перспективам. Но еще больше боится он нового как угрозы самим своим жизненным устоям, своим пенатам и ларам, своим моральным нормам и этическим представлениям. Бахирев кажется ему не только опасным, но и безнравственным.

Николаева добралась здесь до глубочайшего нравственного конфликта, обнаружила ошеломляющую связь между консерватизмом и бездарностью, открыла, что люди типа Вальгана будут стоять против нового, против прогресса. Вот почему речь в романе не о конфликте «хорошего с лучшим», не о «страдании от дружбы», а о подлинно драматической борьбе интересов, о столкновении людей с разными социальными, психологическими и нравственными установками.

Внимательный читатель, конечно, отметил определенное отличие трактовки романа «Битва в пути» здесь и в статье «Человек творящий» Ю. Кузьменко. Однако противоречие это во многом обусловлено тем, что авторы статей обратили преимущественное внимание на разные стороны предмета. Кузьменко, как литературовед, подчеркнул прежде всего художественные промахи Николаевой, говорил о том, как писательница искусственно облегчила победу своему Бахиреву; меня же здесь интересует главным образом факт открытия ключевого героя индустриальной прозы второго этапа.

8

Но на конфликте Бахирева с Вальганом развитие индустриальной темы, естественно, не остановилось. «Образовательная революция» вместе с «индустриальной», Бахиревы вместе с Чумаловыми, как бы мощны сами по себе ни были, оказались лишь подготовкой, лишь естественными компонентами третьего этапа индустрии, уже получившего имя революции научно-технической, оказались последовательными ступенями, так сказать, ракеты-носителя, выведшими индустрию на новую орбиту. Экономическая реформа, положившая начало этому этапу, обозначила и пределы, до которых может обеспечить эффективность индустрии герой,

подобный Бахиреву, с его идеалом технико-экономической рационализации производства. Отныне требуется уже нечто большее — рационализация социальных, «человеческих отношений» в производстве.

На конфликт Бахирева с Вальганом, далеко еще не законченный, наложился новый, пока малозаметный, не получивший поэтому отчетливого выражения в литературе конфликт.

Вот сюжет (нечто подобное мы встречали у Ю. Трифонова): критерий руководителя коллектива типично бахиревский — неукротимая рациональность организации труда. И вдруг оказывается, что фанатическая эта рациональность, так эффектно выглядевшая на фоне беспринципности вальгановского типа, содержит в себе и какие-то иные, не замеченные прежде грани, что она требует нравственных жертв и оборачивается порою элементарной бесчеловечностью. Герой вдруг задает себе и миру знаменательнейший вопрос: зачем, во имя чего эта рациональность? Оправдывают ли ее те нравственные жертвы, на которые идет руководитель, или, напротив, обесценивают и не дают разглядеть реальные человеческие ресурсы коллектива, способные при другом подходе дать неизмеримо больший эффект? Вырисовывается противоречие между технико-экономической рациональностью и рациональностью социальной.

Обратите внимание, что Владимира Прохорова из «Права выбора» М. Колесникова, этого аса сварочного дела, этого «рабочего-академика», глубоко волнуют именно проблемы управления рабочим коллективом, мысль его бьется над вопросами социальными, этическими. Обратите внимание на его иронический тон, когда он говорит о Гуляеве, которому вполне достаточно того, что изучали на курсах сварки, «чтобы быть уверенным, что в мире все устроено так, как и должно быть устроено»¹.

Зачем «производственники зовут психолога», как говорил в творческой Дискуссии В. Моев, зачем Н. К. Николаев апеллировал к «писательскому глазу»? Затем, что критерий обнаженной технико-экономической рациональности упирается в стену «человеческих отношений» в производстве. Уровень индустрии требует, как свидетельствует всемирный опыт, квалифицированного вмешательства социологии и психологии,

¹ «Знамя», 1970, № 11, стр. 27.

науки о человеке, требует анализа принципиально новых коллизий и соответственно новых средств и орудий анализа. Так может ли остаться в стороне от этих проблем литература, располагающая могущественными, далеко превосходящими любую науку средствами исследования человеческих отношений, литература, для которой человек — альфа и омега, первый и единственный предмет?

Именно это обстоятельство и дает нам возможность некоторого осторожного прогноза, почти предчувствия нового типа конфликта в индустриальной прозе, конфликта «человека рационалистического» с тем, кого можно было бы назвать столь же условно «человеком этическим». Выльется ли этот конфликт в непримиримую борьбу, станет ли сварщик Прохоров в этой борьбе союзником Бахирева против Вальгана, или Вальгану удастся противопоставить их друг другу, покажет жизнь. Пока что ясно одно.

Ясно, что сама производительность работника на третьем этапе индустрии все больше и больше становится функцией не внешнего, механического, административного контроля, но самой человеческой его порядочности, его творческих потенций, его нравственных установок. Ибо дело идет к тому, что контролировать работника на производстве в перспективе должен он сам. Вот почему, возвращаясь к творческой Дискуссии на рабочую тему, мы можем констатировать, что обращение индустриальной прозы к моральным явлениям, к не сопоставимому с прежними ее этапами по глубине и сложности анализу нравственного мира рабочего человека есть не признак ее измельчания, а властное требование времени. Именно нравственный анализ — вместе с квалифицированным социологическим и психологическим исследованием — станет, быть может, ядром завтрашней индустриальной прозы. Он актуален, он исторически необходим. С особой силой и компетентностью подчеркнул этот вывод участник Дискуссии директор завода И. Титоренко, утверждавший, что, совершенствуя систему управления, занимаясь проблемами технического переоснащения, следует с особым вниманием отнестись к фактору человеческих взаимоотношений в производстве.

Размышляя над этими новыми задачами, приходится вернуться к одной из главных проблем Дискуссии, к неизмеримо усложнившейся в наши дни структуре рабочего

класса. Причем проблема эта сразу же отчетливо разделяется на два главных канала: один, трактующий о коллизиях между передовыми рабочими и теми, кто работает по старинке; и другой — о практическом слиянии верхнего, наиболее квалифицированного слоя рабочего класса с производственной интеллигенцией.

Вот что говорит Л. Коган о первом канале: «Среди рабочих есть сейчас и люди, обладающие высокой интеллигентностью, и люди малограмотные, некультурные... Они работают на одних предприятиях, в одних цехах. Наличие столь разных людей в одних и тех же коллективах является источником серьезных нравственных, человеческих конфликтов. Разве у нас нет в рабочих коллективах столкновений между передовыми рабочими... и отдельными отсталыми членами коллектива, которые пытаются создать отрицательное общественное мнение о передовиках, рационализаторах: из-за них, мол, расценки снижают. Такие конфликты есть, но о них литература мало говорит». А вот как судит о другом, противоположном канале слесарь А. Солипатров: «Часто говорят, что у нас стирается грань между рабочим и инженером. А я не знаю, что это за грань и нужно ли ее стирать? Особой грани в смысле заработка давно уже нет. Образование у многих цеховых инженеров среднетехническое. Так и у многих рабочих такое же! Творчество? Половина инженеров ничего нового не создает, а детализирует чертежи или заполняет отчеты. А нашему рабочему Иосифу Павловичу Дроздовскому почти всегда дают хорошую идею, так сказать, мечту ведущего конструктора, и он ее воплощает в металле... Так что разница между рабочим и инженером становится разницей в профессии и характере умения, что ли, а никак не в положении». Солипатрову мы можем доверять безусловно: это человек с тончайшим социологическим чутьем.

Стало быть, существует социально-историческая основа современных коллизий: профессионально-квалификационная и образовательная разнородность рабочего класса. И здесь мы отчетливо видим, что если на первом этапе индустриальной прозы доминировала задача интеграции рабочего класса, невольно заставлявшая противопоставлять его как нечто целое, монолитное тогдашней технической элите, многие представители которой находились на другом социальном полюсе, то на последующих этапах

возникает задача анализа все усложняющейся структуры рабочего класса. Он осознается уже как некая «сложная система», состоящая из различных элементов, и в индустриальной прозе, естественно, важное место начинают занимать социологические и этические коллизии, возникающие между этими элементами.

Однако в литературе сложная система продолжает иногда интерпретироваться как простая. А это явление вовсе не безобидное. Оно привело, между прочим, к оскорбительному для нашего общества искажению действительных конфликтов в ряде проשמевших недавно псевдоробочих романов, возвращающих нас к противопоставлению рабочего класса и интеллигенции, которое было свойственно давно прошедшему первому этапу индустриальной прозы, когда иным был рабочий класс и иной была интеллигенция. Критик Н. Потапов в статье «Время действия — наши дни» уже писал об этом явлении¹. Впрочем, к нему мы еще вернемся.

А пока остановимся на том, почему именно теперь, когда индустрия достигает достаточно высокого качественного уровня, а структура рабочего класса — высокого уровня сложности, позволяющего разработать новый тип социальной мобильности — мобильность внутриклассовую, почему именно теперь ведущим героем индустриальной прозы может стать не просто «выходец из рабочего класса», не просто «лидер» производственного коллектива, лишь начинающий свой путь от станка, но сам рабочий. Не тот, кого принято называть «простым рабочим», нет, напротив, «сложный рабочий», движущийся (говоря языком шахматистов) от третьеразрядника к кандидату в мастера, потом в мастера и потом в гроссмейстеры, оставаясь при этом все тем же рабочим.

В самом деле, в науке или в искусстве давно уже разработаны формы и каналы горизонтальной мобильности, разработана строгая и авторитетная методика материального и престижного стимулирования каждого этапа: человек, защитивший диссертацию или написавший хорошую книгу, явственно переходит из одной группы в другую, совсем не обязательно становясь при этом руководителем отдела или председателем секции прозы. Только для рабо-

чих таких методик никогда не существовало. Рабочий-третьеразрядник и рабочий-академик одинаково остаются «простыми рабочими».

Повторяю, для того, чтобы сама задача разработки социальной мобильности внутри рабочего класса могла встать перед обществом как актуальная программа, нужны были десятилетия. Нужны были индустриальная революция и революция образовательная. Нужны были борьба Чумалова и борьба Бахирева. Нужна была кардинальная перемена критериев. Нужно было, чтобы рабочий стал в производстве не только исполнителем, но и творцом. Именно сейчас, когда, как говорят в Дискуссии, «на социалистических предприятиях трудятся десятки тысяч высококвалифицированных рабочих с дипломом техника, а иногда и инженера», именно сейчас рабочий герой требовательно постучался в двери индустриальной прозы, претендуя на пьедестал и лавры героя ведущего. Третий, современный этап индустриальной прозы, соответствующий этапу научно-технической революции, призван отразить истинное возвышение рабочего героя в литературе. Это возвышение будет художественным эквивалентом его реальному возвышению в обществе.

«Все показатели типа культуры этой (высшей.—А. Я.) группы рабочих...— развивает свою мысль пермский социолог З. Файнбург,— значительно ближе к культуре ИТР, имеющих высокое общее и специальное образование, чем к типу культуры рабочих профессий старого типа... Между двумя этими социальными группами рабочих, располагающихся на крайних полюсах, имеется ряд промежуточных групп... Однако крайние полюсы отстоят друг от друга чрезвычайно далеко... кто же к кому реально ближе по типу своей культуры, по своим интересам и т. п., рабочие ли крайних групп друг к другу или рабочие «высшей группы» и ИТР? Чем вообще практически здесь обеспечивается та общность, которая дает возможность говорить о рабочем классе как целом и где проводить границы этого целого? И каковы тенденции в этих отношениях?»¹.

Тенденции развития мировой индустрии в условиях научно-технической революции, рассмотренные в 1962 году советскими со-

¹ «Правда», 12 июля 1970 года.

¹ «Дружба народов», 1970, № 3, стр. 275.

циологами совместно с компетентными марксистскими зарубежными исследовательскими организациями, неопровержимо свидетельствуют, что «новая техника предъявляет повышенный спрос на лиц преимущественно умственного труда... это приводит к тому, что внутри промышленных отраслей число трудящихся, не воздействующих непосредственно на предмет труда, растет значительно быстрее, чем количество пролетариев, занятых у рабочих машин»¹.

В 1966 году у нас на каждых сто промышленных рабочих приходилось почти 14 инженерно-технических работников, в том числе восемь — с высшим образованием. Это в целом по индустрии. Что же касается передовых ее отраслей, например радиоэлектроники, то там (если учесть и работников научно-исследовательских институтов) численность ИТР вообще сравнивалась с численностью рабочих! Конкретные исследования свидетельствуют, что практически каждому шестому молодому рабочему предстоит стать нынче техником или инженером.

Если вспомнить, что еще в 1905 году на таком высокоорганизованном предприятии, как завод Рено, на тысячу рабочих приходилось лишь четыре-пять инженеров, то есть 0,5 процента; если вспомнить, что еще в 1928 году на каждых сто рабочих в советской индустрии приходился лишь один (!) дипломированный инженер; если, судя по «Цементу», на новороссийском заводе в 1921 году был вообще один инженер Клейст, то рост окажется беспримерным.

Тенденции формирования индустриальных кадров в перспективе на третьем этапе развития индустрии, призванном разрешить коллизии между различными группами рабочего класса на новом, более высоком уровне социального синтеза, ясны. Если на первом этапе он формировался главным образом из мигрирующего крестьянства и интегрировался; если на втором этапе он воспроизводился на собственной основе, все усложняясь, то на третьем, на этапе семидесятых — восьмидесятых годов, ему предстоит еще тесней сомкнуться с производственной интеллигенцией, став значительно более сложной и эффективной системой.

Если первому этапу соответствовал критерий интегральный и героями его выступили одновременно и Чумалов и «псевдобо-

рец»; если второму этапу соответствовал критерий преимущественно экономический и героем индустриальной прозы стал Бахирев («человек рационалистический»), то на третьем этапе выдвигается критерий социологический, стимулятором эффективности производства в значительной мере становится совершенствование структуры человеческих отношений, и героем индустриальной прозы станет, надо думать, «человек этический»¹.

Разумеется, все это лишь условные обозначения для характеристики ведущих процессов, типов и характеров — и не более того. Ведь в лабораторно чистом виде они вообще никогда не существовали. Абстракция всегда беднее реальной сложности жизни. И задача ее не в том, чтобы воспроизвести жизнь как она есть, а в том, чтобы обнаружить ее историческую и логическую закономерность, ее эволюцию. Этой задачей обусловлен и отбор анализируемых произведений, представляющихся мне для ее решения ключевыми. Конечно, реальная картина индустриальной прозы безмерно богаче любой социологической схемы. Бесмысленно было бы пытаться объять необъятное...

9

Читатель может соглашаться или не соглашаться с предложенной здесь периодизацией индустриальной прозы и ее конфликтов, однако существования самих современных индустриальных конфликтов не будет отрицать, пожалуй, никто. Существовая в жизни, они дают неожиданные и острые «прорывы» в литературу. Выше я обещал вернуться к социальным источникам того противопоставления рабочего класса и интеллигенции, которое так встревожило участников нашей Дискуссии.

¹ Следует, видимо, сделать оговорку против возможных недоразумений: если речь идет о том, что ведущим социальным типом на втором этапе явился «человек рационалистический», это вовсе не означает, что он безнравствен, так же как выдвижение «человека этического» не будет означать, что он утратит свои политические качества. Пусть вступится за меня диалектика. Уже Гегель знал, что диалектическое отрицание вовсе не означает отрицания в буквальном смысле, но лишь «снятие» противоречия с сохранением позитивного содержания отрицаемого, а отрицание отрицания вообще означает воспроизведение его на более высоком уровне сложности. Так что не может быть и речи о безнравственности «рационалиста» или аполитичности «человека этического».

¹ «Структура рабочего класса капиталистических стран», Прага. 1962, стр. 21—23.

В тридцатые годы Ф. Гладков прогнозировал развитие нового положительного героя индустрии как своеобразный синтез характеров Чумалова и Бадьина. Теперь мы можем уже с уверенностью констатировать, что новый герой оказался синтезом скорее Чумалова и Клейста. Им оказался революционер компетентный и интеллигентный. Но в тридцатые годы ошибиться было не мудро. Мудрено ошибиться в шестидесятые. Между тем именно в этом и состоит логический источник ошибки иных прозаиков и представителей «метафизической критики» — в отрицании исторической динамики рабочего класса, в механическом перенесении критериев первого этапа, «энтузиазма кирки и лопаты» — на третий, то есть в трактовке интеллигенции как Шраммов и Стрижевских, которых, по выражению Чумалова, надо «бить по башкам и по ребрам». Критериев, согласно которым Сергей Ивагин в «Цементе» мог быть исключен из партии с формулировкой «типичный интеллигент» — и без дополнительных разъяснений. Нужно ли доказывать снова, сколь целеп, вреден, архаичен такой критерий, сколь вопиет он против всей современной экономической стратегии нашего общества?

Социальным же источником известного заблуждения явилось, очевидно, усложнение структуры рабочего класса на втором этапе, коллизия между передовой и отсталой его группами. Можно предположить, что именно в такой причудливой форме находят себе выражение некоторые консервативные настроения и взгляды энтузиастов «кирки и лопаты», так же как и законсервировавшихся кое-где Вальганов, еще не вышибленных из седла Бахиревыми. Вальганов, интересам которых противоречит ускоренное развитие науки и техники, рационализация производства, растущая интеллигентность рабочего класса. «Крепкая глотка, прижимистость, прсбойная сила» — все то, что так отчетливо охарактеризовано в нашей Дискуссии, все это вовсе не желает уступать свое место без борьбы. И наверное не будет ошибкой назвать эту псевдоиндустриальную прозу апологией «псевдобрца». Вот почему она, как и «метафизическая критика», не в состоянии поставить вопрос о современном отрицательном герое индустриальной прозы: он для нее по-прежнему герой положительный. Вот почему не видит она героя в Бахиреве: он непримиримый враг «псевдобрца». Вот почему не хочет она видеть

эволюцию индустриальной прозы, поступательного хода самой индустрии...

И если мы сейчас припомним ленинские слова, что в каждом явлении есть остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего, то не останется никаких сомнений, что именно эта проза принадлежит в громадном хозяйстве нашей литературы к «остаткам прошлого». В ней агония издающей вальгановщины, с отчаянием обреченности борющейся против социальных и нравственных последствий неотвратимой научно-технической революции.

Неотвратимой! Ибо, как писал в «Правде» академик Н. Иноземцев, «КПСС, братские партии, разрабатывая свою тактику и стратегию, исходят из того, что борьба за научно-техническое первенство стала одним из важнейших плацдармов соревнования двух противоположных систем». Отмечая первостепенную роль научно-технического прогресса, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в речи, произнесенной 13 апреля на Харьковском тракторном заводе, заявил: «Коренные вопросы научно-технической революции, ускоренного развития науки и техники будут и впредь находиться в центре внимания партии и правительства. Это — важнейшая задача нашей экономической стратегии не только на текущий год, но и на весь обозримый период развития страны».

10

Пусть не подумает читатель, что автор попытался растворить обещанную в заголовке «рабочую тему» в проблематике индустриальной прозы. Отнюдь. Ведь и то, что мы называем сегодня деревенской прозой, не сводится к «крестьянской теме». Ведь начиналась она тем же Овечкиным, который писал вовсе не о крестьянах как таковых, а о районных руководителях, так же как Дорощ, Нагибин или Тендряков писали о председателях колхозов, а Николаева — о директоре и главном агрономе МТС. И зовем-то мы деревенской прозой все это в совокупности, а не только крестьянские повести Белова или Абрамова.

Что же до собственно рабочей темы, то можно задать, пожалуй, сначала риторический вопрос: могут ли считаться гладковские «Цемент» и «Энергия» сочинениями на эту тему? Я назвал вопрос риторическим оттого, что ответ на него очевиден: речь идет о ярчайших знаменьях этой темы в

литературе. А между тем ведущие герои этих романов вовсе не рабочие. Они и з рабочих, то есть бывшие рабочие, на наших глазах проходящие тернистый путь превращения в профессиональных командиров индустрии. Стало быть, в книгах, по праву считающихся классикой рабочей темы, речь идет главным образом о том, как рабочие становились лидерами, то есть формально переставали быть рабочими.

Следовательно, на самом деле собственно рабочая тема всегда была лишь частью более крупного подразделения литературы, трактующего о системе человеческих взаимоотношений в индустриальном коллективе. Или, иначе говоря, лишь элементом того, что названо здесь индустриальной прозой. В этом смысле Чумалов и Бахирев, конечно, такие же равноправные представители рабочей темы в литературе, как Савчук и Брынза у Гладкова или формовщица Ольга Семеновна и станочник-виртуоз Сугробин у Николаевой.

Но поскольку индустриальная проза есть некая сложная система, то и проблема взаимоотношений отдельных ее элементов, в частности собственно рабочей темы с целым,— существует. И эволюция этой темы внутри индустриальной прозы тоже существует. Ясно, что на разных этапах она играла в ней разную роль. И конечно же, эту проблему следовало ставить открыто, обнажить, а не прикрывать абстрактной терминологией, как делает это, например, Б. Брайнина, говоря о Чумалове, что он «организатор масс и в то же время неотделимая часть этих масс». Как тут спорить с критиком? Ведь каждый человек в принципе «неотделимая часть масс». Только одна «часть масс» стоит у станка, другая этот станок проектирует, а третья управляет производством. И проблема-то именно в этом.

И если сейчас мы можем отметить любопытное противоречие в нашей Дискуссии между начальником цеха Н. Чудиновым и рабочим Э. Потоскуевым, то это — свидетельство коренных и серьезных изменений как в структуре современного рабочего класса, так и в самой индустрии. Свидетельство перехода от второго к третьему ее этапу. Н. Чудинова, выступившего на Уральском совещании, как явствует стенограмма, вполне устраивает в качестве представителя рабочей темы герой Николаевой. «Инженер Бахирев,— говорит он,— стал для многих именем нарицательным:—

работать по-бахиревски, думать по-бахиревски... Мне кажется, более высокой награды для писателя быть не может». Потоскуев же говорит: Бахирев или герой романа В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев» — это руководители, хотя и рожденные рабочей средой. Но как сегодня живет, «куда растет» тот современный рабочий, который не становится ни начальником стройки, ни директором завода?

Именно эту проблему ставит и М. Колесников в повести «Право выбора» перед своим героем Владимиром Прохоровым: двигаться по вертикали (в НИИ, инженеры и т. д.) или по горизонтали (в «рабочие-академики»), ставит, в конечном счете, вопрос о том, на каком из этих путей предстоит рабочему стать героем индустриальной прозы третьего этапа, «человеком этическим».

Автор повести «Право выбора» сумел связать эту кардинальную проблему сегодняшней индустрии с характерными чертами времени. «Мы живем в динамическую эпоху,— говорит Владимир Прохоров.— Происходят крупнейшие изменения в социальной, научной, технической областях. Они захватывают все сферы человеческой жизни, предъявляют к человеку все новые, усложняющиеся требования... Смысл этих изменений Прохоров схватывает точно: «Научно-техническая революция... Эти слова не сходят у нас с языка. Мы ведь осознаем, что находимся в самых недрах этой революции, она для нас не отвлеченное понятие»...

В этой конкретности видения мира и обнажается полемическое острие повести М. Колесникова, острие, направленное против примитива, столь характерного для «метафизической критики» с ее отрицанием противоречий бытия. «Противоречие? — восклицает в повести профессор Коростылев.— Но какая революция совершается без противоречий?» Преодоление противоречий, а не их замазывание, наука и техника, а не апология «кирки и лопаты», сложность человеческих отношений — в этом пафос повести М. Колесникова, быть может, первой ласточки нового этапа в индустриальной прозе. И даже ее откровенная публичность, отмеченные критиками художественные просчеты повести (а они очевидны!) вытекают, мне кажется, именно из того, что она первая...

Обратите внимание, что здесь, у М. Колесникова, герой отвечает на тот вопрос, о ко-

тором косвенно спорят в Дискуссии Н. Чудинов и Э. Потоскуев.

Спор этот, между прочим, говорит еще и о том, что социология наша и критика не поспевают пока за сложнейшими процессами реальной жизни. Ибо речь здесь идет о явлении кардинальном: о смене преобладающих типов социальной мобильности. Если на первых этапах развития индустрии преобладал тип, который социологи называют вертикальной мобильностью (то есть стремительное социальное продвижение снизу вверх, неизбежное в условиях полной революционной смены старой производственной элиты), то сейчас начинает преобладать тип, который можно было бы назвать условно мобильностью горизонтальной¹.

Первый тип соответствовал эпохе экстенсивного развития, второй — интенсивного. Первому типу соответствовали главным образом показатели количественные, второму — качественные.

Престижные стимулы начинают играть все большую роль по сравнению с должностными.

«Заряженные вверх» Емчинов или Вальган, думающие больше о своем продвижении, нежели о престиже своего коллектива и качестве его продукции, — это уже издержки гипертрофированной вертикальной мобильности, уже сигнал о необходимости перемены критериев. Для Бахирева или Лобанова нет критериев выше престижа и качества: такова их основная социологическая характеристика.

И если сейчас Э. Потоскуев и М. Лысенко ставят в творческой Дискуссии вопрос о герое-рабочем как центральном герое — это бесспорное свидетельство, что потребность в качественных и престижных критериях пронизала уже глубоко самую гущу

¹ Термин «горизонтальная мобильность» социологи употребляют обычно, чтобы обозначить движение населения из страны в страну, из села в город, с предприятия на предприятие, то есть для обозначения миграции и текучести кадров. Для обозначения же социального продвижения в пределах одной и той же группы или класса применяется явно не подходящий по смыслу в данном контексте термин «карьеризация профессии». Поэтому мне придется воспользоваться здесь термином «горизонтальная мобильность» не в общепринятом, а в частном его значении.

рабочего класса, во всяком случае передовых его слоев, что проблема разработки внутриклассовой, горизонтальной мобильности, престижной индустриальной иерархии стала на очередь как одна из актуальнейших проблем индустриальной прозы. Как проблема, вне рамок которой едва ли разрешимы и вопрос о текучести кадров, и вопрос о дефиците рабочей силы, и «моральная проблематика труда», одним словом, все социально-экономические вопросы, поставленные в нашей Дискуссии на рабочую тему. То, что эта коренная проблема поставлена именно в творческой дискуссии, поистине делает честь нашей литературе как передовому отряду общества первооткрывателей, нащупывающему самую скрытую, самую глубинную, не ставшую еще, по существу, предметом научного изучения проблематику. Это и заставляет вспомнить Овечкина. Это самый существенный аргумент в пользу модели-прогноза Б. Анашенкова.

И ведь это не единственная заслуга Дискуссии.

Дискуссия поставила в порядок дня обсуждение «человеческих отношений» в современной индустрии. Она, явив собой содружество писателей, критиков, социологов и рабочих, поставила вопрос о структуре рабочего класса на новом этапе развития промышленности. Она — в противовес «метафизической критике» и псевдоиндустриальной прозе — нащупала нового потенциального героя, которого мы здесь называем «человеком этическим».

Поэтому есть все основания предположить, что сейчас, в семидесятые годы, пламень Дискуссии о рабочей теме в литературе не только не иссякнет, но разгорится с новой силой. Более того, теперь, когда Дискуссия переросла уже уровень отдельных очагов, где поднимались живые и актуальные, но все же мало связанные между собой проблемы, когда она выливается в серьезный разговор, который уже дает возможность обществу осознать свою индустриальную прозу как некое целостное явление всей истории нашей литературы и критики, — теперь можно ожидать, что творческая наша Дискуссия станет еще острее и ярче, еще плодотворней для дела коммунистического строительства.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Борис Полевой. Ленин и народы земли.— **Г. Трефилова.** Стихия и смысл.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Геевский. Существует ли «загадка»?— **А. Иойрыш.** Атом для человека.—
В. Елисеева. Без хрестоматийного глянца.

Литература и искусство

ЛЕНИН И НАРОДЫ ЗЕМЛИ

Бессмертие. Иностранные писатели о В. И. Ленине. М. «Художественная литература». 1970. 416 стр.

Вечно живой образ В. И. Ленина уже окутывается в народной памяти дымкой легенд. Есть песни о Ленине. Есть сказания о Ленине. Ленин вошел в фольклор многих народов Земли. О нем написано и пишется множество книг. Его образ запечатлен в поэзии, прозе, в кино и в драматургии. И все-таки, если считать по большому счету, все еще свежо звучат стихи старого пролетарского поэта Николая Полетаева, написанные им много лет назад:

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Да, время продолжает эту благородную работу. В прошедший год, год ленинского юбилея, вышло множество новых произведений всех жанров, посвященных образу Владимира Ильича. И если мы пока что не можем сказать о каком-либо из них: да, в нем Владимир Ильич показан во весь рост, во всем богатстве своей натуры, во всем величии своих деяний,— то из всех этих книг, вместе взятых, как из кусочков мозаики, вырисовывается образ, который с каждым новым прожитым десятилетием

продолжает все так же — и даже больше — волновать и привлекать людей.

Одной из таких книг, помогающих людям новых поколений ощутить и понять образ Ленина, несомненно, является книга «Бессмертие». Эта своеобразная литературная Лениниана, вместившая в себя произведения иностранных писателей, посвящена жизни и делу Владимира Ильича, его исторической деятельности, которая потрясла мир, которая и сейчас, столько лет спустя после его смерти, освещает народам социалистических стран путь к коммунизму и служит великому делу освобождения трудящихся от пут капитализма.

Ленин живет в народе,
в людях моей страны,
В рабочих заводах Аньера,
в докерах Гавра живет,
Живет в виноградарях Ода —
езде, где рабочий народ,
Где вещи, машины и травы
в умелых руках поют,
Где люди руками своими
жизнь на земле создают.

(Шарль Добжинский.
Перевел с французского М. Ваксмахер)

Нет такого уголка земли, где бы люди не знали и не произносили с великим уваже-

нием имя Ленина. И в книге «Бессмертне» это уважение, эта любовь, эти связанные с Лениным надежды человечества выражены словами великих и славных художников разных стран.

Сто тридцать писателей из пятидесяти стран — авторы этой книги. Среди них славнейшие мастера культуры века: Мартин Андерсен Нексе и Ромен Роллан, Теодор Драйзер и Альберт Рис Вильямс, Томас Манн и Юлиус Фучик, Назым Хикмет и Антал Гидаш, Иоганнес Бехер и Анатолий Франс... Говорят писатели всех пяти континентов, и среди них кубинец Николас Гильен, и индус Бимолчондро Гхош, и монгол Дамдинцоогийн Содномдорж, и китаец Эми Сяо, и вьетнамец То Хыу... Люди разного цвета кожи, разных языков, разных верований и политических убеждений. Но дары мыслей, которые они несут к ленинскому Мавзолею, одинаково проникнуты глубочайшим уважением к гениальному зодчему нового, социалистического мира.

Читаешь эту книгу и как бы физически ощущаешь, какой глубокий и неизгладимый след оставила ленинская деятельность в делах и сердцах человечества: «Ленин, без всякого сомнения, был явлением эпохальным, был человеком-правителем нового, демократического стиля, заряженным энергией, сгустком могучей воли и аскетизма...» (Томас Манн). «Никогда еще человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя людей, столь чуждого каких-либо личных интересов. Его духовный облик еще при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетленным в веках» (Ромен Роллан). «Освободительной борьбе пролетариата придан новый размах. Рабочее движение уже не может быть повернуто вспять. Ленин вдохнул жизнь и тепло в те силы человечества, которые борются за дело прогресса» (Мартин Андерсен Нексе). Каждое из этих высказываний, принадлежащих перу крупнейших художников XX века, — большой или маленький штрих к ленинскому портрету.

Среди немногих авторов этой книги, которым посчастливилось долго и обстоятельно беседовать с Владимиром Ильичем, — знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он приехал в Страну Советов в самые тяжелые ее дни — в разгар голода и разрухи. Он был в страхе и панике. Россия, развороченная революцией, мнилась ему тонущим кораблем. Уэллсу казалось, что он становится свидетелем гибели не только это-

го крупнейшего государства Европы, но и всей человеческой цивилизации. В таком настроении входил он в скромный ленинский кабинет в Кремле.

Ленин встретил его приветливо и открыто. Усадил в кресло. Сел напротив гостя и на отличном английском языке повел беседу, спокойно и откровенно ответил на все вопросы Уэллса. Ответил и потом, все больше и больше увлекаясь, стал развертывать перед гостем план электрификации России. И писатель, создавший столько фантастических романов, был поражен. За окном кабинета — огромная и, как ему казалось, повергнутая в хаос страна. Там голод, холод, тьма. Расстроенные железные дороги. Паровозы, ржавеющие в тупиках. А тут знаменитый вождь русских большевиков говорит почему-то об электрификации. У писателя-фантаста не хватило фантазии, чтобы понять и поверить, что такое вообще возможно. Но... «он говорил с таким жаром, что, пока я его слушал, я почти поверил в возможность этого», — записал Уэллс.

И еще он, этот склонный к скепсису англичанин, записал: «Я не сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если вообще говорить о великих представителях нашего рода, то я должен признать, что Ленин был по меньшей мере действительно великим человеком...»

Подобные важнейшие признания о величии Ленина, о непобедимости его дел и идей рассыпаны по всей книге. И среди них — слова знаменитого американца Эптона Синклера, обращенные уже к нам, к советским людям, идущим без Ленина по ленинскому пути: «Ленин — отец нового мира. За успехами этого мира я слежу с невыразимым интересом. Я шлю свой сердечный привет вам — сынам и внукам Ленина».

Особый интерес представляют свидетельства писателей о том, чем стал Ленин для каждого из них, что дал он самому их творчеству.

Джо Уоллес (Канада) пишет: «Ленин освободил мое сознание от социальных и политических оков, помог мне вдохнуть чистого воздуха свободы, дал цель в жизни. Ленин указал мне на дело, значительно превосходящее по масштабам мою собственную жизнь. Ленин научил меня видеть за временными неудачами непреходящие успехи». Ему вторит Андре Стиль (Франция): «Как писатель, я считаю себя его должником:

благодаря ему, описываю ли я полевой цветок или рабочую демонстрацию, я делаю это с сознанием, что своей работой служу Человеку».

Вчитываясь в высказывания зарубежных писателей, поэтов, публицистов, укрепляешься в ощущении того, как глубоко вошел в сознание и сердца человечества немеркнущий ленинский образ, как люди на всех пяти континентах Земли, и каждый по-своему, в соответствии со своими убеждениями, верованиями, со своими национальными традициями, хранят и берегут память о Ленине и как каждый народ по-своему воссоздает его образ.

Ты не умирал никогда,
Ты всегда живой!
И днем и ночью
В борьбе, в непогоду
Ты всем улыбался,
Разговаривал со мной,
И я сейчас еще слышу голос твой,
Слова,
Что правду несут народу.

(Иньяццо Буттигга.

Перевел с итальянского И. Базков)

Так время и люди всех пяти континентов Земли продолжают рисовать недорисованный ленинский портрет.

Борис ПОЛЕВОЙ.



СТИХИЯ И СМЫСЛ

Олесь Гончар. Циклон. Роман. Авторизованный перевод с украинского И. Карабутенко и И. Новосельцевой. «Дружба народов», 1970, № 8.

Новый роман О. Гончара «Циклон» — сложно организованное произведение. Можно сказать — экспериментальное. Событийная его основа такова: фронтовик, бывший «окруженец» Богдан Колосовский, ныне один из видных украинских кинорежиссеров-документалистов, задумывает и пишет сценарий своего первого художественного фильма о погибших соратниках, друзьях военных лет. Во время пробных натурных съемок возглавляемые им работники студии оказываются свидетелями наводнения, затопившего речную долину, и принимают участие в спасательных работах. Съемки задерживаются. Из этих довольно скромных данных, похожих на какой-нибудь отчет о «творческой командировке», возникает прихотливейшее художественное образование, примечательное с точки зрения творческих поисков О. Гончара.

Его писательская деятельность развертывается ныне очень интенсивно, в каждой новой книге — а они выходят одна за другой — он удаляется от себя прежнего, ставит задачи все большей сложности. Каким источником такой, пользуясь «естественно-испытательским» термином Гёте, продуктивности таланта?

Выделим из многих три, как представляется, наиважнейших.

Начиная с трилогии о знаменосцах и кончая «Тронкой», для О. Гончара характерна ориентация на массовую аудиторию и мас-

сового героя. По преобладающему, обычно очень чутко уловленному настроению и по средствам художественного воздействия книги О. Гончара адресованы тому «широкому читателю», которого жаждут все, но обретают немногие; тому, о ком вечно пекутся книго- и кинопромышленность, для кого предназначены и кем поглощаются миллионные тиражи нашей общественно-политической и литературно-художественной прессы.

Любимый герой О. Гончара прежде всего производитель материальных благ, землелепец, боец, крановщик, металлург, солдат. Его досуг, «по статистике», краток, и ему, как правило, не до углубленных самозерцаний. Но в те редкие исповеднические минуты, когда душа героя распахнута, а сам он речист, — вот тут-то к нему и подключается писатель, выступая его «синхронным переводчиком» и умея заставить иной раз первые шаги того разбега, с которого начинается духовный взлет.

Герои Гончара очень часто представительны внешне: статны, красивы. Если же этого нет, то есть в них все же что-нибудь от идеала: редкостная искусность рук, плодотворность прожитой жизни, яркий эпизод прошлого. Многие из них склонны к поэзии, к изобретательству, к философствованию. И опять-таки их даже и не блещущие особой новизной рассуждения о смысле жизни или краткости земных путей встречают со-

чувствие в читателе, визируются нашим сознанием как «с подлинным верно».

Массовость и коллективность героев писателя — не совсем то, что принято обозначать термином «народность». Связь этих понятий диалектична, осложнена разного рода историческими антагонизмами. Но острота проблемы как раз и заставляет О. Гончара-прозаика настойчиво и в то же время очень бережно искать пути единения народно-национального начала, хранимого историко-культурной традицией (отношение к фольклору, обычаям, ремеслам, сокровищам родного языка и т. д.), с социально-индустриальным началом современной нам «городской цивилизации».

Другой источник продуктивности творчества Гончара — уверенное предпочтение наиболее общезначимых, как еще у нас говорят, магистральных тем в их неспешном движении и смене, чем до сих пор и были обусловлены масштаб и эволюция замыслов писателя (тема «человека и оружия» в революции и войне, тема созидания).

Это движение продолжается поныне; оно сопровождается стремлением писателя генерализовать ведущие мотивы творчества и сгустить их в некие общепонятые образы-символы, вбирающие суть исторического движения огромных людских конгломератов. Так, в «Тронке» прежние устойчивые темы обогащаются за счет интереса писателя к национальной украинской истории, а затем в «Соборе» — к культурному достоянию народа. В романе «Циклон» заметно уклонение в более локальную и впервые у писателя так сильно акцентированную проблематику профессиональной работы деятеля искусства. Таким образом, связь писателя с его аудиторией обогащается, но и усложняется: войдя некогда как свой человек в среду широкого читателя, О. Гончар теперь пытается ввести его в собственный «цех», в «дом работников искусств», где и сам обретает для себя как художник много захватывающего интересного. Боясь утратить с читателем привычный контакт, он избегает при этом резких погружений в бездонные недра «порождающего духа», в «тайны творчества». Он отталкивается от более знакомого и обыденного — от обстановки действия, от ландшафтов и окружения, от конкретности поставленной задачи (поиски сценария), от работы целого коллектива, а не одной

«творческой личности», более того — избирается такая область искусства, которая ближе других к технике и производству, — область документального и, уже затем, художественного кино. Как видим, писатель заботливо ставит вешки, по которым должно следовать за ним в приоткрытую дверь храма искусств.

Но специфика предмета дает себя знать. Она углубляет некоторые тенденции, уже ранее намечившиеся у писателя, и как бы идет им навстречу. Основное занятие главного героя «Циклона» — творчество как профессия — вносит в атмосферу романа дух какого-то беспокойства, нервируя и самую манеру изображения, расшатывая основы прежде более определенной и однолинейной системы оценок, высказываний, характеристик¹.

Третья из упомянутых черт творчества О. Гончара связана с эволюцией его творческого метода, обозначившегося когда-то в «Знаменосцах».

Стиль писателя, определившийся тогда в целом как романтический, помнит и теперь свое высокое происхождение; он тяготеет к трагической патетике и лиризму. Но художественное видение О. Гончара в старом его качестве неповторимо; оно было обусловлено мироощущением народа в один из уникальнейших моментов его истории. Чужство реальности и уважение к ней подвигли в дальнейшем Гончара-романтика на

¹ То, что известная доля уверенности письма в «Циклоне» утрачена, что многое в нем еще не окристаллизовалось и находится словно «во взвешенном состоянии», отражается во всей его архитектонике вплоть до некоторых «микроструктур». Взять хотя бы сохранившиеся в окончательном тексте следы поисков наиболее удобной для повествования позиции. Неустойчивость его точки зрения формально грамматически выражается в том, что «первое лицо» рассказчика, герой и автор, слитые в одном «я» («ощутил я на себе чей-то взгляд»), в дальнейшем, уже к шестой-седьмой главе первой части, друг от друга отчуждаются. Первое лицо, «я» или «мы», соскальзывает к обобщенно-личному «ты» («кровь не греет, ее мало — война выцедила ее из тебя»), потом «вы» («приходите в полк, и отныне домом вам служит крепкая, пропитанная духом портянок казарма»), пока наконец не одерживает верх «сторонняя» позиция автора-наблюдателя, для которого все его герои — третьи лица: он, она, они. На нескольких страницах автор успел перебрать всю клавиатуру «местоименного» ряда, пока не обрел для себя необходимой стабильности.

ответственное, отважное начинание: свою песенную летящую музу он венчает с бытом, братает с обыденностью «трудов и дней». Нужны немалые ухищрения и особо благоприятное течение событий, чтобы не получилось разлада в таком семействе, начиненном где-то «в подполье» исконно романтической конфликтностью «неба» и «ада», «света» и «тьмы» и прочее и прочее. А прежде всего — поскольку речь идет о сфере искусства, нужна полнота художественной иллюзии, достигаемая постоянной, неустанной заботой художника о совершенной форме. Не удивительно, что метод писателя испытывает особенно большие нагрузки и перегрузки как раз тогда, когда осваиваются новые темы, новые способы и аспекты изображения. А именно это и происходит в романе «Циклон».

Воистину, творческий корабль писателя курсирует ныне в «море Бурь». Недаром две бушующие стихии воды обрамляют последнее произведение О. Гончара. С ними связано и данное роману имя. В начале — свежий след девятибалльного шторма; в конце — небольшая репетиция библейского потопы на Земле. А рядом, в границах того же обрамления, маленькая фигурка ребенка на пустынном морском берегу во всем ее художественном равноправии, можно сказать, в том же длиннофокусном объективе. Ребенок, вполне нарицательно, называется так: мальчик в красном пуловере, рыбацкий сын. Но ситуация просит иного обозначения: Мальчик и Море, море Познания, море Хаоса и Порядок, — потому что, по логике композиции, эпизодический образ мальчика воспринимается как символ вопрошающего детства. Это Потомок, посланец будущего. Что может завещать ему художник современности? Такая высокая и конкретная ставится цель. Медиумом, призванным связать прошлое с будущим, писатель избирает режиссера Богдана Колосовского. Через этого героя, пережившего «Одиссею окружения» в романе «Человек и оружие», автор протягивает путеводную для читателя сюжетную нить от своих прежних книг к этой новой.

С первых страниц «Циклона» писатель движет большими образными глыбами, его слова падают значительно и веско, но сцепляются ссвсем не так, как в романной прозе, а так, как это свойственно языку сценарных ремарок, где все отрывисто, назы-

вательно и броско¹. Автор вместе с героем уже переключен в план «десятой муз» и мыслит эпизодом и кадром крупномасштабной романтической кинопоэмы.

Так как же ответят сердце и память художника на безмолвный запрос грядущего? Жуткое видение Холодной Горы — одного из многих узилищ для военнопленных 1941 года на оккупированной врагом украинской земле. Железное слово *Kriegsgefangenenlager* — таков будет выбор Колосовского, и кто скажет, что он в этом выборе обманулся? Грандиозность бушующих природных стихий выступает аналогом стихий социальных. Кульминация фильма Богдана — здесь, на Горе, в исходах «бесконечного множества чьих-то понурых судеб», в проклятии войны, фашистского плена, лагеря — этих чудовищных пятен на цивилизации XX века и на совести целых народов.

Может быть, откровения современного киноискусства, а может быть — шире — постижения и опыт всей прожитой жизни подсказали писателю развернуть у нас под ногами «дизентерийную клоаку» концентрационного плаца, а потом взглянуть на эту точку земной юдоли из страшного, почти божественного далека, увидеть ее — пользуясь образом одного из героев романа — как бы зафиксированной наблюдателем «из иллюминатора космического корабля». В этих кадрах-картинах кинопоэма, которая открывает роман, переходит в своего рода «балладу Холодной Горы», дающую нам понятие о направленности раздумий писателя и о его замысле.

Итак, опять война. «На эту тему было», — сам себе возражает Колосовский. И друг Богдана, оператор Сергей, дитя пожарищ партизанского Полесья, кричит ему свое «не хочу!». А мы, читатели и зрители, ведь и мы способны понять его: есть предел власти саднящей памяти — душа человека и народа может запросить пощады, и тогда

¹ Иной раз до того уж отрывисто и броско, что случайные скопления речевых единиц будто бы и не ведают эстетической цели: «Вижу задумчивый профиль Сергея. Плечи устало опущены. Нелегко хлеб кинодокументалиста. Не первый день мы с Сергеем в одной упряжке. Куда нас с ним только не бросало! Снимали археологические раскопки. Крепость Овидия над водами лимана. Была потом еще командировка. Особая, ответственная. Одна из тех, что ждешь долго, а потом она сваливается на тебя внезапно» — и т. д.

самая горячая тема отпускает ее. Но где граница этой «зоны торможения»? Если звонят колокола скорбных мемориалов, если пепел сожженных стучит в живое человеческое сердце, а мир все далее уходит от того, что было, то должен же художник пронять людей каким-то новым «глаголом» трагического искусства.

Пусть кто-то (как сначала Сергей-оператор) крикнет в сердцах: «К дьяволу вашу войну!» — но: случайно ли раскрытая книга «Лирических этюдов» Э. Межелайтиса с пронзительной памятью войны, запекшейся на ее страницах, крупномасштабная ли военная эпопея, тома боевой мемуаристики, проникающего воздействия теле- и фотодокументы, возвышенный реквием скорбных обобщенно-символических произведений музыки, скульптуры, архитектуры, киноискусства — что-нибудь да «достанет» его. Не помнить будет означать: не видеть, не слышать, не жить.

Да, много уже было у нас о войне, было и в книгах О. Гончара. Но такого ее обличья мы прежде в книгах писателя не видели: «Не говорите мне про Полесье. Не говорите про колер-локаль!.. Люди горят, запертые в школе... Конь вырывается из пылающего сарая... Ночь такая страшная, огонь, стрельба, крики... Лежу, как зайчонок, в бурьяне... Дух затаил. Не дыши, не шевельнись, потому что придут, заколют! Пламя гудит, стропила падают, конь испуганно ржет... Багровое, ночное, страшное — вот и все, что оттуда...» Это рассказ оператора Сергея о его детстве. Или еще: марш — по улицам уже павшего Берлина сорок пятого года — мощной колонны наших тяжелых танков, среди бела дня вслепую управляемых водителями, на ходу теряющими зрение от отравленного зелья, выпитого в честь победы. Подобной ориентации суровые поправки к прежним военным эпизодам времен «Златой Праги» и «Голубого Дуная» могут, пожалуй, кого-нибудь испугать своей «односторонностью». Но они совсем не претендуют отменять прошлое. В масштабах всего творчества Гончара и совокупного опыта нашей литературы они составляют лишь несколько новых, годами кованых звеньев.

Того же рода и «крупный план» холодногогорского лагерного плаца — разновидность вопроса, уже не одно десятилетие бередящего наше сознание: чем отличается трава, возвращенная на жирной золе сожжен-

ных, от травы, не получившей такой подкормки? Что там в ней от девушек-«полонянок», ставших сырьем кожевенных и войлочных фабрик, «пучочками света» и «горстками кремационного пепла»? К исходам этих фактов, «голых, как гвоздь», по выражению одного из героев «Циклона», возвращают нас то и дело философы и публицисты с их попытками распутать казуистику всякого рода концепций минувшего тотального кошмара, облегчающих совесть носителям исторической вины. Так поступает С. Лем в своей книге о случайности. Таков же подтекст благороднейшего, всенародно поддержанного начинания той группы наших писателей, которая стала инициатором подлинно массового движения «Никто не забыт, ничто не забыто» — установления действительных имен, дат, подробностей давних событий военных лет во исполнение долга живых и — тоже — как часть нашего «завещания потомкам».

Современное состояние темы волей-неволей движет писателя к этому кругу вопросов, понуждая осилить проклятую Гору.

Для нас действующие лица фильма Колосовского — вымышленные персонажи, но для Богдана они — люди, как он, жившие рядом с ним, и это его «голый факт». Для нас его повествование — киносюжет, но сам он — участник событий; только в них для него и хроника, и «символика», и философское эссе.

Итог этого единоборства в романе «Циклон» есть то, что в прихотливом построении его композиции можно обозначить еще одним жанровым определением, как легенду о пленном и полонянке. Недра Горы разверзаются историей любви и борьбы нескольких узников, организовавших сопротивление врагу и погибших не как безвинные безоружные «музулмане» в дзентерийной клоаке, а в попытках борьбы и открытой схватки с врагом, уже послав кому-то заряд отщепенства и ненависти. «Если жизнь не удалась тебе, то пусть тебе удастся смерть!» — этот девиз, так издевательски звучавший когда-то у Леонида Андреева, как пустая и пышная претензия его героя-декадента, исполняется трагического пафоса в печальной и возвышенной повести о гордом кавказце Шамиле и украинской девушке Присе, об их встрече на уборочных работах в украинском владении «Пауля-управителя», об их чувстве, их друзьях и последнем их смертном часе.

Но как выпал им в их беспощадной реальности хоть бы и этот шанс достойной гибели, бесконечно малый в «типических обстоятельствах» лагеря смерти? Сколько ни старайся принять во внимание и субъективные и объективные факторы такой возможности, личную находчивость и беззаветную отвагу невольных пленников, необходимость для оккупантов использовать узников как рабочую силу,— все же основная пружина действия этим не скрыта, да она и не маскируется писателем. Суровый командир отряда пленников Байдашный сам называет ее в этой части романа: тут— царство игры, как он выражается — «случайного случая», маловероятного стечения обстоятельств, посылающего героям хотя бы недаровую, незрящую смерть, а перед тем одному — возможность смотреть в глаза прекрасной возлюбленной, другому — увидеть землю родины и поле жатвы, обнять жену и услышать от нее, что сын твой жив и растет: есть даже корова и молоко, есть пища, припрятанная от оккупанта.

В этой взволнованно и мерно рассказываемой легенде метод писателя обнажает всю двойственность своей природы. Он словно раскалывается, разбиваясь о суровость поставленной проблемы. Неукротенная муза романтизма пугливо отпрядывает от препятствия Горы, соблазняя художника «облететь» его стороной, устремляя к привычным системам связи между героями и читателями.

Но бывает и так, что реальность может совпасть с вымыслом до деталей. Кроме того, путь создания легенд — исконный, закреплённый традицией народного творчества способ художественного истолкования действительности. Что ж, выходит, нет у автора возможности следовать этим путем, а не иным?

Возможность у него есть. Все дело в способах перехода от исторически-конкретной, помноженной на «миллионы унылых судеб», глобальной ситуации «невезения» к ситуации возвышенно-романтической случайности. Как такие способы найти?

Боевые операции оперативной группы Сопротивления в фильме Колосовского, полонянки, обнимающие больных, запаршивевших коней в надежде заразиться от них и так уйти от немецкой мобилизации, вся роскошь натуральных съемок, все мыслимые ухищрения оператора, все вдохновение актеров и организаторские усилия

целого коллектива направлены на яркое, впечатляющее изображение горстки отважных, уведенных от Горы по воле «случайного случая» тонкой ниточкой сюжета. Но, уходя теперь мысленно вслед за ними, мы все оглядываемся и оглядываемся назад, на тех, кому «не так повезло». Туда, к неизвестным, тупиковым исходам жизни, для нас не безразличных, жизней дедовских или отцовских, мы будем тяготеть неизбежно, если принять во внимание всю взрывчатую силу, всю мощь эмоционального заряда, содержащуюся в той, хотя бы и едва затронутой писателем «пограничной ситуации бытия», которую фашизм обрушил на неслыханное множество людей и над которой до последних вспышек угасающего сознания билась обреченные жертвы, а позже, уже как над уроком истории, ломали головы разные «светлые умы» современности.

В таких обстоятельствах Гора подавляет легенду, и таким образом столкнуть две темы, две взаимно непримиримые поэтики значит для Богдана кардинально ошибиться в выборе художественной стратегии, поставив под угрозу и качество сценария, и успех будущей кинокартины.

Грустное сказание о конях и полонянках странным образом приобретает здесь качества недозволительно роскошной утешительной сказки — а лучше бы не было так, говоришь себе, лучше бы остаться нам при всем трезвом ужасе Холодной Горы, чтобы самим преодолеть ее гипноз.

При этом сюжет, начатый писателем с большим подъемом, к концу скудеет, а самые, казалось бы, «чувствительные» слова о «чистых персях», «обнаженных русалках» и т. д. кажутся выбранными опрометчиво. Вся причина в том, что, какую бы загадку ни задали нам иной раз самые изощренные ходы авторского повествования (скажем, на каком языке велись «диалоги» российской рабыни Приси Байдашной с ее немецкой владелицей?), невольно отмахиваешься от всего этого, вглядываясь в иное, важнейшее.

Похоже, что муза романтической условности не имела в виду этой невольной жестокости по отношению к нам, читателям, и к автору, а более всего к тем красивым людям-героям, которые не зря прошли по земле и стали одним из ее преданий.

Если что-то в романе, или фильме, или пьесе не задалось, можно сделать объектом изображения самую «незадачу», как гово-

рят, «обнажить прием». Эффект будет состоять в том, что таким образом часто выявляются реальные трудности данного вида искусства в его столкновении с материалом.

Надо сказать, О. Гончар делает многое, чтобы показать режиссерские возможности Колосовского. Посвящая нас в замысел своего героя, писатель где можно всячески форсирует сценарный сюжет средствами изобразительной техники: смена картин, их контрастность, особая приподнятость языка, то тут, то там эпизоды настолько выразительные и зрительно представимые, что они действительно «просятся в кадр», — все обнаруживает опытную руку. Но когда эти возможности исчерпаны, автор вводит «обнажение приема»: сначала он осторожно приобщает нас к сути возникших сложностей, затем предоставляет Богдану проверить истинность его творческого решения на практике, в съемке фильма.

Заметим, что писателю далеко не безразлична «престижность» героя, выдающегося среди его кинсоратников не одним ростом («я — длинный»), а и сложным, с элементами романической таинственности прошлым, и несколько сумрачной, «демонической» отрезанностью от общей рабочей суматохи, и единоначалием его творческой власти создателя фильма, и отношением окружающих (пиетет, обожание девиц, почтительные отзвучивания: «в монтаже он бог» и т. д.).

И все же в дружеских, сочувственных репликах постановщиков фильма проскальзывает известная озабоченность. Приятель Богдана, талантливый оператор, опасается — не сбиться бы на «приключенчество», намекает на возможность символизации образов (снимать Шамиля как неразгаданного в его силе и мудрости казацкого «Мамая»), проявляет готовность сделать все возможное и сверхвозможное, чтобы сюжета не загубить. Более общий характер носит вкрадчивое замечание студийного редактора о том, что снимать любовь, творить новых «Ромео и Джульетту» как антитезу лагерной темы — не та будет «конфронтация». Слово хоть и мудреное, но спорный момент фильма обозначается достаточно пронизательно.

Так или иначе, во второй части романа «Циклон» резкие и холодные, черно-белые тона сценария сменяются эффектными красками речной долины съемок; мы входим в мирное лето, навстречу цветам и краси-

вым женщинам, а одновременно попадаем и в новый жанр, поскольку очерк, необходимо знакомящий с обстановкой жизни коллектива студийных работников, развертывается у автора в целый производственный кинороман.

Захватывающие впечатления этой нашей новой экскурсии — ландшафты, бутафория, профессиональная кинотехника и кинотермины, а прежде всего типы людей: директора, редакторы, художники, статисты; актриса-прима — любимица труппы и восходящая звезда, бездарная красавица интриганка — весь этот нарядный мирок страстей, увлечений, настроений, прожектов, словно преломивший богатство и пестроту жизненного потока, очень, конечно, любопытен читателю.

Но спросим себя: что прояснит нам в творческой или человеческой индивидуальности Колосовского такой эпизод его биографии, как госпитальный роман с медсестрой Капой, попавший сюда словно со страниц книги «Человек и оружие»?

В каком качестве участвует во всей эпопее съемок, может быть, сама по себе и очень поучительная история отношений оператора Сергея с «чужой женой» Агнесой?

Так ли значительны болтовня студийцев, приятное щебетанье кокетничающей актрисы, развернутые характеристики некоторых побочных героев?

В этой части книги автор не придерживается строгого критерия в отборе фактов и явлений. Их стремлина на какое-то время поглощает его целиком. Эмпирией непосредственных наблюдений сильно заземляет роман и загромождает часть его пространства каким-то повествовательным балластом. Хотя тема наша серьезна, шутки тут не очень уместны, но упорно вспоминается классическая фраза Толстого: «Про батарею Тушина было забыто». «Батарея» в данном случае — это особый характер всей киноэкспедиции, ее повод.

Осторожность многих писателей, изображавших процесс творчества — например, в биографических романах о прославленных художниках или в других книгах на темы искусства, — состоит в том, что целью создания предполагается заведомо известный человечеству шедевр (статуя Родена, роман Бальзака, «Мона Лиза» Леонардо и так далее), или же «творимая легенда» сстается анонимной: присутствует не «лик», а только дух ее — через оценки других,

что-то словесные описания и впечатления. Эту осторожность можно понять. Для художника или ученого зреющее где-то в душевных глубинах творение — пока еще создание мечты; каким бы оно ни казалось грандиозным, высоким и совершенным, его подлинный масштаб и его ценность определяются после. Судом времени предчувствие творца может быть опровергнуто.

В романе «Циклон» замысел Колосовского представлен в его решающих моментах и в конце концов утвердился как нечто бесспорно удавшееся. Но твердой внутренней уверенности в этом у автора нет. У читателя тоже. Нецельность сценария и двойственность отношения к нему простираются и на «роман съемок».

Одно дело, когда создается этапное для художника и в своем роде единственное произведение киноискусства. Другое дело, когда просто «запущен» какой-то, некий, один из многих, фильм: тогда тема «творца и творения» снижается, видоизменяясь в тему кинопроизводства. В этой области найдется, конечно, много занятного; недаром современный юморист скажет порой о чем-нибудь остро интригующем: «Интересное кино!»

В «Циклоне», в той части романа, которая касается съемок, есть элементы того и другого. Тема «творения» легко вбирает, например, образ Сергея-оператора, одного из самых симпатичных действующих лиц: не очень удобный в общении, беспокойный фанатик документализма, воедино слитый со своей камерой, он для того, «большого» фильма, помнящего о Довженко, об Эйзенштейне... А тема «интересного кино» оставляет на долю этого героя какой-то пошловатый роман и совсем не знает, что же с ним делать далее. Автор все время извиняется то за его резкость, то за «манию справедливости», то за неглаженные брюки. В конце концов «роман съемок» обрывает его на гибель.

Тема «творения», с какими-то поправками, могла бы еще вместить образ красивой, талантливой, всеми любимой, патристичной, крепко связанной с народной почвой гуцульщины, потомственно одаренной, самоотверженной и просто очаровательной молодой актрисы Ярославы. Но в системе «интересного кино» она слишком условна. Нет уверенности в том, что Ярослава в суровом военном фильме может быть убедительна, что ее вдохновение не будет натужным, что ему будет найдена нужная мера.

Биография этой восходящей кинозвезды с ее радужным детством и счастливой актерской судьбой могла бы стать одной из новелл в цикле «Тронка», очень уместной в этой просветленной книге. А здесь она скорее разновидность истории о том, как одному (например, ее заживо сгоревшей на съемках подруге Иванне) «зверски не повезло», зато другому всюду сопутствовала удивительная удачливость.

В сопоставлении разных частей романа особенно заметно, как мысль писателя, подобно движку реостата, импульсивно ищет нужную ей величину напряжения. Она скользит от создания к создателю и к процессу созидания, долго не видя исхода сценарной теме, остающейся все же «тяжелым ядром» «Циклона».

Вслед за эволюциями авторской мысли едва поспевают материализоваться жанр, и мы наблюдали, как взволнованная поэма вступления сменяется «балладой Горы», а затем производственным очерком и кинороманом съемок с «вкраплениями» элементов военно-хроникальной повести. Эта словно бы преднамеренная жанровая неопределенность, замаскированная многоместностью романной формы, демонстрирует богатейшее разнообразие содержащихся в произведении возможностей, но одновременно и неокончателность каких-то его фундаментальных смысловых решений, а все вместе ощущается как недостаточность эстетического единства¹.

В каждой из частей романа усматривается своя «недостроенность» и можно обнаружить фрагменты, «застигнутые» на стадии предварительного наброска: они выдают себя прежде всего то какой-то лихорадочной «аритмией» языка. Какие черты достаточно выработанной, индивидуально-своеобразной речевой манеры О. Гончара сохраняются в таком, например, отрывке, словно привнесенном сюда житейской мутой отношений Сергея и Агнессы, из литературы совсем другого уровня: «И она прижалась к нему улругим своим станом, и Сергею было приятно слушать ров-

¹ «Технология» выдвинута в «Циклоне» на первый план, потому-то и трудно преодолеть соблазн о ней говорить. Поневоле видишь прежде всего не строгую целостность возведенного здания, а то, из каких «крупных блоков» оно сооружено, какие породы вошли в его строительный материал, каким способом в нем заделаны композиционные швы и пазы.

ный перестук ее каблучков по асфальту. Что-то почти невероятное было в том, что она, такая статная, эффектная, обратила на него внимание и пожелала познакомиться с ним, несмотря даже на то, что он в тот вечер был небритым, одетым с очевидной небрежностью, прокуренным крепкими кубинскими сигаретами. Невероятно было, что именно ее он ведет под руку аллеей бульвара и лихо демонстрирует перед нею свое мрачноватое остроумие, грубоватые богемные шуточки, критикует бронзового коня, который, будучи втиснутым между тополями, закрывал хвостом всю перспективу бульвара, и хоть остроты были не наивысшего качества, однако Агнессе они пришлись по вкусу.— С вами весело, с вами интересно. Хотите мой телефон?.

В архитектонике «Циклона» запечатлелись некоторые следы потрясений и катастроф. Как писатель их пережил и где оказался в результате созданной им самим сложной романной ситуации? Должно быть, помимо опыта и находчивости, выручает все же романтика, тот его «случайный случай», который минует людей робкого воображения. Там, где кто-то другой взялся бы распутывать узлы «концов и начал», О. Гончар обрубает их. Где «другой» озирается на тихую пристань приличного финала — он пишет бурю, пишет всепокрушающий циклон! Внезапно налетевший, губительный для пашен и злаков, для скотины, зверя, скарба, циклон отменяет в романе всякие дискуссии, обрывает натурные съемки, студийные романы, павильонную игру страстей и дарований. Он смыкает готовые декорации. Смертельно опасный, стоивший жизни нескольким людям, в том числе и Сергею-оператору, циклон, его события образуют подлинно законченную «повесть в повести».

В этой заключительной части романа писатель дает пример вдохновенного репортажа: такими, наверное, были лучшие документальные ленты Сергея. Здесь, в картинах сопротивления людей неожиданно грянувшей беде, метод О. Гончара наконец возвращается к самому себе. Он вновь обретает свое двуединство, свою аудиторию и своего героя — спасителя, деятеля, защитника. Писатель пускает в ход ничем более не стесненную размашистую кисть, демонстрируя, с какой виртуозностью он ориен-

тируется в неустойчивом мире стихий, если и не подчинив их до конца, то и сам им не подчинившись.

В этой части романа приходится к месту и самое обыденное, вроде заботы хозяйки о своем поросенке, и самое невероятное (гибель жениха, почти со свадьбы унесенного водяной лавиной), и суровое, и сентиментальное, и патетическое, и нравоучительное, а со всем этим «просачивается» и откровенно «романическая затея»: прекрасная Ярослава «окутывает светом улыбки» своего спасителя, молодого лейтенанта Решетняка, сына того Решетняка, что был одним из героев сценария Богдана, — среди водоворотов обезумевшей реки — коловращение жизни; сюжетная ниточка, доведенная до финала.

Композиционно роман заканчивается многозначительным отточием: оборванные судьбы, недовершенные характеры, неснятый фильм.

Но, конечно, целеустремленное сопротивление людей напору воды, их успешное с ней единоборство, преимущества «мобилизационной готовности № 1» и, напротив, губительность разудалой беспечности — в общем построении романа это проясняет его символику.

«Лирические отступления» автора о силе человеческой солидарности, завещание чужеземного родича Ярославы: «Берегите эту жизнь... Берегите же!» — запальчивая реплика Ягуара Ягуаровича: «И если выбирать между хаосом и порядком... то знайте, я выбираю порядок!» — и ответы веселого милиционера по фамилии Лукавец какому-то «молодому щеголю из районных» на литературно-хрестоматийные вопросы «кто виноват?» — «Все и никто, никто и все»; «что делать?» — «обуздать циклон!.. предоставляю тебе... Займись».

Жаль, что эти мысли к повествованию о фильме и циклоне относятся чисто внешне.

Припомним: начало романа ставило высшую цель — он имел надежду стать «заветным словом» к потомству. Книга прочитана, но эта цель все еще маячит где-то там впереди, куда всматривается мальчик «с улыбкой Сфинкса», без ответа оставленный нами на берегу моря Хаоса и Познания, при вечной угрозе буйства неуправляемых стихий.

Г. ТРЕФИЛОВА.

Политика и наука

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ЗАГАДКА»?

Я. Н. Керемецкий. США: профсоюзы в борьбе с капиталом. М. «Наука». 1970. 266 стр.

Профсоюзы США объединяют в своих рядах почти 19 миллионов фабрично-заводских рабочих и служащих. Это один из крупнейших отрядов профсоюзного движения капиталистического мира. Проводимые им экономические забастовки отличаются таким размахом и упорством, каких не знают некоторые другие развитые капиталистические страны. Вместе с тем США — единственная высокоразвитая капиталистическая страна, где рабочий класс не имеет своей массовой политической партии. Профсоюзы плетутся в хвосте двух буржуазных партий — демократической и республиканской, поддерживая их кандидатов в конгресс и на пост президента.

Такая «загадочность» американских профсоюзов делает их объектом всевозможных умозрительных спекуляций. Ультралевые доктринеры в самих США и за их пределами говорят о них не иначе, как о консервативной и даже реакционной силе, интегрированной в систему власти военно-промышленного комплекса. Прямо противоположную оценку профсоюзному движению дают ультраправые, выражающие взгляды и настроения агрессивных кругов американской монополистической буржуазии. Они говорят о нем не иначе, как о социальной силе, одним своим существованием «толкающей Америку на путь социализма».

Есть и еще одна «средняя» точка зрения, разделяемая умеренно настроенной, образованной американской буржуазией и примыкающей к ней верхушкой буржуазной интеллигенции. Наиболее ясно она изложена в книге «Новое индустриальное общество» известного американского экономиста Джона Гэлбрейта¹. Автор убежден, что в принципе профсоюзам нет места в «индустриальной системе», так как своими забастовками они нарушают ее нормальное функционирование. Но в противоположность ультраправым, призывающим ликвидировать профсоюзы, он считает, что «если профсоюз существует, то ликвидация его — дело, несравненно более тяжелое, чем все, что

связано с его дальнейшим существованием...» Если от профсоюза трудно избавиться, тогда его следует приспособить к выполнению служебных функций индустриальной системы. Гэлбрейт считает, что у профсоюзов, если они хотят сохранить себе жизнь, нет другого выхода, кроме как пойти в услужение к технократии.

Как ни разноречивы приведенные взгляды, все они отражают корыстные и враждебные рабочим социально-классовые интересы. Им противостоит марксистское учение о профсоюзах. Для Маркса, Энгельса и Ленина профсоюзы — это порожденное самой капиталистической эксплуатацией наемного труда средство объединения рабочих в класс для себя, средство борьбы с капиталом.

С этой теоретической и методологической позиции подошел к исследованию современных отношений между профсоюзами и капиталом в США советский экономист и социолог Я. Керемецкий в своей монографии. Одно из достоинств книги заключается в том, что в ней нет абстрактно-отвлеченных рассуждений, иллюстрируемых произвольно и односторонне подобранными цифрами и фактами. Отношения между профсоюзами и корпорациями раскрываются на основе тщательного изучения эмпирического материала и его обобщения. Это придает убедительность попыткам автора «разгадать загадку» американского рабочего движения, показав его сильные и слабые стороны. В нашей научной литературе впервые столь основательно исследуется проблематика заключения коллективных договоров, регулирующих отношения организованных рабочих с корпорациями в главной капиталистической стране.

Как известно, из всех профсоюзов капиталистических стран американские в основном ограничивают свою деятельность рамками заключения коллективных договоров. Буржуазные экономисты и социологи, а вместе с ними и бюрократическая верхушка АФТ — КПП во главе с небезызвестным реакционером Джорджем Мини трактуют эту проблематику в духе «классового сотрудничества». Заключение коллективных догово-

¹ См. Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М. «Прогресс». 1969.

ров представляется ими как мирный торг, деловая сделка между работодателями и организованными в профсоюзы рабочими. На такой трактовке заключения коллективных договоров строятся в США, да и в Западной Европе «опровержения» марксистской теории классовой борьбы.

Но сегодня именно в этой области ведется острая идеологическая борьба. Анализируя процесс заключения коллективных договоров, автор справедливо определяет его как форму экономической классовой борьбы. Капитал по самой своей природе стремится к деспотическому единовластию над рабочей силой. Садиться за стол переговоров и вести «мирный торг» с профсоюзами его вынуждает их возросшая социальная сила. За каждый пункт договора идет упорная борьба, а ее конечный результат отражает соотношение сил, сложившееся к моменту начала переговоров и изменяющееся в их ходе. Угроза применения рабочими самого острого оружия экономической борьбы — забастовки — всегда незримо присутствует за столом переговоров. «Угроза применения такого оружия — катализатор процесса заключения коллективных договоров. Только она заставляет предпринимателей идти на уступки. Без нее никакой «мирный торг» за столом переговоров невозможен».

На конкретном материале в книге показано, какие огромные усилия предпринимает корпорационная «индустриальная система», чтобы лишить профсоюзы социальной силы, необходимой им для заключения коллективных договоров. Напомним о принятых в 1947 году законе Тафта — Хартли, в 1959 году законе Лэндрама—Гриффина, ограничивших право рабочих на забастовку и создавших большие преграды для вовлечения в профсоюзы неорганизованных рабочих (они составляют примерно 70 процентов работающих по найму). Ныне «индустриальная система» стремится провести через Конгресс новые антипрофсоюзные законы, которые бы вообще лишили рабочих права на забастовку и раздробили рабочее движение на отдельные мелкие профсоюзы.

Политические и экономические действия государственно-монополистического капитала, направленные на то, чтобы превратить профсоюзы в покорных исполнителей его воли, — прямое следствие роста социально-экономической и политической мощи корпораций. Объединение разнообразных промышленных, финансовых и коммерческих фирм в рамках одного монополистического ги-

ганта, так называемого конгломерата, увеличивает его силу и маневренность в борьбе с профсоюзами, потому что позволяет ему уменьшить убытки от забастовок в одной отрасли за счет увеличения выпуска продукции на работающих заводах других отраслей. Этой проблеме следовало бы, на мой взгляд, уделить большее внимание в книге. Мощь, а следовательно, и агрессивность противостоящих профсоюзам корпораций-конгломератов еще больше усиливаются по мере их организационного объединения в предпринимательские ассоциации с целью создать единый, монолитный антипрофсоюзный фронт.

В этих условиях передовые силы рабочего класса стремятся преодолеть раздробленность движения, создавать массовые многоотраслевые профсоюзы, выступать единым фронтом всего рабочего движения против монополий, укреплять классовую солидарность.

Книга убеждает читателя в том, что заключение коллективных договоров в США все больше приобретает характер борьбы двух организационно сплоченных антагонистических классов. «Но борьба между двумя большими общественными классами неизбежно становится борьбой политической»¹ — гласит одно из коренных положений марксистской теории классов и классовой борьбы, подтверждаемое развитием эмпирической реальности в главной капиталистической стране.

Анализ объективных социально-экономических и политических причин перерастания экономической борьбы между трудом и капиталом в политическую борьбу за власть — одно из наибольших достоинств книги Я. Керемецкого. Этот анализ наносит удар за ударом по аргументации оторванных от рабочего движения ультралевых догматиков и доктринеров, поторопившихся объявить американское рабочее движение интегрированным в индустриальную систему и неспособным к политической борьбе с ней.

Из всех причин перерастания экономической борьбы в политическую автор выделяет в качестве решающей — усиление вмешательства государства в экономику.

«Профсоюзы, — пишет автор, — не могут не видеть, что регулирование государством развития экономики для обеспечения «полной занятости» оказывается в действитель-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 266.

ности не чем иным, как использованием монополиями экономических государственных ресурсов для еще большего увеличения своей экономической мощи. Это пробуждает в их рядах сознание необходимости бороться за изменение экономической политики государства средствами политической борьбы».

Одна из наиболее содержательных частей книги — та, в которой показывается реакция профсоюзов на социально-экономические последствия научно-технического прогресса. Автор показывает, как в руках «индустриальной системы» он служит мощным экономическим средством подавления сопротивления организованных рабочих¹.

Рабочее движение приходит все больше к осознанию необходимости вести борьбу против капиталистического применения новой технологии, то есть против применения достижений науки ради увеличения прибыли. Но такая наступательная борьба может быть только политической — за установление демократического общественного контроля над производством.

Книга Я. Керемецкого убеждает читателя в том, что американское рабочее движение отнюдь не намерено пойти в услужение к «индустриальной системе». Наоборот, возрастающая агрессивность монополий объективно способствует активизации деятельности его передовых сил. И прежде всего вынуждает преодолевать слабости в рабочем движении. Основные из них: отсутствие политической независимости и связанное с этим отсутствие классовой программы борьбы за перестройку основ социально-экономической жизни общества; прагматическая примитивность чисто тред-юнионистской, потребительской идеологии; организационная раздробленность рядов профсоюзов; низкий уровень организации работников нефизического труда — «белых воротничков». (кстати, этой проблеме автору стоило бы уделить больше места в книге, принимая во внимание их быстрый численный рост в условиях

научно-технической революции и то обстоятельство, что корпорации все интенсивнее на своих автоматизируемых предприятиях заменяют организованные «голубые воротнички» неорганизованными техниками и инженерами); бюрократизация централизованной организационной структуры профсоюзов. Преодоление этих слабостей поведет к увеличению политической роли и влияния рабочего движения в обществе как главной и передовой силы социального прогресса. Это позволит профсоюзам привлекать на свою сторону все прогрессивные силы нации и в первую очередь своих естественных союзников по антимонополистической коалиции — освободительное движение негритянского народа, молодежно-студенческое движение и движение радикально настроенной интеллигенции за демократизацию общественно-политической жизни страны.

Говоря о том, какой вред наносят делу объединения сил, выступающих против власти военно-промышленного комплекса, проповеди в среде студенчества и интеллигенции ультралевых идеологов типа Герберта Маркузе, автор пишет: «Самое опасное в их проповеди и деятельности — это распространение своих взглядов в молодежно-студенческом движении и внушение ему честолюбивых иллюзий — будто именно оно — решающая революционная сила современности, способная избавить общество от бюрократического гнета военно-промышленного комплекса... Эти иллюзии могут только изолировать студенческое движение и творческую интеллигенцию от рабочего движения и тем самым обречь эти силы на поражение в противоборстве с огромной мощью монополий и военно-бюрократической машины государства». Укрепление союза рабочего движения с молодежным и студенческим движением — одна из важнейших актуальных задач, стоящих перед прогрессивными силами США.

Центр тяжести в классовой борьбе в США все больше перемещается на политическую арену. Однако реакционная верхушка АФТ — КПП всеми силами стремится затормозить процесс перехода рабочего движения на путь политической борьбы с государственно-монополистической системой. Она пытается держать профсоюзы прикованными к военной колеснице империализма США, помешать разворачивающейся борьбе организованных рабочих против американской агрессии во Вьетнаме, милитаризации экономики, против военно-промышленного

¹ Дж. Гэлбрейт пишет по этому поводу так: «Замена рабочей силы, находящейся вне контроля корпорации и способной бастовать, воплощенным в машинах капиталом, стоимостью и предложением которого полностью или в значительной степени поддается контролю, — операция весьма соблазнительная. Ради нее стоит пожертвовать некоторой долей прибыли. Вместе с тем она бьет по профсоюзу, ибо таково ее назначение».

комплекса. Говоря о новых прогрессивных тенденциях в американском рабочем движении и его задачах, новая Программа Коммунистической партии США выражает уверенность в том, что, «освободившись от оков политики «классового партнерства», утвердив свою политическую независимость и выступив против капиталистических корпораций как единый класс на политической

арене, добившись вовлечения в профсоюзы миллионов новых членов, рабочее движение может выполнить предопределенную ему роль руководящей и наиболее динамичной силы в новом антимонополистическом союзе народа Соединенных Штатов и как таковая повести его к победе социализма».

И. ГЕЕВСКИЙ.

★

АТОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

**А. М. Петросьянц. От научного поиска к атомной промышленности.
М. Атомиздат. 1970. 312 стр.**

«Развитие и современные проблемы атомной науки и техники в СССР» — таков подзаголовок книги. Автор ее — председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР А. М. Петросьянц.

Книга сохранила волнение автора, участвовавшего в создании первой атомной электростанции, гигантского синхрофазотрона и первых опытах соревнования с Солнцем в термоядерных лабораториях Земли. Это подлинно человеческий документ. Но не только. Мы найдем в книге и раздумья автора над судьбами мировой культуры, и острый памфлет, и своеобразную зарисовку публициста.

Есть такое выражение — «жить в материале». В мире атомной науки и техники Петросьянц — у себя дома. Ему близки, понятны и дороги такие подробности и детали, которых просто не увидит сторонний наблюдатель.

Использование атомной энергии дает человечеству возможность быстрее решить ряд важных проблем: освоить безводные пустыни, осушить заболоченные земли, укротить реки. Можно будет полностью механизировать и автоматизировать подземные работы и освободить от тяжелого физического труда людей многих профессий. Изобилие энергии позволит садам цвести на севере, а в тропиках защитит человека от изнурительной жары. На новой энергетической основе будет организовано изучение космического пространства и решена проблема полетов человека к другим планетам.

Атомная энергия уже теперь становится важным фактором экономического развития многих стран мира. В жизни общества происходят величайшие социально-экономические изменения, растет волна научно-технического прогресса, связанного с овладением

ядерной энергией, освоением космоса и другими достижениями человеческого гения.

Социальный и научно-технический прогресс может принести людям неисчислимые блага, сделать их жизнь разумной, обеспеченной и счастливой. Познавая и используя закономерности, заложенные в природе и обществе, человечество идет вперед, к построению коммунизма.

Однако наука может дать людям не только счастье и радость. В руках милитаристов она способна причинить непоправимые беды, принести страдания и гибель миллионам. Новейшие научные достижения могут быть использованы в целях войны и привести к уничтожению целых государств и географических зон.

Атомные бомбы, сброшенные в августе 1945 года над Хиросимой и Нагасаки по приказу президента США Трумэна, раскрыли перед людьми всю глубину новой чудовищной опасности — возможности гибели не только от атомного взрыва, но и от последствия этого взрыва — лучевой болезни.

Так было положено начало военному применению энергии, заключенной в недрах атома.

К сожалению, это начало имело продолжение...

Вспомните страшные атомные взрывы с выбросом огромного количества радиоактивных веществ в районе Маршалловых островов (Бикини, Эниветок), в районе островов Монте-Белло и других местах. Цезий-137, стронций-90 и другие радиоактивные вещества долго циркулировали в Тихом океане.

Атом, одетый в военные доспехи американской армии, приносит все больше беды людям, заражая воды Мирового океана, угрожая жизни.

Достаточно напомнить о нескольких пос-

ледных случаях американских ядерных катастроф. В декабре 1964 года над американской территорией в штате Индиана в воздухе загорелся бомбардировщик с водородной бомбой на борту. В октябре 1965 года над аэродромом в штате Огайо загорелся атомный транспортировщик, нагруженный ядерным оружием. В январе 1966 года ракета с атомной боеголовкой упала на палубу военного фрегата в гавани Мэйпорт (США). В январе 1966 года над Испанией разбился бомбардировщик «Б-52» с четырьмя атомными бомбами; часть этого смертоносного груза упала близ испанской деревни Паломарес, заразив радиоактивностью значительный прибрежный район. В январе 1968 года у берегов Гренландии потерпел катастрофу бомбардировщик «Б-52», на борту которого находились четыре водородные бомбы мощностью в одну мегатонну каждая. Этот случай привел к радиоактивному заражению значительного прибрежного района Гренландии, причем водородный груз оказался на дне моря, откуда его пока не смогли извлечь американские поисковые группы. В данном случае весьма велика опасность последующего радиоактивного заражения обширных рыбопромысловых районов Атлантики, куда радиоактивные частицы могут быть разнесены проходящим в районе катастрофы течением Гольфстрим.

Атом грозно предупреждает человечество: дальнейшая его судьба зависит от того, как будет использована освобожденная им сила природы — для дела мира или для целей войны.

Советский Союз определил свое отношение к этой проблеме. Он за то, чтобы навсегда покончить с войнами. Он за всеобщее и полное разоружение, за то, чтобы каждый атом был мирным и служил только прогрессу человечества.

Военный аспект использования атомной энергии прослежен в литературе довольно полно.

Значительно меньше работ об истории создания и организации одной из крупнейших в мире атомной промышленности в СССР — промышленности, которая по своей культуре, технике, высокой точности исполнения, использованию новых видов материалов, оборудования, бесчисленного множества точнейших приборов превзошла все то, что было создано ранее.

А. Петросьянц сумел найти для каждой главы острый внутренний сюжет. Точно най-

денными словами он помогает читателю ощутить атмосферу научного творчества. Мы словно видим по его описаниям творцов этой невиданной ранее атомной техники, участников подлинной научно-технической революции: советских ученых, инженеров и рабочих, которые сумели это сделать в условиях, когда приходилось полностью переучиваться и браться за совершенно новое дело, когда почти ни от кого нельзя было получить совета, ибо не было в тот период таких «всезнающих» людей.

А. Петросьянц рассказывает о том большом и интересном, что было сделано у нас на родине и что делается теперь в области использования атомной энергии в мирных целях, в интересах народного хозяйства, в интересах советских людей.

В Советском Союзе и социалистических странах атом отдает свою исполинскую энергию на благо людей, во имя мира. Мощная атомная станция, строящаяся у нас на берегу Каспийского моря, будет не загрязнять воду, а, наоборот, очищать ее от солей, делать пригодной для питья. Вместе с водой придет новая жизнь, расцветут сады среди барханов Мангышлака. Или, скажем, излучения. Направляемые умелой рукой врача, они помогают человеку избавиться от болезней. Радиоизотопные установки и бетатроны находят все более широкое применение в советских клиниках.

Атомная энергетика повелительно входит в нашу жизнь.

Ни одна отрасль техники в мире так быстро не развивается, как атомная энергетика. В 1954 году в СССР была сдана в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция мощностью 5 тысяч киловатт, а уже к концу 1970 года в разных странах введено в строй около 80 АЭС установленной мощностью более 15 миллионов киловатт. Обычным электростанциям понадобилось почти сто лет, чтобы достичь такого высокого уровня выработки электроэнергии, какого достигла в 1970 году атомная энергетика.

Согласно оценкам Международного агентства по атомной энергии, через десять лет, к 1980 году, около одной пятой части всех генерирующих электроэнергию мощностей мировой энергетике будет атомной.

Почему атомной энергетике предназначается такая большая роль и столь стремителен темп ее развития?

Рост потребления энергии в прошлом шел неуклонно, но достаточно неспешно. Но в

XX веке он сделал резкий скачок. В последние годы мировое производство энергии удваивается каждые десять лет. Как считают некоторые ученые, на грядущее столетие человечеству потребуется больше энергии, чем было использовано за всю историю вплоть до XX века.

Такое положение не может не тревожить. По данным Международной конференции энергетиков, запасы органического топлива всей планеты могут быть практически исчерпаны за сто лет. Кроме того, географически эти запасы распределены очень неравномерно. Так, в СССР энергоресурсы распределены следующим образом: в европейской части — 11 процентов, на Урале — 2, в азиатской части — 87 процентов.

Если учесть, что в ближайшие годы двум первым районам потребуется примерно 75 процентов топлива и 70 процентов электроэнергии, сложность и своеобразие задач, стоящих перед советскими энергетиками, станут вполне очевидны.

На заре атомной энергетики И. В. Курчатов говорил: «Мы ставим задачу создать атомную энергетику, которая, по крайней мере для условий Европейской части Союза, будет экономически более выгодной, нежели угольная энергетика».

В июне 1954 года в Обнинске под Москвой вступила в строй первая в мире атомная электростанция мощностью 5 тысяч киловатт. Первая АЭС показала всему миру принципиальную возможность использования атомной энергии в мирных целях.

Ее длительная и успешная эксплуатация позволила начать работы по созданию крупных станций с различными типами реакторов, накопить промышленный опыт их проектирования, строительства и эксплуатации.

В дальнейшем атомная энергетика в нашей стране стала развиваться по пути создания ядерных реакторов двух типов — водо-водяных и уран-графитовых.

В апреле 1964 года вступил в строй первый блок Белоярской АЭС с уран-графитовым реактором мощностью 100 тысяч киловатт. Впервые в мире непосредственно в реакторе был осуществлен в промышленных масштабах ядерный перегрев пара. Его высокие параметры позволили использовать стандартное турбинное и тепломеханическое оборудование и получить высокий коэффициент полезного действия станции.

Разработка новых температуростойких конструкционных материалов, слабо поглощающих нейтроны, и применение их в ак-

тивной зоне реакторов Белоярской АЭС позволят еще более улучшить их характеристики.

На Ново-Воронежской АЭС первый блок мощностью 210 тысяч киловатт вступил в строй в сентябре 1964 года. Водо-водяной ядерный реактор этой атомной станции отличается компактностью, простотой и высокоэкономичным использованием топлива. К концу 1972 года, после введения новых блоков, мощность Ново-Воронежской АЭС достигнет примерно такой же величины, как мощность всех электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО.

Водо-водяные энергетические реакторы мощностью 440 тысяч киловатт, устанавливаемые на Ново-Воронежской АЭС, станут в СССР на ближайшие годы типовыми и будут использоваться не только в нашей стране, но и в ряде социалистических стран.

Автор рассказывает о задачах науки и техники ближайших лет — наладить производство мощных реакторов на быстрых нейтронах и всего специального оборудования к ним. Что же касается экономического аспекта, то уже сегодня АЭС становятся конкурентоспособными по сравнению с угольными электростанциями.

В настоящее время тридцать пять стран уже имеют национальные программы развития ядерной энергетики. А Петросьянц на конкретных примерах убедительно показывает, что Советский Союз не только первым открыл дорогу в атомную энергетику, но и успешно по ней продвигается. В нашей стране, где был создан первый реактор на быстрых нейтронах, сейчас ведется строительство крупных реакторов такого типа; наши специалисты сконструировали установки прямого преобразования энергии — первые такие устройства в мире... Каждая из этих работ, описанных в книге, а перечислить их все невозможно, — своеобразная заявка планирующим органам, экономистам на будущее. А будущее мира, безусловно, тесно связано с успехами ядерной энергетики. И не только потому, что она будет становиться все более и более рентабельной. Дело еще и в том, что атомная энергетика более всего соответствует нуждам современного мира — от передовых в научно-техническом отношении держав до развивающихся стран. Она стимулирует быстрое развитие в них как экономики, так и науки, техники, вызывает рост собственных кадров специалистов, изменяет уклад жи-

зни, позволяет избавить воздух от гари и пыли.

А. Петросьянц правильно подчеркивает, что дело не только в этом. Овладение атомной энергетикой, внедрение ее в народное хозяйство рассеивают у народов мира страх, рожденный взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Человечество все больше убеждается в том, что атом не «злой», что таким его сделали чьи-то руки. И чем больше будут знать люди об атомной энергии, чем

больше будут пользоваться ее благами, тем ненавистней будет им сама мысль о возможности употребить это благо во зло — своим ближним и в конечном счете себе.

А. Петросьянц создал вдохновенную, красочную монографию (пусть не покажется странным такое словосочетание) об атомной науке и технике в СССР. Создал со страстью ученого и государственного деятеля.

А. ИОИРЫШ.

★

БЕЗ ХРЕСТОМАТИЙНОГО ГЛЯНЦА

А. Крейн. Рождение музея. М. «Советская Россия». 1969. 207 стр.

Невозможно объяснить, как, какими средствами удастся иному режиссеру (подвластно такое лишь таланту) с первых же минут погрузить зрителя в атмосферу времени, отделенного от вас двумя-тремя столетиями, заставить жить, дышать воздухом эпохи, дотоле воспринимаемой лишь умозрительно, и покинуть театр в том состоянии восторга, душевной взволнованности и благодарности, что остаются в памяти сердца навечно.

Именно такое «погружение» в атмосферу пушкинской эпохи, трепетную радость встречи с поэтом испытываешь, едва переступив порог Дома Пушкина.

Не знаю, в чем секрет подобного эмоционального воздействия на посетителя (мне представляется это неким непостижимым таинством), — секрет превращения музейных комнат в нечто подлинное, настоящее. Ничего от музейной окаменелости, никакого признака хрестоматийного глянца. Все — сам воздух, стены, обстановка — живо, достоверно и удивительно знакомо. Даже многочисленные портреты не выглядят здесь музейными, а именно портретами людей, населяющих дом. Кем-то из них брошена у кресла трость, чья-то трубка на столе хранит тепло руки того, кто оставил ее на столе. Здесь бьется живая мысль, летними вечерами из окон льется музыка, слышно пение. Пушкин, Пушкин, Пушкин — в музыке, в чтении, в горячих спорах. Им наполнен дух Дома, он его хозяин — радушный, щедрый.

Итак, не благоговейная тишина, нарушаемая лишь шарканьем войлочных туфель, а широко распахнутые двери для племени шумного и незнакомого.

Так ли? Может быть, подобное восприятие атмосферы Пушкинского Дома слишком субъективно, да и как знать, обрадует ли научных работников сопоставление их детища со спектаклем, не исключает ли оно науку из их деятельности, оставляя место лишь эмоциям, впечатлениям?

Но прежде всего — как родился этот музей, не похожий на музей и ставший для многих дорогом Пушкинским Домом?

— Очень распространен взгляд на музеи как учебные учреждения, главная цель которых — организовать учебный процесс, — говорит директор Дома Александр Зиновьевич Крейн.

— Вы не разделяете такого взгляда?

— Мы считаем, что природа музеев как массовых учреждений иная: они создаются для удовлетворения духовных запросов людей во время их досуга... Как и театр, музей должен обладать своим волшебством.

— А как быть с наукой?

— Изгнать науку из музея — мысль дикая. Музей сам — часть науки... Все дело, очевидно, в акценте. Процесс научного познания в популярном музее должен приносить людям наслаждение, привлекать их так, как привлекает искусство. Дом Пушкина — наш внутренний термин, наш пароль, наш «Сезам — откройся». Это наши «воображаемые обстоятельства». Это — образ музея. Это — направление: куда же нам плыть. Дом Пушкина отвечает потребности людей во встрече с Пушкиным. Сюда идут свободно, в гости к поэту.

А. Крейн рассказывает о том, как в послевоенные годы, буквально на голом месте (даже сам великолепный особняк на Кропоткинской, где разместился музей, не явля-

ется мемориальным), без каких-либо материалов рождался дом поэта — чудо, сотворенное любовью к Пушкину. Собственно, и сам рассказ Александра Зиновьевича — о том же. Его рассказ о профессии музейного работника, о новаторстве и творчестве, сам этот рассказ — о силе любви. Она привела к Пушкину людей, без которых немислимо было бы создать все, что здесь есть, собрать поистине бесценные коллекции — бескорыстные дары многих, помочь найти свои формы связи с посетителями.

— Какая все же сверхзадача стояла перед работниками музея?

— Что греха таить: мы любим вещи пушкинского времени! Создать бытовой музей — задача привлекательная. Но мы поставили перед собой иную, более высокую и трудную. Мы должны были ответить на вопрос, чем дорог и важен Пушкин нашему времени... Ключ к образному решению стоял, таким образом, в сочетании двух времен: пушкинского и нашего, в сочетании старины и современности. Это решение нам кажется самым важным в лепке образа современного «немузейного» не только пушкинского, но и любого музея.

Музей Пушкина действительно стал музеем русской поэзии. Посетители (а их великое множество) и составляют его актив, его славу и гордость. Я боюсь назвать фамилию известного академика-пушкиниста, внесшего огромный вклад в создание музея, неизменного участника чтений, ибо за этой фамилией потянется цепь других. Невозможно упомянуть имя прославленного народного артиста, почитающего за честь выступить на вечере в Пушкинском Доме, и обойти молчанием его коллег, таких же ревностных участников подобных концертов. А как много дарителей передало Дому самое дорогое из личных коллекций!

Да и стоит ли называть их здесь, если все они или многие из них с благодарностью названы в интересной книге А. Крейна!

Не мистификации ради заимствовала я некоторые выдержки из нее, сообщив им форму диалога или устного рассказа директора. Книга и построена как живая беседа с читателем, в иных случаях как строгий, требовательный отчет перед ним, в других — доверительное признание: как трудны бывают поиски, огорчительны неудачи, тягостны сомнения и окрыляюще радостны находки в конце долгого творческого поиска. Книга не только о музее. Она значительно шире того. Очень точно и емко ее суть обоз-

начена в предисловии Ираклия Андроникова. Книга — о музейной профессии. О принципах музейной работы. О музее как создании искусства. О научной работе в нем. Это книга о творчестве изыскателя, экскурсовода. Об искусстве показывать, об умении смотреть.

Но если так, может ли она заинтересовать читателя, чьи интересы и работа далеки от этой темы, пусть даже автору удалось опозитизировать профессию экскурсовода и рассказать о ней, переступив узковедомственные границы, широко и увлеченно?

Признаться, именно с таким чувством (еще одна книга об экспозициях, методиках...) принимаешься за чтение, а дочитав, испытываешь не только радость, которую всегда приносит хорошая книга, но и некоторую растерянность... Мир, дотоле мало знакомый, все, что стоит за кулисами парадных музейных залов, вдруг открывается во всем богатстве, сложности и трудностях.

Как талантливая книга о профессии актера, о мастерстве режиссера не может быть просто узкопрофессиональной, а привлекает зрителя к сотворчеству, помогает ему глубже постичь увиденное на сцене, так и рассказ о мастерстве музейного работника как бы приводит читателя к подобному же сотворчеству. И поэтому с полным основанием книгу можно назвать новаторской.

Она вызвала широкий отклик читателей. Характерно, что многие из них (и те, кто никогда не работал в музеях) говорят о том, как важен разговор о профессии музейного работника. Тут и горячие объяснения в любви к Дому Пушкина, и благодарное удивление за «открытие мира». Одно из писем заканчивается просьбой принять в дар книгу, «вернее, остатки книги, — пишет читатель. — В 1941 году, решительно не могу вспомнить где — в Крюкове или Солнечногорске, в первой половине декабря, во время боя (тогда я командовал стрелковым взводом) в снегу, на пожарище, среди развалин споткнулся о смерзшуюся книгу, — поднял ее и сунул за борт шинели. Так и прошла она со мной, эта книжка, весь путь от Москвы до Кенигсберга, в окопах, атаках, госпиталях. Да и как с ней можно было расстаться: книга в снегу, книга, поднятая в первом освобожденном от немцев городе, поэзия, да еще подаренная самим Багрицким. Правда, не мне, но все же тесно! И пусть в ней нет строк «я мстил за Пушкина под Переко-

пом... и в свисте пуль за песней пулеметной, я вдохновенно Пушкина читал»... Я подумал, может быть, эта книга пригодится Дому Пушкина, Дому поэзии».

Не сомневаюсь, что и этот дар органично войдет в экспозиции музея.

Каждую из глав своей книги автор заканчивает небольшими отступлениями, настойчиво повторяя один и тот же заголовок: «О музейной профессии». Он не устает убеждать, доказывать, требовать: надо заговорить об экскурсоводах от имени и во имя миллионов не только посетителей нынешних, но и от имени посетителей грядущих. Нужно, очень нужно создать условия для научного роста работников музеев, повысив материальную заинтересованность их, развивать музееведение — и все это неотложно.

Есть ли основания для тревоги, звучащей в этих — надо, надо, неотложно!

Пусть ответят на это цифры.

В 1950 году в музеях страны побывало 16,7 миллиона человек, в 1960-м — 40 миллионов, в 1963-м — 60, в 1967-м — 80, в минувшем году — свыше 100 миллионов.

Сто миллионов! Именно такую армию посетителей ведут за собой по залам музеев экскурсоводы. В конечном счете от знания, образованности, искусства, таланта их зависит, с чем уходят, что уносят с собой из залов музея эти 100 миллионов.

Об этом книга А. Крейна. Проблемы важнейшие. Хочется верить, что вызовет книга не только добрые отзывы рецензентов, но и желание решить поднятые в ней проблемы.

В. ЕЛИСЕЕВА.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

СЧАСТЬЕ СОЗИДАНИЯ. Сборник очерков. Составитель В. Разумневич. М. «Советская Россия». 1970. 240 стр.

В годы первых пятилеток на монетах иногда изображали рабочего — стоя у наковальни, он вздымал тяжелый молот. Не сколько позже на одном из денежных знаков был изображен сталевар с длинным ломом, в войлочной панаме и защитных очках. Труд рабочего прежде всего ассоциировался с огромным напряжением физических сил. А как изобразить рабочего, живущего в эпоху научно-технической революции, — когда человек вырвался в космос, овладел энергией атома, создал материалы, обладающие свойствами, которых нет в природе? Каким становится в этих новых, невиданных условиях труд рабочего? Каким должен стать сам рабочий, испытывающий на себе могучее влияние технического прогресса и сам в свою очередь оказывающий на него влияние?

Авторы очерков, составивших сборник «Счастье созидания», — Е. Богат, К. Распевин, Б. Тамарин, М. Шур и другие — попытались на конкретных человеческих судьбах показать то новое, что становится определяющей чертой рабочего труда сегодня. Это видно уже из названия книги. Труд — это прежде всего созидание, творчество, высокая ответственность, небывалой точности мастерство и умение... Слесарь, работающий на сборке сверхзвукового самолета, лекальщик, часами простаивающий за спиной хирурга, оперирующего сердце, одержимый идеей создать уникальный инструмент для операций, бурильщик-первопроходец — для них «интеллект значит ничуть не меньше, чем... крепкие руки».

Человек, живущий сегодня, несет в своем облике какие-то черты завтрашнего дня. Герои книги «Счастье созидания» делают их реальными и зримыми.

Конечно, судьба некоторых из них по своему исключительна. Если, скажем, рабочий геологической партии, студент-заочник, за два года становится доктором наук и автором ценной научной монографии, такая судьба, конечно, особенная. Но и в этой необычной жизни, отмеченной ярким талантом и целеустремленностью, много такого, что воспринимается скорее как закономерность сегодняшней жизни, чем исключительность, — и прежде всего творческая одержимость и жажда знания.

О ком бы ни писали авторы очерков — будь то молодой фрезеровщик, судовой механик или каменщик, — от вопросов чисто профессиональных все они неизменно переходят к моральной стороне труда, нравственной оценке личности рабочего. И это очень важно. Потому что для прогресса и судеб человечества безразлично, каким будет человек завтрашнего дня. Совесть, нравственность, ответственность за свое дело и свое время, стремление быть личностью — это то, из чего вырастает завтрашний день.

И. Евгеньева.

★

Я. Х. ПАНТИЕЛЕВ. Агроном. М. «Советская Россия». 1970. 144 стр.

Скромная книжка «Агроном» Я. Пантиелева не претендует ни на высокую художественность, ни на широкий охват действительности, но подкупает своей искренностью и знанием дела и бесспорно найдет себе благодарную читательскую аудиторию.

Любопытна прежде всего личность самого автора, его не совсем обычная судьба. Десятый сын в семье, Я. Пантиелев рос маленьким и тщедушным, но рвался он, как и большинство его сверстников в конце тридцатых годов, в летчики. Медицинская комиссия училища забраковала его: «Нужно подрасти». Война, однако, распорядилась иначе, и Пантиелев стал штурманом авиации дальнего действия.

Уже в самом конце войны фашистский истребитель изрешетил бомбардировщик, на котором летел Пантиелев. Результат: перебит позвоночник, обожжены лицо и руки, потерял слух, свет едва брезжит в глазах... Четыре года госпиталей и восемь лет на костылях. Авиация для него исключена! Но Пантиелев знал: против неба есть земля, добрая, щедрая земля — она его не оттолкнет.

Пантиелев поступил в Тимирязевскую академию, окончил ее и стал агрономом.

Первые шаги молодого специалиста в совхозе имени Моссовета были сопряжены с чувствительными ударами по его самолюбию. Пантиелев рассказывает об этом с простодушным юмором.

«Мне запрягли тачанку, и агроном отделения попросил поехать обмерить поле. На обратном пути лошадь, чувствуя, что вожжи держит новичок, недовольно дергалась,

пока не сбросила дугу. А заправить ее я не умел. И как я ни потел, у меня ничего не получалось. Пришлось полчаса стоять посреди дороги, пока проезжавший совхозный шофер не остановился и не помог мне. Это видели несколько рабочих, и, конечно, весть о «способностях» молодого тимирязевца разнеслась по совхозу мгновенно...»

Долго еще люди «испытывали на прочность» вновь прибывшего молодого агронома. Но тот не ленился и не стыдился учиться у опытных людей. Он присматривался к тому, как работают лучшие бригадиры совхоза, обращался за помощью к своим бывшим учителям.

Тонкостям агротехники посвящено немало страниц, и здесь нет смысла забираться во все эти дебри — интересующихся я отсылаю к самой книге, из которой специалисты, вероятно, почерпнут множество полезных сведений. Делится с нами Я. Пантиелев и своими соображениями относительно организации и оплаты труда рабочих. Еще в начале пятидесятих годов, вопреки сложившейся практике, он был убежден в необходимости аккордно-премиальной системы оплаты и неукоснительно внедрял ее в жизнь, задолго до принятых впоследствии решений партии и правительства.

Важно, однако, отметить, что Пантиелев

не ограничивается показом того, как он решал различные производственные проблемы. Больше всего его интересуют — так же, как, впрочем, и нас, не искушенных в сельском хозяйстве читателей,— человеческие взаимоотношения и характеры. Со скрупулезной точностью исследует он, к примеру, вопрос, как приобретает и как, напротив, теряет свой авторитет тот или иной руководитель. При этом — что особенно симпатично — автор не щадит и себя, честно признается в собственных ошибках и промахах.

Подобная нелицеприятность вызывает уважение к автору, и мы верим ему, когда он критикует методы и стиль руководства разных других начальников — скажем, бывшего директора совхоза. Отдавая ему должное, Я. Пантиелев признает, что тот вначале очень нравился молодому агроному своей напористостью, оперативностью и прочими так называемыми «волевыми» качествами. Но постепенно жизнь привела Я. Пантиелева к выводу, что рабочие больше всего ценят в руководителе знание дела, умение быть хозяином своего слова, видеть в каждом из них человека, что главное в отношениях с людьми — добро и доверие.

И. Варламова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Н. Байбанов. О Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1971 год. 48 стр. Цена 5 к.

В. Беляков и Н. Золотарев. Партия укрепляет свои ряды. 214 стр. Цена 37 к.

Были индустриальные. 408 стр. Цена 96 к.

А. Волков. Работа на себя. 96 стр. Цена 16 к.

М. Выцлан. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны. 1938—1941 гг. 200 стр. Цена 50 к.

Документы Первого Интернационала. Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2—7 сентября 1872 г. Протоколы и документы. 688 стр. Цена 1 р. 29 к.

В. Гарбузов. О Государственном бюджете СССР на 1971 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1969 год. 32 стр. Цена 3 к.

А. Дробан. Парижская Коммуна. 112 стр. Цена 19 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, Т. 41. Цена 1 р.

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о Парижской Коммуне. 296 стр. Цена 56 к.

Э. Ротштейн. В. И. Ленин и социалистическое движение в Великобритании. Перевод с английского. 112 стр. Цена 15 к.

Фонд документов В. И. Ленина. 308 стр. Цена 97 к.

А. П. Шептулин. Философия марксизма-ленинизма. 384 стр. Цена 78 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адалис. Январь—сентябрь. Стихи и поэма. 104 стр. Цена 42 к.

В. Адамчик. Вспышки молнии. Рассказы. Перевод с белорусского. 288 стр. Цена 57 к.

В. Бабаян. Имя твое. Стихи. Перевод с армянского Е. Винокурова. 88 стр. Цена 23 к.

Е. Бунов. Крыло ветра. Стихи. Перевод с молдавского. 206 стр. Цена 59 к.

Б. Галанов. Самые долгие годы. Записки военного корреспондента. 200 стр. Цена 36 к.

Ю. Друнина. В двух измерениях. Стихи. 102 стр. Цена 28 к.

Д. Жалсараев. Резьба по небу. Стихи и поэма. Перевод с бурятского О. Дмитриева. 118 стр. Цена 36 к.

А. Каххар. Сказки о былом. Повесть. Перевод с узбекского К. Симонова и К. Хакимова. 152 стр. Цена 38 к.

Л. Ленч. Последний патрон. Повести и рассказы. 303 стр. Цена 40 к.

Н. Лойно. Яма — это гора. Повесть. 232 стр. Цена 42 к.

Д. Лучанинов. Судьба генерала Джона Турчина. Роман. 391 стр. Цена 74 к.

Ю. Марчинявичус. Деревянные мосты. Стихи. Перевод с литовского. 128 стр. Цена 37 к.

Х. Меламуд. Годы молодые. Роман. Перевод с еврейского. 380 стр. Цена 81 к.

А. Платонов. Смерти нет! Очерки и рассказы. 400 стр. Цена 74 к.

И. Ринк. Координаты. Стихи, баллады и песни. 135 стр. Цена 35 к.

И. Рябоняч. Антонов гай. Рассказы. Перевод с украинского. 240 стр. Цена 56 к.

З. Сейфуллина. Моя старшая сестра. Воспоминания о Л. Н. Сейфуллиной. 107 стр. Цена 23 к.

Я. Ухсай. Сельбийский родник. Поэмы. Перевод с чувашского Е. Исаева и А. Заяц. 143 стр. Цена 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Болгарская поэзия. Антология. В 2-х томах. Перевод с болгарского. Составитель Н. Глен. Предисловие П. Данчева. Т. 1. 335 стр. Цена 1 р. 59 к. Т. 2. 383 стр. Цена 1 р. 36 к.

Я. Вассерман. Каспар Хаузер, или Ясность сердца. Роман. Перевод с немецкого Н. Ман. 383 стр. Цена 1 р. 34 к.

Н. Гей. Пафос социалистического реализма. 120 стр. Цена 27 к.

М. Джавахишвили. Гиви Шадури. Романы и рассказы. Перевод с грузинского. 477 стр. Цена 1 р. 4 к.

З. Крахмальникова. Путешествие по «Берегу ветров». Ааду Хинт и его книги. 127 стр. Цена 27 к.

А. Навон. Стена Искандеро. Перевод со староузбекского В. Державина. Вступительная статья Л. Климовича. 445 стр. Цена 75 к.

Г. Пагирев. Лирика. Предисловие М. Дудина. 223 стр. Цена 59 к.

Последняя высота. Сборник рассказов. Перевод с сербохорватского, словенского, македонского. Составление Н. Яновлева. Предисловие В. Огнева. 399 стр. Цена 1 р. 3 к.

Л. Ребряну. Восстание. Роман. Перевод с румынского. 511 стр. Цена 1 р. 63 к.

Романсеро. Перевод с испанского. Составление и послесловие Н. Томашевского. 455 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. Светлов. Стихи последних лет. 175 стр. Цена 76 к.

Р. Сирге. Болотные сосны. Рассказы. Перевод с эстонского. Предисловие И. Травкиной. 304 стр. Цена 70 к.

Р. Хух. Светопреставление и другие новеллы. Перевод с немецкого. 232 стр. Цена 86 к.

В. Щербина. Пути искусства. 416 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Жар мечты. Сборник сказок советских писателей. Составитель Л. Кайев. 255 стр. Цена 1 р. 43 к.

Л. Лебединская. Последний месяц года. Повесть о декабристах. 174 стр. Цена 31 к.

Д. Олдридж. Каир. Биография города. Перевод с английского. 304 стр. Цена 1 р. 18 к.

Приключения. 1970. Сборник приключенческих повестей и рассказов. 511 стр. Цена 1 р. 1 к.

Р. Рождественский. Посвящение. Стихи и поэма. 175 стр. Цена 70 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Гиппиус. Крутые ступени. Повесть о юности Ильи Репина. 143 стр. Цена 52 к.

О. Городовиков. В боях и походах. Воспоминания. 222 стр. Цена 46 к.

Н. Григорьев. Ленинский броневик. Повесть. 112 стр. Цена 41 к.
За тридцать земель. Русские народные сказки. 79 стр. Цена 2 р. 14 к.

Л. Кассиль. Три страны, которых нет на карте. Повести. 511 стр. Цена 1 р. 15 к.

Ю. Коринец. Четыре сестры. Стихи и сказки. 256 стр. Цена 65 к.

Л. Мочалов. Летят огни. Стихи. 64 стр. Цена 44 к.

Л. Обухова. Весна чаще, чем раз в году. Повесть. 96 стр. Цена 26 к.

К. Перевоицков. Отступающие джунгли. Рассказы о современной Индии. 175 стр. Цена 58 к.

А. Перфильева. Помпа. Повесть. 175 стр. Цена 39 к.

М. Последович. С тобою рядом. Повесть. 240 стр. Цена 56 к.

А. Рутно. И жизнь, и смерть. Роман. 254 стр. Цена 69 к.

С. Сахарнов. Солнечный мальчик. Повесть. 128 стр. Цена 45 к.

А. Стоянов. Жил-был мальчик. Повесть-сказка. Перевод с болгарского. 128 стр. Цена 33 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Корольков. Операция «Форт». Документальные повести. 464 стр. Цена 89 к.

Г. Могилевская. Трудное счастье. Очерки. 80 стр. Цена 13 к.

В. Степаненко. Саварка. Рассказы. 95 стр. Цена 19 к.

Труд актера. Выпуск 19. Закариадзе. Мурадова. Дальский. Ильская. 72 стр. Цена 16 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Москва праздничная. Фотоальбом. Текст Е. Кононенко. Фото Г. Дубинского и др. 123 стр. Цена 3 р.

В. Пономарев. Человек с планеты Москва. 207 стр. Цена 36 к.

Творческое изучение ленинского теоретического наследия. 160 стр. Цена 26 к.

«ИСКУССТВО»

Н. Велехова. Охлопков и театр улиц. 360 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Иванов. Кострома. (Художественные памятники XIV—XIX вв.). 179 стр. Цена 1 р. 5 к.

А. Корнейчук. Мои друзья. Комедия. В 2-х действиях. 45 стр. Цена 14 к.

«ПРОГРЕСС»

Экспериментальная психология. В 9-ти томах. Т. 3. Составители П. Фресс и Ж. Плаже. Перевод с французского. 197 стр. Цена 1 р. 1 к.

«МИР»

М. Льоцци. История физики. Перевод с итальянского. 464 стр. Цена 3 р. 6 к.

«МЫСЛЬ»

Н. Богомолова. Доктрина «человеческих отношений» — идеологическое оружие монополий. 175 стр. Цена 59 к.

Вопросы научного атеизма. Сборник статей. 439 стр. Цена 1 р. 66 к.

З. Ключева. Идеологическое и организационное укрепление Коммунистической партии в условиях борьбы за построение социализма в СССР. 312 стр. Цена 1 р. 8 к.

Ф. Леонидов. Классовая борьба: современные проблемы и особенности. 303 стр. Цена 1 р. 18 к.

Т. Хейердал. В поисках рая. — Аку-аку. Перевод с норвежского. 431 стр. Цена 2 р. 31 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Телепко. Уровни экономического развития районов СССР. Вопросы их измерения и сближения. 208 стр. Цена 64 к.

«НАУКА»

Африка в международных отношениях. Коллективная монография. 371 стр. Цена 1 р. 60 к.

Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 6. 152 стр. Цена 70 к.

Зарубежные славянские литературы. XX век. 435 стр. Цена 1 р. 85 к.

Л. Зёвин. Новые тенденции в экономическом сотрудничестве социалистических и развивающихся стран. 207 стр. Цена 73 к.

Идеологические проблемы современной Индии. Сборник статей. 222 стр. Цена 87 к.

В. Иорданский. Тупики и перспектива Тропической Африки. 474 стр. Цена 1 р. 96 к.

Э. Парни. Война богов. Поэма в 10-ти песнях с эпилогом. Перевод с французского В. Дмитриева. 244 стр. Цена 85 к.

Прибалтийский экономический район. Коллективная монография. 311 стр. Цена 1 р. 51 к.

Р. Садонов. Музыкальная культура Древнего Хорезма. 139 стр. Цена 81 к.

В. Семанов. Эволюция китайского романа. Конец XVIII — начало XX в. 343 стр. Цена 1 р. 47 к.

Сказки и мифы Океании. Перевод с западноевропейских и полинезийских языков. Составитель Г. Пермьяков. 671 стр. Цена 2 р. 4 к.

В. Хазанова. Советская архитектура первых лет Октября. 1917—1925 гг. 215 стр. Цена 1 р. 75 к.

Р. Юсуфов. Русский романтизм начала XIX века и национальные культуры. 424 стр. Цена 1 р. 72 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле-
шов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,
О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/II 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/III 1971 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}, 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А-05723. Зак. 1665. Тираж 178.000 экз.

Отпечатано в 'ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636